

В
Б

ОТЦЫ
ОСНОВАТЕЛИ

Весь
БРЭДБЕРИ

451°
ПО ФАРЕНГЕЙТУ

Весь

БРЭДБЕРИ

451°
ПО ФАРЕНГЕЙТУ

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ
SCI-FI FOUNDATION



Весь
БРЭДБЕРИ

Весь

БРЭДБЕРИ

451° ПО ФАРЕНГЕЙТУ
МЕХАНИЗМЫ РАДОСТИ

Рэй

БРЭДБЕРИ

451°

ПО ФАРЕНГЕЙТУ



МОСКВА
2019

УДК 821.111-312.9(73)
ББК 84(7Coe)-44
Б89

Ray Bradbury

FAHRENHEIT 451°
Copyright © 1953 by Ray Bradbury

THE MACHINERIES OF JOY
Copyright © 1964 by Ray Bradbury

Разработка серии *А. Саукова*

Иллюстрация на обложке *В. Коробейникова*

Брэдбери, Рэй.

Б89 451° по Фаренгейту / Рэй Брэдбери ; [пер. с английского]. —
Москва : Эксмо, 2019. — 512 с. — (Отцы-основатели).

ISBN 978-5-699-92380-9

Рэй Брэдбери — писатель, чье имя известно миллионам людей во всем мире. Из года в год его книги переиздаются огромными тиражами, читательская любовь, кажется, становится лишь сильнее, а сам он еще при жизни был признан классиком современной литературы.

И все же начало его творческого пути связано именно с фантастикой, с попыткой представить мир будущего и людей, живущих в нем. Какие они? Что их волнует? Насколько они похожи на нас, настоящих?

В первый том, открывающий собрание сочинений Рэя Брэдбери в культовой серии «Отцы-основатели», вошли роман «451° по Фаренгейту» и авторский сборник рассказов «Механизмы радости».

УДК 821.111-312.9(73)
ББК 84(7Coe)-44

- © В. Бабенко, перевод на русский язык, 2017
- © В. Серебряков, перевод на русский язык, 2017
- © Л. Жданов, наследники, перевод на русский язык, 2017
- © В. Задорожный, перевод на русский язык, 2017
- © С. Анисимов, перевод на русский язык, 2017
- © Е. Доброхотова-Майкова, перевод на русский язык, 2017
- © Е. Алексеева, перевод на русский язык, 2017
- © Ю. Седова, перевод на русский язык, 2017
- © Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2019

ISBN 978-5-699-92380-9

451°
ПО ФАРЕНГЕЙТУ

Роман

*Эта книга с благодарностью
посвящается Дону Конгдону*

451° по Фаренгейту¹ — температура, при которой книжные страницы воспламеняются и сгорают дотла...

Если тебе дали разлинованную бумагу, пиши по-своему.

Хуан Рамон Хименес²

Часть I

ДОМАШНИЙ ОЧАГ И САЛАМАНДРА

Жечь было удовольствием.

А особым удовольствием было смотреть, как огонь поедает вещи, наблюдать, как они чернеют и меняются. В кулаках зажат медный наконечник, гигантский питон плюется на мир ядовитым керосином, в висках стучит кровь, и руки кажутся руками поразительного дирижера, управляющего сразу всеми симфониями возжигания и испепеления, чтобы низвергнуть историю и оставить от нее обуглившиеся руины. Шлем с символическим числом 451 крепко сидит на крутом лбу; в глазах оранжевым пламенем полыхает предвкушение того, что сейчас произойдет, он щелкает зажигателем, и весь дом прыгает вверх, пожираемый огнем, который опалает вечернее небо и окрашивает его в красно-желто-черный цвет. Он идет в рое огненных светляков. Больше всего ему сейчас хочется сделать то, чем он любил забавляться в давние времена: ткнуть в огонь палочку со сладким суфле маршмэллоу, пока книги, хлопая голубиными крыльями страниц, гибнут на крыльце и на га-

¹ 233° С. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

² Хименес, Хуан Рамон (1881—1958), испанский поэт, лауреат Нобелевской премии (1956).

зоне перед домом. Пока они в искрящемся вихре взмывают ввысь и уносятся прочь, гонимые черным от пепла ветром.

На лице Монтага играла жесткая ухмылка — она возникает у каждого, кто, опаленный жаром, отшатывается от пламени.

Монтаг знал, что, вернувшись на пожарную станцию, захочет взглянуть в зеркало и подмигнуть себе — комедианту с выкрашенным под негра, словно жженой коркой, лицом. И затем в темноте, уже засыпая, он все еще будет ощущать огненную ухмылку, скованную мускулами щек. Сколько Монтаг себя помнил, она никогда не сходила с его лица.

Он повесил свой черный, с жучьим отливом, шлем и протер его до блеска; затем аккуратно повесил огнеупорную куртку. С наслаждением помылся под душем, после чего, насвистывая, руки в карманах, прошагал по верхнему этажу пожарной станции и бросился в черный провал. В самую последнюю секунду, когда несчастье казалось уже неминуемым, он вытащил руки из карманов, обхватил золотой шест и прервал падение. Его тело с визгом остановилось, каблуки зависли в дюйме от бетонного пола нижнего этажа.

Выйдя со станции, он прошел по ночной улице к метро, сел в бесшумный пневматический поезд, скользивший по хорошо смазанной трубе подземного тоннеля, а затем упругая волна теплого воздуха выдохнула Монтага на кремовые ступеньки эскалатора, поднимавшиеся к поверхности пригорода.

Продолжая насвистывать, он позволил эскалатору вынести себя в неподвижный ночной воздух. Ни о чем особенном не думая, Монтаг зашагал к повороту. Еще не успев к нему приблизиться, он замедлил шаг, словно откуда ни возьмись поднялся вдруг встречный ветер или кто-то окликнул его по имени.

Уже не в первый раз за последние несколько дней, подходя в звездном свете к повороту тротуара, за которым скрывался его дом, Монтаг испытывал это неясное тревожное чувство. Словно за углом, который ему надо было обогнуть, за миг до его появления кто-то побывал. В воздухе, казалось, царила особенная тишина, будто там, впереди, кто-то ждал Монтага, и всего за какое-то мгновение до встречи этот кто-то обращался в бесшумную тень, с тем чтобы пропустить Монтага сквозь себя. Не исключено, что его ноздри улавливали слабый запах духов, а может быть, кожей лица и тыльной стороны ладоней он именно в этом месте ощущал некое потепление воздуха, ибо невидимка одним своим присутствием мог на пять-шесть градусов поднять температуру окружающей его атмосферы, пусть даже всего на несколько мгновений. Понять, в чем тут дело, было невозможно. Тем не менее, завернув за угол, Монтаг неизменно видел одни лишь белые горбящиеся плиты пустынного тротуара, и только однажды ему померещилось, будто чья-то легкая тень, скользя по газону перед одним из домов, исчезла чуть раньше, чем ему удалось взглядеться или подать голос.

Однако сегодня перед поворотом он так замедлил шаг, что почти остановился. В мыслях своих он был уже за углом, поэтому сумел уловить слабый, еле слышный шепот. Чье-то дыхание? Или всего-навсего напряжение воздуха, вызванное присутствием того, кто тихо стоял там, поджидая его?

Монтаг завернул за угол.

По тротуару, залитому лунным светом, ветер гнал осеннюю листву, и со стороны казалось, будто идущая впереди девушка, не совершая никаких движений, плывет над тротуаром, подхваченная этим ветром вместе с листьями. Чуть наклонив голову, она смотрела, как носки ее туфель прорезают кружащуюся листву. В тонком, молочно-белом лице таилась тихая жадность впечатлений, бросав-

шая на все вокруг свет неутолимого любопытства. Взгляд ее был полон нежного недоумения: черные глаза взирали на мир с такой пытливостью, что от них не мог ускользнуть даже малейший жест. Белое платье будто шептало что-то. Монтагу показалось, что он слышит, как в такт шагам покачиваются руки; он даже различил почти неуловимый звук — то был светлый трепет девичьего лица, когда она, обернувшись, увидела, что ее и мужчину, застывшего в ожидании посреди дороги, разделяют всего несколько шагов.

В кронах деревьев над их головами раздавался чудесный звук — словно сухой дождь пронизывал листву. Остановившись, девушка шевельнулась, как бы желая податься назад от удивления, но вместо этого принялась внимательно разглядывать Монтага черными сияющими глазами, будто он только что обратился к ней с какими-то особенно проникновенными словами. Между тем он твердо знал, что его губы произнесли всего-навсего обыкновенное приветствие. Затем, увидев, что девушка, словно завороченная, не может оторвать взгляда от рукава его куртки с изображением саламандры и диска с фениксом на груди, он заговорил снова.

— Конечно же, — сказал Монтаг, — вы наша новая соседка, не правда ли?

— А вы, надо полагать... — она все же сумела отвести глаза от его профессиональных эмблем, — ... пожарный?

Девушка тут же умолкла.

— Как странно вы это сказали.

— Я бы... я бы догадалась об этом и с закрытыми глазами, — медленно произнесла девушка.

— Что, запах керосина? Моя жена вечно жалуется, — рассмеялся он. — Сколько ни мойся, до конца ни за что не выветрится.

— Да, не выветрится, — сказала она с благоговейным ужасом.

Монтаг чувствовал, как девушка кружит вокруг него, вертя во все стороны, и легонько встряхивает, выворачивая все его карманы, ни разу к ним не прикоснувшись.

— Керосин, — сказал он, чтобы молчание не затягивалось еще больше, — для меня это все равно что духи.

— В самом деле?

— Конечно. Что тут такого?

Она задумалась, прежде чем ответить.

— Не знаю. — Девушка обернулась в сторону домов, к которым вел тротуар. — А можно мне пойти с вами? Меня зовут Кларисса Макклеллан.

— Кларисса. Гай Монтаг. Будем знакомы. Присоединяйтесь ко мне. Так поздно, а вы бродите одна. Что вы здесь делаете, хотел бы я знать? И сколько вам лет?

Они пошли вместе по серебристой от лунного света мостовой, обвеваемые прохладно-теплым воздухом этой ночи, в котором, казалось, реяли тончайшие ароматы свежих абрикосов и земляники. И только оглянувшись вокруг, Монтаг понял, что это попросту невозможно: время года было позднее.

А рядом никого, кроме этой девушки, чье лицо в лунном свете белело, как снег, и он знал, что сейчас она обдумывает, как лучше ответить на заданные им вопросы.

— Ну так вот, — начала Кларисса, — мне семнадцать лет, и я сумасшедшая. Мой дядя уверяет, что и то и другое неразрывно связано. И еще он говорит: если тебя спросят, сколько тебе лет, то всегда отвечай, что тебе семнадцать и ты сумасшедшая. А хорошо гулять ночью, правда? Обожаю смотреть на мир, вдыхать его запахи. Иногда я брожу до самого утра, чтобы встретить восход солнца.

Некоторое время они шагали молча. Потом она задумчиво произнесла:

— Вы знаете, я совсем вас не боюсь.

— Почему, собственно, вы должны меня бояться? — удивился он.

— Но многие же боятся. То есть, я хочу сказать, не вас, а вообще пожарных. Ведь вы просто-напросто обыкновенный человек, в конце-то концов...

В ее глазах он увидел себя, висящего в двух сверкающих капельках ясной воды, темного и крохотного, но тем не менее различимого во всех мельчайших подробностях, вплоть до складок в уголках рта, словно глаза эти были двумя чудесными кусочками фиолетового янтаря, в которых он мог застыть и навсегда сохраниться в целости и сохранности. Обращенное сейчас к нему лицо было хрупким молочно-белым кристаллом, из которого исходило мягкое ровное свечение. Оно не имело ничего общего с истеричным электрическим светом, но с чем же тогда его можно было сравнить? Он понял: с мерцанием свечи, странно успокаивающим и удивительно нежным. Когда-то — он был еще ребенком — у них в доме отключили свет, и матери удалось отыскать последнюю свечу; она зажгла ее, и за этот короткий час совершилось поразительное открытие: пространство потеряло всю свою огромность и уютно сомкнулось вокруг них, вокруг матери и сына, преобразенных и мечтающих лишь о том, чтобы электричество не загоралось как можно дольше...

Неожиданно Кларисса Макклеллан сказала:

— Можно задать вам вопрос? Вы давно работаете пожарным?

— С тех пор, как мне исполнилось двадцать. Вот уже десять лет.

— А вы хоть раз читали те книги, которые сжигаете?

Он рассмеялся:

— Но это же запрещено законом!

— Да-да, конечно.

— В нашей работе есть свои тонкости. В понедельник сжигаешь По, во вторник — Войнич, в четверг — Честертон, сжигаешь их до пепла, потом сжигаешь пепел. Таков наш официальный девиз.

Они прошли еще немного, и девушка спросила:

— А это правда, что когда-то давно пожарные тушили пожары вместо того, чтобы их разжигать?

— Нет. Дома всегда были огнеупорными, можете мне поверить.

— Странно. Я как-то слышала, что было такое время, когда дома загорались из-за всяких несчастных случаев, и приходилось вызывать пожарных, чтобы остановить пламя.

Он рассмеялся.

Девушка бросила на него быстрый взгляд.

— Почему вы смеетесь?

— Не знаю, — снова засмеялся он и тут же осекся. — А что?

— Вы смеетесь, хотя я не говорю ничего смешного, и отвечаете на все мои вопросы мгновенно. Ни разу даже не задумались над тем, что я спрашиваю.

Монтаг остановился.

— А вы и на самом деле очень странная, — произнес он, глядя на Клариссу в упор. — У вас что, вообще нет уважения к собеседнику?

— Я не хотела вас обидеть. Все дело, наверное, в том, что я слишком уж люблю приглядываться к людям.

— А это вам ни о чем не говорит? — Монтаг слегка постучал пальцами по цифрам 4, 5 и 1, вышитым на рукаве его угольно-черной куртки.

— Говорит, — прошептала она в ответ, ускоряя шаг. — Вы когда-нибудь бывали на гонках реактивных автомобилей, которые проводятся там, на бульварах?

— Уходите от разговора?

— Иногда мне кажется, что их водители просто не имеют представления о таких вещах, как трава или цветы, потому что никогда не ездят медленно, — произнесла она. — Покажите такому водителю зеленое пятно — и он скажет: «Да, это трава!» Розовое пятно — «Это розарий!» Белые пят-

на будут домами, коричневые — коровами. Мой дядя как-то раз решил проехать по скоростному шоссе медленно. Он делал не больше сорока миль в час — его тут же арестовали и посадили в тюрьму на двое суток. Смешно, да? Но и грустно.

— Вы чересчур много думаете, — смущенно заметил Монтаг.

— Я редко смотрю «телестены» в гостиных, почти не бываю на автогонках или в Парках Развлечений. Оттого у меня и остается время для всевозможных бредовых мыслей. Вы видели вдоль шоссе за городом двухсотфутовые рекламные щиты? А известно вам, что было время, когда они были длиной всего двадцать футов? Но автомобили стали ездить с бешеной скоростью, и щиты пришлось наращивать, чтобы изображение хотя бы длилось какое-то время.

— Нет, я этого не знал, — хохотнул Монтаг.

— Держу пари, я знаю еще кое-что, чего вы не знаете. Например, что по утрам на траве лежит роса.

Он внезапно понял, что не может вспомнить, представлял ли себе когда-либо что-то подобное или нет, и это привело его в раздражение.

— А если посмотреть вверх... — Кларисса кивнула на небо, — то можно увидеть человечка на луне.

Ему уже давно не случалось туда глядеть.

Оставшуюся часть пути оба проделали в молчании: она — в задумчивом, он — в тягостном; стиснув зубы, он то и дело бросал на девушку укоризненные взгляды.

Когда они подошли к ее дому, все окна были ярко освещены.

— Что здесь происходит? — Монтагу не так уж часто доводилось видеть, чтобы в доме было столь много огней.

— Ничего особенного. Просто мама, папа и дядя сидят и беседуют. Сейчас это такая же редкость, как ходить пешком. Даже еще реже встречается. Между прочим, мой

дядя попал под арест вторично — я вам этого не говорила? За то, что он шел пешком! О, мы весьма странные люди.

— И о чем же вы беседуете?

.. В ответ девушка рассмеялась.

— Спокойной ночи! — попрощалась она и зашагала к дому. Но потом вдруг остановилась, словно вспомнив о чем-то, и снова подошла к Монтагу, с удивлением и любопытством вглядываясь в его лицо.

.. — Вы счастливы? — спросила Кларисса.

— Что-что? — воскликнул Монтаг.

Но ее уже не было рядом — она бежала к дому в лунном свете. Парадная дверь тихонько затворилась.

— Счастлив ли я? Что за чушь такая!

Монтаг перестал смеяться.

Он сунул руку в перчаточное отверстие своей парадной двери и дал возможность дому узнать прикосновение хозяина. Двери раздвинулись.

«Конечно, счастлив, как же иначе? — спрашивал он у молчаливых комнат. — А она, значит, думает, что нет?»

В прихожей его взгляд упал на вентиляционную решетку. И Монтаг тут же вспомнил, что за ней хранится. Казалось, спрятанное подглядывает за ним. Он быстро отвел глаза.

Какая странная встреча в эту странную ночь! В жизни не случилось с ним ничего похожего — разве что тогда в парке, год назад, когда он встретил днем одного старика и они неожиданно разговорились...

Монтаг тряхнул головой. Он посмотрел на пустую стену. Там появилось лицо девушки, в памяти оно запечатлелось просто прекрасным, да что там — поразительным. Лицо было таким тонким, что напоминало циферблат маленьких часов, слабо светящихся в ночной темноте комнаты, когда, проснувшись, хочешь узнать время и обнаруживаешь, что стрелки в точности показывают тебе час, минуту и секун-

ду, и это светлое молчаливое сияние спокойно и уверенно свидетельствует: да, скоро станет еще темнее, но все равно в мире взойдет новое солнце.

— Ну что? — обратился Монтаг к своему второму «я», этому подсознательному идиоту, который по временам вдруг выходил из повиновения и принимался болтать неведь что, вопреки воле, привычке и рассудку.

Он снова посмотрел на стену. До чего же, подумалось, ее лицо напоминает зеркало. Невероятно! Ну многих ли ты еще знаешь, кто вот так же мог бы возвращать тебе твой собственный свет? В общем-то, люди скорее похожи... — он замешкался в поисках подходящего сравнения и нашел его в своей профессии, — ... похожи на факелы, которые полыхают до тех пор, пока их не потушат. И крайне редко на лице другого случается увидеть отображение твоего же лица, печать твоей собственной сокровенной, трепетной мысли!

До чего же потрясающая сила проникновения в людскую душу у этой девушки! Она смотрела на него, как смотрит зачарованный зритель в театре марионеток, словно предвосхищая каждый взмах его ресниц, каждый жест руки, каждое шевеление пальцев.

Сколько времени они шли вместе? Три минуты? Пять? Но каким же долгим казался этот срок теперь. Каким величественным персонажем она казалась на сцене перед ним, какую гигантскую тень отбрасывала на стену ее изящная фигурка! Монтаг чувствовал: стоит его глазу зачесаться — она моргнет. А если исподволь станут растягиваться мускулы его лица — она зевнет задолго до того, как это сделает он сам.

Слушайте, подумалось ему, ведь если здраво рассудить о нашей встрече, так ведь она почти что ждала меня там, на улице, да еще в такой чертовски поздний час...

Он открыл дверь спальни.

И тут же словно попал в холодный мраморный зал мавзолея после того, как зашла луна. Тьма была непроницае-

мой: ни намека на серебряный простор снаружи, все окна плотно зашторены, комната была кладбищенским мирком, в который не проникало ни единого звука большого города. Но спальня не была пустой.

Монтаг прислушался.

Едва различимый комариный звон танцевал в воздухе, электрическое жужжание осы, затаившейся в своем укромном, теплом розовом гнездышке. Музыка звучала достаточно громко, он мог даже разобрать мелодию.

Монтаг ощутил, как улыбка соскользнула с его лица, свернулась и отпала, словно жировая пленка, стекла, как капли воска с фантастической свечи, которая горела слишком долго и, скособочившись, погасла. Темнота. «Нет, — сказал он самому себе, — я не счастлив. Не счастлив...» Это было правдой, и он должен ее признать. Свое счастье он носил, как маску, но девушка схватила ее и умчалась по газону, и теперь уж невозможно постучаться в двери ее дома и попросить эту маску назад.

Не зажигая света, он постарался представить себе, как будет выглядеть комната. Его жена, распростершаяся на кровати, холодная, не укрытая одеялом, как труп, вываленный на крышку могилы, застывшие глаза прикованы к потолку, будто соединены с ним незримыми стальными нитями. А в ушах — маленькие «ракушки», крохотные, не больше наперстка, плотно сидящие радиоприемники, и электронный океан звуков — музыка, разговоры, музыка, разговоры, — волны которого накатываются и отступают и снова накатываются на берега ее бодрствующего сознания. Нет, комната все-таки пуста. Каждую ночь в нее врывались эти волны звуков, чтобы подхватить Милдред, унести в самый центр океана, туда, где несут свои воды великие течения, и качать там ее, лежащую с широко открытыми глазами, до самого утра. За последние два года не было ни единой ночи, когда бы она не купалась в этом море, каждый раз с новой радостью погружаясь в звуковые струи, и еще, и еще...

В комнате было холодно, но тем не менее Монтаг чувствовал, что не может дышать. Однако у него не было желания отдернуть шторы и распахнуть высокие окна: он не хотел, чтобы в спальню проник свет луны. С чувством обреченности, как у человека, которому предстоит через час умереть от удушья, он ошупью направился к своей собственной разостланной кровати, отдельной, а потому и холодной. За миг до того, как его нога ударилась о лежавший на полу предмет, он уже знал, что непременно споткнется. Чувство это было сродни тому, которое он испытал, когда, еще не свернув за угол, внезапно понял, что в следующую секунду едва не собьет с ног стоявшую там девушку. Его нога своим движением вызвала вибрацию воздуха, а в ответ получила сигнал, отраженный от лежавшего на пути препятствия. Он пнул предмет, и тот с глухим звяканьем отлетел в темноту.

Некоторое время Монтаг, выпрямившись, стоял в молчании, прислушиваясь к той, что лежала на темной кровати в кромешной ночи. Дыхание, выходявшее из ноздрей, было столь слабым, что могло пошевелить лишь малейшие формы жизни — крохотный лист, черное перышко, завитушку волоска.

Он все еще не хотел, чтобы в комнату проник свет с улицы. Вытащив зажигатель, он нащупал саламандру, выгравированную на серебряном диске приборчика, щелкнул...

Два лунных камня глядели на него в свете маленького прирученного огня; два бледных лунных камня на дне прозрачного ручья — поверх, не смачивая их, текла жизнь этого мира.

— Милдред!

Лицо ее казалось заснеженным островом, над которым мог пролиться дождь, но она не почувствовала бы дождя; могла промчатся облачная тень, но она не почувствовала бы и тени. Ничего вокруг, только пение осиных наперстков, плотно затыкающих уши, остекленевшие глаза

и мягкое, слабое шевеление воздуха, входящего в ноздри и выходящего из них, но ей и дела нет, то ли он сначала входит, а потом выходит, то ли наоборот.

Предмет, который Монтаг отшвырнул ногой, теперь тускло поблескивал под краешком его кровати. Небольшой хрустальный флакончик с таблетками снотворного — еще утром в нем было тридцать капсул, сейчас же он лежал без крышки и, как было видно в свете крохотного огонька, пустой.

Внезапно небо над домом взревело. Раздался невероятный треск, будто две гигантские руки разорвали по шву десять тысяч миль черной парусины. Монтаг словно раскололся пополам. Ему показалось, что его грудь рассекли топором сверху донизу и развалили на две части. Над крышами мчались, мчались, мчались реактивные бомбардировщики, один за другим, один за другим, шесть, девять, двенадцать, один, и один, и еще один, и второй, и второй, и третий, и не нужно было визжать — весь визг исходил от них. Монтаг открыл рот, истошный рев ворвался внутрь и вышел сквозь оскаленные зубы. Дом сотрясаясь. Огонек в его ладони погас. Лунные камни исчезли. Рука сама рванулась к телефону.

Самолеты сгнули. Он ощутил, как шевелятся его губы, касаясь телефонной трубки:

— Больницу «Скорой помощи»...

Страшный шепот...

Ему показалось, что звезды в небе от рева черных самолетов обратились в мельчайшую пыль, и завтра утром вся земля будет усыпана ею, будто нездешним снегом. Эта идиотская мысль не покидала его, пока он, дрожа, стоял в темноте возле телефона и беззвучно шевелил, шевелил, шевелил губами.

Они привезли с собой эту свою машину. По сути, машин было две. Одна из них устремлялась в желудок, словно черная кобра на дно гулкого колодца, и принималась искать там застойную воду и темное прошлое. Она вбирала в себя

зеленую жижу, и та, медленно кипя, поднималась наверх. Выпивала ли она при этом и весь мрак? И все яды, скопившиеся в человеке за годы? Машина молча кормилась жижей, лишь время от времени раздавался булькающий звук, словно она захлебывалась, шаря в потемках. Впрочем, у нее был Глаз. Бесстрастный оператор, надев специальный оптический шлем, мог заглянуть в душу того, из кого выкачивал содержимое внутренностей. И что же видел Глаз? Об этом оператор ничего не мог сказать. Он смотрел, но не видел того, что Глаз узревал внутри. Вся операция походила на рытье канавы во дворе. Женщина на кровати была не более чем твердым мраморным пластом, до которого они случайно докопались. Ну так что? Долбите дальше, глубже опускайте бур, высасывайте пустоту, если, конечно, дергающаяся сосущая змея способна поднять такую вещь, как пустота, на поверхность. Оператор стоял и курил сигарету. Вторая машина работала тоже.

Ею управлял точно такой же бесстрастный оператор в немарком красновато-коричневом комбинезоне. Эта машина занималась тем, что выкачивала из организма старую кровь, заменяя ее новой кровью и сывороткой.

— Приходится чистить их сразу двумя способами, — сказал оператор, стоя над безмолвной женщиной. — Заниматься желудком бесполезно, если при этом не очищать и кровь. Оставишь эту дрянь в крови, а кровь, как молоточек, бах-бах-бах, ударит в голову пару тысяч раз, и мозг сдастся, был мозг — и нет его.

— Хватит! — вскричал Монтаг.

— Ну уж, двух слов сказать нельзя, — ответил оператор.

— Закончили? — спросил Монтаг.

Они тщательно перекрыли вентили машин.

— Закончили.

Их ни капельки не тронул его гнев. Оба стояли и курили, завитки сигаретного дыма лезли им в носы и глаза, но они даже ни разу не моргнули и не поморщились.

— С вас пятьдесят долларов.

— Сказали бы сначала, будет она в порядке или нет?

— Конечно, будет. Вся гадость, что в ней была, теперь вот тут, в чемоданчике. Она ей больше не грозит. Я же говорил: старое берем, новое вливаем — и порядок.

— Но вы же не врачи! Почему они не прислали со «Скорой» врача?

— Черт подери! — Сигарета во рту оператора дернулась. — Да у нас за ночь по девять-десять таких вызовов. Вот уже несколько лет как это тянется, даже специальные машины пришлось сконструировать. Конечно, новинка там одна — оптическая линза, все остальное старое. Зачем еще нужен врач? Все, что требуется, — это двое умельцев, и через полчаса никаких проблем. Послушайте, — сказал он, направляясь к двери, — нам надо спешить. Наперсток в ухе говорит, что поступил новый вызов. В десяти кварталах от вас кто-то еще всыпал в себя флакон снотворного. Звоните нам, если что. Обеспечьте вашей жене покой. Мы ввели ей возбуждающее. Учтите, проснется голодной. Пока...

И мужчины с сигаретами в уголках плотно сжатых губ, мужчины с глазами африканских гадюк, плюющих ядом, подхватили свои машины, забрали шланг, чемоданчик с жидкой меланхолией, а также вязкой темной слизью, вовсе не имевшей никакого названия, и вышли на улицу.

Монтаг тяжело опустил на стул и посмотрел на лежащую в кровати женщину. Ее глаза были закрыты, лицо обрело спокойствие; он протянул руку и ощутил на ладони тепло ее дыхания.

— Милдред, — позвал он наконец.

«Нас чересчур много, — подумалось ему. — Нас миллиарды, а это чересчур много. Никто никого не знает. Приходят чужаки и творят над тобой насилие. Приходят чужаки и вырезают твое сердце. Приходят чужаки и забирают

твою кровь. Великий Боже, кто были эти люди? Я в жизни их раньше не видел!»

Прошло полчаса.

В жилах женщины теперь струилась новая кровь, и это, казалось, сотворило ее заново. Щеки сильно порозовели, губы сделались очень свежими и очень алыми, они выглядели мягкими и спокойными. И все это сделала чья-то кровь. Вот если бы еще принесли чью-то плоть, чей-то мозг, чью-то память... Если бы они взяли да отправили в химчистку ее душу, чтобы там у нее вывернули все карманы, пропарили и прополоскали, затем заново запечатали бы и утром принесли обратно. Если бы...

Монтаг встал, раздвинул занавески и широко распахнул окна, выпуская в спальню ночной воздух. Два часа пополуночи. Неужели это было всего только час назад — Кларисса Маккеллан на улице, потом приход домой, эта темная комната, маленький хрустальный флакончик, который он отшвырнул ногой? Всего только час, но за это время мир успел растаять и возродиться в новом виде, без цвета, без вкуса, без запаха...

Через залитый луной газон из дома Клариссы донесся смех. Дом Клариссы, ее отца, и матери, и дяди — людей, которые умели так спокойно и душевно улыбаться. Но главное — смех был искренний и сердечный, совершенно не нарочитый, и доносился он из дома, сиявшего в этот поздний час всеми огнями, тогда как прочие дома вокруг были безмолвны и темны. Монтаг слышал голоса — люди говорили, говорили, говорили, что-то передавали друг другу, говорили, ткали, распускали и снова ткали свою завораживающую паутину.

Не отдавая себе отчета в том, что делает, Монтаг вышел через высокое окно и пересек газон. Он остановился перед бормочущим домом, укрывшись в его тени, и подумал, что, в сущности, может даже подняться на крыльцо, постучать в дверь и прошептать: «Позвольте мне войти. Я не произ-

несу ни слова. Мне просто хочется послушать. О чем это вы там говорите?»

Но он ничего такого не сделал, просто стоял, совершенно ооченев, — лицо уже превратилось в ледяную маску — и слушал, как мужской голос (дядя?) размеренно и неторопливо продолжал:

— Ну, в конце концов, мы с вами живем в век одноразовых салфеток. Высморкался в кого-то, скомкал его, спустил в унитаз, ухватил другого, высморкался, скомкал, в унитаз. Причем каждый еще норовит утереться фалдой ближнего. А как можно по-настоящему болеть за национальную футбольную команду, когда у тебя нет программы матчей и ты не знаешь имен игроков? Ну вот скажите мне, какого цвета у них фуфайки, когда команда выбегает на поле?

Монтаг вернулся в дом. Он оставил окна открытыми, проверил, в каком состоянии Милдред, заботливо подоткнул ее одеяло, а затем улегся сам. Лунный свет озарял его скулы и морщины, прорезавшие нахмуренный лоб, а попав в глаза, тот же свет разливался маленькими лужицами, похожими на серебряные катаракты.

Упала капля дождя. Кларисса. Еще одна капля. Милдред. Третья. Дядя. Четвертая. Ночной пожар. Одна — Кларисса. Две — Милдред. Три — дядя. Четыре — пожар. Одна — Милдред, две — Кларисса. Одна, две, три, четыре, пять — Кларисса, Милдред, дядя, пожар, таблетки снотворного, люди-салфетки, фалды ближнего, высморкался, скомкал, в унитаз. Одна, две, три, одна, две, три! Дождь. Гроза. Дядя смеется. Раскаты грома катятся по лестнице вниз. Весь мир — сплошной поток ливня. Пламя вырывается из вулкана. Все закручивается водоворотом, и ревущая стремнина несется навстречу утру.

— Я ничего больше не понимаю, — сказал Монтаг, положил в рот облатку снотворного и стал ждать, когда она растворится на языке.

В девять часов утра постель Миалдред была уже пуста.

Монтаг быстро вскочил — сердце его гулко билось — и бросился бегом через прихожую, но у дверей кухни остановился.

Из серебряного тостера выпрыгивали ломтики поджаренного хлеба, паучья металлическая рука тут же подхватывала их и окунала в растопленное сливочное масло.

Миалдред наблюдала за тем, как тосты ложатся на тарелку. В ее ушах плотно сидели электронные пчелы, их жужжание помогало ей коротать время. Она внезапно подняла голову, увидела Монтага и кивнула.

— Ты в порядке? — спросил он.

За десять лет пользования ушными наперстками — «ракушками» — его жена научилась профессионально читать по губам. Она снова кивнула. Затем включила тостер, и он опять защелкал, поджаривая свежий ломтик хлеба.

Монтаг сел.

— Не понимаю, с чего бы это я такая голодная, — сказала жена.

— Ты...

— Я ужасно голодна.

— Вчера вечером... — начал он.

— Спала плохо. Чувствую себя отвратительно, — продолжала она. — Господи, как же хочется есть! Ничего не пойму.

— Вчера вечером, — опять начал он.

Миалдред рассеянно проследила за движением его губ.

— Что — вчера вечером?

— А ты не помнишь?

— О чем ты? У нас что, были гости и мы хорошо погуляли? Голова словно с похмелья. Господи, как же хочется есть! И кто у нас вчера был?

— Да так, несколько человек, — ответил он.

— Вот-вот. — Она прожевала кусок тоста. — Желудок болит, но есть хочется до ужаса. Надеюсь, я вчера никаких глупостей не наделала?

— Нет, — тихо сказал он.

Паучьей рукой тостер выхватил ломтик пропитанного маслом хлеба и протянул ему. Монтаг принял тост, чувствуя себя премного обязанным.

— Ты сам тоже выглядишь не лучшим образом, — заметила жена.

Ближе к вечеру пошел дождь, и мир стал темно-серым. Монтаг стоял в прихожей и прикреплял к куртке значок с пылающей оранжевой саламандрой. Потом долгое время глядел на вентиляционную решетку. Милдред, читавшая сценарий в телевизионной гостиной, ненадолго перевела взгляд на мужа.

— Посмотрите на него! — воскликнула она. — Этот человек думает!

— Да, — сказал он. — Я хотел с тобой поговорить. — Монтаг сделал паузу и продолжил: — Вчера вечером ты выпила все таблетки из своего флакона.

— О нет, — изумилась она, — я бы такого никогда не сделала.

— Но флакон был пуст.

— Да не могла я сделать ничего подобного! С чего бы это пришло мне в голову?

— А может, ты приняла две таблетки, потом забыла об этом и приняла еще две, потом опять позабыла и снова приняла две, а затем, уже осоловев, ты начала глотать их одну за одной, пока в тебе не оказались все тридцать или сорок штук.

— Чуть! — возмутилась она. — Чего ради я сотворила бы такую глупость?

— Не знаю, — ответил он.

Похоже, ей хотелось, чтобы муж как можно скорее ушел из дома.

— Я этого не делала, — сказала Милдред. — И никогда не сделаю. Даже если проживу миллиард лет.

— Ну хорошо, раз ты так говоришь, — согласился он.

— Это не я, так сказала леди в пьесе, — ответила она и вернулась к сценарию.

— Что идет сегодня днем? — утомленным голосом спросил Монтаг.

На этот раз она не стала отрываться от сценария:

— Ну, через десять минут начнется пьеса, действие будет переходить со стены на стену. Мне прислали роль сегодня утром. Я им подкинула несколько классных соображений. Они листают сценарий, но пропускают реплики одного персонажа. Абсолютно новая идея! Там нет реплик матери семейства, ее играю я. Когда подходит моя очередь говорить, они все смотрят на меня с трех стен, и вот тут я произношу свои слова. К примеру, мужчина говорит: «Как тебе нравится вся эта идея, Элен?» При этом он смотрит на меня, а я сижу здесь, в центре сцены, чувствуешь? И я говорю... я говорю... — она стала водить пальцем по строчкам сценария. — Вот: «По-моему, это чудесно». Потом они продолжают играть дальше, без меня, пока он не спрашивает: «Ты тоже так считаешь, Элен?» А я ему на это отвечаю: «Конечно же!» Правда ведь забавно, Гай?

Стоя в коридоре, он не отрываясь смотрел на нее.

— Очень забавно, — ответила она самой себе.

— А о чем пьеса?

— Я же тебе только что сказала. Там три действующих лица — Боб, Рут и Элен.

— А!

— Действительно очень забавно. А дальше будет еще забавнее, когда мы позволим себе четвертую телестену. Как ты полагаешь, долго нам придется экономить, чтобы сломать четвертую стену и поставить вместо нее четвертую телевизионную? Она стоит всего две тысячи долларов.

— Это треть моей годовой зарплаты.

— Но ведь всего две тысячи, — возразила Милдред. — Иногда не мешало бы и обо мне подумать. Если бы у нас

была четвертая телестена, то эта комната стала бы вроде как вовсе и не нашей. Она превращалась бы в комнаты разных экзотических людей. Мы вполне можем обойтись без чего-нибудь другого...

— Мы и так уже обходимся без многого другого, выплачивая за третью стену. Ее, между прочим, поставили только два месяца назад, помнишь?

— Целых два месяца? — Она долго сидела, удивленно глядя на него. — Ну, до свидания, дорогой.

— До свидания, — сказал он, направляясь к двери, затем остановился и обернулся. — А какой у этой пьесы конец? Счастливый?

— Ну, до конца мне еще далеко.

Он вернулся, прочитал последнюю страницу, кивнул, сложил рукопись и отдал жене. После чего вышел из дома в дождь.

Дождь уже заканчивался. Девушка шла посередине тротуара с поднятой головой, подставляя лицо иссякающим каплям. При виде Монтага она улыбнулась.

— Здравствуйте.

Монтаг тоже сказал «здравствуйте» и спросил:

— Ну, и чем вы меня сегодня порадуете?

— Я по-прежнему сумасшедшая. Как хорошо под дождем! Я люблю гулять в такую погоду.

— Не думаю, чтобы это мне понравилось, — ответил Монтаг.

— Попробуйте — может, и понравится.

— До сих пор как-то не приходилось.

Она облизнула губы.

— Дождь, он даже на вкус приятный.

— Так вот чем вы занимаетесь, хотите по разу все перепробовать, да?

— Кое-что и не по разу.

Она посмотрела на что-то в своей руке.

— Что это у вас там? — спросил Монтаг.

— По-моему, последний в этом году одуванчик. Даже не думала, что мне удастся найти его, ведь для них уже очень поздно. Слышали когда-нибудь, что им надо потереть под подбородком? Смотрите!

Она коснулась цветком подбородка и рассмеялась.

— А для чего это?

— Примета такая: если остается след, значит, я влюблена. Ну как, остался?

Ему не оставалось ничего другого, как посмотреть.

— Ну как? — снова спросила она.

— Подбородок стал желтым.

— Вот и прекрасно! А теперь давайте проверим на вас.

— Со мной ничего не получится.

— Сейчас увидим!

Прежде чем он успел шевельнуться, девушка сунула одуванчик ему под подбородок. Монтаг непроизвольно отпрянул. Она рассмеялась.

— Не двигайтесь!

Девушка осмотрела его подбородок и нахмурилась.

— Ну, что? — спросил он.

— Какой позор! — воскликнула она. — Вы ни в кого не влюблены.

— Нет, влюблен!

— Что-то этого не видно.

— Влюблен, и еще как! — Монтаг попытался наколдовать в воображении какое-нибудь лицо, соответствующее этим словам, но лицо не появлялось.

— Влюблен, — повторил он.

— Пожалуйста, не смотрите на меня так!

— Это все ваш одуванчик, — сказал он. — Вы истратили его пыльцу на себя. Вот почему со мной ничего не получилось.

— Ну конечно, так оно и есть. Как же я вас расстроила! Вижу, вижу, расстроила. Простите меня, я и впрямь виновата. — Она слегка коснулась его локтя.

— Ну что вы, что вы, — поспешно ответил он. — Все в порядке.

— Мне сейчас нужно идти, скажите, что вы меня простили. Не хочу, чтобы вы на меня сердились.

— Я и не сержусь. Вот огорчен — это да.

— А я иду к своему психиатру. Меня туда заставляют ходить. Ну я и придумываю для него каждый раз всякие шутки. Не знаю, что он обо мне думает. Говорит, я самая настоящая луковица. Он только и делает, что снимает с меня шелуху, слой за слоем.

— Я склоняюсь к тому, что психиатр вам все-таки нужен, — сказал Монтаг.

— Неправда, вы так не думаете.

Он вздохнул, выпустил воздух и наконец произнес:

— Да, не думаю.

— Мой психиатр хочет понять, почему я брожу по лесам, смотрю на птиц, собираю бабочек. Когда-нибудь я покажу вам свою коллекцию.

— Хорошо.

— Они все хотят понять, чем это я таким занята. Я им отвечаю, что иногда просто сижу и думаю. Только никогда не скажу им, о чем. Пусть помучаются. А иногда, говорю я им, мне нравится запрокинуть голову, вот так, и ловить ртом дождевые капли. На вкус они как вино. Никогда не пробовали?

— Нет, я...

— Так вы простили меня, да?

— Да. — Он немного подумал. — Простил. Бог знает почему. Вы особенная — все время подкалываете, а прощать вас легко. Вы говорите, вам семнадцать?

— Да, в следующем месяце.

— Странно. Удивительно. Моей жене тридцать, но мне порой кажется, что вы много старше ее. Никак не возьму этого в толк.

— Вы сами странный, господин Монтаг. По временам я даже забываю, что вы пожарный. А можно, я вас опять сейчас разозлю?

— Давайте.

— Как это все у вас началось? Как вы к ним попали? Как вы нашли себе эту работу? Как вам вообще такая мысль могла в голову прийти? Вы не похожи на других пожарных. До вас я уже видела нескольких, так что знаю. Когда я начинаю говорить, вы на меня смотрите. Вот вчера вечером я упомянула луну, и вы тут же на нее посмотрели. Другие никогда бы так не поступили. Они просто ушли бы прочь и оставили меня наедине с собой. Или начали бы мне угрожать. У людей сейчас просто нет времени друг для друга. А вы один из немногих, кто хорошо ко мне отнесся. Вот почему я думаю: странно, что вы стали пожарным. К вам это как-то не очень подходит.

Ему показалось, что он разломился пополам: одна половина была жаркой, вторая — холодной; одна — сама мягкость, вторая — твердость; одна дрожала, вторая не дрожала вовсе, — и каждая пыталась истереть другую в порошок.

— Вам надо спешить, — сказал он.

И она тут же убежала, оставив его стоять на тротуаре под дождем. Прошло немало времени, прежде чем он наконец шевельнулся.

Медленно, очень медленно шагая по улице, он запрокинул голову, подставил лицо дождю и открыл рот...

Механическая Гончая спала и одновременно не спала, жила и одновременно не жила в своей мягко гудящей, слегка вибрирующей, слабо освещенной конуре в дальнем темном углу пожарной станции. Был час ночи, тусклый сумрак и лунный свет входили в раму большого окна и ложились пятнами на медь, бронзу и сталь мелко дрожавшего зверя. Свет мерцал на кусочках рубинового стекла и на чувствительных капиллярных волосках в нейлоновых ноздрях этой твари, которая легонько, еле заметно сотрясалась, по-паучьи сложив под собой восемь лап с резиновыми подушечками.

Монтаг съехал по бронзовому шесту и вышел поглядеть на город. Тучи уже совершенно очистили небо. Он закурил сигарету, вернулся в станцию, подошел к Гончей и наклонился над ней, внимательно разглядывая. Она походила на огромную пчелу, вернувшуюся в улей с какого-то далекого луга, где мед вобрал в себя ночные кошмары, безумие и ядовитую дикость, ее тело было полно этим перенасыщенным нектаром, и теперь она спала, чтобы избыток во сне расправившее ее зло.

— Здравствуй, — прошептал Монтаг, как всегда зачарованный этим вечно мертвым, вечно живым зверем.

Ночами, всякий раз, когда делалось скучно — а так происходило каждую ночь, — пожарные спускались по медным шестам и, приведя в действие тикающий механизм обонятельной системы Гончей, впускали в подвальное помещение крыс, иногда цыплят, а то и кошек, которых так или иначе следовало утопить, и заключали пари, какую крысу, кошку или курочку Гончая схватит первой. Через три секунды игра обычно заканчивалась: на полпути к выходу из подвала крысу, кошку или курочку настигали мягкие лапы Гончей, после чего из ее хобота выдвигалась стальная полая четырехдюймовая игла и впрыскивала в животное мощную дозу морфия или прокаина. Затем жертву бросали в мусоросжигательную печь, и игра начиналась заново.

Во время этих ночных забав Монтаг, как правило, оставался наверху. Однажды, года два назад, он заключил пари с одним из лучших игроков и проиграл недельный заработок, что вызвало безумный гнев Милдред — лицо ее покрылось пятнами, на лбу вздулись вены. Теперь ночами он лежал на койке, повернувшись лицом к стене, и прислушивался к долетавшим снизу взрывам хохота, быстрой, как пассаж на рояле, суете крысиных лапок, скрипичному писку мышей и накрывавшей эти звуки огромной тени тишины, когда Гончая вылетала из своего угла, словно мотылек на яркий свет, находила жертву, хватала ее, пронзала

иглой и возвращалась в конуру, чтобы умереть там, будто по мановению выключателя.

Монтаг коснулся морды зверя.

Гончая зарычала.

Монтаг отпрыгнул.

Гончая приподнялась в конуре и уставилась на него внезапно включившимися лампами-глазами, в которых замерцал сине-зеленый неоновый свет. Она снова взрыкнула — ее рык был странной, режущей ухо смесью электрического шипения, потрескивания масла на раскаленной сковороде, скрежета металла и скрипа древних шестеренок, ржавых от подозрительности.

— Ну нет, маленькая, — произнес Монтаг, и сердце его заколотилось.

Он увидел, как на целый дюйм выдвинулась серебряная игла, потом втянулась, снова вышла, опять втянулась. Внутри зверя медленно кипело рычание, он внимательно глядел на человека.

Монтаг отступил. Гончая сделала шаг из конуры. Одной рукой Монтаг схватился за бронзовый шест. Прореагировав на прикосновение, шест скользнул вверх и бесшумно пронес его сквозь потолок. Монтаг разжал руки и ступил в сумрак верхнего этажа. Лицо его было бледно-зеленым, он весь дрожал. Гончая внизу снова подобрала под себя свои восемь невероятных паучьих ног, ее мягкое гудение возобновилось, а фасеточные глаза успокоились.

Монтаг стоял у люка, постепенно приходя в себя. За его спиной, в углу, за карточным столом сидели четверо мужчин, освещенные лампой под зеленым колпаком; они бросили на Монтага беглые взгляды, но ничего не сказали. И только человек в капитанской каске, в каске с изображением феникса, наконец заинтересовался и, держа карты в худой руке, кратко спросил через всю комнату:

— Монтаг?..

— Она меня не любит, — сказал Монтаг.

— Кто, Гончая? — Капитан внимательно разглядывал свои карты. — Ерунда. Любит — не любит, она на это не способна. Она просто «функционирует». Это как урок по баллистике. Мы рассчитываем траекторию и закладываем в Гончую, а дальше она лишь следует заданному курсу. Сама наводит себя на цель, поражает ее, потом отключается. Это всего лишь медная проволока, аккумуляторные батареи и электричество.

Монтаг сглотнул комок в горле.

— Ее калькуляторы можно настроить на любую комбинацию — столько-то аминокислот, столько-то серы, столько-то жиров, такая-то щелочная составляющая. Правильно?

— Мы все это знаем.

— Но ведь кислотнo-основные балансы и все процентные соотношения, присущие каждому из нас на Станции, занесены в главное досье, там внизу. Не так уж сложно кому-нибудь взять и ввести в «память» Гончей некую частичную комбинацию, чтобы она реагировала, например, на определенные аминокислоты. Это объяснило бы то, что произошло со зверем несколько секунд назад. Она среагировала на меня.

— Чертовщина какая-то, — пробурчал Капитан.

— Она была раздражена, но не разъярена до предела. Кто-то настроил часть ее «памяти» таким образом, чтобы Гончая рычала, когда я к ней прикасаюсь.

— Но кто бы стал это делать? — удивился Капитан. — У тебя здесь нет ни одного врага, Гай.

— Насколько я знаю, нет.

— Ладно, завтра техники проверят Гончую.

— Она уже не первый раз угрожает мне, — сказал Монтаг. — В прошлом месяце это случилось дважды.

— Все исправим, не волнуйся.

Но Монтаг не двигался с места. Он стоял и думал о вентиляционной решетке в прихожей своего дома и о том, что

за ней спрятано. Если кто-нибудь здесь, на пожарной станции, узнал про вентилятор, разве не мог он «рассказать» об этом Гончей?..

Капитан подошел к люку и вопросительно взглянул на Монтага.

— Я все думаю, — сказал Монтаг, — о чем это Гончая размышляет по ночам в своей конуре? Может, она готовится к тому, чтобы и впрямь начать бросаться на нас? Прямо мороз по коже, как представишь.

— Она не думает ни о чем таком, о чем, по нашему мнению, ей не следовало бы думать.

— Вот это и печально, — тихо проговорил Монтаг. — Потому что все, что мы вложили в нее, — это охота, поиск и убийство. Позор, что ничему другому она уже никогда не научится.

Битти, не удержавшись, фыркнул.

— Черт подери! Да наша Гончая — прекрасный образец мастерской работы. Хорошая винтовка, которая может сама найти мишень и при каждом выстреле гарантирует попадание в яблочко.

— Потому-то я бы и не хотел быть ее очередной жертвой, — сказал Монтаг.

— А в чем дело? У тебя что, совесть нечиста?

Монтаг быстро посмотрел на Капитана.

Битти стоял рядом и не сводил с него пристального взгляда, потом его рот открылся, и стало ясно, что Капитан тихо, едва слышно смеется.

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. И столько же раз, выходя из дома, он обнаруживал в мире присутствие Клариссы. Один раз он видел, как она трясет ореховое дерево; другой — что она сидит на газоне и вяжет синий свитер; три или четыре раза он находил то букетик поздних цветов на своем крыльце, то мешочек с горстью каштанов, то несколько осенних листьев, аккуратно при-

шпиленных к листу белой бумаги, который был приколот чертежной кнопкой к двери дома. Каждый вечер Кларисса провожала его до угла. Первый день был дождливым, второй — ясным, третий — очень ветреным, четвертый выдался, наоборот, тихим и безветренным, а следующий за ним — жарким, как летнее пекло, так что к концу этого дня лицо Клариссы даже загорело.

— Почему у меня такое чувство, — спросил он ее как-то раз у входа в метро, — будто я знаю вас уже много-много лет?

— Потому что вы мне нравитесь, — ответила она, — и мне ничего от вас не надо. И еще потому, что мы с вами действительно узнали кое-что друг о друге.

— Рядом с вами я чувствую себя очень старым, и мне кажется, будто я отец целого семейства.

— Тогда объясните мне, — сказала она, — почему у вас нет дочерей вроде меня, раз уж вы так любите детей?

— Не знаю.

— Вы шутите!

— То есть я хочу сказать... — Он остановился и покачал головой. — Ну, в общем, моя жена, она... она никогда не хотела иметь детей.

Девушка перестала улыбаться.

— Простите меня. Я и впрямь думала, что вы просто веселитесь за мой счет. Какая же я дуреха.

— Нет-нет! — запротестовал он. — Это был хороший вопрос. Меня уже давно никто об этом не спрашивал, просто никому нет дела. Нет, вопрос хороший.

— Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Вы когда-либо нюхали старые листья? Правда, они пахнут корицей? Вот, понюхайте.

— Хм, действительно чем-то напоминает корицу.

Она посмотрела на него своими ясными черными глазами.

— Вы всегда словно бы удивляетесь до глубины души.

— Это просто потому, что у меня не было времени...

— Вы как следует рассмотрели те длиннющие рекламные щиты, о которых я вам говорила?

— Да, вроде бы как следует. — Он невольно рассмеялся.

— Ну вот, и смех у вас теперь куда приятнее, чем раньше.

— В самом деле?

— Да, не такой напряженный.

Он неожиданно почувствовал себя легко и непринужденно.

— Кстати, а почему вы не в школе? Я же вижу, как вы целыми днями бродите по улицам.

— Ну, там по мне не скучают, — ответила Кларисса. — Они говорят, я антиобщественный элемент. Совсем не схожусь с другими людьми. Это так странно. На самом деле, я очень общественная. Все зависит от того, что называть «обществом», правда? Вот я сейчас рассказываю вам об этих вещах — по-моему, мы с вами и есть «общество». — Она погрела в пригоршне каштанами, которые подобрала под деревом во дворе. — Или еще можно говорить, как странно устроен мир. Быть среди людей — это чудно. Но если собирают кучу народу и при этом не дают им возможности друг с другом разговаривать, то я не думаю, что это можно назвать «обществом», как вы считаете? Час телевизионных занятий, час баскетбола, бейсбола или бега, потом час истории транскрипции или же час рисуем картинки, потом опять спорт, но, представляете, мы никогда не задаем в школе никаких вопросов — по крайней мере, большинство из нас этого не делает. Сидим, а учителя вдалбливают в нас ответы — бум-бум-бум, и после этого сидим еще четыре часа и смотрим учебные фильмы. Нет, для меня это никакое не «общество». Множество воронок и прорва воды, которая в горлышки вливается, а снизу выливается, и еще нам говорят, что это вино, хотя вином и не пахнет. К концу дня они нас так изматывают, что уже не остается сил ни на что, разве только лечь спать или отправиться

в Парк Развлечений — приставать там к гуляющим, бить оконные стекла в павильоне «Разбей Окно» или крушить машины в павильоне «Разбей Машину», там для этого есть такое большое стальное ядро. А еще можно сесть в автомобиле и гонять по улицам, соревнуясь, кто проскочит ближе всех к фонарному столбу, — это называется «праздник труса», или «сбей колпак». А в общем-то, они, наверное, правы, я такая и есть, как они говорят. У меня нет друзей. Предполагается, уже одно это доказывает, что я ненормальная. Но все, кого я знаю, либо орут, либо пляшут как бешеные, либо колотят друг дружку. Вы обращали внимание, как люди сейчас увечат друг друга?

— Вы говорите так, словно вам очень много лет.

— А я иногда и чувствую себя совсем древней. Я боюсь своих сверстников. Они убивают друг друга. Неужели так было всегда? Мой дядя говорит, что нет. Только в этом году были застрелены шесть моих друзей. Десять погибли в автомобильных катастрофах. Да, я боюсь своих сверстников, и они не любят меня, потому что я их боюсь. Мой дядя говорит, что его дед помнил времена, когда дети не убивали друг друга, но это было давно, тогда все было по-другому. Дядя говорит, в те времена люди верили в чувство ответственности. А вы знаете, я ответственная. В детстве, много лет назад, мне задавали хорошую трепку, когда было за что. Я сама хожу по магазинам, убираю в доме... А больше всего, — продолжала она, — мне нравится наблюдать за людьми. Бывает, целый день ездю в метро, гляжу на пассажиров, слушаю их разговоры. Мне хочется понять, кто они такие, чего хотят, куда едут. Иногда я даже хожу в Парки Развлечений или катаюсь на реактивных автомобилях в полночь по городским окраинам, — полиции все равно, лишь бы машины были застрахованы. Покуда каждый застрахован на десять тысяч долларов, все счастливы. А случается, я незаметно подслушиваю чужие разговоры в метро. Или у автоматов с газировкой. И знаете что?

— Что?

— Люди ни о чем не говорят.

— Ну да! Так уж ни о чем?

— Нет, не в буквальном смысле. Большею частью они перечисляют марки автомобилей, сыплют фирменными названиями одежды, хвастаются плавательными бассейнами, и через слово — «это потрясно!». Но ведь все говорят одно и то же, никто не скажет что-нибудь отличное от других. А придут в забегаловку, включают зубоскальные автоматы и слушают все время одни и те же старые анекдоты, или же уставятся на музыкальную стену и смотрят, как по ней вверх-вниз бегут цветные узоры, но это одни краски, абстракция, и больше ничего. А музеи — вы их когда-нибудь посещаете? Там вообще один абстракционизм. Сейчас ничего другого и не бывает. Мой дядя говорит, раньше было иначе. В давние времена картины о чем-то рассказывали, и на них даже были люди.

— Дядя говорит это, дядя говорит то. Он, должно быть, замечательный человек.

— Так и есть. Конечно замечательный. Ну, мне пора. До свидания, господин Монтаг.

— До свидания.

— До свидания...

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней: пожарная станция.

— Монтаг, ты прямо как птичка на дерево взлетаешь по своему шесту.

Третий день.

— Монтаг, я вижу, ты сегодня пришел с черного хода. Что, Гончая беспокоит?

— Нет, нет.

Четвертый день.

— Монтаг, послушай, какая забавная история. Мне ее рассказали сегодня утром. Один пожарный из Сиэтла на-

рочно настроил Механическую Гончую на свою химическую комбинацию, а потом выпустил из конуры. Как ты определишь такой вид самоубийства?

Пять, шесть, семь дней.

И вдруг исчезла Кларисса. До какого-то момента Монтаг даже не осознавал, что было не так в тот день, но затем понял: Клариссы нигде не было видно, ее присутствие в мире не обнаруживалось. Газон перед ее домом был пуст, деревья голы, пуста улица, и хотя поначалу он даже не отдавал себе отчета, что ему недостает именно ее или что он пытается ее разыскать, но к тому времени, когда он подходил к станции метро, в нем смутно зашевелилось беспокойство. Что-то случилось, нарушился заведенный порядок вещей. Правда, порядок весьма несложный, образовавшийся всего несколько дней назад, и все же... Он едва не повернул обратно, чтобы еще раз пройти к станции метро, — может, надо просто дать ей немного времени, и она появится. Монтаг был убежден: стоит ему повторить маршрут, — и все образуется. Но было уже поздно, и появление поезда метро положило конец его планам.

Шорох карт, движенья рук, дрожанье век, бубнеж времяголосия с потолка пожарной станции: «... один час тридцать пять минут, четверг, четвертое ноября, ... один час тридцать шесть... один час тридцать семь, четверг...». Шлепанье игральных карт о засаленную поверхность стола. Все эти звуки проникали в Монтага, несмотря на барьер плотно сомкнутых глаз — барьер, с помощью которого он пытался хоть на миг заслониться от них. Он явственно ощущал блеск, сверканье и тишину, наполнявшие пожарную станцию, оттенки меди, цвета монет, золота, серебра. Невидимые игроки за столом напротив него вздыхали над своими картами, чего-то ждали. «Один час сорок пять минут...» Говорящие часы оплакивали этот холодный час одной из холодных ночей совсем уже холодного года.

— Что случилось, Монтаг?

Он открыл глаза.

Где-то жужжало радио: «... война может быть объявлена в любую минуту. Наша страна готова к защите своих...»

Здание пожарной станции задрожало: мощный проход реактивных самолетов наполнил черноту предутреннего неба монотонным свистом.

Монтаг заморгал. Битти разглядывал его так, словно перед ним была музейная статуя. В любой момент Битти мог встать, обойти вокруг него, коснуться рукой, прислушаться к отзвукам души в поисках вины и угрызений совести. Вины? О какой вине может идти речь?

— Твой ход, Монтаг.

Монтаг окинул взглядом сидевших перед ним людей. Их лица загорели от тысячи реальных и десятка тысяч воображаемых пожаров; работа окрасила их щеки в багровый цвет и зажгла в глазах лихорадочный блеск. Спокойно, не щурясь, глядели они на огоньки своих платиновых зажигателей, раскуривая свои никогда не гаснущие черные трубки. Во всем — в них самих, в их угольно-черных волосах, в бровях цвета сажи, в испятнанных пеплом щеках, выбритых до синевы, — во всем сквозила наследственность. Вздрогнув, Монтаг замер с открытым ртом. А видел ли он хоть когда-нибудь пожарного, у которого не было бы черных волос, черных бровей, огненного лица и выбритых до стальной синевы щек, создающих тем не менее впечатление небритости? Все эти люди — зеркальное отражение его самого! Неужели пожарных отбирают не только по склонности, но и по внешним данным? Во всем их облике — оттенки тлеющих углей и пепла и вечный запах гари, исходящий из трубок. Вот в грозовых тучах табачного дыма поднимается Капитан Битти, открывает свежую пачку табака и комкает обертку — хруст целлофана в его руке отдается треском огня.

Монтаг перевел взгляд на карты в своей руке.

— Я... я немного задумался. О пожаре, что был на прошлой неделе... О том человеке, чью библиотеку мы обработали. Что с ним стало?

— Он вопил так, что его отправили в психушку.

— Он не был сумасшедшим.

Битти спокойно перетасовал карты:

— Любой человек, который думает, будто может перехитрить правительство и нас, уже сумасшедший.

— Я все пытался представить себе, — произнес Монтга, — на что это похоже — оказаться в его положении. Я хочу сказать, вот приходят пожарные и жгут наши дома и наши книги.

— У нас нет книг.

— А если бы были?

— Так что, у тебя кое-что есть?

Битти медленно мигнул.

— Нет. — Монтга посмотрел мимо сидевших за столом людей на стену, где были вывешены отпечатанные на машинке списки миллиона запрещенных книг. Их названия плясали в пламени, испепелявшем годы изданий, а он помогал этому, орудуя топором и наконечником шланга, извергавшим не воду, а керосин.

— Нет, — повторил он, но в глубине его сознания родился ледяной ветерок, он вырывался из вентиляционной решетки в доме Монтга и мягко, вкрадчиво охлаждал его лицо. А еще он опять увидел себя в зеленом парке, где однажды разговорился со стариком, очень древним стариком, и ветер из парка тоже был ледяным.

Немного поколебавшись, Монтга спросил:

— А это всегда было... всегда было как сейчас? Пожарные станции, наша работа? Я хочу сказать... ну... может быть, когда-то, в некотором царстве, в некотором государстве...

— «В некотором царстве, в некотором государстве»? — переспросил Битти. — Это что еще за разговоры такие?

«Дурак! — мысленно обозвал себя Монтаг. — Ты же сам себя выдаешь». Во время последнего пожара, когда сжигали книгу детских сказок, он бросил взгляд на одну-единственную строку.

— Я имел в виду старые времена, когда дома еще не были абсолютно несгораемыми... — Внезапно ему померещилось, будто его устами вещает какой-то другой, гораздо более молодой голос. Он лишь открывал рот, а говорила вместо него Кларисса Макклеллан. — Разве тогда пожарные не предотвращали пожары, вместо того чтобы подливать керосин и разжигать их?

— Во дает! — Стоунмен и Блэк разом вытащили из карманов книжки уставов, в которых была также кратко изложена история Пожарных Америки, и раскрыли их перед Монтагом, чтобы он мог прочесть то, что ему и так было хорошо известно:

«Основаны в 1790 году с целью сожжения в Колониях книг, несущих на себе английское влияние. Первый пожарный: Бенджамин Франклин.

Правило 1. По тревоге выезжать быстро.

2. Огонь разжигать быстро.

3. Сжигать всё.

4. Возвращаться на пожарную станцию немедленно.

5. Быть готовым к новым тревогам».

Все смотрели на Монтага. Он сидел не шевелясь.

В этот момент раздался сигнал тревоги.

Колокол под потолком нанес себе двести ударов. Внезапно в комнате образовалось четыре пустых стула. Карты снегопадом легли на пол. Медный шест мелко дрожал. Мужчины исчезли.

Монтаг продолжал сидеть на стуле. Внизу зашелся кашлем, оживая, оранжевый дракон.

Словно во сне, Монтаг съехал по шесту.

Механическая Гончая тут же вскочила в своей конуре, в глазах — зеленое пламя.

— Монтаг, ты забыл свой шлем!

Он сорвал его со стены позади себя, побежал, прыгнул, и они умчались, лишь ночной ветер колотился меж домов, полный воя сирены и могучего грома металла.

Это был облупившийся трехэтажный дом в старой части города, он стоял уже сто лет, не больше и не меньше, но, как и все остальные здания, много лет назад его заключили в тонкую огнеупорную пластиковую оболочку, и теперь казалось, будто эта предохранительная скорлупа была единственным, что удерживало его в воздухе.

— Приехали!

Пожарная машина остановилась, хлопнули двери. Битти, Стоунмен и Блэк помчались по тротуару к дому, неожиданно став мерзкими и жирными в своих пухлых огнеупорных плащах. Монтаг бросился следом.

Они сокрушили парадную дверь и схватили женщину, хотя та не двигалась с места и вовсе не думала скрываться бегством. Она стояла, мягко покачиваясь из стороны в сторону и устремив взгляд в небытие, разверзшееся на стене, словно пожарные только что нанесли ей страшный удар по голове. Язык женщины ворочался во рту, а глаза, казалось, пытались что-то вспомнить, и вот они вспомнили, и язык снова зашевелился:

— Будьте мужчиной, мастер Ридли. Милостью Божьей мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, надеюсь, никогда не загасить¹.

— Хватит! — сказал Битти. — Где они?

¹ Слова, сказанные епископом вустерским Хью Латимером (1485?—1555) лондонскому епископу Николасу Ридли (1500—1555), когда их сжигали на костре в Оксфорде по обвинению в ереси 16 октября 1555 года. Истинной причиной обвинения был отказ протестантских священников, видных деятелей Реформации, отречься от протестантизма после восстановления католицизма в Англии при Марии I Тюдор.

С поразительным бесстрашием он ударил ее по лицу и повторил вопрос. Глаза старой женщины сфокусировались на Битти.

— Вы знаете, где они, иначе вас не было бы здесь, — молвила она.

Стоунмен протянул карточку телефонной тревоги, на обороте которой был продублирован текст доноса:

«Имею основания подозревать чердак. Дом № 11, улица Вязов, Город. Э. Б.»

— Это, должно быть, госпожа Блейк, моя соседка, — сказала женщина, прочитав инициалы.

— Ладно, ребята, пошли заберем их.

Уже через секунду они были наверху, в затхлой темноте, круша серебряными топориками двери, которые вовсе не были заперты, и вваливаясь в комнаты, как мальчишки, с криком и гиканьем.

— Гей!

На Монтага, с дрожью в сердце поднимавшегося по крутой лестнице, обрушился целый фонтан книг. Как все неловко! Раньше это было не труднее, чем задуть свечу. Первыми приезжали полицейские, заклеивали жертве рот липкой лентой, связывали и увозили в своих блестящих жучных машинах, так что, когда ты появлялся, дом был уже пуст. И ты никого не мучил, ты мучил одни лишь вещи. А поскольку на самом деле вещи не могут страдать, поскольку они не чувствуют боли, не визжат и не хнычут, как эта женщина, которая вот-вот завопит или расплачется, то потом твою совесть ничего не тревожило. Это была обыкновенная приборка. В сущности, работа дворника, а не пожарного. Всё расставили по местам! Керосин, быстро! У кого спички?

Сегодня, однако, кто-то там недосмотрел. Эта женщина нарушила весь ритуал. Поэтому пожарные делают так много шума, смеются, шутят, — делают все, чтобы заглушить жуткое осуждающее молчание, царящее внизу. Она заставила

пустоту комнат изойти обвинительным ревом и вытряхнула в воздух тончайшую пыль вины, которую снующие по дому люди невольно втягивали ноздрями. Это нечестно! Неправильно! Монтаг испытал невероятную ярость. Что бы там ни было, эта женщина не должна находиться здесь!

Книги бомбардировали его плечи, руки, его обращенное кверху лицо. Одна из книг чуть ли не послушно опустилась в его ладони, как белый голубь, трепеща крыльями. В рассеянном колеблющемся свете мелькнула открывшаяся страница, и это было как взмах белоснежного пера с бережно нанесенными на него словами. В суматохе и горячке у Монтага был всего миг, чтобы прочитать строку, но она полыхала в его мозгу целую минуту, словно выжженная огненным стальным клеймом:

«Само время уснуло в лучах полуденного солнца»¹.

Он выронил книгу, и тут же ему в руки упала новая.

— Монтаг, поднимайся сюда!

Рука Монтага сомкнулась на книге, словно жадный рот; он с диким самозабвением стиснул ее, с безрассудством сумасшедшего прижал к своей груди. Мужчины наверху швыряли ворохи журналов в пыльный воздух. Они падали, как битая птица, а женщина стояла внизу — маленькая девочка среди недвижных тушек.

Сам Монтаг ничего не сделал. Все сделала рука. Его рука, у которой был свой собственный мозг, своя совесть и любопытство в каждом дрожащем пальце, превратилась в воровку. Она нырнула с книгой под другую руку, прижала к пропавшей потом подмышке и выскочила наружу уже пустой, с показной невинностью фокусника: смотрите! Ничего нет! Смотрите же!

Потрясенный, разглядывал он эту белую руку. Отводил ее подальше, словно был дальнозорким. Подносил к самому лицу, словно слепец.

¹ Строка из сборника эссе «Деревня грез» шотландского поэта Александра Смита (1830—1867).

— Монтаг!

Он вздрогнул и обернулся.

— Не стой там как идиот!

Теперь книги лежали вокруг него грудями свежей рыбы, вываленной для просушки. Мужчины танцевали на этих кучах, оскальзывались, валились на книги. Поблескивали золотые глаза названий на корешках, томики падали, глаза угасали.

— Керосин!

Они стали выкачивать холодную жидкость из баков с цифрами 451, притороченных за плечами. Они обдали каждую книгу, залили доверху каждую комнату.

После этого все торопливо спустились вниз. Последним, спотыкаясь в керосиновом чаду, шел Монтаг.

— Женщина, выходим!

Она стояла на коленях среди книг, водила руками по набрякшим кожаным и картонным переплетам, словно читая пальцами золоченые названия, а глаза ее осуждающе смотрели на Монтага.

— Вам никогда не заполучить моих книг, — произнесла она.

— Вы знаете закон, — сказал Битти. — Где же ваш здравый смысл? Все эти книги противоречат друг другу. Столько лет просидеть взаперти наедине с самой настоящей Вавилонской башней, черт бы ее побрал! Бросьте вы эту дурь! Людей, что описаны в ваших книгах, никогда не существовало. Ну, выходите же!

Женщина покачала головой.

— Сейчас запылывает весь дом, — сказал Битти.

Мужчины начали неуклюже пробираться к выходу. Они оглядывались на Монтага, по-прежнему стоявшего рядом с женщиной.

— Вы же не оставите ее здесь? — запротестовал он.

— Она сама не хочет уходить.

— Тогда выведите ее силой!

Битти поднял руку с затаившимся в ней зажигателем.

— Нам пора назад, на станцию. И потом, эти фанатики всегда норовят покончить жизнь самоубийством. Так у них водится.

Монтаг положил руку женщине на локоть.

— Вы можете пойти со мной.

— Нет, — ответила она. — Но во всяком случае спасибо.

— Считаю до десяти, — предупредил Битти. — Раз.

Два...

— Пожалуйста, — попросил Монтаг.

— Продолжайте, — сказала женщина.

— Три. Четыре...

— Ну же. — Монтаг потянул женщину за рукав.

— Я хочу остаться, — тихо ответила она.

— Пять. Шесть...

— Можете дальше не считать, — сказала женщина. Она слегка разжала пальцы — на ладони лежал один-единственный тонкий длинный предмет.

Обыкновенная кухонная спичка.

Одного ее вида оказалось достаточно, чтобы мужчины выскочили наружу и бросились прочь от дома. Капитан Битти, стараясь сохранить достоинство, медленно появился из парадной двери; его розовое лицо блестело и пылало отблесками тысяч пожаров и волнующих ночных приключений.

«Господи, — подумал Монтаг, — истинная правда! Тревоги всегда бывают только ночью! А днем — никогда! Не потому ли, что ночью пожар лучше смотрится? Эффектное зрелище, настоящее шоу...»

Розовое лицо остановившегося в дверном проеме Битти изображало легкую панику. Пальцы женщины сомкнулись на одной-единственной спичке. Вокруг нее пыльным цветком распускалось облако керосиновых паров. Монтаг чувствовал, как спрятанная книга бьется о грудь, как второе сердце.

— Продолжайте, — повторила женщина.

Монтаг почувствовал, как пятится назад, все дальше и дальше от двери, потом следом за Битти вниз по лестнице, через газон, на котором, как путь зловещей улитки, лежал керосиновый след.

Женщина неподвижно стояла на крыльце, куда она вышла, чтобы смерить их долгим спокойным взглядом; само ее спокойствие было приговором.

Битти шелкнул пальцами, чтобы искрой зажигателя воспламенить керосин.

Но он опоздал. Монтаг замер с открытым ртом.

Облив их всех презрением, женщина на крыльце чиркнула кухонной спичкой о перила.

Из всех домов на улице выбегали люди.

По дороге на станцию они не произнесли ни слова. Никто ни на кого не смотрел. Монтаг сидел на переднем сиденье с Битти и Блэком. Они даже не раскурили своих трубок. Все неотрывно смотрели вперед. Огромная «Саламандра» обогнула очередной угол и бесшумно помчалась дальше.

— Мастер Ридли, — наконец сказал Монтаг.

— Что? — спросил Битти.

— Она сказала: «Мастер Ридли». Когда мы вошли, она произнесла какую-то безумную фразу. «Будьте мужчиной, мастер Ридли», — сказала она. И что-то такое еще, что-то такое, что-то...

— «Милостью Божьей мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, надеюсь, никогда не загасить», — проговорил Битти.

Стоунмен в изумлении поглядел на Капитана, Монтаг тоже. Битти потер подбородок.

— Это сказал человек по имени Латимер человеку по имени Николас Ридли, когда их заживо сжигали на костре за ересь в Оксфорде шестнадцатого октября тысяча пятьсот пятьдесят пятого года.

Монтаг и Стоунмен снова уставились на мостовую, убежавшую под колеса машины.

— Я весь набит разными цитатами, обрывками фраз, — сказал Битти. — Этим отличаются, в большинстве своем, все пожарные капитаны. Иногда я просто сам себе удивляюсь. Эй, Стоунмен, не зевай!

Стоунмен резко затормозил.

— Черт! — воскликнул Битти. — Ты проскочил угол, где мы сворачиваем к пожарной станции.

— Кто там?

— А кто еще тут может быть? — отозвался в темноте Монтаг, прислонясь спиной к закрытой двери.

Его жена, помолчав, сказала:

— Зажги хотя бы свет.

— Он мне не нужен.

— Тогда иди спать. — Он услышал, как она нетерпеливо заворочалась на кровати; пружины пронзительно взвизгнули. — Ты пьян? — спросила она.

Итак, все началось с его руки. Он почувствовал, как его пальцы, сперва одной руки, потом другой, расстегнули куртку и дали ей тяжело упасть на пол. Он подержал брюки над черной бездной и позволил им упасть во мрак. Его кисти подхватили заразную болезнь, и скоро она перейдет на предплечья. Он мог представить, как яд поднимается по запястьям, проникает в его локти, плечи, а затем — раз! — и перескок с лопатки на лопатку, словно электрический разряд в пустоте. Его руки изголодались. И глаза тоже начали испытывать голод, словно им обязательно нужно было смотреть на что-то, на что-нибудь, на все что угодно...

— Что ты там делаешь? — спросила жена.

Он балансировал в пространстве, помогая себе книгой, которую сжимал холодными потными пальцами.

Спустя минуту она произнесла:

— Ну хотя бы не стой так посреди комнаты. — Он немо сказал что-то. — Что? — спросила жена.

Монтаг произнес еще несколько беззвучных слов, подошел неверным шагом к кровати и кое-как засунул книгу под холодную подушку. Затем повалился на кровать, и жена в испуге вскрикнула. Он лежал далеко-далеко от нее, у другой стены комнаты, на зимнем острове, отделенном от всего мира пустым пространством моря. Жена разговаривала с ним, ему казалось, она говорит уже довольно давно, она толковала о том, толковала о сем, однако это были только слова, похожие на те словечки, которые он слышал когда-то в детской у одного своего друга: двухлетний малыш пытался строить фразы, лепетал на понятном лишь ему языке, и звучало это довольно приятно. Монтаг ничего не говорил в ответ, а спустя время, когда он опять произнес что-то беззвучное, он почувствовал движение в комнате: жена подошла к его кровати, встала над ним и опустила руку, чтобы коснуться щеки. Монтаг понял, что, когда она отвела руку от его лица, ее ладонь была мокрой.

Поздно ночью он посмотрел на жену. Она не спала. В воздухе тихонько танцевала мелодия — уши Милдред опять были заткнуты «ракушками», она слушала далеких людей из далеких краев, а взгляд ее широко распахнутых глаз пронизывал пучину тьмы, открывшуюся вверху, в потолке.

Как там в старом анекдоте? Жена так долго болтала по телефону, что ее муж, отчаявшись, побежал в ближайший магазин и, только позвонив оттуда, узнал, что будет дома на обед. А что, почему бы ему не купить себе широковещательную «ракушечную» станцию, чтобы говорить с женой по ночам? Мурлыкать ей, шептать, кричать, вопить, орать... Только вот о чем шептать? О чем кричать? Что он мог ей сказать?

Неожиданно она показалась ему совершенно чужой, он даже поверить не мог, что знал ее когда-то. Он был в чьем-то чужом доме, как в том анекдоте, что часто рассказывают люди, — о пьяном джентльмене, который пришел домой поздно ночью, открыл не ту дверь, вошел не в ту комнату, лег в постель с незнакомой женщиной, а утром, встав пораньше, ушел на работу, и никто из них так ничего и не понял.

— Милли... — прошептал он.

— Что?

— У меня и в мыслях не было пугать тебя. Я просто хотел спросить...

— Ну?

— Когда мы с тобой встретились? И где?

— Когда мы встретились — для чего? — спросила она.

— Я имею в виду, в самом начале.

Он знал, что она хмурится, лежа в темноте.

— Наша первая встреча, — пояснил он, — где это было и когда?

— Ну, это было... — Она замялась. — Я не знаю.

Он похолодел.

— Не можешь вспомнить?

— Это было так давно...

— Всего десять лет назад. И только-то. Всего десять лет!

— Да не волнуйся ты так, я просто пытаюсь вспомнить. — Ее стал разбирать странный высокий смех, звук которого становился все тоньше и тоньше. — Как забавно. Нет, правда, забавно — не помнить, где и когда ты встретил свою мужнюю жену!

Он лежал, медленно массируя себе веки, лоб, шею. Прикрыв ладонями глаза, он стал равномерно жать на глазные яблоки, словно пытаясь вдавить память на место. Почему-то важнее всего на свете сейчас было вспомнить, где он встретился с Милдред.

— Это не имеет значения. — Она уже встала и пошла в ванную. Монтаг услышал журчание льющейся воды и звук глотка.

— Пожалуй, что не имеет, — согласился он.

Он попытался сосчитать, сколько таких глотков она сделала, и вспомнил о визите двух мужчин с бледными, словно белеными окисью цинка, лицами, с сигаретами в уголках тонких губ и электронноглазой змеей, которая, извиваясь, слой за слоем пронизывала ночь, камень, застоившуюся весеннюю воду, и ему захотелось крикнуть Милдред: «Сколько ты их приняла сегодня вечером? Этих своих капсул? И сколько примешь еще, не сумеешь сосчитать? Так и будешь глотать каждый час? Ну, не этой ночью, так следующей! А мне опять не спать — ни этой ночью, ни завтрашней, мне теперь вообще не спать ночами, раз уж это началось...» Он вспомнил, как она лежала на кровати, а над ней столбами стояли те два техника, именно столбами, ни разу не склонившись заботливо, все стояли и стояли, сложив на груди руки. И еще он вспомнил, как подумал тогда, что если она умрет, он, конечно же, не станет плакать, потому что это будет смерть совершенно незнакомого человека, так, лицо в толпе, газетная фотография, и вдруг все показалось ему таким неправильным, таким гадким, что он начал плакать, но не потому, что смерть, а потому, что ему пришла в голову сама эта мысль: она умрет, а я не заплачу, — глупый пустой человек рядом с глупой пустой женщиной, которую голодная змея делала еще более пустой, еще более пустой...

«И когда же ты опустела? — задумался он. — Кто вынимает из тебя содержимое? А еще тот ужасный цветок, одуванчик! Он-то и подвел подо всем черту, разве нет? «Какой позор! Вы ни в кого не влюблены». А что в этом такого?»

Если уж на то пошло, разве нет стены между ним и Милдред? Буквальной стены, и не одной, а целых трех? Пока трех? И таких дорогих! Все эти дядюшки, тетушки, кузены

и кузины, племянники и племянницы, они просто живут в этих стенах, болтливая стая древесных павианов, которые не говорят ничего, ничего, ничего, но зато говорят громко, громко, громко! С самого первого дня он прозвал их «родственниками». «Как сегодня поживает дядюшка Луис?» — «Кто?» — «А тетушка Мод?» На самом деле, он чаще всего представлял себе Милдред в образе маленькой девочки в лесу, лишенном деревьев (как странно!), или даже маленькой девочки, затерявшейся на горном плато, где деревья когда-то были (память об их стволах и кронах еще чувствовалась вокруг): именно так воспринималась она, когда сидела посреди своей телевизионной гостиной. «Гостиная». Вот уж точное подобрали словечко! Когда бы он ни зашел туда, Милдред всегда вела разговоры с «гостями» на стенах:

«Надо что-то делать!»

«Да, надо что-то делать!»

«Так что же мы стоим и говорим?»

«Давайте сделаем это!»

«Я так взбешен, что хочется плевать!»

О чем все это? Милдред не могла объяснить. Кто был взбешен и из-за кого? Милдред не вполне понимала. Что именно они собирались делать? «Да ладно тебе, — говорила Милдред, — оставайся здесь и жди, сам все увидишь».

Он оставался и ждал.

Со стен на него обрушивалась страшная гроза звуков. Музыка бомбардировала его с такой силой, что, казалось, кости выдирались из сухожилий; он чувствовал, как вибрируют челюсти, как болтаются в глазницах глаза. Он был готовым пациентом для больницы, диагноз: сотрясение мозга. Когда все стихало, он чувствовал себя как человек, которого сбросили со скалы, потом раскрутили в центрифуге, потом выплюнули в водопад, а водопад этот несся, несся, несся в пустоту, пустоту, пустоту и никогда — не — достигал — дна — никогда — так — и — не — достигал —

дна — никогда — никогда — так — и — не — достигал — так — и — не — так — достигал — дна... и ты падал так стремительно, что не успевал дотянуться до стен... вообще... ни до чего... не успевал... дотянуться.

Гроза стихала. Музыкае приходил конец.

— Вот, — говорила Милдред.

Это и впрямь было замечательно. Пока играла музыка, что-то успевало произойти. Пусть люди на стенах почти не сдвигались со своих мест, пусть они ни до чего не могли договориться, все равно возникало ощущение, будто кто-то запустил стиральную машину или всосал тебя гигантским пылесосом. Ты буквально тонул в музыке, захлебывался в чистой какофонии звуков. Монтэг выскакивал из гостиной в поту и на грани коллапса. За его спиной Милдред поудобнее устраивалась в кресле, и голоса продолжали:

«Ну, теперь все будет в порядке», — говорила «тетушка».

«О, не будь столь самоуверенна», — откликнулся «кузен».

«Не сердись!»

«Кто сердится?»

«Ты!»

«Я?»

«Ты сошел с ума!»

«Почему это я сошел с ума?»

«Потому что!»

— Все это очень хорошо! — кричал Монтэг. — Но с чего им сходить с ума? И кто они, эти люди? Кто вот этот мужчина и кто эта женщина? Они что, муж и жена? Или в разводе? Или обручены? Что с ними происходит? Великий Боже, ничто ни с чем не увязывается!

— Они... — поясняла Милдред, — ну, они... в общем, они поссорились. Они часто ссорятся, это факт. Ты бы сам послушал. Мне кажется, они женаты. Да, точно женаты. Так что?

А если это были не три стены плюс четвертая, которая скоро появится, и тогда исполнятся все мечты, тогда это

был открытый автомобиль, и Милдред гнала через весь город со скоростью сто миль в час, и он орал на нее, а она орала в ответ, и оба пытались расслышать, что ему или ей говорят, но слышали только рев мотора.

«Ну хотя бы сбрось до минимума!» — вопил он. «Что?» — кричала она. «Сбавь до пятидесяти пяти, до минимума!» — орал он. «До чего?» — визжала она. «Скорость!» — вопил он. Она давила на педаль и доводила скорость до ста пяти миль в час, и встречный ветер вышибал из Монтага дух.

Когда они выходили из машины, в ушах у жены опять появлялись «ракушки».

Тишина. Только легкие дуновения ветра.

— Милдред. — Он пошевелился на кровати.

Протянув руку, Montag выдернул из ее уха крохотное музыкальное насекомое.

— Милдред. Милдред!

— Да? — Тихий голос в ответ.

Ему казалось, он превратился в одно из тех созданий, что втиснуты электроникой в щели цветозвуковых стен; он говорил, но речь его не проникала сквозь хрустальный барьер. Оставалось только жестикулировать — в надежде, что жена обернется и увидит его. Но коснуться друг друга сквозь стекло они не могли.

— Милдред, ты знаешь ту девушку, о которой я тебе рассказывал?

— Какую девушку? — Она почти уже спала.

— Девушку из соседнего дома.

— Какую девушку из соседнего дома?

— Ну ты знаешь, школьницу. Кларисса, так ее зовут.

— О, да, — ответила жена.

— Я уже несколько дней ее не вижу. Четверо суток, если быть точным. Ты ее не встречала?

— Нет.

— Я давно хотел поговорить с тобой о ней. Довольно странная девушка.

— О, да, я знаю, о ком ты.

— Я так и думал.

— Ее... — начала Милдред в темноте комнаты.

— Что — «ее»? — спросил Монтаг.

— Я хотела сказать тебе... Забыла. Совсем забыла.

— Так скажи сейчас. В чем дело?

— Я думаю, ее больше нет.

— Нет?

— Вся семья переехала куда-то. Но ее совсем нет. Я думаю, она умерла.

— Вряд ли мы говорим об одной и той же девушке.

— Нет. Именно та самая. Макклеллан. Макклеллан. Ее сбила машина. Четыре дня назад. Я не уверена, но кажется, она умерла. Так или иначе, ее семья отсюда уехала. Не знаю. Но думаю, она умерла.

— Ты же сказала, что не уверена в этом!

— Да, не уверена. Нет, почти уверена.

— Почему ты мне раньше не сказала?

— Забыла.

— Всего четыре дня назад!

— Я совсем забыла об этом.

— Четыре дня назад, — тихо сказал он, лежа в кровати.

Они оба лежали во мраке комнаты совершенно недвижно, никто из них даже не пошевелился.

— Спокойной ночи, — сказала она.

Он услышал тихий шорох. Это двигалась ее рука. Она коснулась электрического наперстка, и он пополз по подушке, как крадущийся богомол. Вот он снова у нее в ухе, снова жужжит.

Он прислушался — жена что-то тихо напевала, затаив дыхание.

За окном шевельнулась тень, поднялся и стих осенний ветер. Однако Монтаг услышал что-то еще в этой тишине. Словно кто-то дохнул на окно снаружи. Словно промелькнул легкий завиток зеленоватого фосфоресцирующего

дыма, словно одинокий большой лист, подгоняемый октябрьским ветром, пролетел над газоном и скрылся.

«Гончая, — подумал Монтаг. — Сегодня ночью ее выпустили на волю. Она где-то там. Если я открою окно...»

Но он не открыл окна.

Утром он почувствовал озноб и жар.

— Ты что, болен? — спросила Милдред.

Он сомкнул веки, удерживая жар внутри.

— Да.

— Но вчера вечером ты был в полном порядке.

— Нет, я не был в порядке. — Он слышал, как в гостиной орут «родственники».

Милдред стояла над кроватью, с любопытством разглядывая его. Он чувствовал ее присутствие, он видел ее, не открывая глаз, ее волосы, пережженные химикатами в хрупкую солому, ее глаза с невидимой, но угадываемой далеко-далеко за зрачками катарактой, ее накрашенные надутые губы, худую от диеты фигуру, похожую на богемола, белое, как соленое сало, тело. Он и не помнил ее другой.

— Не принесешь аспирина и воды?

— Тебе пора вставать, — сказала она. — Уже полдень.

Ты проснулся на пять часов позднее обычного.

— Ты не выключишь гостиную? — попросил он.

— Это моя семья.

— Выключи ее ради больного человека.

— Я сделаю потише.

Она вышла, ничего в гостиной не сделала и вернулась.

— Так лучше?

— Спасибо.

— Это моя любимая программа, — сказала она.

— Как там с аспирином?

— Ты никогда раньше не болел. — Она снова вышла.

— А сейчас заболел. Я не пойду вечером на работу. Позвони за меня Битти.

— Ты был такой забавный вчера вечером. — Она вернулась, напевая что-то про себя.

— Где аспирин? — Он взглянул на стакан с водой, который она ему подала.

— Ох. — Она снова направилась в ванную. — Вчера что-нибудь случилось?

— Пожар, вот и все.

— Я прелестно провела вечер, — сказала она уже из ванной.

— Чем развлекалась?

— Гостиной.

— Что передавали?

— Программы.

— Какие?

— Лучшие из лучших.

— Кто играл?

— Ну, ты их знаешь, вся компания.

— Да-да, вся компания, вся компания, вся компания... — Он прижал пальцы к глазам, пытаясь утишить боль, и внезапно от запаха керосина его вырвало.

Милдред вошла, напевая.

— Зачем ты это сделал? — удивилась она.

Монтаг в ужасе уставился на пол.

— Мы сожгли старую женщину вместе с ее книгами.

— Все-таки хорошо, что ковер отстирывается.

Она принесла тряпку и стала убирать.

— Вчера вечером я была у Элен.

— Разве нельзя было смотреть программу в своей гостиной?

— Конечно, можно, но и в гости пойти приятно.

Она ушла в гостиную. Монтаг услышал, как она поет там.

— Милдред? — позвал он.

Она вернулась, напевая и слегка прищелкивая пальцами.

— Ты не хочешь спросить меня, что было вчера вечером?

- И что было вчера вечером?
- Мы сожгли тысячу книг. Мы сожгли женщину.
- Ну и?..

Гостиная разрывалась от звука.

- Мы сожгли книги Данте, и Свифта, и Марка Аврелия.
- Кажется, он был европейцем.
- Да, что-то в этом роде.
- И радикалом.
- Я его никогда не читал.
- Точно, радикалом. — Милдред стала возиться с телефоном. — Ты ведь не хочешь, чтобы я звонила Капитану Битти, правда?

- Как это не хочу? Ты должна позвонить!
- Не кричи!
- Я не кричал. — Он сел в постели, внезапно побагровев и трясась от ярости. Гостиная редела в жарком воздухе. — Я не могу звонить ему. Я не могу сказать, что болен.
- Почему?

Потому что ты боишься, подумал он. Ведешь себя как ребенок, который притворяется больным. Боишься позвонить, потому что через секунду разговор повернет таким образом: «Да, Капитан, мне уже лучше. Буду в десять вечера!»

- Ты не болен, — сказала Милдред.

Монтаг откинулся на кровати. Пошарил рукой под подушкой. Спрятанная книга все еще была там.

- Милдред, что бы ты сказала, если бы я... ну, может быть... если бы я бросил работу... на какое-то время?

— Ты хочешь все бросить? После стольких лет работы ты хочешь все бросить, потому что однажды вечером какая-то женщина с ее книгами...

- Если бы только ты видела ее, Милли!

— Она мне никто! Нечего было держать у себя книги. Это целиком на ее ответственности. Раньше надо было думать. Ненавижу ее! Стоило ей задеть тебя за живое, как мы

тут же, не успев оглянуться, вылетаем на улицу — и вот уже нет ни дома, ни работы, ничего!

— Ты не была там, ты не видела, — сказал он. — В этих книгах, должно быть, есть что-то такое, чего мы и представить не можем, раз эта женщина осталась из-за них в горящем доме. Что-то в них действительно должно быть. Просто так человек не останется в горящем доме.

— У нее на большее ума не хватило.

— Ума у нее было столько же, сколько у тебя или у меня, может, даже больше, а мы ее сожгли.

— Эта вода уже утекла.

— Нет, не вода, это огонь. Ты когда-нибудь видела сгоревший дом? Он тлеет еще много дней. Ну а этого огня мне хватит до конца жизни. Господи! Да я всю ночь пытался в мыслях потушить этот пожар. Чуть с ума не сошел.

— Ты должен был обдумать все это до того, как пошел в пожарные.

— «Обдумать»! — воскликнул он. — Разве у меня был выбор? Мой дед и отец были пожарными. Я спал и видел, как пойду по их стопам.

Гостиная играла танцевальную мелодию.

— Сегодня у тебя дневная смена, — сказала Милдред. — Ты должен был уйти два часа назад. Я только сейчас обратила внимание.

— Дело не только в той женщине, которая там погибла, — продолжал Монтаг. — Вчера вечером я задумался, сколько же керосина я израсходовал за эти десять лет. И еще я задумался о книгах. Впервые в жизни я осознал, что за каждой из этих книг стоит человек. Человек, который придумал книгу, который потратил уйму времени, чтобы изложить свои мысли на бумаге. Раньше мне ничего подобного в голову не приходило.

Он встал с кровати.

— Может быть, какой-то человек потратил целую жизнь на изучение окружающего мира, природы, людей, а потом

занес кое-какие свои мысли на бумагу, и тут прихожу я, две минуты — бум! — и все кончено!

— Оставь меня в покое, — сказала Милдред. — Я ничего не сделала.

— Оставить тебя в покое? Очень хорошо, но как мне оставить в покое себя? Нас нельзя оставлять в покое. Надо, чтобы мы хоть когда-нибудь о чем-то тревожились. Вот скажи, как давно ты по-настоящему беспокоилась о чем-то? О чем-то важном? О чем-то реальном?

И тут он осекся, потому что вспомнил о том, что было на прошлой неделе, вспомнил два белых камня, уставившихся в потолок, и змею-насос с пытливым оком, и двух мыльнолицых мужчин с сигаретами, движущимися во ртах, когда они разговаривали. Но то была совсем другая Милдред, то была Милдред, спрятанная так глубоко внутри первой, полная такой тревоги, такого настоящего беспокойства, что эти женщины никогда не встречались. Он отвернулся.

— Ну вот, ты своего добился, — сказала Милдред. — Вон, прямо перед домом. Посмотри, кто к нам явился.

— Мне все равно.

— Только что подъехал «феникс», и мужчина в черной рубашке с оранжевой змеей на рукаве уже идет по дорожке к двери.

— Капитан Битти? — спросил он.

— Капитан Битти.

Монтаг не шелохнулся, он стоял, устремив взор в холодную белизну стены прямо перед собой.

— Впусти его, хорошо? Скажи, что я болен.

— Сам скажи! — Милдред побежала в одну сторону, потом в другую и вдруг замерла с широко открытыми глазами — динамик у входной двери тихо-тихо, едва слышно позвал ее по имени: «Госпожа Монтаг».

«Госпожа Монтаг, госпожа Монтаг, кто-то пришел, кто-то пришел, госпожа Монтаг, кто-то пришел...»

Голос динамика медленно угасал.

Монтаг убедился, что книга хорошо спрятана за подушкой, осторожно подобрался в постели, заняв полусидячее положение, и расправил одеяло, чтобы оно прикрыло ноги и половину груди. Немного помедлив, Милдред шевельнулась и вышла из комнаты, и тут же в спальню вразвалочку, засунув руки в карманы, прошествовал Капитан Битти.

— Заткните «родственничков», — произнес Битти. Его взгляд окинул комнату, не остановившись ни на Монтаге, ни на его жене.

На этот раз Милдред выскочила из комнаты бегом. Голоса в гостиной, несшие всякие вздор, перестали орать.

Капитан Битти уселся в самое удобное кресло, его лицо излучало миролюбие. Неспешно набив свою медную трубку, он раскурил ее и выпустил огромное облако дыма.

— Вот, подумал, не заехать ли мне, чтобы навестить нашего больного.

— Как вы догадались?

Битти улыбнулся своей обычной улыбкой, которая демонстрировала конфетную розоватость десен и конфетную белизну мелких зубов.

— От меня не скроешься. Ты собирался позвонить мне и попросить отгул на одну ночь.

Монтаг сел в кровати.

— Ну так и бери этот отгул! — сказал Битти.

Он устался на свой зажигатель, этот вечный спичечный коробок, на крышке которого было написано: «ГАРАНТИРУЕТСЯ МИЛЛИОН ЗАЖИГАНИЙ», и принялся рассеянно чиркать химической спичкой — загасил, щелкнул, загасил, щелкнул, бросил несколько слов, загасил, щелкнул, посмотрел на пламя, загасил, посмотрел на дымок.

— Когда поправишься?

— Завтра. Может быть, послезавтра. В начале той недели.

Битти попыхивал трубкой.

— Все пожарные рано или поздно сталкиваются с этим. Все, что им нужно, — это понять, что к чему, понять, как крутятся колесики. И еще надо знать историю нашей профессии. Ее больше не преподают новичкам, как раньше. Позор, черт побери! — Пых-пых. — В наши дни только пожарные начальники и помнят ее. — Пых-пых. — Ладно, я введу тебя в курс дела.

Милдред беспокойно заерзала.

Целую минуту Битти усаживался поудобнее, обдумывая то, что собирался сказать.

— Когда же все это началось, спросишь ты, с чего пошла наша профессия, как она стала тем, чем стала, где, почему? Ну, я бы сказал, что по-настоящему она началась во времена той заварухи, которую называют Гражданской войной, хотя наши уставные книжки утверждают, будто основа была заложена гораздо раньше. Факт остается фактом: наши дела не особенно ладились, пока фотография не заявила о своих правах. Затем — кино в начале двадцатого столетия. Радио. Телевидение. Вещи стали завоевывать массы.

Монтаг сидел на кровати не двигаясь.

— А поскольку вещи обрели массовость, они стали проще, — продолжил Битти. — Когда-то книги адресовались немногим — кому-то здесь, кому-то там, кому-то где-нибудь еще. Поэтому книги могли позволить себе отличаться друг от друга. Мир был просторным. Но затем мир заполнился глазами, локтями и ртами. Население удвоилось, утроилось и учетверилось. Фильмы, радиопередачи, журналы, книги — все свелось к единой норме, уподобилось тесту для пудинга. Ты следишь за ходом моих мыслей?

— Думаю, что да.

Битти уставился на узор табачного дыма, образовавшийся в воздухе.

— Вообрази себе. Вот человек девятнадцатого столетия, с его лошадьми, собаками, повозками, медленным движе-

нием. А вот век двадцатый — ускорь съемку. Книги урезаются. Сжатый стиль.

Дайджесты. Таблоиды. Все сводится к плоским шуткам, комиксам, простейшим концовкам.

— Простейшим концовкам, — кивнула Милдред.

— Сначала классиков урезали до пятнадцатиминутного радишоу, затем снова урезали — до колонки в книге, на чтение которой уходит две минуты, и наконец все закончилось статьей в энциклопедическом словаре из десяти или двенадцати строк. Конечно, я преувеличиваю. Словари предназначались для справок. Но находилось все больше людей, чье представление о «Гамлете»... — ты, Монтаг, конечно, знаешь это название; а вот для вас, госпожа Монтаг, оно, скорей всего, не более чем где-то слышанное слово, — так вот, чье представление о «Гамлете», как я уже сказал, было почерпнуто из одной-единственной странички текста в книге дайджестов, которая взывала: «Теперь вы наконец-то сможете прочесть всех классиков! Не отставайте от своих соседей!» Понимаешь? Из яслей в колледж и обратно в ясли — вот схема интеллектуального движения, которая сохраняется последние пять столетий или около того.

Милдред поднялась и стала расхаживать по комнате, она брала в руки то одну вещь, то другую и тут же ставила их на место. Битти не удостоил ее даже взгляда и продолжил:

— А теперь, Монтаг, крути фильм еще быстрее. Быстрее! «Щелк», «Тик», «Так», «Трюк», «Крик», «Взгляд», «Глаз», «Нос», «Здесь», «Там», «Темп», «Стой», «Вверх», «Вниз», «Вбок», «Из», «Где», «Как», «Чем», «Кто», «Что». А? На! Бух! Чмок! Трах! Бим! Бом! Бум! Дайджесты. Дайджесты дайджестов. Дайджесты дайджестов дайджестов. Что? Политика? Одна колонка, две фразы, заголовок! И тут же все растворяется в воздухах! Раскрути человеческий разум волчком, наподдай ему крепкими руками издателей, рекламщиков, радиовещателей, взвихри его так, чтобы с этой

центрифуги слетели прочь все ненужные мысли, даром тратящие время!..

Милдред разгладила простыню. Монтаг ощутил, как скакнуло его сердце, и скакнуло еще раз, когда жена хлопала по подушке. Вот она уже тянет Монтага за плечо, она хочет подвинуть его, взять подушку, взбить ее попышнее и вернуть на место. И тогда она, наверное, вскрикнет и устанет на то, что лежит за подушкой, или просто протянет руку и спросит: «Что это?» — а затем с трогательным простодушием вытащит спрятанную книгу.

— Школьные программы сокращены, дисциплина упала, всякие там философии, истории, языки выброшены на свалку. Английскому и правописанию постепенно придавали все меньше значения и в конце концов это значение вовсе свели к нулю. Жить — сейчас, если работаешь — тебя уважают, после работы — какие угодно удовольствия. Зачем учиться чему-то еще, кроме нажимания кнопок, щелканья переключателем и завинчивания гаек?

— Дай я поправлю подушку, — сказала Милдред.

— Нет! — прошептал Монтаг.

— Молния вытесняет пуговицу, а человеку как раз этой малости времени и не хватает, чтобы призадуматься, когда он одевается на рассвете. Где они, эти философские и потому меланхолические минуты?

— Вот здесь поправлю, — сказала Милдред.

— Отстань, — шепнул Монтаг.

— Жизнь — это большая банановая кожура, Монтаг, ты поскользываешься на ней и со всего маху прикладываешься задницей — шлеп! — а все вокруг надрывают животики — ха-ха-ха, ой-ей-ей, ух ты!..

— Ух ты, — сказала Милдред, дергая за подушку.

— Ради бога, оставь меня в покое! — с жаром закричал Монтаг.

Битти широко распахнул глаза.

Рука Милдред застыла за подушкой. Ее пальцы ощупывали контуры книги, и как только предмет обрел знакомые очертания, удивление на лице жены сменилось остолбенелостью. Ее рот открылся, чтобы выпалить вопрос...

— Изгоните из театров всех, кроме клоунов, оборудуйте комнаты стеклянными стенами, пусть по ним вверх-вниз летают веселенькие цветные пятна, словно конфетти, или кровь, или херес, или сотерн. Ты ведь любишь бейсбол, правда, Монтэг?

— Бейсбол — хорошая игра.

Битти уже совсем не было видно, его голос доносился откуда-то из-за дымовой завесы.

— Что это? — спросила Милдред едва ли не с восторгом.

Монтэг навалился спиной на ее руки.

— Что это здесь такое? — повторила она.

— Сядь! — заорал Монтэг. Жена отскочила назад с пустыми руками. — Мы же разговариваем!

Битти продолжал как ни в чем не бывало:

— Если тебе тоже нравятся, Монтэг?

— Да, и кегли нравятся.

— А гольф?

— Гольф — хорошая игра.

— Баскетбол?

— Хорошая игра.

— А бильярд — например, пул? Или футбол?

— Хорошие игры, все до единой.

— Больше спорта для каждого, групповой дух, развлечения, и тогда совсем не надо думать, а? Организуйте, переорганизуйте и суперорганизуйте спорт, суперсуперспорт! Больше комиксов в книжках. Больше картинок. Меньше пищи для ума, еще меньше!

Нетерпение. На скоростных шоссе толпы, все едут и едут куда-то, куда-то и куда-то. Никуда-то! Бензиновые беженцы! Города превращаются в мотели, люди кочевыми

волнами, как приливы и отливы, перемещаются с места на место, подчиняясь движению луны, сегодня вечером кто-то въезжает в комнату, где днем спал ты, а прошлой ночью я.

Милдред вышла из комнаты, хлопнув дверью. В гостиной настенные «тетушки» начали смеяться над настенными «дядюшками».

— Теперь возьмем меньшинства в нашей цивилизации, идет? Чем больше население, тем больше меньшинств. Упаси вас бог наступить на любимую мозоль обожателям собак, обожателям кошек, врачам, адвокатам, торговцам, племенным вождям, мормонам, баптистам, унитариям, китайцам второго поколения, шведам, итальянцам, техасцам, бруклинцам, ирландцам, людям из Орегона или Мексики. За персонажами данной книги, данной пьесы, данного телесериала ни в коем случае не стоят какие-нибудь реальные художники, картографы или механики, пусть даже живущие очень далеко. Запомни, Монтаг, чем больше рынок, тем меньше возможностей улаживать противоречия. Все эти меньше-меньше-го-меньшинства лучше обходить стороной, не ровен час заденешь чей-нибудь пупок. Авторы с дурными мыслями, заприте ваши пишущие машинки! Они так и сделали! Журналы превратились в смесь ванили с манной кашей, а книги, по утверждению критиков, — в помой. Неудивительно, говорили эти чертовы снобы, что книги перестали продаваться. Но публика прекрасно знала, что ей нужно; радостно кружась в вихре увлечений, она сделала выбор, и комиксы выжили. А вместе с ними, разумеется, и секс-журналы с трехмерными изображениями. Вот мы и имеем то, что имеем, Монтаг. Никакого правительственного нажима сверху. Никаких официальных заявлений и деклараций. Начать с того, что и никакой цензуры тоже не было, нет! Технология, массовая реклама и давление со стороны меньшинств — вот и весь фокус. И слава богу, что это так! Сегодня, благодаря этому, можно все

время быть счастливым, тебе позволено читать комиксы, старые добрые исповеди и профессиональные журналы.

— Хорошо, но что же все-таки насчет пожарных? — спросил Монтэг.

— А, — Битти подался вперед в легком тумане табачного дыма. — Что ж тут объяснять? Нет ничего проще и нет ничего естественнее. Вместо того чтобы выпускать исследователей, критиков, знатоков и творцов, школы стали штамповать все больше и больше бегунов, прыгунов, пловцов, борцов, летунов, несунув, гонщиков, подгонщиков, хватателей и стяжателей, и слово «интеллектуал», конечно же, стало бранным словом, как оно и заслуживало. Человек всегда страшится неведомого. Вспомни, Монтэг, наверняка у тебя в классе был мальчик, который отличался исключительной толковостью, всегда тянул руку и больше всех отвечал на уроках, в то время как остальные сидели свинцовыми истуканами и ненавидели его. И разве не этого толкового мальчика вы лупцевали и мучили после уроков? Конечно, его. Мы все должны быть на одно лицо. Никто не рождается свободным и равным, как гласит Конституция, все делается равными. Если каждый — зеркальное отражение всех остальных, тогда и счастливы все без исключения, потому что вокруг нет горных вершин, заставляющих людей съезживаться от страха, потому что не с кем мериться ростом. Вот так-то! А книга — это заряженное ружье в доме соседа. Сожги ее! Разряди ружье! Проломи соседу череп! Кто знает, кому выпадет стать мишенью для начитанного человека? Может быть, мне? Нет, я и минуты среди этой публики не выдержал бы! В общем, когда в конечном итоге дома сделали абсолютно огнеупорными, то необходимость в использовании пожарных на прежний манер отпала по всему миру, — ты был прав вчера вечером, предположив, что раньше пожарные действительно тушили пожары. Им дали новую работу, они стали хранителями нашего душевного равновесия, средоточием нашего вполне понятного

и законного страха оказаться неполноценными, они стали нашими официальными цензорами, судьями и исполнителями приговоров. Таков ты, Монтаг, и таков я.

Дверь в гостиную открылась, и на пороге застыла Милдред; она долго смотрела на них, сначала разглядывала Битти, затем Монтага. За ее спиной стены комнаты заливали желтые, зеленые, оранжевые фейерверки, они шипели и разрывались под музыку, в которой звучали почти исключительно ударные, тамтамы и цимбалы. Рот Милдред шевелился, она что-то говорила, но звук музыки покрывал все.

Битти выбил трубку в розовую ладонь и принялся внимательно разглядывать пепел, словно это был некий символ, в котором надлежало разобраться и найти скрытый смысл.

— Ты должен понять — наша цивилизация настолько обширна, что мы не можем допустить волнений и беспорядков среди наших меньшинств. Спроси себя, чего бы мы хотели в нашей стране прежде всего? Люди хотят быть счастливыми. Разве не так? Разве не это ты слышишь всю свою жизнь? «Хочу быть счастливым», — говорит каждый. Ну и что, разве они несчастны? Разве мы не держим их в постоянном движении, не даем им развлечений? Ради этого мы и живем, правильно? Ради удовольствия, ради острых ощущений, так? И ты должен признать, что наша культура предоставляет все это в избытке.

— Да.

Монтаг был способен прочесть по губам, что именно говорит Милдред, стоя в дверном проеме. Он старался не смотреть на ее рот, потому что Битти в этом случае мог, чего доброго, обернуться и прочитать то же самое.

— Цветным не нравится «Маленький черный Самбо». Сжечь ее. Белым не по себе от «Хижины дяди Тома». Сжечь ее. Кто-то написал книгу о табаке и раке легких? Сigaretная публика плачет? Сжечь эту книгу. Безоблачность, Монтаг. Спокойствие духа, Монтаг. Выпихни весь

разлад наружу. А еще лучше — отправь его в печь! Похороны? Невеселая штука и к тому же языческая. Упраздним и их. Человек умирает, и через пять минут он уже на пути в Большой Дымоход, вертолеты обслуживают Печи по всей стране. Через десять минут после смерти человек — всего лишь мазок черной пыли. Нечего жонглировать воспоминаниями о почивших. Забудем их. Сожжем всех, сожжем все. Огонь яростен, и огонь чист.

Фейерверки в гостиной за спиной у Милдред погасли. В то же самое время, по чудесному совпадению, она умолкла. Монтаж затаил дыхание.

— В соседнем доме жила девушка, — медленно произнес он. — А теперь она исчезла. Думаю, умерла. Я даже не помню ее лица. Но она отличалась от всех. Как... как это с ней случилось?

Битти улыбнулся.

— Здесь ли, там ли, но такое должно происходить. Кларисса Макклеллан? У нас заведено досье на ее семью. Мы внимательно за ними наблюдали. Наследственность и среда — забавные вещи. За какие-нибудь несколько лет не так-то просто избавиться от всех чудаков. Домашнее окружение может сильно испортить то, что пытается сделать школа. Вот почему мы год за годом снижали возраст приема в детские сады и теперь хапаем детишек едва ли не из колыбели. У нас было несколько ложных вызовов по Макклелланам, когда они жили в Чикаго. Мы так и не нашли у них хотя бы одной книги. В досье на дядю много чего есть, антиобщественный элемент. Сама девушка? Это была бомба замедленного действия. Судя по тому, что я видел в ее школьном досье, семья активно подпитывала ее подсознание, тут сомнений нет. Она вовсе не хотела знать, как сделана та или иная вещь, ее интересовало — почему. Это сильно портит жизнь. Ты спрашиваешь «почему» да «отчего» по поводу всего на свете и в итоге навлекаешь на себя кучу неприятностей, если не умеешь

остановиться. Для этой несчастной девочки даже лучше, что она умерла.

— Да, умерла.

— К счастью, чудилы, подобные ей, встречаются не часто. Мы знаем, как подавлять такие вещи в зародыше, на самой ранней стадии. Нельзя построить дом без дерева и гвоздей. Если ты не хочешь, чтобы дом был построен, спрячь гвозди и дерево. Если ты не хочешь, чтобы политика оборачивалась для человека бедой, сделай так, чтобы он не ломал голову, разглядывая дело с плохой и хорошей стороны. Покажи ему только одну сторону. А еще лучше — не показывай ни одной. Пусть он забудет, что на свете есть такая вещь, как война. Если правительство неэффективно, неустойчиво и помешалось на налогах, то пусть уж лучше оно таким и остается, чем народ начнет беспокоиться из-за всего этого. Душевное спокойствие, Монтаг. Дай народу всякие соревнования, пусть выигрывают те, кто помнит больше текстов популярных песен, или названий столиц штатов, или знает, сколько кукурузы вырастили в Айове в прошлом году. Впихивай в головы людей несгораемую информацию, набивай их под завязку «фактами», так, чтобы их распирало от этих проклятых фактов, но чтобы при этом они считали себя «блестяще информированными». Они почувствуют, будто они думают, у них возникнет ощущение движения, хотя никакого движения и не будет. И тогда они будут счастливы, потому что те факты, которыми их набили, никогда не меняются. Не давай им такие скользкие материи, как философия или социология, которые увязывают вещи воедино. Это прямой путь к меланхолии. Каждый мужчина, который может разобрать телестену и потом собрать ее — а в наши дни на это способны большинство мужчин, — куда счастливее человека, который пытается подойти к вселенной с логарифмической линейкой, исчислить ее, измерить и выразить в уравнениях, поскольку вселенную

невозможно измерить и исчислить без того, чтобы человек не ощутил при этом своей звериной сущности и одиночества. Я знаю, я пытался решать эти уравнения; ну их к черту! Так пусть будут клубы и вечеринки, акробаты и фокусники, отчаянные гонщики, реактивные машины, мотоциклетные вертолеты, секс и героин — пусть будет больше всего, что требует простых автоматических рефлексов! Если спектакль плох, если фильм ни о чем мне не говорит, если пьеса пуста, тогда ужальте меня антенной терменвокса¹, да так, чтобы звук был громким. Я подумая, будто откликнулся на пьесу, а на самом деле мои дерганья — всего лишь осязательная реакция на механические колебания. Но мне все равно. Я просто-напросто люблю ощутимые развлечения.

Битти поднялся.

— Мне пора идти. Лекция окончена. Надеюсь, я прояснил кое-что. Тебе важно помнить, Монтаг, что мы — Счастливые Ребята, Дуэт Зазывал, я имею в виду нас с тобой, но и все остальные наши тоже такие. Мы стоим против кучки тех, кто своими противоречивыми теориями и идеями хочет сделать всех несчастными. Мы затыкаем пальцами дырки в плотине. И держим там пальцы крепко. Не позволяй потоку меланхолии и мрачной философии затопить наш мир. Мы все зависим от тебя. Я думаю, ты и не представляешь себе, насколько важен ты лично, насколько важны мы все для того, чтобы наш счастливый мир оставался таким и впредь.

Битти пожал вялую руку Монтага. Тот недвижно сидел в кровати, словно дом собирался рухнуть ему на голову,

¹ Терменвокс — электромузыкальный инструмент, изобретенный в 1920 году советским физиком и музыкантом Львом Сергеевичем Терменом (р. 1896). В 1931—1938 гг. Л. С. Термен был директором акционерного общества по производству электромузыкальных инструментов в США. Высота звука и громкость терменвокса изменяются в зависимости от расстояний между руками исполнителя и антеннами инструмента.

а он был не в силах пошевелиться. Милдред испарилась из дверей.

— И последнее, — сказал Битти. — У каждого пожарного по крайней мере раз за время его карьеры вдруг начинает чесаться. Что же такое говорится в книгах? — задумывается он. Ох, как бы почесаться, чтобы унять этот зуд, а? Поверь мне на слово, Монтаг, в свое время я прочитал немало книг, чтобы понять, чем же я все-таки занимаюсь, так вот, в них ни о чем не говорится! Ничего такого, во что можно поверить или что можно передать другим. Если это художественная проза, то книги рассказывают о несуществующих людях, там одни причуды воображения. Если же это научная или документальная литература, тогда и того хуже: один профессор называет другого идиотом, один философ забывает слова другого ему же в глотку. И все мечутся — ах, гаснут звезды, ах, заходит солнце. Почитаешь — и ум за разум заходит.

— Ну хорошо, а если пожарный случайно, без всяких особых намерений возьмет домой какую-нибудь из книг?

Монтага передернуло. Открытая дверь смотрела на него своим огромным пустым глазом.

— Естественная ошибка. Чистое любопытство, — ответил Битти. — Мы чрезмерно не беспокоимся по этому поводу, не сходим с ума. Пусть пожарный подержит у себя книгу двадцать четыре часа. Если к исходу суток он ее не сжигает, то мы просто приходим и делаем это вместо него.

— Да, конечно. — Во рту у Монтага пересохло.

— Ладно, Монтаг. Может быть, выйдешь сегодня полोजе, в ночную смену? И тогда увидимся вечером?

— Не знаю, — сказал Монтаг.

— Что? — На лице Битти отразилось легкое удивление.

Монтаг закрыл глаза.

— Я приду попозже. Наверное.

— Если ты сегодня не покажешься, нам тебя будет явно не хватать, — сказал Битти, задумчиво кладя трубку в карман.

«Я никогда больше не приду», — подумал Монтаг.
— Поправляйся и больше не болей, — сказал Битти.
Он повернулся и вышел через открытую дверь.

Монтаг наблюдал в окно, как отъезжает Битти в своем блестящем, цвета желтого пламени «жуке» с угольно-черными шинами.

На другой стороне улицы далеко тянулись дома с плоскими фасадами. Как это сказала Кларисса однажды днем? «Нет больше парадных крылечек. Мой дядя говорит, что раньше они были. И люди сидели там иногда по вечерам; если им хотелось разговаривать — разговаривали, а если не хотелось — качались в креслах-качалках и молчали. Порой они просто сидели там и думали о разном, перебирая в уме всякие вещи. Дядя говорит, что архитекторы избавились от парадных крылечек, потому что они плохо смотрелись. Но еще дядя говорит, что это объяснение придумали позднее, а скрытая причина, довольно глубоко запрятанная, возможно, заключалась в том, что архитекторы не желали, чтобы люди просто так сидели на своих крылечках, ничего не делали, качались, разговаривали — это считалось дурной разновидностью социальной жизни. Люди слишком много разговаривали. И у них было время для размышлений. Поэтому они сбежали вместе со своими крылечками. И со своими садами. Не так уж много осталось садиков, где можно посидеть. А посмотрите на мебель. Кресел-качалок больше нет. Они слишком удобны. Пусть люди не расслаиваются, а больше бегают. Мой дядя говорит... и еще... дядя говорит... и еще... мой дядя...» Голос Клариссы затих.

Монтаг повернулся и взглянул на жену — она сидела посреди гостиной и разговаривала с диктором, а тот, в свою очередь, разговаривал с ней.

— Госпожа Монтаг... — говорил диктор. То, се, пятнадцатое.

— Госпожа Монтаг... — И другие слова, уже совершенно о другом. Конвертерная приставка, обошедшаяся им в сто долларов, автоматически вставляла имя жены всякий раз, когда диктор, обращаясь к анонимной аудитории, делал небольшую паузу, куда можно было вставить соответствующие слоги. Другое специальное устройство, точно-волновой скрэмблер, так изменяло телевизионное изображение непосредственно вокруг губ диктора, что казалось, будто его рот самым прекрасным образом произносит именно те гласные и согласные, которые составляют требуемое имя. Да, это был друг, вне всякого сомнения, самый настоящий друг.

— Госпожа Монтаг... — произнес Монтаг. — А теперь посмотрите сюда.

Голова Милдред повернулась, хотя было совершенно очевидно, что она не слушает.

— От того, чтобы не пойти на работу сегодня, всего один шаг, чтобы не ходить туда и завтра, чтобы вообще больше не появляться на пожарной станции, — проговорил Монтаг.

— Но ведь ты же пойдешь на работу сегодня вечером, разве нет? — спросила Милдред.

— Я еще не решил. Сейчас у меня ужасное ощущение — хочется крушить и убивать.

— Возьми «жука».

— Нет, спасибо.

— Ключи от «жука» на ночном столике. Когда у меня такое состояние, мне всегда хочется мчаться как можно быстрее. Довожу скорость до девяноста пяти миль и чувствую себя прекрасно. Порой гоняю так всю ночь, а когда возвращаюсь, ты знать ничего не знаешь. За городом очень забавно. Давишь кроликов, иногда сбиваешь собак. Возьми «жука».

— Нет, не хочу, не сейчас. Пусть это веселенькое чувство остается подольше. Господи, как же меня разобрало! Не знаю, что со мной. Я себя чувствую чертовски несчастным, я просто взбешен и не пойму отчего. Такое ощущение

ние, будто я набираю вес. Словно я ожирел. Словно я копил в себе много всего, а вот что именно — не знаю. Я, может быть, даже начну читать книги.

— Тебя посадят в тюрьму, ведь посадят, да? — Милдред смотрела на него так, словно он находился за стеклянной стеной.

Монтаг начал одеваться, беспокойно бродя по спальне.

— Да, посадят, и, может быть, это неплохая идея. Пока я кого-нибудь не покалечил. Ты слышала Битти? Ты слушала, что он говорил? Он знает ответы на все вопросы. И он прав. Счастье — очень важная вещь. Удовольствия — это все. И тем не менее я сидел там в кровати и все повторял про себя: «Я несчастлив, я несчастлив».

— А вот Я счастлива! — Рот Милдред просигналил ослепительной улыбкой. — И горжусь этим!

— Я должен что-то сделать, — продолжал Монтаг. — Еще не знаю, что именно. Я должен сделать что-то большое.

— Я устала слушать эту ерунду, — заявила Милдред и снова отвернулась от Монтага к диктору.

Монтаг коснулся регулятора громкости на стене, диктор потерял дар речи.

— Милли? — Монтаг осекся. — Это твой дом, так же как и мой. Я полагаю, будет справедливо, если я тебе кое-что сейчас расскажу. Надо было сделать это раньше, но я даже сам себе не мог признаться. Я хочу, чтобы ты увидела кое-что, что-то такое, что я откладывал и прятал весь прошедший год, мало-помалу, по штучке, раз за разом, сам не знаю зачем, но я делал это и ничего тебе не говорил.

Он взялся за стул с прямой спинкой, медленно и спокойно передвинул его в прихожую, к самой входной двери, залез на него и несколько секунд стоял не двигаясь, как статуя на пьедестале. Его жена застыла внизу в выжидании. Монтаг протянул руку, отодвинул решетку вентиляционной системы, пошарил внутри справа, отодвинул еще один металлический лист и вытащил книгу. Не глядя на облож-

ку, он бросил ее на пол. Снова запустил руку вглубь, извлек еще две книги, опустил руку и бросил две книги на пол. Он продолжал двигать рукой и бросать книги — маленькие, довольно большие, желтые, красные, зеленые. Когда он закончил и посмотрел вниз, то увидел, что у ног жены их лежало не меньше двадцати.

— Извини, — сказал он. — Я не очень-то задумывался. А теперь получается, что мы оба замешаны в этом.

Милдред отпрянула, будто внезапно натолкнулась на целую стаю мышей, выбежавшую из-под пола. Монтэг слышал быстрое дыхание жены, ее лицо побледнело, а глаза расширились и застыли в орбитах. Она произнесла его имя — раз, другой, третий. Затем, проронав, она подбежала, схватила первую попавшуюся книгу и бросилась к кухонному мусоросжигателю.

Монтэг перехватил ее, она завизжала. Он держал жену, а она пыталась вырваться, царапая его кожу.

— Нет, Милли, нет! Подожди! Перестань, прошу тебя! Ты же ничего не знаешь... Перестань! — Он дал ей пощечину, схватил за плечи и встряхнул.

Она снова произнесла его имя и разрыдалась.

— Милли! — позвал он. — Послушай. Дай мне одну секунду, хорошо? Мы уже ничего не можем поделать. Мы не можем их сжечь. Я хочу заглянуть в них, заглянуть хотя бы по разу. И тогда, если то, что говорил Капитан, — правда, мы сожжем их вместе, поверь мне, мы сожжем их вместе. Ты должна помочь мне! — Он заглянул ей в лицо, взял за подбородок и крепко сжал пальцы. Он смотрел не только на жену, в ее лице он пытался отыскать себя, найти ответ на вопрос, что он должен делать дальше.

— Нравится нам это или нет, но мы завязли по уши. Все эти годы я не требовал от тебя многого, а сейчас прошу, даже умоляю. Мы должны с чего-то начать, мы должны разобраться, как мы оказались во всей этой каше — ты и твои ночи с лекарствами, машина, я со своей работой.

Мы мчимся прямо к обрыву, Милли! Боже, но я не хочу срываться вниз! Нам будет нелегко. Непонятно, ради чего продолжать такую жизнь, но, может быть, нам удастся разложить все по кусочкам, подумать над каждым и помочь друг другу. Не могу даже выразить, как ты мне сейчас нужна! Если ты меня хоть сколько-нибудь любишь, то смирись с этим, потерпи немного, двадцать четыре или сорок восемь часов — вот то, о чем я тебя прошу, и после этого все кончится, обещаю. Клянусь! И если здесь есть хоть что-то, если в этой куче найдется хоть одна дельная крупица, мы, пожалуй, сможем передать ее кому-нибудь еще.

Милдред больше не сопротивлялась, и он отпустил ее. Она мешком отвалилась от мужа, съехала по стене и села на пол, не сводя глаз с книг. Ее ступня коснулась одной из них, она заметила это и тут же отдернула ногу.

— Та женщина, прошлой ночью, ты ведь не была там, Милли. Ты не видела ее лица. И Кларисса. Ты никогда не говорила с ней. А я говорил. Такие парни, как Битти, боятся ее. Я не могу этого понять. Почему они должны бояться людей, подобных Клариссе? Вчера вечером я все сравнивал ее с пожарными на станции и неожиданно понял, что они мне вовсе не нравятся, да и сам я себе больше не нравлюсь. И я подумал — может, было бы к лучшему, если бы сами пожарные сгорели в огне.

— Гай!

Парадная дверь тихо позвала:

«Госпожа Монтаг, госпожа Монтаг, кто-то пришел, кто-то пришел, госпожа Монтаг, госпожа Монтаг, кто-то пришел...»

Очень тихо позвала.

Они повернулись и устались на дверь, на книги, валявшиеся на полу, на кучи книг повсюду.

— Битти! — сказала Милдред.

— Вряд ли это он.

— Он вернулся! — прошептала она.

Парадная дверь снова тихо сообщила:

«...кто-то пришел».

— Мы не будем отвечать.

Монтаг прислонился к стене, потом медленно опустил-ся на корточки и начал в замешательстве передвигать книги, подталкивая их то большим пальцем, то указательным. Он дрожал, больше всего ему хотелось снова засунуть книги в вентиляционную трубу, но он знал, что не в силах оказаться лицом к лицу с Битти еще раз. Он посидел на корточках, а затем опустился на пол, голос парадной двери опять зазвучал, на этот раз более настойчиво. Монтаг подобрал с пола маленький томик.

— С чего начнем? — Он раскрыл книгу на середине и впился взглядом в страницу. — Пожалуй, начнем с начала.

— Он войдет и сожжет нас вместе с этими книгами! — сказала Милдред.

Голос парадной двери наконец смолк. Наступила тишина. Монтаг ощущал чье-то присутствие за дверью, кто-то выжидал там, прислушиваясь. Затем послышались шаги — кто-то прошел, удаляясь, по дорожке и пересек газон.

— Давай посмотрим, что здесь написано, — сказал Монтаг.

Он выговорил эти слова с запинкой, испытывая страшное смущение. Прочитал с десятков страниц, открывая книгу в разных местах, и наконец добрался до следующего куска:

«Насчитывают до одиннадцати тысяч фанатиков, которые пошли на смертную казнь за отказ разбивать яйца с острого конца»¹.

Милдред сидела в прихожей напротив него.

— Что это значит? В этом вообще нет никакого смысла. Капитан был прав!

— Ну-ну, — сказал Монтаг. — Попробуем еще раз, начнем с самого начала.

¹ Строки из «Путешествий Лемюэля Гулливера» Джонатана Свифта (часть 1, «Путешествие в Лилипутию», глава 4). Перевод Б. М. Энгельгардта.

Часть II

СИТО И ПЕСОК

Весь долгий день напролет они читали, а холодный ноябрьский дождь падал с неба на молчащий дом. Они сидели в прихожей, потому что гостиная была такой пустой, выглядела такой серой с выключенной стеной — не светились оранжевые и желтые конфетти, не взлетали ракеты, и не было женщин в платьях из золотой паутины, и мужчины в черном бархате не извлекали стофунтовых кроликов из серебряных шляп. Гостиная была мертва, и Милдред, с ничего не выражающим лицом, все заглядывала и заглядывала туда, а Монтэг вскакивал, ходил взад-вперед по прихожей, возвращался, садился на корточки и снова читал какую-нибудь страницу, иногда десять раз подряд, обязательно вслух.

«Мы не можем сказать, в какой точно момент зарождается дружба. Когда капля за каплей наполняешь сосуд, в конце всегда бывает капля, от которой влага переливается через край; так и с вереницей одолжений — в конце концов делается такое, от которого переполняется сердце»¹.

Монтэг сидел, прислушиваясь к дождю.

— Может, именно это и происходило с соседской девушкой? Я изо всех сил пытался разобраться в ней.

¹ Строки из книги английского писателя Джеймса Босуэлла (1740—1795) «Жизнь Сэмюэла Джонсона» (1791). Перевод В. Т. Банко.

— Она мертва. Ради бога, давай поговорим о ком-нибудь живом.

Монтаг даже не повернулся к жене; весь трясясь, он прошел через прихожую на кухню и в ожидании, пока утихнет дрожь, долго стоял там, наблюдая, как дождь барабанит по окнам, затем в сером полусвете вернулся в прихожую.

Он открыл еще одну книгу.

— «Моя излюбленная тема — Я Сам»¹.

Монтаг прищурился, глядя на стену.

— «Моя излюбленная тема — Я Сам».

— Вот это я понимаю, — сказала Милдред.

— Но для Клариссы излюбленной темой была вовсе не она сама, а все остальные люди, включая меня. За много-много лет она была первой, кто мне действительно понравился. Из всех, кого я помню, она единственная смотрела на меня, не отводя глаз, — так, словно я чего-нибудь стою. — Он подобрал с пола две книги. — Эти люди уже давно мертвы, но я знаю, что их слова так или иначе указывают на Клариссу.

Тихое царапанье под дождем за дверью.

Монтаг похолодел. Он увидел, как Милдред, ловя ртом воздух, вжимается в стену.

— Кто-то... дверь... почему дверной голос не говорит нам...

— Я его выключил.

Внизу, в щели под дверью, — мерное пытливое принюхивание, выдох электрического пара.

Милдред рассмеялась.

— Это всего-навсего собака, вот в чем дело! Хочешь, я ее прогоню?

— Стой где стоишь!

Тишина. Падает холодный дождь. Из-под запертой двери тянет запахом синего электричества.

¹ Фраза из произведения Джеймса Босуэлла «Письмо к Темплу» (1763).

— Вернемся к работе, — негромко сказал Монтаг.

Милдред пинком отбросила книгу.

— Книги — это не люди. Ты читаешь, а я смотрю по сторонам — и вокруг никого нет!

Монтаг уставился на гостиную — мертвую и серую, как воды океана, готового взбурлить жизнью, лишь только они включают электронное солнце.

— А вот моя «семья» — это люди, — сказала Милдред. — Они рассказывают мне разные вещи — я смеюсь, они смеются. А цвета какие!

— Да, знаю.

— И кроме того, если бы Капитан Битти узнал про эти книги... — Она задумалась, ее лицо приняло изумленное выражение, которое сменилось ужасом. — Он пришел бы сюда и сжег бы дом и всю «семью». Это ужасно! Подумай только, сколько денег мы вложили! Зачем мне читать? Ради чего?

— Зачем? Ради чего? — повторил Монтаг. — Той ночью я видел самую дьявольскую змею на свете. Она была мертва, но в то же время жива. Она могла видеть, но видеть не могла. Хочешь посмотреть на эту змею? Она в больнице «Скорой помощи», где уже составлен отчет по всей той дряни, что змея из тебя высосала! Хочешь сходить и проверить правильность отчета? Возможно, надо посмотреть под именем Гай Монтаг, а может быть — в разделах «Страх» или «Война». Хочешь сходить к тому дому, что сторел прошлой ночью? Поискать в пепле кости женщины, которая подожгла свое собственное жилище? А как насчет Клариссы Макклеллан? Где мы будем разыскивать ее? В морге?.. Слышишь?!

Пересекая небо, над домом шли бомбардировщики, и шли по небу, и шли — тяжело дыша, бормоча, свистя, словно в пустоте кружился огромный невидимый вентилятор.

— Господи Иисусе! — воскликнул Монтаг. — Что ни час, эти чертовы штуки появляются в небе, и как мно-

го! Какого дьявола бомбардировщики висят над головой каждую секунду нашей жизни! Почему никто не хочет об этом говорить? С 1990 года мы начали и выиграли две атомные войны! Не потому ли, что, имея столько развлечений у себя дома, мы совсем забыли о внешнем мире? Мы так богаты, а все остальные в мире так бедны — не потому ли нам и дела нет ни до кого? До меня доходили слухи, что мир голодает, но мы-то сыты! Правда ли, что мир трудится в поте лица, а мы лишь весело играем? Не поэтому ли нас так ненавидят? До меня доходили слухи и о ненависти, но это бывало нечасто и много лет назад. Ты сама-то знаешь почему? Я не знаю, это уж точно. Может быть, как раз книги и вытащат нас из пещеры, хотя бы наполовину? Они просто могли бы возбранить нам делать одни и те же безумные ошибки, черт побери! Что-то я не слышал, чтобы эти идиотские ублюдки в твоей гостиной обсуждали такие вещи. Боже, Милли, неужели ты не видишь? Всего час в день, ну два часа, проведенные с этими книгами, — и может быть...

Зазвонил телефон. Милдред схватила трубку.

— Энн! — засмеялась она. — Да, сегодня вечером идет «Белый Клоун».

Монтаг ушел на кухню и бросил книгу на стол.

«Монтаг, — сказал он себе, — ты действительно глуп. Что будем делать дальше? Сдадим книги и забудем обо всем?»

Он раскрыл книгу, чтобы чтением отвлечься от смеха Милдред. Бедная Милли, подумал он. Бедный Монтаг, ведь для тебя это тоже муть. Но откуда взять помощь, где найти учителя, в твои-то годы?

Постой, постой. Он закрыл глаза. Да, конечно. Он снова поймал себя на том, что думает о встрече в зеленом парке год назад. За последнее время эта мысль всплывала часто, а сейчас Монтаг отчетливо вспомнил, что именно произошло в тот день в городском парке, когда он увидел, как

старик в черном костюме что-то быстро спрятал в карман пальто.

...Старик вскочил, словно собрался бежать.

— Подождите! — воскликнул Монтаг.

— Я ничего не сделал! — закричал старик, весь дрожа.

— Никто и не говорит, будто вы что-то сделали.

Некоторое время они сидели в мягком зеленом свете, не произнося ни слова, а затем Монтаг заговорил о погоде, и чуть позже старик ответил ему тусклым голосом. Это была странная и тихая встреча. Старик признался, что был оставленным профессором, преподавателем английского языка, которого вышвырнули на улицу сорок лет назад, когда последний колледж гуманитарных наук закрылся из-за отсутствия студентов и финансовой поддержки. Старика звали Фабер, и когда его страх перед Монтагом пропал, он заговорил мерным голосом, поглядывая на небо, на деревья, на зеленый парк, и так пролетел целый час, а потом старик сказал что-то Монтагу, и Монтаг почувствовал, что это нерифмованное стихотворение. Затем старик осмелел сильнее прежнего и прочитал что-то еще, и это тоже было стихотворение. Фабер держал руку на левом кармане пальто и выговаривал слова с нежностью, и Монтаг знал — если он протянет руку, то сможет вытащить из кармана пальто этого человека книгу поэзии. Но он не пошевелился. Руки Монтага, бесполезные и онемевшие, оставались на его коленях.

— Я говорю не о вещах, сэр, — продолжал Фабер. — Я говорю о смысле вещей. Вот я сижу здесь и знаю — я жив.

Вот, в сущности, и все, что тогда было. Час монолога, стихи, комментарий, а затем Фабер, хотя никто из них не утверждал, что Монтаг был пожарным, с некоторой дрожью записал на клочке бумаги свой адрес.

— Для вашего досье, — сказал он, — на тот случай, если вы решите на меня рассердиться.

— Я не сержусь, — сказал Монтаг, удивившись.

В прихожей Милдред заходила визгливым смехом.

Монтаг подошел к стенному шкафу в спальне и стал перебирать портативную картотеку, пока не нашел заголовков «БУДУЩИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ (?)». Под ним было имя Фабера. Монтаг не стал тогда на него доносить, но и не стер запись.

Он набрал номер на вспомогательном телефонном аппарате. Телефон на другом конце линии раз десять произнес имя Фабера, прежде чем в трубке зазвучал слабый голос профессора. Монтаг представился, наступило долгое молчание.

— Да, господин Монтаг?

— Профессор Фабер, у меня к вам довольно странный вопрос. Сколько экземпляров Библии осталось в этой стране?

— Не понимаю, о чем вы говорите!

— Я хочу знать, остались ли хоть какие-нибудь экземпляры вообще?

— Это какая-то ловушка! Я не могу разговаривать по телефону с кем попало!

— Сколько осталось книг Шекспира или Платона?

— Ни одной! Вы знаете это не хуже меня. Ни одной!

Фабер отключился.

Монтаг положил трубку. Ни одной. Факт, который он, конечно же, и сам знал из тех списков, что вывешивались на пожарной станции. Но почему-то ему хотелось услышать это от самого Фабера.

В прихожей он увидел Милдред с раскрасневшимся от возбуждения лицом.

— Сегодня к нам придут дамы!

Монтаг показал ей книгу.

— Это Ветхий и Новый Завет и...

— Не начинай все сначала!

— Возможно, это последний экземпляр в нашей части света.

— Ты должен сдать ее сегодня вечером, не так ли? Капитан Битти знает, что она у тебя, правильно?

— Не думаю, чтобы он знал, какую именно книгу я украл. Но что выбрать взамен? Отнести господина Джефферсона? Или господина Торо? Какая из книг наименее ценна? Если я выберу замену, а Битти знает, что именно я украл, он предположит, что у нас здесь целая библиотека!

У Милдред скривился рот.

— Ты сознаешь, что делаешь? Ты нас погубишь! Что для тебя важнее — я или эта Библия?

В ее голосе снова появились визгливые нотки, она сидела в прихожей, как восковая кукла, тающая от собственного тепла.

Монтаг так и слышал голос Битти:

«Садись, Монтаг. Смотри. Берем нежно-нежно, словно это лепестки цветка. Зажигаем первую страницу, зажигаем вторую страницу. Каждая становится черной бабочкой. Красиво, а? От второй страницы зажигаем третью и так далее, как сигареты, одна от другой, главу за главой, все глупости, обозначаемые словами, лживые обещания, подержанные идеи, обветшалую философию...»

Он так и видел, как перед ним сидит слегка вспотевший Битти, а пол усеян роями черных мотыльков, погибших в огненной буре.

Милдред перестала визжать так же внезапно, как и начала. Монтаг не слушал ее.

— Остается только одно, — сказал он. — До вечера, до того, как я отдам книгу Битти, мне придется изготовить дубликат.

— Ты будешь дома, когда начнется «Белый Клоун» и к нам придут дамы? — прокричала Милдред.

Монтаг остановился в дверях, спиной к жене.

— Милли?

Тишина.

— Что?

— Скажи, Милли, Белый Клоун тебя любит?

Нет ответа.

— Милли, а... — Он облизнул губы. — А «семья» тебя любит? Очень любит? Всей душой и сердцем, Милли?

Монтаг ощутил, что она, медленно моргая, смотрит ему в затылок.

— Почему ты задаешь такие глупые вопросы?

Он почувствовал, что ему хочется плакать, но знал, что его глаза и рот не поддадутся.

— Если увидишь снаружи эту собаку, — сказала Милдред, — дай ей от меня хорошего пинка.

Он помедлил, прислушиваясь возле двери, затем открыл ее и ступил за порог.

Дождь перестал, в ясном небе солнце клонилось к закату. И улица, и газон, и крыльцо были пусты. Он позволил своей груди с облегчением выпустить воздух.

И захлопнул за собой дверь.

Монтаг ехал в метро.

Я онемел, думал он. Когда же началось это онемение? Когда оно охватило лицо? А тело? Я знаю, в ту ночь, когда я впотьмах дал ногой по флакону с таблетками, словно пнул присыпанную землей мину.

Онемение пройдет, думал он дальше. Потребуется время, но я с этим справлюсь, или же мне поможет Фабер. Кто-нибудь где-нибудь вернет мне прежнее лицо и прежние руки, и они станут такими, какими были. А сейчас даже улыбка, думал он, старая, вьющаяся с копотью улыбка, и та исчезла. Без нее я пропал.

Стены тоннеля убегали прочь, кремовая плитка, угольно-черная, кремовая плитка, угольно-черная, цифры и темнота, плюс еще темнота, итог складывался сам собой.

Однажды ребенком, в разгар жаркого, синего летнего дня, он сидел у моря на гребне желтой дюны и пытался наполнить сито песком, потому что кто-то из жестоких дво-

юродных братьев сказал ему: «Наполнишь сито, получишь десять центов». И чем быстрее он сыпал, тем быстрее песок с жарким шепотом уходил сквозь сито. Его руки устали, песок кипел в ладонях, а сито оставалось пустым. Он беззвучно сидел там, посреди июля, и чувствовал, как слезы ползут по его щекам.

Теперь, когда вакуумная подземка несла его, безжалостно тряся, сквозь мертвые подвалы города, ему вспомнилась ужасная логика того сита, он опустил глаза и увидел, что держит в руках раскрытую Библию. В поезде воздушной тяги были люди, а он держал книгу у всех на виду, и ему в голову вдруг пришла нелепая мысль, что если читать быстро и прочесть все, то, может быть, немного песка все же останется в сите. Он стал читать, но слова проваливались, и он подумал: еще несколько часов, и все кончится, вот Битти, а вот я, и я отдаю ему книгу навсегда, поэтому ни одна фраза не должна ускользнуть, я обязан выучить наизусть каждую строчку. И я заставлю себя это сделать!

Он стиснул книгу в ладонях.

Ревели трубы.

— Зубная паста «Денем»!

Заткнись, подумал Монтаг. Посмотрите на полевые лилии...

— Зубная паста «Денем»!

... Как они растут: не трудятся...¹

— Денем...

Посмотрите на полевые лилии, заткнись, заткнись!

— Зубная паста!

Монтаг рывком открыл книгу и стал быстро листать страницы, он ощупывал их, как слепой, и, не мигая, впитывал очертания отдельных букв.

— «Денем». По буквам: Д-Е-Н...

Они растут: не трудятся, ни...

¹ Монтаг цитирует Евангелие от Матфея: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут». (Мат. 6, 28)

Яростный шепот горячего песка, бегущего сквозь пустое сито.

— Паста «Денем» чистит что надо!

Посмотрите на полевые лилии, лилии, лилии...

— Зубное полоскание «Денем».

— Заткнись, заткнись, заткнись! — Это была мольба, крик, такой ужасный, что Монтаг сам не заметил, как вскочил на ноги; ошеломленные обитатели шумного вагона воззрились на него и стали медленно отодвигаться от этого человека с безумным, тошнотворным лицом, с пересохшим ртом, бормочущим невнятицу, с трепещущей страшицами книгой, зажатой в руке. Еще секунду назад эти люди спокойно сидели, отбивая ногами ритм: зубная паста «Денем», зубная паста «Денем», зубная паста, паста, для вашей пасти, пасти, зубное полоскание, зубная паста «Денем», ах, «Денем», «Денем», «Денем», и раз и два и три-и; и раз и два и три-и, и раз и два, и раз и два, и раз и два и три-и... А губы этих людей тихонько шлепали, выговаривая слова: паста-паста-паста. В отместку поездное радио обрушило на Монтага рвотную массу звуков, целую тонну музыки, сделанной из жести, меди, серебра, хрома и латуни. Громыканье вколачивало в людей покорность; никто никуда не бежал, потому что бежать было некуда: огромный воздушный поезд несея в горизонтальном падении по шахте, пробитой в земле.

— Полевые лилии.

— «Денем».

— Лилии, я сказал!

Люди изумленно смотрели на него.

— Вызовите охрану.

— Этот человек съехал с...

— Станция «Нолл Вью»!

Поезд зашипел, останавливаясь.

— «Нолл Вью»! — Крик.

— «Денем». — Шепот.

Губы Монтага еле шевелились:

— Лилии...

Двери поезда со свистом разъехались. Монтаг не двигался с места. Двери глубоко вздохнули и начали закрываться. Только тогда, расталкивая пассажиров и мысленно крича, прыгнул он к выходу — и вынырнул из вагона в самый последний момент, когда створки уже смыкались. Он помчался вверх по белым плиткам тоннеля, не обращая внимания на эскалаторы; ему хотелось почувствовать, как движутся ноги, как машут руки, как сжимаются и разжимаются легкие, как саднит горло от вдыхаемого воздуха. Его догнал голос: «Денем», «Денем», «Денем». По-змеиному зашипел поезд. И состав исчез в своей норе.

— Кто там?

— Монтаг.

— Что вы хотите?

— Впустите меня.

— Я ничего не сделал!

— Я один, черт побери!

— Клянётесь?

— Клянусь!

Парадная дверь медленно отворилась. Выглянул Фабер. При свете дня он выглядел очень старым и очень хрупким, и еще очень испуганным. У старика был такой вид, словно он много лет не выходил из дома. Его кожа и белые оштукатуренные стены были совершенно одного цвета. Белизна наполняла губы, лежала на щеках, волосы тоже были белые, а глаза выцветшие, и в них сквозь слабую голубизну проступал опять-таки белый цвет. Взгляд Фабера коснулся книги, которую Монтаг держал под мышкой, и старик сразу перестал казаться таким древним, даже хрупкости поубавилось. Страх его медленно проходил.

— Извините. Приходится быть осторожным.

Он смотрел на книгу у Монтага под мышкой и никак не мог оторвать от нее взгляда.

— Итак, это правда.

Монтаг переступил через порог. Дверь захлопнулась.

— Садитесь.

Фабер отступил, словно боясь, что книга исчезнет, едва он оторвет от нее взгляд. За его спиной была распахнутая дверь в спальню, и там виднелся стол, на котором в беспорядке валялись какие-то механизмы и стальные инструменты. Монтаг увидел все это мельком, ибо Фабер, как только заметил, куда обращено внимание гостя, быстро повернулся и закрыл дверь, но остался стоять возле нее, сжимаемая дрожащими пальцами круглую ручку. Он нерешительно перевел взгляд на Монтага, который уже сидел с книгой на коленях.

— Эта книга... где вы ее...

— Я ее украл.

Фабер в первый раз поднял глаза и посмотрел Монтагу в лицо.

— Вы смелый человек.

— Нет, — ответил Монтаг. — Моя жена умирает. Одна моя подруга уже мертва. А некая женщина, которая тоже могла бы стать моим другом, была сожжена заживо меньше суток назад. Вы единственный из известных мне людей, кто мог бы помочь мне. Прозреть. Прозреть...

Руки Фабера зудели на его коленях.

— Могу я?..

— Извините. — Монтаг протянул ему книгу.

— Прошло столько времени... Я не религиозный человек. Но ведь прошло столько времени. — Фабер стал перелистывать страницы, время от времени останавливаясь, чтобы прочитать несколько строчек. — Все такая же, какой я ее помню. Боже всемогущий, как же ее изменили в наших «гостиных»! Христос стал членом «семьи». Я часто задумываюсь: а узнаёт ли Господь Бог своего собственного

сына — ведь мы его так нарядили или, правильнее было бы сказать, подрядили? Сейчас он — все равно что паке-тик мятной жвачки, сплошь сахар и сахарин, если только не делает завуалированных намеков на определенные то-вары, которые каждому верующему ну просто абсолютно необходимы.

Фабер обнюхал книгу.

— Знаете ли вы, что книги пахнут мускатным орехом или какой-то пряностью из далекой страны? Ребенком я обожал нюхать книги. Господи, сколько же раньше было прелестных книг, до того как мы позволили им исчезнуть!

Он перелистнул страницу.

— Господин Монтаг, вы видите перед собой труса. Тогда, в те давние времена, я видел, к чему все идет. И ничего не говорил. Я был одним из тех невинных, кто мог бы громко и отчетливо возвысить голос, когда «виновных» никто уже не слушал, но я смолчал, и таким образом вина пала и на меня. И когда в конце концов они создали систему для сжигания книг с использованием пожарных, я немного поворчал и затих совсем, потому что к тому времени уже не осталось никого, кто мог бы ворчать или кричать вместе со мной. А сейчас уже поздно.

Фабер закрыл Библию.

— Ну что же... Я полагаю, вы расскажете, зачем вы сюда пришли?

— Никто больше никого не слышит. Я не могу говорить со стенами, потому что они орут на меня. Я не могу говорить с женой, потому что она слушает только стены. Я просто хочу, чтобы кто-нибудь послушал, что у меня есть за душой. И, может быть, если я буду говорить достаточно долго, в этом обнаружится какой-либо толк. И еще я хочу, чтобы вы научили меня понимать то, что я читаю.

Некоторое время Фабер изучал худое, с синеватыми скулами лицо Монтага.

— Что вас так взбудоражило? Что выбило факел из ваших рук?

— Не знаю. У нас есть все, что нужно для счастья, но мы несчастны. Чего-то недостает. Я огляделся по сторонам. Единственная вещь, о которой я точно знаю, что она ушла навсегда, это книги, которые я собственноручно сжег за последние десять или двенадцать лет. Вот я и подумал, что именно книги могли бы мне помочь.

— Вы безнадежный романтик, — сказал Фабер. — Это было бы смешно, если бы не было так серьезно. Не книги вам нужны, а кое-что из того, что когда-то было в книгах. Те же самые вещи могли бы и сегодня звучать в разговорах наших «родственников» из гостиных. Бесчисленные подробности жизни, ясное представление о том, что происходит вокруг, — все это могло бы проецироваться с помощью радио и телевидения, но... не проецируется. Нет-нет, то, что вы ищите, — это вовсе не книги! Извлекайте ответы из всего, что вам доступно, — из старых граммофонных пластинок, из старых кинофильмов, расспрашивайте старых друзей; ищите ответы в окружающей природе, ищите их в самом себе. Книги — всего лишь одно из хранилищ, куда мы складывали множество вещей, боясь, что сможем их забыть. В самих книгах вовсе нет ничего магического. Магия лишь в том, что книги говорят нам, в том, как они сшивают лоскутки вселенной в единое целое, чтобы получилось одеяние для всех нас. Ясное дело, вы и знать не могли ничего такого, и, конечно же, вы до сих пор не очень-то понимаете, что я имею в виду, говоря вам все эти вещи. Однако интуитивно вы избрали верную дорогу, а только это и имеет значение. Вам не хватает трех вещей.

Первая, — начал перечислять Фабер. — Знаете ли вы, почему книги, подобные этой, столь важны? Потому что у них есть качество. А что означает слово «качество»? Для меня оно означает фактуру книги, ее ткань. У этой книги есть поры. У нее есть отличительные признаки. Эту кни-

гу можно изучать под микроскопом. Там, под стеклом, вы найдете жизнь, которая будет пробегать перед вашими глазами в бесконечном разнообразии форм. И чем больше таких пор, чем больше лист бумаги содержит правдиво отображенных деталей жизни на один квадратный дюйм, тем более «литературно образованным» становитесь вы сами. Во всяком случае, я лично определяю это так. Сообщать детали. Свежие детали. Хорошие писатели часто прикасаются к жизни. Средние — мимолетно пробегают рукой по ее поверхности. Плохие же насилуют ее и оставляют на съедение мухам.

Итак, теперь вы понимаете, почему книги так ненавидимы и почему их так боятся? — спросил Фабер. — Они показывают поры на лице жизни. Люди, уютно устроившиеся в своих гнездышках, хотят видеть только восковые лунообразные лица — без пор, без волос, без выражений. Мы живем в такое время, когда цветы пытаются жить за счет других цветов, вместо того чтобы жить за счет доброго дождя и черной плодородной земли. А между тем даже фейерверки, при всей их красоте, порождены химией земли. И вот почему-то мы вообразили, будто можем расти, питаясь цветами и фейерверками, без того чтобы, завершив цикл, каждый раз возвращаться к реальности. Знаете ли вы легенду о Геркулесе и Антее? Антей был борцом великанского роста, и сила его превосходила все мыслимое, пока он твердо стоял на земле. Но когда Геркулес поднял его в воздух, лишив связи с почвой, сила Антея быстро иссякла, и он погиб. Если в этой легенде не содержится чего-то важного для нас, живущих сегодня, в этом городе, в эту эпоху, — значит, я окончательно сошел с ума. Итак, вот первая вещь, которой, как я уже сказал, нам не хватает. Качество информации, фактура информационной ткани.

— А вторая?

— Досуг.

— О, но ведь у нас куча свободного времени!

— Свободного времени — да. А времени думать? Если вы не гоните машину со скоростью сто миль в час, с такой скоростью, что у вас и мысли-то иной нет, кроме как об опасности, то играете в какую-нибудь игру или сидите в какой-нибудь гостиной, где с четырехстенным телевизором уже не поспоришь. Да и зачем? Ведь телевизор — это и есть «реальность». Она сиюминутна, она объемна. Телевизор говорит вам, о чем надлежит думать, и вколачивает это вам в голову. Он всегда и обязательно прав. Он выглядит таким убедительным. Он столь стремительно подводит вас к его собственным поспешным выводам, что вашему разуму просто не хватает времени возмутиться: «Какой вздор!»

— Только «семья» и есть настоящие «люди».

— Прошу прощения, не понял.

— Моя жена говорит, что книги — это не «реальность».

— И слава господу, что это так. Вы можете захлопнуть книгу и сказать ей: «Подожди минутку». Вы для нее — Бог. Но кто когда-либо вырывался из когтей, которые смыкаются на вас, когда вы бросаете зернышко в почву телевизионной гостиной? Зернышко тут же прорастает и принимает такую форму, какую захочет! Это среда, столь же реальная, как окружающий мир. Она становится истиной, она и есть истина. Сопротивление книги можно сломить, приводя доводы разума. Но со всеми моими знаниями и скептицизмом я ни разу так и не смог переспорить полноцветный, трехмерный симфонический оркестр из ста инструментов, гремящий в этих невероятных телегостиных и являющийся их составной частью. Как видите, моя гостиная — всего-навсего четыре обыкновенных оштукатуренных стены. А это, — Фабер протянул на ладони две маленькие резиновые затычки, — для моих ушей, когда я езжу в реактивных поездах метро.

— Зубная паста «Денем»... «Не трудятся, не прядут...» — произнес Монтаг, закрыв глаза. — Но что делать дальше? Помогут ли нам книги?

— Только в том случае, если мы заполучим третью необходимую вещь. Пункт первый, как я уже говорил, это качество информации. Пункт второй — досуг, чтобы переварить эту информацию. А пункт третий — право проводить определенные акции, основанные на том, что нам стало известно о взаимодействии первого и второго пунктов. И мне с трудом верится, что один очень старый человек и один скисший пожарный могут каким-то образом повлиять на ход матча сейчас, когда мяч уже давно в игре.

— Я могу доставать книги.

— Это большой риск.

— Когда человек умирает, в этом есть своя светлая сторона: поскольку тебе уже нечего терять, ты можешь пойти на какой угодно риск.

— Ага, вы сейчас сказали одну интересную вещь, — рассмеялся Фабер. — Сказали как по писаному, а ведь нигде не вычитали.

— Неужели подобные вещи есть в книгах? Я сказал, совершенно не задумываясь.

— Тем лучше. Значит, вы не придумали это специально для меня или для кого-то еще. Пусть даже для самого себя.

Монтаг подался вперед:

— Сегодня днем мне пришла вот такая мысль. Если получается, что книги и впрямь такая ценность, то мы могли бы раздобыть печатный станок и отпечатать некоторое количество экземпляров...

— Мы?

— Да, вы и я.

— О нет! — Фабер выпрямился на стуле.

— Позвольте хотя бы изложить вам мой план...

— Если вы будете настаивать на этом, мне придется просить вас уйти.

— Неужели вам — и неинтересно?

— Неинтересно, если вы хотите завести разговор такого рода, который приведет меня на костер лишь за то, что я

взял на себя труд выслушать вас. Возможно, я и выслушаю вас, но только в одном случае — если вы подскажите что-то такое, что позволило бы сжечь на костре саму систему пожарного дела. Ну, скажем, если вы предложите, что мы печатаем некоторое число книг и подкладываем их тайком в дома пожарных по всей стране, чтобы таким образом посеять семена сомнения среди самих поджигателей, я скажу вам — bravo!

— То есть подбросить книги, потом заявить на этих пожарных, поднять тревогу и глядеть, как горят их дома? Вы это хотите сказать?

Фабер поднял брови и посмотрел на Монтага так, будто увидел его заново.

— Это была шутка.

— Если вы думаете, будто этот план стоит того, чтобы попытаться его осуществить, то я бы хотел заручиться вашим словом, что он поможет что-то изменить.

— Такие вещи невозможно гарантировать! В конце концов, когда книг у нас было больше чем нужно, мы все равно из кожи лезли, чтобы найти самую высокую скалу и прыгнуть с нее. А сейчас нам нужна передышка. Нам очень нужны знания. И, может быть, через тысячу лет мы найдем для своих прыжков не столь высокие скалы. Книги должны напоминать нам, какие же мы ослы и дураки. Они — та самая преторианская гвардия Цезаря, которая шепчет императору, когда перед ним проходит ревуший триумфальный парад: «Помни, Цезарь, ты смертен». Большинство из нас не имеет возможности носиться с места на место, беседовать со всеми на свете, побывать во всех городах мира, у нас нет для этого ни времени, ни денег, ни такого количества друзей. Вещи, которые вы ищете, Монтаг, действительно существуют в мире, но способ, посредством которого обыкновенный человек может когда-либо познать девяносто девять процентов всего этого, только один — чтение книг. Так что не требуйте гарантий, Монтаг.

И не стремитесь к тому, чтобы память о вас сохранилась в чем-то одном — в каком-нибудь человеке, машине или библиотеке. Сами внесите свою лепту в сохранение чего бы то ни было. А если начнете тонуть, то, по крайней мере, умирая, будете знать, что плыли к берегу.

Фабер поднялся и начал мерить шагами комнату.

— И что дальше? — спросил Монтаг.

— Вы действительно серьезно настроены?

— Абсолютно серьезно.

— Вероломный план, если называть вещи своими именами. — Фабер нервно бросил взгляд на дверь своей спальни. — Наблюдать, как по всей стране горят пожарные станции, как огонь уничтожает эти очаги предательства! Саламандра, пожирающая свой собственный хвост! Великий Боже!

— У меня есть общий список домашних адресов всех пожарных. Создав своего рода подпольную...

— Самое дрянное в том, что людям больше нельзя доверять. Ну, вы, я, а кто еще будет раздувать огонь?

— Разве нет больше профессоров, таких, как вы, бывших писателей, историков, лингвистов?..

— Либо мертвы, либо очень стары.

— Чем старше, тем лучше, на них никто не обратит внимания. Ну признайтесь, вы же знаете десятки таких людей!

— О, есть немало одиноких актеров, которые много лет не играют Пиранделло, или Шоу, или Шекспира, потому что их пьесы слишком уж полны осознания этого мира. Гнев актеров можно было бы использовать. И можно было бы использовать благородную ярость тех историков, которые за последние сорок лет не написали ни строчки. Это верно, мы могли бы открыть курсы думания и чтения.

— Да!

— Но все это лишь отщипывание с краешка. Вся наша культура прострелена навылет. Сам скелет необходимо переплавить и отлить в новую форму. Боже правый, это

вовсе не так просто, как взять в руки книгу, отложенную полвека назад. Вспомните: необходимость в пожарных возникает довольно редко. Публика сама прекратила читать книги, по доброй воле. Вы, пожарные, время от времени устраиваете цирковые представления — поджигаете дома, они полыхают, собираются толпы, чтобы поглазеть на огненное великолепие, — но на самом деле это не более чем дивертисмент, вряд ли подобные номера так уж необходимы, чтобы поддерживать порядок вещей. В наше время очень немногие хотят быть мятежниками. А большинство этих немногих, как и я, очень легки на испуг. Кто-нибудь может плясать быстрее, чем Белый Клоун? А кричать громче, чем господин Трюкач и «семейки» из гостиных? Если может, то он добьется успеха, Монтаг. А вы в любом случае глупец. Люди развлекаются.

— И при этом кончают жизнь самоубийством! И убивают друг друга!

Все время, пока они разговаривали, стаи бомбардировщиков шли и шли на восток над домом, и только сейчас двое мужчин умолкли, прислушиваясь; им казалось, что могучее эхо реактивных двигателей дрожит в них самих.

— Терпение, Монтаг. Предоставьте войне выключить «семейки» на стенах. Наша цивилизация разваливается, и куски ее летят во все стороны. Держитесь подальше от этой центрифуги.

— Но кто-то ведь должен быть наготове, когда она рванет.

— Что-что? Вы имеете в виду людей, которые станут цитировать Мильтона? Которые будут говорить: «Я помню Софокла»? Напоминать выжившим, что у человека есть и хорошие стороны? Да эти выжившие наберут побольше камней и начнут швырять их друг в друга! Идите домой, Монтаг. Ложитесь спать. Зачем тратить свои последние часы на бег в колесе, утверждая при этом, что ты вовсе не белка?

— Значит, вас больше ничего не трогает?

— Трогает, да так, что меня тошнит.

— И вы не станете мне помогать?

— Спокойной ночи, Монтаг, спокойной ночи.

Руки Монтага взяли со стола Библию. Он увидел, что сделали его руки, и удивился этому.

— Вы хотели бы иметь эту книгу?

— Я отдал бы за нее правую руку, — сказал Фабер.

Монтаг стоял и ждал, что произойдет дальше. Его руки, сами по себе, как два человека, работающие в паре, принялись выдирать из книги страницы. Они вырвали форзац, потом первую страницу, затем вторую.

— Идиот, что вы делаете? — Фабер вскочил, словно его ударили. Он бросился на Монтага. Тот отвел удар и позволил своим рукам продолжать. Еще шесть страниц упали на пол. Он подобрал их и скомкал под пристальным взглядом Фабера.

— Не делайте, ох, не делайте этого, — прошептал старик.

— Кто может мне помешать? Я же пожарный. Я могу сжечь вас!

Старик глядел на него во все глаза.

— Вы не станете делать этого.

— Но я мог бы!

— Книга... Не рвите ее больше. — Фабер опустился на стул, его лицо было очень белым, губы тряслись. — Сделайте что-нибудь, чтобы я не чувствовал своей усталости. Что вам нужно?

— Мне нужны вы — чтобы вы меня учили.

— Хорошо. Хорошо.

Монтаг положил книгу. Затем разобрал бумажный комок на странички и стал разглаживать каждый листок, старик опустошенно следил за ним.

Фабер потряс головой, словно пробуждаясь ото сна.

— Монтаг, у вас есть деньги?

— Немного. Четыреста или пятьсот долларов. А что?

— Принесите их. Я знаю одного человека, который полвека назад печатал газету нашего колледжа. Как раз в том году, придя в аудиторию в начале нового семестра, я обнаружил, что на мой курс истории драмы от Эсхила до О'Неила записался всего один студент. Чувствуете? Это было все равно что наблюдать, как прекрасная ледяная статуя тает под лучами солнца. Я помню, как умирали газеты — словно гигантские мотыльки на огне. И никто не хотел, чтобы они возродились. Никто не сожалел о них. И вот тогда правительство, увидев, насколько оно выиграет, если люди будут читать только о страстных губах и ударах в живот, закольцевало ситуацию, прибегнув к вашей помощи, к помощи пожирателей огня... Итак, Монтаг, у нас есть этот безработный печатник. Мы могли бы начать с нескольких книг, а затем дожидаться войны, которая разрушит сложившийся порядок вещей и даст нам необходимый толчок. Несколько бомб — и «семьи», эти крысы в костюмах арлекинов, живущие в стенах всех какие только есть домов, заткнутся навсегда! И в тишине далеко разнесется наш театральный шепот.

Они оба стояли и смотрели на книгу, лежавшую на столе.

— Я старался заучить текст, — сказал Монтаг. — Но черт возьми, только повернешь голову — и его уже нет! Господи, как бы я хотел сказать пару слов Капитану. Он достаточно много читал, и у него на все есть ответы, или, по крайней мере, он делает вид, что они у него есть. У него такой масляный голос. Вот только боюсь, он переговорит меня, и я снова стану таким, как раньше. А ведь всего неделю назад, нагнетая керосин в шланг, я еще думал: «Боже, какая забава!»

Старик кивнул.

— Кто не строит, должен сжигать дотла. Это старо как мир, как преступления малолетних.

— Значит, я и есть малолетний преступник.

— Кое-что такое есть в каждом из нас.

Монтаг направился к двери.

— Вы можете хоть как-нибудь помочь мне в моем разговоре с Пожарным Капитаном сегодня вечером? Мне нужен зонтик, чтобы не промокнуть под дождем. Чертовски боюсь захлебнуться, ведь как только я появлюсь у него снова, он обрушит на меня целый ливень слов.

Старик ничего не ответил, но опять, заметно нервничая, смотрел в сторону спальни. Монтаг перехватил его взгляд.

— Так как?

Фабер глубоко вдохнул, задержал воздух и выпустил его. Снова глубокий вдох — глаза закрыты, рот плотно сжат — и долгий выдох.

— Монтаг...

Наконец старик повернулся и сказал:

— Идемте. На самом деле, мне следовало бы дать вам уйти из моего дома. Я ведь действительно трусливый старый дурак.

Он отворил дверь спальни и впустил Монтага в маленькую каморку, где стоял стол, заваленный мотками микрокопически тонкой волосяной проволоки, крошечными катушками, бобинами и кристаллами, среди этого беспорядка лежало несколько металлических инструментов.

— Что это? — удивился Монтаг.

— Свидетельство моей ужасающей трусости. Ведь я столько лет прожил в одиночестве, проецируя на стены химеры моего воображения.

Я возился с электроникой, радиопередатчиками, это стало моим хобби. Моя трусость, да еще в сочетании с революционным духом, обитающим под ее сенью, оказалась такой страстной силой, что я не мог не изобрести вот это.

Он взял со стола маленький зеленый металлический предмет размером не больше пули двадцать второго калибра.

— Я оплатил все это. Откуда взял деньги? Играл на бирже, разумеется. Биржа — это последнее прибежище опас-

ных интеллектуалов, оставшихся без работы. Итак, я играл на бирже, работал над этой штукой — и ждал. Я полжизни ждал, трясясь от страха, чтобы кто-нибудь заговорил со мной. Сам-то я не решался ни с кем заговаривать. В тот день, когда мы с вами сидели рядышком в парке и беседовали, я уже знал, что придет время, и вы заглянете ко мне — только вот из каких побуждений, из огнелюбия или дружелюбия, угадать было трудно. Эта маленькая штучка была готова уже много месяцев назад. А ведь я чуть было не позволил вам уйти, вот насколько я боюсь!

— В ней что, приемничек «ракушка»?

— И кое-что еще! Она может слушать! Если вы вставите мою «ракушку» в ухо, Монтаг, то я, уютно сидя у себя дома, грея свои трусливые косточки, смогу слышать, что творится в мире пожарных, анализировать, выискивать его слабые стороны, при этом не подвергая себя риску. Я буду пчелиной маткой, сидящей в безопасности в своем улье. А вы будете трутнем, моим странствующим ухом. Со временем я мог бы разместить такие уши во всех частях города, среди самых разных людей, мог бы слушать и оценивать все вокруг. Если трутни умрут, то я все равно останусь целым и невредимым у себя дома и смогу тешить свой страх с максимумом комфорта и минимумом риска. Видите, какую верную игру я затеял и какого презрения я, в сущности, достоин?

Монтаг поместил зеленую пулю себе в ухо. Старик вставил такой же предмет в свое собственное ухо и зашевелил губами.

— Монтаг!

Голос звучал в голове Монтага.

— Я вас слышу!

Старик рассмеялся.

— Вас тоже замечательно слышно! — шепнул Фабер, но его голос звучал в голове Монтага чисто и ясно.

— Когда настанет время, отправляйтесь на пожарную станцию. Я буду с вами. Давайте вместе послушаем, что ска-

жет этот Капитан Битти. Бог знает, может быть, он один из нас. Я буду подсказывать вам, что говорить. Мы его отлично разыграем. Вы, наверное, ненавидите меня за эту мою электронную трусость? Ведь я посылаю вас одного в ночную темь, а сам остаюсь за линией фронта и, может быть, услышу своими чертовыми ушами, как вам там снесут голову.

— Каждый делает то, что делает, — сказал Монтаг. Он вложил Библию в руки старику. — Возьмите ее. Я постараюсь устроить какую-нибудь замену. Завтра...

— Да, завтра я повстречаюсь с тем самым безработным печатником. Уж эту-то малость я могу сделать.

— Доброй ночи, профессор.

— Нет, не доброй. Остаток ночи я проведу с вами — в виде плодовой мушки, которая будет щекотать вам ухо всякий раз, как только вы почувствуете во мне нужду. Но все-таки доброй ночи. И, во всяком случае, удачи!

Дверь открылась и захлопнулась. Монтаг снова очутился на темной улице. Он внимательно взгляделся в окружающий его мир.

В ту ночь уже по виду неба можно было почувствовать, что дело идет к войне. По тому, как уходили и возвращались тучи; по тому, как выглядели звезды — целый миллион звезд плыл в просветах между облаками, словно вражеские летающие диски; по тому невольному ощущению, что небо вот-вот обрушится на город и превратит его в меловую пыль, а потом в языках красного пламени взойдет луна, — вот что чувствовалось в ту ночь.

Монтаг шел от станции метро с деньгами в кармане (он взял их в банке, одном из тех, что были открыты каждую ночь, с вечера до утра, клиентов в них обслуживали роботы-кассиры) и по дороге слушал вставленную в ухо «ракушку»:

— Мы мобилизовали миллион человек. Если начнется война, быстрая победа нам обеспечена...

Неожиданно поток музыки захлестнул голос, и он пропал.

— Мобилизовано десять миллионов, — шептал в другом ухе голос Фабера. — А они говорят, что только один. Так отраднее.

— Фабер?

— Да.

— Я же не думаю. Я делаю только то, что мне говорят, как всегда и было. Вы сказали мне достать деньги, и я достал. Но сам я об этом вовсе не думал. Когда же я начну соображать самостоятельно?

— Вы уже начали, когда вам в голову пришли именно те слова, которые вы только что произнесли. Поверьте мне на слово.

— Другим я тоже верил на слово!

— Правильно, а теперь посмотрите, куда это нас завело. Какое-то время вам придется передвигаться вслепую. Вот вам моя рука — держитесь за нее.

— Я не хочу перебегать с одной стороны на другую только для того, чтобы мне опять говорили, что я должен делать. Нет никакого смысла переходить на другую сторону, если все пойдет по-старому.

— Вы уже стали мудрее!

Монтаг почувствовал, как ноги сами несут его по тротуару в сторону дома.

— Говорите, говорите.

— Хотите, я вам почитаю? Я буду читать так, чтобы вы могли запомнить. Ночью я сплю не больше пяти часов. Делать мне нечего. Если вы не против, я буду читать вам, чтобы вы лучше спали по ночам. Говорят, можно усвоить знания даже во сне, если кто-то будет нашептывать вам в ухо.

— Да.

— Так вот.

Далеко, в другом конце города, — тишайший шепот переворачиваемой страницы.

— Книга Иова.

В небе поднималась луна, а Монтаг шагал и шагал по тротуару, легонько шевеля губами.

В девять вечера, когда Монтаг сидел за легким ужином, в передней заголосила входная дверь, и Милдред кинулась из гостиной, как туземка, спасающаяся от извержения Везувия. Госпожа Фелпс и госпожа Боулз вошли в парадную дверь и тут же исчезли в пасти вулкана с мартини в руках. Монтаг оторвался от еды. Женщины напоминали чудовищные стеклянные люстры, звенящие на тысячи хрустальных голосов, а их безумные, как у Чеширского Кота, улыбки прожигали стены дома. Не успев войти, они принялись визжать от восторга, перекрывая грохот музыки.

Монтаг вдруг понял, что он незаметно для себя оказался на пороге гостиной с недожеванной пищей во рту.

— Как все прелестно выглядят!

— Прелестно!

— Милли, ты чудесно выглядишь!

— Чудесно!

— Все выглядят просто шикарно!

— Шикарно!

Монтаг стоял и наблюдал за ними.

— Терпение! — шепнул Фабер.

— Не надо было мне приходиться сюда, — прошептал в ответ Монтаг, словно говоря сам с собой. — Я давно уже должен ехать к вам с деньгами.

— У вас будет достаточно времени завтра. Будьте осторожны!

— Ну разве не замечательное шоу? — воскликнула Милдред.

— Замечательное!

На одной из телестен какая-то женщина одновременно улыбалась и пила апельсиновый сок. «Как ей удастся делать два дела сразу?» — думал Монтаг на грани безумия. На

других стенах рентгеновское изображение той же дамы являло конвульсивное путешествие освежительного напитка из полости рта в изнемогающий от наслаждения желудок.

Внезапно вся гостиная взлетела ракетой за облака, а затем нырнула в лимонно-зеленое море, где синие рыбы поедали красных и желтых рыб. Спустя минуту Три Белых Мультишных Клоуна уже оттяпывали друг дружке конечности под аккомпанемент бурных приливов смеха. Еще две минуты — и вся гостиная, умчавшись из города, стала ареной, где бешено кружили реактивные машины — они сталкивались, давали задний ход и снова сталкивались друг с другом. Монтаг увидел, как в воздух взлетело несколько человеческих тел.

— Милли, ты видела?

— Видела! Видела!

Монтаг сунул руку внутрь стены и шелкнул главным выключателем. Картинки на стенах утянулись вниз, как если бы кто-то выпустил воду из гигантской хрустальной вазы с истеричными рыбками.

Три женщины медленно повернулись и взглянули на Монтага с нескрываемым раздражением, которое сменилось неприязнью.

— Как вы полагаете, когда начнется война? — спросил он. — Я успел заметить, что ваших мужей сегодня нет с нами.

— О, они приходят и уходят, приходят и уходят, — сказала госпожа Фелпс. — Туда-сюда, сюда-туда, а потом все снова, снова здорово... Вчера армейские призвали Пита. Он вернется на следующей неделе. Так армейские и сказали. Скорая война. Сорок восемь часов, сказали они, и все будут дома. Именно это армейские и сказали. Скорая война. Вчера Пита призвали и сразу сказали, мол, на следующей неделе он уже вернется. Скорая...

Три женщины беспокойно ерзали на стульях и нервно поглядывали на пустые стены грязного цвета.

— Я не беспокоюсь, — сказала госпожа Фелпс. — Это пусть Пит беспокоится, — хихикнула она. — Да, пусть старина Пит сам и беспокоится. Это его дело беспокоиться, а не мое. Мне беспокоиться нечего.

— Да, — сказала Милли. — Пусть старина Пит сам и беспокоится.

— Говорят, на войне всегда умирают какие-нибудь другие мужья.

— Да, я тоже это слышала. За всю жизнь не видела ни одного мертвеца, убитого на войне. Вот мертвых, которые с крыши прыгнули, это да, видела, взять хотя бы мужа Глории, который прыгнул на прошлой неделе. А чтобы на войне, нет, не видела.

— Да уж, на войне — никогда, — сказала госпожа Фелпс. — Во всяком случае, мы с Питом всегда говорили: никаких слез, вообще ничего такого. Для каждого из нас это третий брак, и мы оба совершенно независимы. Будь независим! — вот что мы всегда говорили. Пит сказал буквально следующее: «Если меня убьют, живи как ни в чем не бывало и не плачь, снова выходи замуж и обо мне не думай».

— Это мне кое-что напоминает, — сказала Милдред. — Вы видели вчера вечером по своей стене пятиминутный любовный роман Клары Голубки? Ну, про то, как эта женщина, которая...

Монтаг ничего не сказал на это. Он стоял и разглядывал лица женщин, как когда-то в детстве разглядывал лики святых в одной странной церкви, куда случайно зашел. Лики тех эмалевых созданий так и не наполнились для него смыслом, хотя он разговаривал с ними и стоял там довольно долго, пытаясь почувствовать себя внутри этой религии, стремясь понять, какова же она, эта чужая религия, силясь вобрать в легкие, а значит, и в кровь побольше сырого ладана и особой пыли того места, чтобы раскрашенные мужчины и женщины с фарфоровыми глазами и кровавыми

рубиновыми губами наконец тронули его, чтобы он проникся их значением. Нет, ничего не получилось, ничего; он словно бы зашел в очередной магазин, но его деньги оказались чужеземной валютой, не имевшей здесь обращения, и никакое чувство не вспыхнуло в холодной душе, даже когда он коснулся пальцами дерева, гипса, глины... То же самое было и теперь, в его собственной гостиной, где женщины нервно ерзали на стульях под его неотступным взглядом; они раскуривали сигареты, выпускали дым, поправляли свои прически цвета солнечного огня и внимательно разглядывали ногти, пылавшие красным так, словно бы именно этот взгляд их только что и воспламенил. Лица женщин осунулись от молчания. Монтаг шумно проглотил последний кусок пищи, и от этого звука все трое подалось вперед. Они прислушивались к его лихорадочному дыханию. Три пустых стены гостиной были словно бледные лбы задремавших гигантов, погруженных в пустой, без видений, сон. Монтагу казалось, что если он дотронется до этих вытарашенных лбов, то на пальцах останется тонкая пленка соленого пота. Испарина густела, набираясь молчания и тонкого, на пороге слышимости, звона, дрожавшего вокруг, во всем пространстве, всюду, даже в самих женщинах, сгоравших от напряжения. В любой момент они могли испустить долгий шипящий свист и взорваться, брызжа слюной.

Монтаг шевельнул губами:

— Давайте поговорим.

Женщины вздрогнули и уставились на него.

— Как ваши дети, госпожа Фелпс? — спросил он.

— Вы же знаете, что у меня нет никаких детей! Господь свидетель, ни один человек, будучи в здравом уме, не станет обзаводиться потомством! — воскликнула госпожа Фелпс, не вполне понимая, почему этот мужчина так бесит ее.

— Я бы так не сказала, — заявила госпожа Боулз. — У меня двое детей, и мне оба раза делали кесарево сече-

ние. Нет никакого смысла идти на родовые муки ради ребеночка. Но ведь, вы понимаете, мир должен воспроизводить себя, человеческая раса обязана продвигаться вперед. Помимо всего прочего, детки иногда выглядят совсем как вы сами, это просто прелестно. Да, сэр, два кесаревых — и вся недолга. О, конечно, мой врач говорил мне: «В кесаревых сечениях нет необходимости, у вас хорошие бедра, все в норме», — но я настояла.

— Кесарево там или не кесарево, но дети — это катастрофа. Вы просто не в своем уме, — сказала госпожа Фелпс.

— Я закидываю детей в школу на девять дней из десяти. Так что они остаются со мной всего три дня в месяц, когда приходят домой на побывку; не так уж это и плохо. Загоняешь их в гостиную и шелкаешь выключателем. Это как стирка: загружаешь белье в машину и хлопаешь крышкой, — хихикнула миссис Боулз. — Они могут поцеловать меня, а могут дать пинка. Слава богу, я могу ответить тем же, мой пинок не хуже.

Женщины расхохотались, вывалив языки.

Несколько секунд Милдред сидела молча, а затем, увидев, что муж все еще стоит в дверях, захлопала в ладоши.

— Давайте поговорим о политике, чтобы развлечь Гая!

— Звучит неплохо, — сказала госпожа Боулз. — На прошлых выборах я голосовала, так же как и все, и рискнула поставить на Президента Ноубла. Я думаю, он один из самых симпатичных мужчин, когда-либо становившихся президентами.

— Ох, а что вы скажете о мужчине, которого выставили против него?

— Не очень, правда? Маловат ростом, невзрачный, да еще и брился нечисто, и причесывался кое-как.

— Чего это оппозиции взбрело в голову его выдвигать? Так не годится — выставять подобного коротышку против высокого мужчины! К тому же он мямлил! В половине слу-

чаев я не могла расслышать ни слова. А те слова, что я все-таки расслышала, были абсолютно непонятны!

— Он еще толстый и не умеет скрывать это одеждой. Неудивительно, что Уинстон Ноубл одержал такую сокрушительную победу! Даже фамилии сработали. Поставьте рядом хотя бы на десять секунд: Уинстон Ноубл и Хьюберт Хоуг¹, — результат становится ясен сразу.

— Черт возьми! — закричал Монтаг. — Да что вы знаете о Хоуге и Ноубле!

— Как это что? Мы же недавно видели их на стене в гостиной, еще и шести месяцев не прошло. Один все время ковырял в носу, я чуть не взбесилась!

— Ну же, господин Монтаг, — сказала госпожа Фелпс, — неужели вы хотите, чтобы мы голосовали за такого человека?

Милдред просияла:

— Знаешь, Гай, смойся куда подальше от двери и не нервируй нас больше.

Но Монтаг уже исчез, а через секунду вернулся с книгой в руке.

— Гай!

— Будь все проклято! Проклято! Проклято!

— Что это у вас там, уж не книга ли? А я думала, что в наше время всякие специальные знания даются с помощью фильмов. — Госпожа Фелпс заморгала. — Вы читаете по теории пожарного дела?

— Теория, черта с два! — буркнул Монтаг. — Это поэзия.

— Монтаг! — Шепот.

— Оставьте меня в покое! — Монтагу казалось, будто он несется в гигантском круговороте рева, гула, гама...

¹ Игра слов. Noble переводится с английского, как «благородный, знатный, титулованный; дворянин, аристократ»; фамилия Ноаг не имеет точного значения, однако это слово близко к hog, «боров, свинья», а также может быть воспринято как редуцированное hoagy, гигантский («свинский») сандвич.

— Монтаг, постойте, не надо...

— Вы слышали? Вы слышали, как эти чудовища толкуют про других чудовищ? Бог ты мой, это же надо так трещать о людях, о своих собственных детях, о самих себе! Так рассуждать о своих мужьях, нести такую чушь про войну! Черт подери, я стою здесь — и ушам не верю!

— Должна вам сказать, я и слова-то о войне не молвила, — возмутилась госпожа Фелпс.

— Что до поэзии, то я ее ненавижу, — заметила госпожа Боулз.

— А вы когда-нибудь стихи слышали?

— Монтаг! — Голос Фабера еле пробивался в его мозг. — Вы все погубите! Заткнитесь! Вот дурак!

Все три женщины поднялись с мест.

— Сядьте!

Они сели.

— Я ухожу домой, — с дрожью в голосе объявила госпожа Боулз.

— Монтаг, Монтаг, пожалуйста, ради бога! — умолял Фабер. — Что вы замыслили?

— Почему бы вам не прочитать вслух какое-нибудь стихотворение из вашей книжки? — Госпожа Фелпс кивнула на томик. — Я думаю, это было бы очень интересно.

— Так не годится, — взвывла госпожа Боулз. — Этого нельзя делать!

— Но вы только посмотрите на господина Монтага! Ему же хочется почитать, я знаю, что хочется. А если мы будем хорошо слушать, господин Монтаг развеселится, и тогда мы, наверное, сможем остаться и поделаться что-нибудь еще.

Госпожа Фелпс нервно обвела взглядом протяжную пустоту стен, окружавших их.

— Монтаг, еще немного в этом духе, и я отключусь, я брошу вас. — Маленький «жучок» уколол его в ухо. — Какая от этого польза? Что вы докажете?

— Напугаю их до смерти, вот что я сделаю! Напугаю так, что им белый свет не мил будет!

Милдред уставилась в воздушную пустоту.

— Интересно, Гай, с кем это ты разговариваешь?

Серебряная игла пронзила его мозг.

— Монтаг, послушайте, есть только один выход. Скажите, что вы пошутили, загладые все, сделайте вид, что больше не сердитесь. А затем — подойдите к стенному мусоросжигателю и бросьте туда книгу!

Предчувствуя, что может произойти, Милдред сказала дрожащим голосом:

— Раз в год, милые дамы, каждому пожарному разрешается принести домой одну книгу из тех, что описывают старые времена, и показать семье, как глупо тогда все было устроено, как эти книжки заставляли людей нервничать, просто делали их психами. Сегодня вечером Гай приготовил сюрприз: он прочитает вам один образчик и продемонстрирует, какая тогда царил неразбериха, чтобы впредь мы никогда не забивали наши старенькие головки этим мусором, не так ли, дорогой?

Монтаг стиснул книгу в руках.

— Скажите «да».

Его губы повторили вслед за губами Фабера:

— Да.

Милдред со смехом выхватила книгу.

— Вот! Прочитай это стихотворение! Нет, дай-ка сюда, вот, это совсем смешное, ты сегодня уже читал его вслух. Дамы, вы не поймете ни слова! Там сплошь — турурум-пум-пум... Давай, Гай, читай на этой странице, дорогой!

Монтаг взглянул на раскрытую страницу.

Мушка в его ухе нежно затрепетала крыльями:

— Читайте!

— Как называется, дорогой?

— «Дуврский берег»¹.

¹ Стихотворение Мэтью Арнолда (1822—1888), английского поэта, педагога и критика; написано в 1867 г.

Губы Монтага онемели.

— Только читай хорошеньким ясным голосом и медленно.

Комната была для Монтага огненным пеклом; он весь горел, он весь леденел; дамы сидели посреди голой пустыни, где было три стула и он, Монтаг, который стоял, покачиваясь из стороны в сторону, он, Монтаг, который стоял и ждал, когда госпожа Феллис кончит поправлять кромку платья, а госпожа Боулз уберет пальцы от своей прически. Затем он начал читать — низким прерывающимся голосом, который креп по мере того, как Монтаг переходил от строчки к строчке, и голос этот уносился в пустыню, летел через все пространство белизны и возвращался, чтобы обвиться вокруг трех женщин, сидевших там в великой жаркой пустоте:

Давно ль прилив будил во мне мечты?
Его с доверьем я
Приветствовал: он сушу обвивал,
Как пояс из узорчатой тафты.
Увы, теперь вдали
Я слышу словно зов небытия:
Стеная, шлет прилив за валом вал,
Захлестывая петлю вокруг земли.

Под тремя женщинами заскрипели стулья, и Монтаг закончил, возвысив голос:

Пребудем же верны,
Любимая, — верны любви своей!
Ведь мир, что нам казался царством фей,
Исполненным прекрасной новизны,
Он въявь — угрюм, безрадостен, уныл,
В нем ни любви, ни жалости; и мы,
Одни, среди надвинувшейся тьмы,
Трепещем: рок суровый погрузил
Нас в гушу схватки первозданных сил¹.

¹ Перевод М. А. Донского.

Госпожа Фелпс плакала.

Две другие дамы, оставаясь посреди пустыни, наблюдали за своей подругой, она плакала все громче и громче, а лицо ее исказилось до неузнаваемости. Они сидели, не касаясь ее, ошеломленные таким проявлением чувств. Госпожа Фелпс рыдала, не владея собой. Монтаг и сам был огорошен и потрясен.

— Ш-ш-ш, ш-ш-ш, — прошептала Милдред. — Все в порядке, Клара, ну же, Клара, перестань кукситься! Клара, что произошло?

— Я... я... — рыдала госпожа Фелпс, — я не знаю, не знаю, ох, я просто не знаю... Ох...

Госпожа Боулз встала и свирепо уставилась на Монтага.

— Видите? Я знала с самого начала, именно это я и хотела доказать! Я знала, что такое случится! Я всегда говорила: где поэзия, там и слезы, где поэзия, там и самоубийства, рыдания, жуткие ощущения, где поэзия, там и хворь, и вообще всякая дрянь! Теперь я в этом полностью убедилась. Вы гадкий человек, господин Монтаг, очень гадкий!

— Пора... — сказал Фабер.

Монтаг почувствовал, что поворачивается, бредет к щели в стене и заталкивает книгу в прорезь, окантованную медью, — там, внутри, ее уже ждет пламя.

— Глупые слова, глупые слова, глупые ужасные вредоносные слова, — сказала госпожа Боулз. — Ну почему люди так стремятся навредить друг другу? Как будто в мире мало вреда, нет, им надо еще приставать к ближним с подобными вещами!

— Клара, ну же, Клара, — упрашивала Милдред, держа госпожу Фелпс за руку. — Ну давай, веселей, ты сейчас сама включишь «семью», хочешь? Действуй! Будем смеяться и радоваться, перестань плакать, начинаем вечеринку!

— Нет, — сказала госпожа Боулз. — Я потопаю прямоком домой. Захотите навестить меня и мою «семью» — хо-

рошо и даже отлично. Но здесь, в придурочном доме этого пожарного, вы меня в жизни больше не увидите!

— Вот и убирайтесь домой, — сказал Монтаг очень тихо, сверля ее взглядом. — Убирайтесь домой и подумайте там о вашем первом муже, с которым вы развелись, и о вашем втором муже, разбившемся в реактивной машине, и о вашем третьем муже, которому в этот момент вышибают мозги! Идите домой и подумайте о десятках аборт, которые вы сделали, идите, идите домой и подумайте обо всем этом, и еще о ваших чертовых кесаревых сечениях, и о детях, которые ненавидят вас до глубины души! Убирайтесь домой и подумайте там, как все это могло случиться и что вы сделали когда-либо, чтобы это предотвратить. Убирайтесь! Убирайтесь домой! — Монтаг уже кричал. — Пока я не сбил вас с ног и пинком не вышвырнул на улицу!

Двери хлопнули, и дом опустел. Монтаг стоял один посреди зимней стужи, и стены гостиной были цвета грязного снега.

В ванной полилась вода. Он услышал, как Милдред вытряхивает на ладонь таблетки снотворного.

— Вы дурак, Монтаг, дурак, дурак, о боже, какой же вы глупый дурак...

— Заткнитесь! — Монтаг вытащил из уха зеленую пульку и затолкал ее в карман.

Она продолжала тихонько шкворчать:

— ... дурак... дурак...

Монтаг обыскал дом и нашел книги — Милдред засунула их за холодильник. Некоторых не хватало, и он понял, что жена по собственной инициативе начала потихоньку убавлять количество динамита в доме — брикет за брикетом. Но Монтаг больше не сердился, он чувствовал только опустошение, а если и удивлялся чему-либо, то лишь самому себе. Он вынес книги на задний двор и спрятал их в кустах около забора. Только на одну ночь, думал он, на тот случай, если она решит еще что-нибудь сжечь.

Он вернулся и прошел по всему дому.

— Милдред? — позвал он у двери затемненной спальни.

В ответ не раздалось ни звука.

На улице, отправившись на работу, он постарался не заметить, пересекая газон, каким донельзя темным и опустевшим был дом Клариссы Макклеллан...

По пути в центр города Монтагу было настолько одиноко после жуткой ошибки, которую он недавно совершил, что ему остро захотелось снова ощутить странную теплоту и умиротворение, которыми был пронизан мягкий, ставший привычным голос, бестелесно звучащий в ночи. Хотя прошло всего несколько коротких часов, ему уже казалось, что он знает Фабера всю свою жизнь. Монтаг понимал теперь, что в нем умещаются два человека. Прежде всего, это был он сам, Монтаг, который ничего не знал в этой жизни, который не знал даже, каким он был дураком, только смутно подозревал это. И одновременно он осознавал, что был еще и стариком, который разговаривал с ним, Монтагом, все разговаривал и разговаривал с ним, пока поезд, всосанный трубой на одной окраине ночного города, мчал его к другой окраине, подчиняя свое движение долгой, затяжной судороге перехваченного подземного горла. И все последующие дни, и все последующие ночи, лишенные луны, и все ночи, озаренные ярчайшей луной, смотрящей с небес на землю, старик будет продолжать этот разговор, будет разговаривать и разговаривать, капля за каплей, камень за камнем, слой за слоем. Его мозг в конце концов переполнится, и он больше не будет Монтагом, уж это старик сказал ему твердо, уж в этом заверил его, уж это ему обещал. С того момента он будет — Монтаг-плюс-Фабер, огонь плюс вода, а затем, в один прекрасный день, когда все перемешается, прокипит и бесшумно переработается, не останется ни огня, ни воды, получится вино. Из двух совершенно разных и противоположных вещей возникнет третья. И однажды, оглянувшись назад, на дурака, остав-

шегося в прошлом, он поймет, что и на самом деле был круглым дураком. Даже сейчас он мог почувствовать, что уже пустился в этот долгий путь, что прощание с самим собой уже началось и он с каждым шагом удаляется от себя, от того себя, каким был раньше.

Приятно было идти и прислушиваться к басовитому гудению «жука» в своем ухе, к сонному комариному писку, к тончайшему филигранному журчанию стариковского голоса — сначала тот бранил его, а потом, уже поздно ночью, когда Монтаг вышел в клубах пара из подземки и снова очутился в мире пожарных станций, — принялся утешать.

— Сострадание, Монтаг, сострадание. Не заводите, не изводите этих людей, ведь совсем недавно вы были одним из них. Они так уверены, что будут заниматься своим делом вечно. Но заниматься этим делом им осталось недолго. Они не знают, что вся их деятельность — это большой, гигантский сверкающий метеор, который, летя в пространстве, пылает восхитительным огнем, но рано или поздно нанесет удар. Они же, как и вы в прошлом, видят только яркий блеск и полыханье красочного пламени. Старики, которые сидят дома, Монтаг, перепуганные старики, нежащие свои кости, хрупкие, как арахисовая скорлупа, не имеют права на критику. И тем не менее я вам скажу: вы почти что загубили все в самом начале. Будьте осторожны! Я с вами, помните об этом. Я прекрасно понимаю, как все могло так получиться. Должен сознаться, ваша слепая ярость придала мне сил. Господи, как же молодо я себя почувствовал! Но сейчас... сейчас я хочу, чтобы вы почувствовали себя стариком, хочу, чтобы сегодня вечером в вас перелилась хоть капелька моей трусости. Ближайшие несколько часов, после того как вы встретитесь с Капитаном Битти, ходите вокруг него на цыпочках, пусть я буду слушать его вместо вас, дайте мне возможность оценить ситуацию. Выживание — это наш билет в будущее. Забудьте об этих несчастных глупых женщинах...

— Я сделал их еще более несчастными, — сказал Монтаг. — Думаю, они много лет не испытывали ничего подобного. Я был потрясен, увидев, как госпожа Фелпс рыдает. Может быть, они правы, может быть, и впрямь лучше не смотреть в лицо реальности, а предаваться развлечениям. Не знаю. Я чувствую свою вину...

— Нет, вы не должны винить себя! Если бы не было войны, если бы на Земле царил мир, я сам сказал бы вам — все прекрасно, развлекайтесь сколько угодно. Но, Монтаг, вы не должны снова становиться пожарным, просто пожарным. С этим миром все не очень-то ладно.

Монтаг внезапно вспотел.

— Вы слушаете меня, Монтаг?

— Мои ноги... — сказал Монтаг. — Я не могу даже шевельнуть ими. Глупейшее чувство, черт побери. Мои ноги не желают двигаться!

— Послушайте, Монтаг. Успокойтесь, — мягко сказал старик. — Я знаю, я знаю. Вы боитесь наделать ошибок. Не бойтесь! Ошибки можно обратить себе на пользу. Ох, парень, когда я был моложе, я просто швырял свое невежество людям в лицо. Меня били за это палками. К сорока годам я отточил свой интеллект, и он из тупого орудия превратился в тонкий режущий инструмент. Если вы будете скрывать свое невежество, никто вас пальцем не тронет, но вы ничему и не научитесь. А сейчас — берите ноги в руки, и вперед, к пожарной станции! Мы близнецы, мы больше не одиноки, мы не сидим порознь в своих гостиных, не имея никакого контакта друг с другом. Если вам потребуется помощь, когда Битти начнет спрашивать вас с особым пристрастием, знайте: я буду прямо здесь, в вашей барабанной перепонке, я все возьму на заметку!

Монтаг почувствовал, как шевельнулись его ноги — сначала правая, затем левая.

— Старина, — сказал он, — не покидайте меня.

Механической Гончей на месте не было. Ее конура оказалась пустой, и все здание пожарной станции было погружено в белую штукатурную тишину, и оранжевая «Саламандра» спала с полным брюхом керосина, а скрещенные огнеметы висели на ее боках... — Монтаг с бьющимся, замирающим, снова бьющимся сердцем прошел сквозь эту тишину и, коснувшись рукой медного шеста, скользнул в темном воздухе ввысь, то и дело оглядываясь на пустую конуру. Фабер в эти секунды был серой ночной бабочкой, спавшей у него в ухе.

Битти стоял возле люка в ожидании, но при этом повернувшись спиной, словно он вовсе никого и не ждал.

— Ну вот, — сказал он, обращаясь к пожарным, игравшим в карты, — к нам пожаловал престранный зверь, который на всех языках именуется словом дурак.

Не оборачиваясь, он протянул вбок руку, ладонью вверх, требуя подношения. Монтаг положил на ладонь книгу. Даже не взглянув на обложку, Битти швырнул книгу в мусорную корзину и закурил сигарету.

— «И мудрецам порой нетрудно стать глупцами»¹. С возвращением, Монтаг. Надеюсь, теперь, когда лихорадка у тебя прошла и болезнь отступила, ты останешься с нами. Присаживайся. Сыграем в покер?

Они сели за стол. Раздали карты. Находясь в поле зрения Битти, Монтаг остро ощущал вину своих рук. Его пальцы были словно хорьки, которые натворили бед и теперь никак не могли успокоиться: они все время шевелились, перебирали что-то и прятались в карманы, пытаясь скрыться от бесцветного, как спиртовое пламя, взгляда Битти. Монтагу казалось: стоит Битти только дохнуть на них, как руки тут же иссохнут, свернутся по краям, и их никогда уже не удастся оживить; до конца его дней они останутся по-

¹ Заключительная строка стихотворения английского поэта Джона Донна (1572—1631) «Тройной глупец». Перевод Б. В. Томашевского.

хороненными в рукавах куртки, забытые навсегда. Потому что это были те самые руки, которые начали действовать самостоятельно, руки, которые перестали быть его частью, именно в них совесть впервые проявила себя, заставив его схватить книги и умчаться, унося с собой Книгу Иова, и Книгу Руфь, и Вилли Шекспира, а сейчас, в пожарной станции, ему мерещилось, что эти руки покрыты кровью, словно обтянуты красными перчатками.

Дважды на протяжении получаса Монтаг вынужден был отрываться от игры и уходить в уборную, чтобы вымыть руки. А когда возвращался, он прятал руки под стол.

Битти смеялся:

— Держи свои руки на виду, Монтаг. Понимаешь, не то чтобы мы тебе не доверяли, но...

Все дружно хохотали.

— Ладно, — сказал Битти. — Кризис позади, и все опять хорошо, овца возвращается в овчарню. Все мы овцы, которые иногда отрывались от стада. Правда есть правда, стеснялись мы, и она останется таковой до Судного дня. Те, кто исполнен благородными мыслями, никогда не будут одиноки, кричали мы самим себе. «Сладкоречивой мудрости нам сладостны плоды»¹, сказал сэр Филип Сидни. Но с другой стороны: «Слова как листья; где обилье слов, там зрелых мыслей не найдешь плодов»². Александр Поуп. Что ты об этом думаешь, Монтаг?

— Не знаю.

— Осторожнее, — шепнул Фабер; его жилье сейчас было очень далеко отсюда, в другом мире.

— А вот об этом? «И полузнайство ложь в себе таит;/ Струею упивайся дочерью царя Пиера;/ Один глоток пья-

¹ Строка из стихотворения английского поэта сэра Филипа Сидни (1554—1586) «В защиту поэзии» (ок. 1580). Перевод В. Т. Бабенко.

² Строки из поэмы английского поэта Александра Поупа (1688—1744) «Опыт о критике» (1711). Перевод А. Субботина.

нит рассудок твой, / Пьешь много — снова с трезвой головой». Поуп, все тот же «Опыт о критике». И что из этого следует?

Монтаг прикусил губу.

— А я скажу тебе, что следует, — сказал Битти, с улыбкой разглядывая свои карты. — Ты действительно на какое-то время стал пьяницей. Прочитал несколько строк — и тут же полез на скалу: сейчас, мол, прыгну. Бух! — и ты уже готов взорвать весь мир, рубить головы, сбивать с ног женщин и детей, крушить власть. Я знаю, я через это прошел.

— Да нет, я в порядке, — нервно сказал Монтаг.

— Не красней. У меня и в мыслях нет тебя подковыривать, честное слово, нет. Знаешь, час назад я видел сон. Прилег на несколько минут вздремнуть, и вот во сне между нами, между мной и тобой, Монтаг, разгорелся бешеный спор о книгах. Ты был вне себя от ярости, выкрикивал разные цитаты, а я спокойно парировал все твои выпады. «Власть», — говорил я, а ты, цитируя доктора Джонсона, возражал: «Знание не равно силе, оно больше!» Тогда я говорил: «Ну-ну, мой мальчик, ведь доктор Джонсон утверждал и другое: «Не умен тот, кто готов поменять определенность на неопределенность»¹. Держись пожарных, Монтаг. Все остальное — жуткий хаос!

— Не слушайте его, — шептал Фабер. — Он хочет сбить вас с толку. Это скользкий человек. Будьте начеку!

Битти самодовольно захихикал:

— Ты снова привел цитату: «Правда должна выйти на свет: убийства долго скрывать нельзя!»² А я добродушно

¹ Это высказывание английского писателя и лексикографа Сэмюэла Джонсона (1709—1784) было опубликовано в издававшемся им журнале «Рассеянный» (1758—1760), № 57.

² Слова Ланчелота из комедии У. Шекспира (1564—1616) «Венецианский купец» (1596), действие 2, сцена 2. Перевод Т.Л. Щепкиной-Куперник.

воскликнул: «О боже, он говорит только о своем коне!» И добавил: «В нужде и черт Священный текст приводит»¹. Тут ты как заорешь: «Наш век скорей признает золоченого глупца, чем в рубище одетого святого мудреца»². А я тихо шепчу: «Теряет истина достоинство свое, когда ее мы защищаем рьяно»³. Ты вопишь: «И трупы стали вновь сочтись кровью, едва завидев гнусного убийцу!» А я говорю, похлопывая тебя по руке: «Что, неужто язвы у тебя во рту тоже из-за меня?» Ты уже просто визжишь: «Знание — сила!»⁴, «Карлик на плечах великана видит дальше, чем каждый из них порознь!»⁵ И тогда я с редкостной безмятежностью подвожу итог своей части беседы: «Ошибочно принимать метафору за доказательство, поток многословия — за источник истин с большой буквы, а себя за оракула — это недомыслие, присущее нам от рождения»⁶, — так однажды выразился господин Валери.

¹ Слова Антонио из комедии У. Шекспира «Венецианский купец», действие 1, сцена 3. Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник.

² Строки из пьесы английского драматурга Томаса Деккера (1572?—1632) «Приятная комедия о старом Фортунате» (1600). Перевод В. Т. Бабенко.

³ Строка из трагедии английского драматурга Бена Джонсона (1573—1637) «Заговор Катилины» (1611), действие 3, сцена 2. Перевод В. Т. Бабенко.

⁴ Слова английского философа Фрэнсиса Бэкона (1561—1626) из его работы «Meditationes Sacrae» (1597), эссе «О ересях».

⁵ Парафраз выражения английского религиозного писателя Роберта Бертона (1577—1640) из его произведения «Анатомия меланхолии» (1621—1651): «Карлик, стоящий на плечах великана, может видеть дальше, чем сам гигант». Выражение восходит к строкам римского поэта Марка Аннея Лукана (39—65) из поэмы «Фарсалия, или О гражданской войне»: «Пигмеи, помещенные на плечи гигантов, видят больше, чем сами гиганты».

⁶ Немного сокращенная фраза из эссе французского поэта и писателя Поля Валери (1871—1945) «Введение в систему Леонардо да Винчи» (1895). В полном виде высказывание звучит так: «Ошибочно принимать парадокс за открытие, метафору за доказательство, поток многословия за источник истин с большой буквы, а себя за оракула — это недомыслие, присущее нам от рождения».

Голова у Монтага кружилась до тошноты. Ему казалось, что его безжалостно бьют — по лбу, глазам, носу, губам, подбородку, по плечам, по рукам, которыми он размахивал, отбиваясь от ударов. Ему хотелось крикнуть: «Нет! Заткнитесь! Вы смешали все в кучу! Прекратите!»

Тонкие пальцы Битти потянулись к руке Монтага и обхватили запястье.

— Боже, какой пульс! Похоже, я тебя достал, а, Монтаг? Господи Иисусе, твой пульс бухает, словно вчера кончилась война. Не хватает только сирен и колоколов! Ну что, побеседуем еще немного? Мне нравится, что ты паникуешь. Я говорю на всех языках — суахили, индейский, английский литературный... Мои движенья красноречивей, чем потоки слов¹, не так ли, Вилли?

— Не поддавайтесь, Монтаг! — В его ухе щекотно зашевелилась ночная бабочка. — Он мутит воду!

— О, ты напугался до чертиков, — сказал Битти, — потому что я сделал ужасную вещь: я использовал те самые книги, к которым ты так привязался, и напал на тебя со всех сторон сразу, побил по всем пунктам! Что за предатели эти книги! Ты считаешь, что они защитники, а они поворачиваются против тебя. Другие тоже могут их использовать, и вот ты уже пропал, затерялся посреди великого болота, тонешь в трясине существительных, глаголов, прилагательных... А в самом конце моего сна подъезжаю я к тебе на «Саламандре» и говорю: «Едешь со мной?» Ты залезаешь в машину, и мы в блаженном молчании едем назад, к пожарной станции, — все отошло на задний план, между нами снова мир.

Битти отпустил запястье Монтага, и его рука вяло шлепнулась на стол.

¹ Битти перефразирует слова Алонзо из драмы У. Шекспира «Буря» (1611—1612): «Их музыка, их жесты, их движенья красноречивей, чем потоки слов» (действие 3, сцена 3). Перевод М. А. Донского.

— Все хорошо, что хорошо кончается¹, — заключил Битти.

Тишина. Монтаг сидел, словно резной белый камень. Эхо последнего удара молота по его черепу медленно стихло, умерши по пути в черную пещеру, где скрывался Фабер, дожидаясь, пока улягутся все остальные отголоски. И наконец, когда потревоженная пыль осела в мозгу Монтага, Фабер начал тихим голосом:

— Хорошо, он выговорился. Вы должны во все это вникнуть. В ближайшие несколько часов я тоже скажу свое слово. Вам придется вникнуть и в это. А затем попытаться взвесить то и другое и решить, в каком направлении прыгать или куда падать. Но я хочу, чтобы это было ваше решение, не мое, не Капитана, а ваше. И помните, что Капитан принадлежит к числу самых опасных врагов истины и свободы, к сплоченному и недвижному стаду большинства. О господи, эта ужасная тирания большинства! Каждый из нас заводит свою волюнку. И вы сами должны будете определить, каким ухом вам слушать эту музыку.

Монтаг открыл было рот, чтобы ответить Фаберу, но тут зазвонил станционный колокол и спас его от этой непростительной, в присутствии других пожарных, ошибки. Голос с потолка нараспев объявил тревогу. В другом конце комнаты — так-так-так — дробно застучал тревожный телефон, печатая адрес вызова. Держа карты в розовой руке, Капитан Битти нарочито медленным шагом подошел к телефону и, дождавшись, когда рапорт будет допечатан до конца, оторвал кусок бумажного листа с адресом. Небрежно взглянув на него, он сунул ключок в карман, затем вернулся и сел за стол. Остальные пожарные глядели на него.

— Дело может обождать секунд сорок, ровно столько мне нужно, чтобы все ваши денежки перетекли ко мне, — сказал он с радостным видом.

¹ Слова из пьесы У. Шекспира «Конец — делу венец» (1603), действие 4, сцена 4.

Монтаг положил карты на стол.

— Что, Монтаг, устал? Выходишь из игры?

— Да.

— Ну продержись еще немного! А впрочем, если подумать, можно закончить партию и потом. Оставьте свои карты на столе лицом вниз — и живо собирать оборудование. Бегом марш!

Битти снова поднялся.

— Ты не очень хорошо выглядишь, Монтаг. Мне даже думать не хочется, что у тебя снова начинается лихорадка...

— Я чуть-чуть не в форме.

— Ты должен быть в отличной форме. Это особый случай. Ну, пошли, прыгаем!

Они взвились в воздух и ухватились за медный шест, словно то была последняя возможность избежать катившейся под их ногами приливной волны, но, ко всеобщему ужасу, медный шест тут же унес их вниз, в темноту, в раскаты, кашель и всхлипы бензопакостного дракона, с ревом пробуждавшегося к жизни!

— Э-ге-гей!

В громе и вое сирены они свернули за угол, сотрясались шины, визжала резина, тяжелое бремя керосина грузно ворочалось в блестящем медном баке, словно еда в животе великана, тряска срывала пальцы Монтага с серебряных поручней, руки болтались в холодной пустоте, ветер драл его волосы, пытаясь сорвать их с черепа и унести назад, ветер свистел в зубах, а он все думал и думал о женщинах, которые были этим вечером у него в гостиной, о пустых, как мякина, женщинах, из которых неоновый ветер выдул последние зернышки, и том, как он, чертов глупец, вздумал читать им книгу. Все равно что тушить пожар из водяных пистолетов, так же бессмысленно и так же бредово! Одна вспышка ярости уступила другой. Старый гнев сменился новым гневом. Полное помешательство, когда же он покончит с ним и успокоится, когда он в самом деле, по-настоящему успокоится?

— Вот они мы, вперед!

Монтаг поднял голову. Битти никогда не водил машину, но сегодня он был за рулем, он гнал «Саламандру», круто срезая повороты; подавшись вперед, он сидел на высоком водительском троне, и полы тяжелого черного непромокаемого плаща хлопали за его спиной, отчего он казался огромной черной летучей мышью, которая неслась над машиной, над медными цифрами по ее бокам, принимая на себя ветер.

— Вот они мы, Монтаг, мы сделаем мир счастливым!

Розовые, фосфоресцирующие щеки Битти поблескивали в темной вышине, он яростно скалился, улыбаясь.

— Приехали!

«Саламандра» гулко стала как вкопанная, стряхнув с себя людей, — они соскальзывали с боков и неуклюже прыгали на землю. Монтаг стоял, не отрывая воспаленных глаз от холодного блестящего поручня, в который вцепились его пальцы.

«Я не могу больше этого делать, — думал он. — Как я могу выполнить это новое задание? Как я могу продолжать жечь? Нет, я не могу орудовать в этом месте».

Битти, пахнувший ветром, сквозь который он только что мчался, был уже рядом с Монтагом.

— Все в порядке, Монтаг!

Пожарные, в своих громоздких сапогах подобные безногим инвалидам на протезах, бегали бесшумно, как пауки.

Монтаг наконец поднял взгляд и обернулся. Битти наблюдал за его лицом.

— Что-нибудь не так, Монтаг?

— Не пойму, — медленно произнес Монтаг, — мы же остановились перед моим домом...

Часть III

СВЕТЛО ГОРЯЩИЙ¹

По всей улице вспыхивали, мерцая, огни и открывались двери: готовился карнавал. Монтаг и Битти глядели во все глаза, один — отказываясь верить увиденному, другой — с бесстрастным удовлетворением, на стоящий перед ними дом, главную арену, где вот-вот начнут жонглировать факелами и глотать пламя.

— Что ж, — произнес Битти, — ты допрыгался. Старина Монтаг хотел пролететь рядышком с Солнцем, и вот он сжег свои чертовы крылья, а теперь никак не поймет, в чем тут дело. Неужели мало было намека, когда я подо-слал Гончую к твоему дому?

Лицо Монтага совершенно онемело и утратило всякое выражение; он почувствовал, как его голова, словно каменное изваяние, повернулась в сторону темного соседского дома, окруженного ярким бордюром цветов.

Битти фыркнул:

— О нет! Неужели ты и впрямь одурачен пошлым комплектом фраз той маленькой идиотки, так или нет? Цветочки, бабочки, листики, закаты, о дьявол!.. Все это есть в ее досье. Будь я проклят! Я попал в самое яблочко. Сто-

¹ Название части заимствовано из начальной строфы стихотворения английского поэта Уильяма Блейка (1757—1827) «Тигр» (1794): «Тигр, о тигр, светло горящий / В глубине полночной чаши, / Кем задуман огневой / Соразмерный образ твой?» Перевод С. Я. Маршака.

ит только взглянуть на твой бледный вид. Несколько травинок и фазы Луны. Какой хлам! И чего хорошего она со всем этим сделала?

Монтаг присел на холодное крыло «Дракона» и повел головой на полдюйма влево, затем на полдюйма вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево...

— Она все видела. Она никому ничего не сделала. Никому не докучала.

— Не докучала, черт побери! А вокруг тебя она не видалась, а? Она ведь из этих, из проклятущих доброхотов, которые только и умеют что потрясенно молчать, всем своим видом говоря: «А я все равно святее тебя!» Их единственный талант — заставлять других чувствовать себя виноватыми. Проклятье, они воздымаются над тобой, как полночное солнце, от которого тебя и в постели прошибает холодный пот!

Парадная дверь отворилась, и по ступенькам сошла, нет, сбежала Милдред; ее окаменевшая, словно в сонной одуре, рука сжимала один-единственный чемодан. К обочине тротуара с шипением подбежал «жучок»-такси.

— Милдред!

Она пробежала мимо: негнущееся тело, мучное от пудры лицо; рта, без следа помады, как и не было.

— Милдред, это же не ты подняла тревогу?

Она сунула чемодан в поджидавший ее «жучок», забралась внутрь и уселась, бормоча:

— Бедная «семья», бедная «семья», ох, все пропало, все, теперь все пропало...

Битти схватил Монтага за плечо, «жучок» тут же рванул с места, мигом набрал скорость семьдесят миль в час, и вот он уже в конце улицы, вот его уже нет.

Раздался звон, словно вдребезги разбилась мечта, собранная из витого стекла, зеркал и хрустальных призм. Монтаг покачнулся, его развернуло, будто неизвестно откуда налетел еще один шквал, и он увидел, как Стоунмен

и Блэк, работая топорами, крушат оконные рамы, чтобы устроить перекрестную вентиляцию.

Шорох бабочки «мертвая голова», тычущейся в холодный черный экран:

— Монтаг, это Фабер. Вы слышите меня? Что там происходит?

— То, что происходит, происходит со мной, — сказал Монтаг.

— Какой ужасный сюрприз! — воскликнул Битти. — Ведь в наши дни каждый полагает, каждый абсолютно уверен: «Со мной-то уж никогда ничего не произойдет». Это другие умирают, а я буду жить и жить. Нет последствий, нет и ответственности. Кроме разве того, что они все-таки есть. Впрочем, не будем сейчас о них говорить, ладно? К тому времени как последствия тебя настигают, уже ничего не поделаешь, не так ли, Монтаг?

— Монтаг, вы можете убраться оттуда, убежать? — спросил Фабер.

Монтаг шел, но не чувствовал, как его ноги касаются цемента, а затем и ночной травы. Рядом с ним Битти щелкнул зажигателем и замороженно уставился на оранжевый язычок пламени.

— Что в огне такое, что делает его столь привлекательным? Сколько бы ни было нам лет, мы всегда тянемся к нему, в чем тут причина? — Битти задул огонек и снова зажег его. — В вечном движении. Человек всегда хотел изобрести эту штуку, но так и не изобрел. Огонь — это почти вечное движение. Если ему только позволить, он выжжет дотла всю нашу жизнь, от рождения до смерти. Что есть огонь? Это тайна. Ученые кулдыкают что-то такое о трении и молекулах, а на самом деле они ничего не знают. Главная прелесть огня в том, что он убирает последствия и уничтожает ответственность. Проблема стала чересчур обременительной? В печку ее! Вот и ты, Монтаг, стал таким бременем. И огонь снимет тебя с моей шеи — быстро, чисто, навер-

няка, потом даже гнить будет нечему. Эстетично, антибиотично, практично.

Монтаг стоял и глядел, и вглядывался в этот престранный дом, ставший совсем чужим из-за позднего часа, бормотанья соседских голосов и битого стекла вокруг; а вон там на полу, меж сорванных обложек, рассыпавшихся, как лебединые перья, лежат эти непостижимые книги, которые сейчас выглядят так нелепо и никчемно, будто и впрямь не стоят они того, чтобы из-за них переживать, раз нет в них ничего, кроме черного шрифта, пожелтевшей бумаги и обтрепавшихся переплетов.

Да, это, конечно, Милдред. Она, должно быть, подглядела, как он прятал книги в саду, и снова принесла их в дом. Милдред. Милдред.

— Я хочу, Монтаг, чтобы ты проделал эту работу один-одинешенек. И не с керосином и спичками, а поштучно, с огнеметом в руках. Твой дом, тебе и чистить.

— Монтаг, вы что, не можете бежать? Убирайтесь отсюда!

— Нет! — беспомощно крикнул Монтаг. — Гончая! Все из-за Гончей!

Фабер услышал, но и Битти, решивший, что это предназначалось ему, услышал тоже.

— Да, Гончая где-то здесь поблизости, так что ничего такого и не думай. Ну, готов?

— Да. — Монтаг щелкнул предохранителем огнемета.

— Огонь!

Огромная чуткая лапа огня выметнулась наружу и накрыла книги, отшвырнула их, вбила в стену. Он вошел в спальню, выстрелил дважды, и кровати-двойняшки с громокипящим шепотом взвились в воздух, Монтаг и не подозревал, что в них могло содержаться столько света, страсти и тепла. Он сжег стены спальни и комодик с косметикой, потому что хотел все здесь изменить, и стулья, и столы, и серебряные приборы в столовой, и пластиковую посуду, — все, что кри-

чало о том, как он жил здесь, в этом пустом доме, с чужой женщиной, которая завтра забудет его, она уже вполне забыла его, едва покинув дом, потому что в ушах у нее «ракушки», и она едет сейчас через весь город, одна, совсем одна, и слушает радио, которое вливается, и вливается, и обливает ее. И, как и раньше, жечь было наслаждением. Монтагу казалось, что вместе с огнем из сопла вырывается он сам, хватает все, рвет языками пламени, раздирает пополам и избавляется от бессмысленной проблемы. Не получается решение? Ну что же, теперь не будет и самой проблемы. Огонь — лучшее средство от всего на свете!

— Монтаг, книги!

Книги прыгали и плясали, как зажариваемые живьем птицы, на крыльях которых полыхали красные и желтые перья.

А затем он перешел в гостиную, где, незримо улегшись, спали огромные чудовища-идиоты с их белыми думами и снежными грезами. Он пустил по стреле огня в каждую из трех глухих стен, и оттуда на него зашипел вакуум. Пустота и свист испускала пустой, еще более пустой, чем она сама, бессмысленный вопль. Монтаг попытался вообразить себе этот вакуум, на поверхности которого пустое небытие разыгрывало свои спектакли, но у него ничего не получилось. Он задержал дыхание, чтобы вакуум не проник ему в легкие. Одним движением он отсек от себя его жуткую пустоту и, отпрянув, подарил всей комнате огромный и яркий желтый цветок всесожжения. Огнеупорный пластик, облекавший все вокруг, вскрылся, как от удара ножа, и весь дом начал содрогаться от пламени.

— Когда полностью закончишь, — сказал за его спиной Битти, — пойдешь под арест.

Дом упал в облаке красных углей и черного пепла. Он улегся на ложе из сонной розово-серой золы, и над ним поднялся, поплыл к небу, медленно колеблясь из сторо-

ны в сторону, султан дыма. Было три тридцать утра. Толпа рассосалась по домам: огромные цирковые шатры тяжело осели горами углей и мусора, представление давно закончилось.

Монтаг стоял с огнеметом в безвольных руках, под мышками мокли огромные острова пота, лицо было измазано сажей. Остальные пожарные спокойно ждали за его спиной, оставаясь в тени, лишь только их лица были слабо освещены тлеющим фундаментом.

Монтаг дважды начинал говорить, и наконец ему удалось собраться с мыслями:

— Так это моя жена подняла тревогу?

Битти кивнул.

— Но ее подруги подняли тревогу еще раньше, задолго до того, как я дал команду выезжать. Так или иначе, но ты бы все равно попался. Это было весьма глупо — цитировать стихи направо и налево, не считаясь ни с чем. Так мог поступить только чертовски глупый сноб. Дайте человеку несколько строчек стихов, и он тут же начинает мнить себя Создателем. Ты решил, что с этими книгами способен ходить по воде, словно посуху, между тем мир может прекрасно обходиться без них. Погляди, куда они тебя завели, ты сидишь в зловонной жиже по самые губы. Стоит мне всколыхнуть эту жижу мизинцем, и ты захлебнешься!

Монтаг не мог двигаться. Грянуло великое землетрясение, в дыму и пламени, и сровняло его дом с землей, и где-то там, под развалинами, была Милдред, и где-то там была вся его жизнь, поэтому он не мог двигаться. Землетрясение все еще продолжалось, внутри его что-то качалось, и падало, и содрогалось, а он стоял на полусогнутых ногах, едва сдерживая тяжкий груз усталости, недоумения и позора, и позволял Битти избивать его, не прикладывая при этом рук.

— Ты идиот, Монтаг. Ты, Монтаг, полный дурак. Ну скажи, идиот проклятый, зачем ты в самом деле сотворил такое?

Монтаг не слышал, он был далеко отсюда, в мыслях он убегал прочь, его уже вовсе не было здесь, осталось лишь мертвое, покрытое сажей тело, которое раскачивалось перед другим безумствующим дураком.

— Монтаг, выбирайтесь оттуда! — сказал Фабер.

Монтаг прислушался.

Битти с такой силой ударил его по голове, что Монтаг отбросило на несколько шагов. Зеленая пуля, в которой продолжал шептать и кричать голос Фабера, упала на тротуар. Ухмыляясь, Битти схватил ее и наполовину вставил себе в ухо.

До Монтага донесся далекий голос:

— Монтаг, вы в порядке?

Битти выключил зеленую пулю и сунул ее в карман.

— Ну-ну... Значит, здесь кроется нечто большее, чем я думал. Я видел, как ты наклонял голову, прислушиваясь к чему-то. Поначалу я решил, что у тебя там «ракушка», но потом, когда ты внезапно поумнел, я призадумался. Мы еще проследим, куда ведет эта ниточка, и примерно накажем твоего дружка.

— Нет! — выкрикнул Монтаг.

Он крутанул предохранитель огнемета. Битти мгновенно перевел взгляд на пальцы Монтага, и глаза его слегка расширились. Монтаг увидел в них удивление и сам взглянул на свои руки, пытаясь разобраться, что же еще они выкинули на этот раз. Позднее, обдумывая случившееся, он так и не смог понять, что именно — то ли сами руки, то ли реакция на них Битти — дало тот последний толчок, который привел к убийству. Последний рокочущий гром лавины обрушился на него, камни ударили по ушам, но больше ничего не задели.

Битти улыбнулся самой своей очаровательной улыбкой.

— Ну что же, это один из способов овладеть аудиторией. Если нацелить на человека ствол, можно заставить его выслушать любую речь. Ладно, давай сюда свою речь.

Что у нас на этот раз? Почему бы тебе не изрыгнуть на меня Шекспира, сноб недотепистый? «Мне не страшны твои угрозы, Кассий/ Вооружен я доблестью так крепко/ Что все они, как легкий ветер, мимо/ Пронесаются»¹. Ну как? Смелее, ты, беллетрист второсортный, спускай наконец курок!

И Битти сделал один шагок по направлению к Монтагу.

— Мы никогда не жгли по справедливости... — только и произнес Монтаг.

— Дай эту штуку сюда, Гай, — сказал Битти с застывшей улыбкой. И стал вопящей вспышкой, скачущим враспыху, что-то тараторящим манекеном, в котором не осталось ничего человеческого, ничего узнаваемого, только корчащееся пламя на газоне, в том месте, куда Монтаг выпалил долгую пульсирующую струю жидкого огня. И было шипение, словно кто-то, набрав полный рот слюны, плюнул на раскаленную докрасна плиту, и было бульканье, и пошла пена, как если бы чудовищную черную улитку обсыпали солью, отчего началось ужасное разжижение и кипение желтых пузырей. Монтаг зажмурился, он кричал, кричал, кричал и все силился дотянуться руками до ушей, чтобы, заткнув их, отсечь страшный звук, а Битти бился и перекидывался, и переворачивался, и перекручивался на траве, пока наконец не свернулся, словно обугленная восковая кукла, и не затих.

Двое других пожарных стояли совершенно недвижно.

Монтаг уже давно сдерживал в себе дурноту, поэтому у него хватило сил нацелить на них огнемёт.

— Повернитесь!

Они повернулись; на лицах струи пота, цвет серый, как у мяса, припущенного на огне. Монтаг ударил их по головам, сшиб каски, пожарные повалились друг на друга и, упав, больше не шевелились.

Как будто лист слетел, осенний, одинокий.

¹ Слова Брута из трагедии У. Шекспира «Юлий Цезарь», действие 4, сцена 3. Перевод М. А. Зенкевича.

Монтаг обернулся, пред ним была Механическая Гончая.

Явившись из мрака, она успела одолеть полгазона, двигаясь с такой плавучей легкостью, что казалась цельным и твердым облаком черно-серого дыма, в полнейшей тишине несомым на Монтага ветром.

Она сделала один-единственный последний прыжок, взвилась в воздух на добрых три фута выше головы Монтага и стала падать, протягивая к нему паучьи лапы и лязгая прокаиновой иглой, своим единственным озленным зубом. Монтаг ударил ее влет цветком огня, тем чудодейственным бутоном, что может распуститься только раз, цветок обвил металлического пса своими желтыми, синими, оранжевыми лепестками, тем самым одев его в новый наряд, и тут зверь врезался в Монтага, отшвырнув его футов на десять назад, к древесному стволу дерева, но огнемета тот не выпустил. Монтаг услышал царапанье, а потом почувствовал, как Гончая хватает его за ногу и вонзает в нее иглу, но длилось это доли секунды, потому что в следующий миг огонь взметнул зверя в воздух, переломал в суставах металлические кости и выплеснул наружу его внутренности мощной струей ярко-красного цвета, словно вдруг пустили сигнальную ракету, надежно прикрепив ее к земле. Монтаг лежал и смотрел, как эта мертво-живая тварь, умирая, сучит лапами в воздухе. Даже теперь, казалось, зверь все еще хотел добраться до него и довести инъекцию до конца, хотя яд уже начал свою разрушительную работу в ноге Монтага. Его охватило смешанное чувство облегчения и ужаса, как у человека, который успел отскочить от машины, пронесшейся мимо со скоростью девяносто миль в час, но при этом бампер все же разбил ему колено. Он боялся подняться, боялся, что с анестезированной голенью вообще не сумеет удержаться на ногах. Онемение онемелости онемевшей пустотелости...

И что дальше?..

Улица безлюдна, дом выгорел, как ветхий клочок театральной декорации, все прочие дома темны, Гончая здесь,

Битти там, двое других пожарных где-то еще, а «Саламандра»?.. Он взглянул на огромную машину. Ей тоже надо бы исчезнуть.

«Ну, — подумал он, — давай посмотрим, сможешь ли ты обойтись без посторонней помощи. Становись на ноги! Легче, легче... Вот!»

Он стоял, и у него была только одна нога. Вторая была обгоревшим сосновым чурбаком, который он таскал с собой в наказание за какой-то неясный грех. Стоило ему перенести на нее тяжесть, как в икру вонзался сноп серебряных игл, и боль волной поднималась к колену. Монтаг заплакал.

«Ну пошли! Слышишь, ты?! Пошли! Тебе нельзя здесь оставаться!» Дальше по улице в нескольких домах снова зажглись огни — то ли недавние события были тому причиной, то ли противоестественная тишина, наступившая после сражения, Монтаг так и не понял. Он ковлял среди развалин, то и дело хватаясь за больную ногу, когда она начинала отставать; он и разговаривал с ней, и хныкал, и выкрикивал команды, указывая, куда идти, и проклинал ее, и умолял поработать как следует, ведь от этого сейчас зависела вся его жизнь. Он слышал, как несколько человек, окликнув друг друга, перекрикивались в темноте. Наконец Монтаг добрался до заднего двора, выходящего в переулок. «Ну что же, Битти, — подумал он, — вот вы больше и не проблема. Вы сами всегда говорили: «Не решай проблему, сожги ее». Вот я и сделал оба дела сразу — и не решил, и сжег. Прощайте, Капитан!»

И он заковылял в темноте по переулку.

Ружейный выстрел гремел в ногу всякий раз, когда он на нее наступал, и Монтаг думал: «Дурак, проклятый дурак, ужасный дурак, идиот, ужасный идиот, проклятый идиот, и еще раз дурак, проклятый дурак; ты посмотри, какая каша, а ведь швабры-то нет, не вымоешь, ты толь-

ко посмотри, какую кашу ты заварил и расплескал всюду, и что теперь будешь делать? Гордыня, черт побери, и дурацкий нрав, все искромсал, все испортил, с первых шагов блюешь на всех и вся, а в первую очередь на себя. Но ведь все навалилось разом, одно за другим — Битти, эти женщины, Милдред, Кларисса, все подряд... Впрочем, это не оправдание, нет, не оправдание. Дурак, проклятый дурак, ну что, идем сдаваться?»

«Нет, мы все-таки спасем то, что можем спасти, сделаем то небольшое, что еще осталось сделать. И если нам суждено гореть, давай-ка прихватим с собой кое-кого еще!»

Он вспомнил о книгах и повернул обратно. Ничтожный шанс, но он все-таки есть.

Он действительно нашел несколько книг там, где их оставил, — возле садовой изгороди. Милдред, благослови ее господь, упустила несколько книг. Четыре книги по-прежнему лежали в том самом месте, где он их спрятал. В темноте завывали голоса, вокруг шарили лучи карманных фонариков. А вдали уже ревели другие «Саламандры», грохот их двигателей далеко разносился в ночи, и полицейские машины тоже прорезали себе путь сквозь город воем своих сирен.

Монтаг забрал четыре оставшиеся книги и запрыгал, подскакивая на каждом шагу, запрыгал по переулку — и вдруг упал, словно ему отсекли голову, а туловище бросили лежать на тротуаре. Что-то внутри его рывком остановило его тело и швырнуло на землю. Он лежал, где упал, и рыдал, подобрал под себя ноги и вжавшись незрячим лицом в гравий.

«Битти хотел умереть».

Только разрыдавшись, Монтаг понял, что это было именно так. Битти хотел умереть. Ведь он просто стоял там и ничего не делал, чтобы спастись, даже не пытался спастись, просто стоял и вышучивал его, подковыривал по-всякому, думал Монтаг, и этой мысли хватило, что-

бы он подавил в себе рыдания и дал передышку легким, жаждавшим воздуха. Как странно, странно — столь сильно хотеть смерти, что ты разрешаешь человеку ходить вокруг тебя с оружием и вместо того, чтобы заткнуться и тем самым спасти себе жизнь, продолжаешь орать на окружающих людей, и высмеивать их, пока они совсем не взбесятся, и тогда...

Неподалеку — топот бегущих ног.

Монтаг сел. Давай выбираться отсюда. Пошли, вставай, вставай, ты что, так и будешь здесь сидеть? Но он все еще плакал, и с этим нужно было покончить. Рыдания понемногу стихали. Ведь он никого не хотел убивать, никого, даже Битти. Его собственная плоть стиснула его, съезжившись, словно тело погрузили в кислоту. Монтаг скорчился, давась. Он снова увидел Битти — живой недвижный факел, трепещущий, угасая, на траве. Он впился зубами в костяшки пальцев. Простите меня, простите меня, о боже, как же я виноват...

Он пытался собрать все кусочки воедино, вернуться к нормальному рисунку жизни, каким он был всего несколько коротких дней назад, до того как в него вошли сито, песок, зубная паста «Денем», голоса ночных бабочек, огненные светляки, сигналы тревоги, прогулки по ночному городу, слишком много всего для нескольких коротких дней, да, в сущности, для целой жизни тоже много.

Топот ног в дальнем конце переулка.

«Вставай!» — приказал он себе.

«Вставай, черт тебя побери!» — крикнул он ноге.

И встал.

Боль была такая, словно в коленные чашечки ему вонзали спицы, а потом это были уже штопальные иглы, а потом заурядные, обыкновеннейшие английские булавки, а затем, после того как он в немыслимом танце, сделав еще пятьдесят прыжков и скачков, миновал деревянный забор, нашпиговав себе руку занозами, боль от уколов стала по-

ходить на то, как если бы кто-то время от времени обдавал его ногу кипятком из пульверизатора. И наконец эта нога снова стала его собственной ногой. Он боялся, что если побежит, то может сломать ослабевшую лодыжку, но спустя какое-то время, втягивая широко открытым ртом всю черную ночь и выдыхая ее уже побледневшей, так что вся темнота тяжело оседала в нем самом, он все же пустился дальше ровной мерной трусцой. Книги он держал в руках.

Он думал о Фабере.

Фабер остался там, в дымящейся глыбе вара, не имевшей теперь ни имени, ни сущности. Он сжег и Фабера тоже. Эта мысль внезапно так потрясла его, что ему привиделось, будто Фабер на самом деле умер, изжарившись, как таракан, в той крошечной, засунутой в карман зеленой капсуле. Капсуле, затерявшейся в одежде человека, от которого не осталось уже ничего, кроме голого скелета, стянутого асфальтовыми жилами.

«Ты должен помнить: сожги их, или они сожгут тебя!» — вспомнилось ему. Ну что же, сейчас все свелось именно к этому.

Он порылся в карманах, деньги были там, и еще он нашел в одном из карманов привычную «ракушку», по которой город разговаривал сам с собой в это холодное черное утро.

— Полицейская тревога. Объявлен розыск: беглец в черте города. Совершил убийство и преступления против государства. Имя: Гай Монтаг. Род занятий: пожарный. В последний раз замечен...

Он пробежал, не останавливаясь, шесть кварталов, а затем переулочек, выскочил на широкий, в десять полос, безлюдный проспект. Он казался пустынной — ни единой лодки — рекой, застывшей в резком белом свете высоких дуговых ламп; если попытаться пересечь ее, можно утонуть, подумал Монтаг, слишком широкой была эта река, слишком открытой. И еще это была огромная сцена без

декораций, которая приглашала Монтага перебежать через нее — чтобы любой мог легко заметить его в ярких лучах иллюминации, легко поймать, легко застрелить.

«Ракушка» гудела в его ухе:

— ...наблюдайте, не появится ли бегущий мужчина... бегущий мужчина... наблюдайте, не появится ли одинокий мужчина... леший... наблюдайте...

Монтаг отпрянул в тень. Прямо перед ним была бензозаправочная станция — огромная сверкающая глыба фарфорового снега; к ней подъезжали для заправки два серебряных «жука». Если хочешь пересечь этот широкий бульвар, сказал он себе, ты должен быть чистым и презентабельным, ты должен не бежать, а идти, спокойно идти, как бы прогуливаясь. А если ты умоешься и причешешь волосы, это лишь добавит безопасности, и тогда ты сможешь продолжить свой путь и добраться до... чего?

Да, подумал он, куда, собственно, я бегу?

Никуда. Ему и в самом деле некуда идти, у него нет ни единого друга, к которому можно было бы обратиться. Кроме разве что Фабера. И тут он осознал, что и впрямь бежит, совершенно инстинктивно, по направлению к дому Фабера. Но Фабер не может его укрыть, сама такая попытка была бы самоубийством. И в то же время Монтаг понимал, что он все равно заглянет к Фаберу, хотя бы на несколько коротких минут. Дом Фабера — то самое место, где он сможет подзарядить свою быстро сядящую веру в собственную способность к выживанию. Ему просто надо знать, что на свете живет такой человек, как Фабер. Ему необходимо убедиться, что этот человек жив, а не испепелился там, на газоне, не сгорел, как тело внутри другого тела. И, конечно же, надо еще оставить Фаберу часть денег, чтобы он мог их тратить, когда Монтаг побежит дальше. Возможно, он все-таки сумеет выбраться из города и тогда сможет начать жить где-нибудь на реке, или поблизости от реки, или рядом со скоростным шоссе, в полях или на холмах.

Могучий вихревой шелест заставил его поднять глаза.

В небо поднимались полицейские вертолеты, пока еще так далеко, что казалось, будто кто-то сдунул серую головку сухого одуванчика. Два десятка машин реяли над городом в трех милях от Монтага, нерешительно тычась в воздухе, словно бабочки, озадаченные осенью, а затем они начали отвесно падать на землю, то одна, то другая, то здесь, то там, чтобы, мягко взбив тесто улиц, неожиданно обратиться в полицейских «жуков», которые принимались с визгом носиться по бульварам или же, не менее внезапно, снова взмывали в воздух, продолжая свои поиски.

А здесь перед ним была заправочная станция, служители которой как раз сейчас занимались обслуживанием клиентов. Подойдя к зданию сзади, Монтаг вошел в мужской туалет. Сквозь алюминиевую стену он услышал, как голос по радио сказал: «Объявлена война». На улице в баки машин закачивался бензин. Мужчины в «жуках» говорили что-то, и служители станции тоже говорили — о двигателях, бензине, о том, сколько им должны за заправку. Монтаг стоял, пытаясь заставить себя почувствовать весь ужас спокойного заявления, сделанного по радио, но у него ничего не получалось. Чтобы войти в его личную жизнь, войне надо будет подождать — час, может быть, два часа.

Не делая лишних звуков, он вымыл руки и лицо и вытерся насухо полотенцем. Вышел из туалета, осторожно закрыл за собой дверь, шагнул в темноту, и вот наконец он снова стоит на краешке пустынного бульвара.

Проспект лежал перед ним в утренней прохладе, как игра, в которой необходимо выиграть, как гигантский желоб кегельбана. Бульвар был чист, словно поверхность арены за две минуты до того как на ней появятся некие безымянные жертвы и некие безвестные убийцы. Воздух поверх бетона, воздух над широкой бетонной рекой дрожал от тепла всего лишь одного тела, тела Монтага; непостижимо, но он чув-

ствовал, как его собственная температура заставляет вибрировать весь ближайший мир. Монтаг был фосфоресцирующей мишенью, он знал это, ощущал всей кожей. И теперь ему предстояло сделать первые шаги коротенькой прогулки.

В трех кварталах от него вспыхнуло несколько автомобильных фар. Монтаг глубоко втянул воздух. Легкие в его груди были словно два горящих веника. Рот иссох от бега. В горле чувствовался вкус кровавого железа, в ногах была ржавая сталь.

Ну и что это там за фары? Лишь только ты начнешь двигаться, тебе нужно будет все время оценивать, как скоро те «жуки» могут оказаться здесь. Так, а сколько от меня до той обочины? Похоже, ярдов сто. Может быть, и меньше, но лучше полагать, что сто, лучше полагать, что если идти очень медленно, эдакая приятная прогулочка, то переход займет не меньше тридцати секунд, даже сорок секунд на все про все. А «жуки»? Тронув с места, они пролетят эти три квартала секунд за пятнадцать. Значит, даже если на полпути он пустится бежать, то?..

Он поставил на мостовую правую ногу, затем левую, затем снова правую. Все, он уже шел по пустынному проспекту.

Конечно, даже если бы улица была совершенно пуста, все равно нельзя быть уверенным в безопасности перехода: машина может внезапно вылететь из-за подъема в четырех кварталах отсюда, ты и десяти вдохов не сделаешь, как она уже перед тобой, и на тебе, и поверх тебя, и вот ее уже и след простыл.

Монтаг решил больше не считать шагов. Он не смотрел ни вправо, ни влево. Свет ламп над головой казался таким же ярким и обнажающим, как лучи полуденного солнца, — и столь же горячим.

Он прислушался к шуму машины, которая набирала скорость в двух кварталах справа от него. Огни подвижных фар внезапно метнулись туда-сюда и поймали Монтага.

Продолжай идти.

Монтаг споткнулся, еще крепче вцепился в книги и приказал себе не застывать на месте. Инстинктивно он сделал несколько быстрых шагов, но тут же громко заговорил с собой, собрался с силами и снова перешел на прогулочный шаг. Он был уже на середине улицы, когда «жук», судя по реву двигателя, который, взвывая, взял более высокую ноту, прибавил скорости.

Полиция, конечно же. Они меня видят. Ну, так, еще медленнее, медленнее, совсем медленно, спокойно, не поворачивайся, не оглядывайся, никакой озабоченности. Иди, вот и все, иди и иди...

«Жук» мчался. «Жук» ревел. «Жук» увеличивал скорость. «Жук» завывал. «Жук» был тонкоголосым громом. «Жук» стелился над улицей. «Жук» шел по точной свистящей траектории, выстреленный из невидимого ружья. Он достиг скорости сто двадцать миль в час. Он перевалил уже за сто тридцать. Монтаг сжал челюсти. Казалось, от жара мчащихся огней у него горят щеки, дрожат веки, а все тело обливается кислым потом.

Он начал идиотски шаркать, начал разговаривать с собой, а затем не выдержал и просто побежал. Он выбрасывал ноги так далеко, как только можно, и вниз, под себя, и снова как можно дальше, и под себя, и назад, вперед, под себя, назад. Боже! Боже! Он уронил книгу, сбил шаг, чуть было не повернул назад, передумал, рванулся вперед, крича в бетонную пустоту, «жук» суетливо нагонял свою бегущую еду, двести футов, осталось сто футов, девяносто, восемьдесят, семьдесят, Монтаг задыхался, молотил руками воздух, ноги вверх-вниз-назад, вверх-вниз-назад, «жук» ближе, ближе, воеет, зовет, голова Монтага вывернута в сторону, навстречу слепящему сиянию, глаза выжжены добела, вот «жук» уже проглочен светом собственных фар, вот его уже нет, только факел, летящий в Монтага, весь — звук, весь — рев. И вот — он уже почти накрыл его!

Монтаг споткнулся и упал.

Вот и все! Конеч!

Но как раз в падении и был единственный смысл. За мгновение до того, как налететь на Монтага, бешеный «жук» косо пошел в сторону, вильнул и исчез. Монтаг лежал ничком, вдавив голову в бетон. Над ним, вместе с синим хвостом выхлопа, плавали завитки смеха.

Он падал, подняв правую руку над головой. Теперь рука плоско лежала на бетоне. Подтянув ее к себе, он обнаружил на самом кончике среднего пальца тончайшую, в одну шестнадцатую дюйма, черную метку от протектора в том месте, где чиркнуло проносящееся колесо. Монтаг поднялся на ноги, с недоумением глядя на эту черную черточку.

Это была не полиция, подумал он.

Монтаг оглядел бульвар. Он был свободен. Машина, полная детей, всех возрастов. Бог знает, от двенадцати до шестнадцати, наверное, носятся, свистят, орут, кричат «ура», увидели человека, зрелище необыкновеннейшее, гуляющий человек, редкость, кто-то просто сказал: «Достанем его», не зная, что это беглец, господин Монтаг, просто компания детей, выехавшая покататься в эту долгую ночь, чтобы с ревом и воем покрыть пятьсот или шестьсот миль за несколько лунных часов, от ветра леденеют лица, и неважно, вернутся они домой на рассвете или не вернутся, будут живы или не будут, — главное, приключение.

Они убили бы меня, подумал Монтаг. Он стоял шатаясь, разорванный воздух все еще шевелил пыль вокруг него, дотрагивался до ссадины на щеке. Просто так, ни за что ни про что, они убили бы меня.

Монтаг побрел к дальней обочине, приказывая каждой ноге по отдельности — шагай, продолжай двигаться. Каким-то образом он собрал разлетевшиеся книги, хотя не помнил, чтобы наклонялся и дотрагивался до них. Он то и дело перекладывал их из руки в руку, словно это была сдача в покере и он никак не мог разобрать комбинацию.

Хотел бы я знать, а не они ли убили Клариссу?

Он остановился, и его мозг очень громко повторил эту фразу:

— Хотел бы я знать, а не они ли убили Клариссу!

Ему захотелось с криком побежать за ними.

Глаза наполнились влагой.

Его спасло то, что он упал ничком. Увидев лежащего Монтага, водитель «жука» инстинктивно просчитал высокую вероятность того, что, переезжая тело на такой большой скорости, машина наверняка перевернется и выбросит всех вон. А если бы Монтаг остался стоячей мишенью?..

У Монтага перехватило дыхание.

В конце бульвара, в четырех кварталах от него, «жук» замедлил ход, развернулся на двух колесах и теперь, набирая скорость, мчался назад, косо переходя на встречную полосу.

Но Монтага уже не было на проспекте, он укрылся в спасительной темноте того самого переулка, ради которого он и пустился в этот долгий путь час — или, может, минуту? — назад. Он стоял, дрожа от ночного холода, и смотрел через плечо, как «жук» проносится мимо, вот его занесло на центральную часть проспекта, в воздухе взвихрился смех, машина исчезла.

Спустя несколько мгновений, шагая в темноте, Монтаг увидел, как с неба падают, падают, падают вертолеты, словно хлопья первого снега грядущей долгой зимы...

Дом был тих.

Монтаг подошел к нему сзади, прокравшись сквозь густой, sprыснутый ночной сыростью аромат желтых нарциссов, роз и влажной травы. Он дотронулся до сетчатой двери черного хода, обнаружил, что она открыта, скользнул внутрь и, прислушиваясь, прошел через крылечко.

«Госпожа Блэк, как вы там, спите? — подумал он. — Да, я знаю, это нехорошо, но ведь ваш муж поступал так

с другими и никогда не задавал лишних вопросов, никогда не сомневался, никогда не беспокоился. А сейчас, коль скоро вы жена пожарного, настал черед и вашего дома, настал ваш черед — за все дома, которые сжег ваш муж, за всех людей, которым он, не задумываясь, причинил вред».

Дом не ответил.

Монтаг спрятал книги на кухне и переместился из дома опять в переулок, и там обернулся: дом был по-прежнему темен и тих, он спал.

По пути назад через весь город, над которым, как клочки бумаги в небе, порхали вертолеты, он поднял пожарную тревогу, позвонив из одинокой телефонной будки возле закрытого на ночь магазина. А потом долго стоял в холодном ночном воздухе, стоял и ждал, и наконец услышал, как вдалеке подали голос сирены, и тут же завывли в полную силу, и «Саламандры» помчались, помчались, помчались, чтобы сжечь дом господина Блэка, пока он был на работе, чтобы поутру его жена, дрожа от рассветной прохлады, стояла и смотрела, как проседает и рушится в огонь крыша ее дома. Но сейчас она все еще спала.

«Спокойной ночи, госпожа Блэк», — пожелал он.

— Фабер!

Новый стук в дверь, шепот, долгое ожидание. Затем, через минуту, внутри маленького дома Фабера замерцал огонек. Снова пауза, и задняя дверь открылась.

Они стояли и разглядывали друг друга в полумраке — Фабер и Монтаг, стояли и разглядывали, словно каждый не верил в существование другого. Затем Фабер шевельнулся, и протянул руку, и схватил Монтага, и втянул его внутрь, и усадил, и вернулся к двери, и некоторое время стоял там в проеме, прислушиваясь. В утренней дали завывали сирены. Фабер вошел в комнату и прикрыл за собой дверь.

— Я был дураком, все время, с самого начала, — сказал Монтаг. — Мне нельзя долго оставаться у вас. Краткая остановка на пути бог знает куда.

— По крайней мере, вы были дураком что надо, — ответил Фабер. — Я думал, вы уже мертвы. Аудиокапсула, которую я вам дал...

— ...сгорела.

— Я слышал, как Капитан разговаривал с вами, — и вдруг тишина. Я чуть было не бросился вас разыскивать.

— Капитан мертв. Он обнаружил аудиокапсулу, он услышал ваш голос, и он собирался выследить вас. Я убил его из огнемета.

Фабер сел и долго ничего не говорил.

— Боже мой, как это могло случиться? — спросил Монтаг. — Еще вчера вечером все было прекрасно, и вдруг я понимаю, что тону. Сколько раз человек может тонуть и при этом оставаться в живых? Я не могу дышать. Битти мертв, а когда-то он был моим другом, и Милли нет, я думал, она мне жена, а сейчас уже просто не знаю. И дом сгорел дотла. И нет больше работы, я в бегах, а по дороге сюда я подбросил в дом пожарного книгу. Господи Иисусе, и все это я натворил за одну-единственную неделю!

— Вы сделали то, что должны были сделать. К этому шло уже давно.

— Да, я верю, что так оно и есть, если я вообще во что-то верю. Накапливалось, накапливалось, а потом произошло. Я давно чувствую это, во мне что-то копилось, я делал одно, а чувствовал совсем другое. Боже, ведь все это было внутри меня. Удивительно, как оно не проявилось внешне, подобно жировым отложениям. И вот я теперь у вас, чтобы ваша жизнь тоже превратилась в кашу. Они же могут прийти за мной сюда.

— Впервые за много лет я чувствую, что живу, — сказал Фабер. — Чувствую, что делаю то, что должен был сделать целую жизнь тому назад. Пока еще я не испытываю страха. Может быть, потому, что я наконец делаю то, что положено. А может, потому, что я совершил неосторожный поступок и теперь не хочу выглядеть в ваших глазах тру-

сом. Полагаю, впредь мне придется совершать куда более отчаянные поступки и подвергнуть себя серьезному риску, дабы не загубить все дело и снова не впасть в страх. А каковы ваши планы?

— Бежать дальше.

— Вы знаете, что объявлена война?

— Да, слышал.

— Боже, ну не забавно ли это? — сказал старик. — У нас теперь полно своих забот, и потому война кажется такой далекой-далекой.

— У меня просто не было времени подумать об этом. — Монтаг выгасил столондаровую бумажку. — Хочу, чтобы это осталось у вас. Когда я уйду, используйте их как угодно, лишь бы помогло.

— Но...

— Может, к полудню я буду уже мертв. Используйте их. Фабер кивнул.

— Если сможете, лучше направляйтесь к реке, идите берегом, пока не наткнетесь на старую железнодорожную ветку, ведущую за город, и дальше идите по ней. Хотя в наши дни практически все летают самолетами и большая часть железных дорог заброшена, но рельсы-то остались, хотя и ржавеют. Я слышал, что по всей стране, там и сям, все еще есть лагеря бродяг, их называют «ходячими лагерями», и если уйти подальше и держать глаза открытыми, то, говорят, вдоль колен, на всем пути от нас до Лос-Анджелеса, можно встретить немало старых выпускников Гарварда. Большинство из них находится в розыске, в городах за ними охотятся, тем не менее, думается, они выживают. Их не так-то много, и я полагаю, правительство никогда не видело в них столь большую опасность, чтобы затеять большую игру и переловить их всех. Можете на какое-то время укрыться у этих бродяг, а потом свяжетесь со мной в Сент-Луисе. Я уезжаю туда сегодня утром пятичасовым автобусом, хочу повидать того

отставного печатника. Так что я тоже наконец выхожу на свет. Вашим деньгам найдется хорошее применение. Спасибо, и да благословит вас Господь. Может, хотите поспать несколько минут?

— Нет, лучше побегу.

— Давайте выясним, что к чему.

Он быстро провел Монтага в спальню, снял и отложил в сторону картину в раме, и на стене обнаружился телевизионный экран размером с почтовую открытку.

— Мне всегда хотелось иметь что-нибудь очень маленькое, нечто такое, к чему я мог бы подойти, нечто такое, что можно было бы, если нужно, заткнуть ладонью. Не терплю ничего, что могло бы орать на меня, ничего чудовишно большого. И вот — вы видите...

Он щелкнул выключателем.

— Монтаг, — сказал телевизор и зажегся. — М-О-Н-Т-А-Г. — Голос произнес имя по буквам. — Гай Монтаг. Все еще в бегах. Подняты полицейские вертолеты. Из другого района доставлена новая Механическая Гончая...

Монтаг и Фабер переглянулись.

— ... Механическая Гончая никогда не подводит. Ни разу, с того самого момента, как это невероятное изобретение было впервые использовано для розыска добычи, она не совершила ни единой ошибки. Наша телекомпания горда тем, что сегодня вечером имеет возможность последовать за Гончей на вертолете, оборудованном камерой, лишь только она возьмет курс на мишень...

Фабер наполнил два стакана виски.

— Нам это понадобится.

— ... нос, настолько чувствительный, что Механическая Гончая может запомнить и идентифицировать десять тысяч запаховых показателей десяти тысяч мужчин без дополнительной переустановки!

Фабер легонько вздрогнул и обвел взглядом дом, стены, дверь, дверную ручку и стул, на котором сидел Мон-

таг. Монтаг понял, что означает этот взгляд. Они оба быстро оглядели дом, и Монтаг ощутил, как расширились его ноздри, и понял, что сам пытается взять свой собственный след, и неожиданно оказалось, что у него очень чуткий нос, который без труда распознает путь, который Монтаг проделал в воздухе комнаты, и след пота его пальцев, свисающий с дверной ручки, — след невидимый и даже не единственный, их было много, как драгоценных камней на маленьком канделябре; он стал светящимся облаком, привидением, и от этого стало невозможно дышать. Он увидел, как Фабер задерживает собственное дыхание, боясь втянуть это привидение в свое тело, возможно, уже и без того зараженное испарениями фантома и запахами беглеца.

— А сейчас вертолет опускает Механическую Гончую на место Пожара!

И тут на маленьком экране возникли сгоревший дом, и толпа, и что-то, накрытое простыней, а с неба, порхая, спускался вертолет, похожий на гротескный цветок.

Итак, они должны довести игру до конца, подумал Монтаг. Цирк будет продолжаться, хотя не пройдет и часа, как начнется война...

Зачарованный, не пытаясь пошевелиться, он следил за происходящим на экране. Все казалось таким далеким, не имеющим к нему никакого отношения; это была пьеса, поставленная отдельно и отдаленно, смотреть ее было удивительно, в ней заключалась даже какая-то странная прелесть. И ведь это все для меня, подумал он, боже ты мой, все это делается только для меня.

Если бы он захотел, то мог бы устроиться здесь с комфортом и наблюдать за всей охотой, за всеми ее быстро сменяющимися фазами, — промчаться вниз по переулкам, вверх по улицам, перепрыгнуть через пустые плавные проспекты, пересечь автомобильные стоянки и игровые площадки, делая тут или там паузы для рекламных

объявлений, и вверх по другим переулкам, к горящему дому господина и госпожи Блэк, и дальше, дальше, и вот наконец этот дом, где Фабер и он сам сидят, попивая виски, а Механическая Гончая уже приюхивается к последнему следу, беззвучная, как надвижение самой смерти, прежде чем резко затормозить вот у этого окна. И тогда, если бы он захотел, Монтаг мог бы встать, подойти к окну, поглядывая одним глазком на телевизионный экран, открыть его, высунуться наружу, оглянуться и увидеть себя — как он стоит там, инсценированный, объясненный, подгримированный, живописно подсвеченный ярким сиянием маленького телевизионного экрана, герой драмы, которую полагается смотреть совершенно беспристрастно, стоит и знает, что в других гостиных он виден в натуральную величину, во весь рост, в полном цвете, во всем совершенстве пропорций! — а если он будет очень внимателен и постарается ничего не пропустить, то сумеет увидеть, как в него, за мгновение до проваливания в небытие, вопьется игла — во благо бесчисленных граждан, седоков гостиных, которые несколько минут назад пробудились ото сна, потому что стены их телевизионных комнат, неистово воя сиренами, пригласили их посмотреть большую игру, охоту, карнавал одного человека.

Хватит ли ему времени, чтобы сказать последнее слово? Когда на глазах у десяти, или двадцати, или тридцати миллионов человек Гончая схватит его, разве не должен он будет одной фразой или хотя бы одним словом подытожить всю свою жизнь за последнюю неделю, причем так, чтобы эта фраза, это слово оставались в их душах еще долго после того, как Гончая, зажав его в металлических тисках своих челюстей, повернется и затрусит прочь в темноту, а телекамера, оставаясь неподвижной, будет следить, как эта тварь все уменьшается и уменьшается, удаляясь, — потрясающее затемнение! Но что же может он сказать одним

словом или несколькими словами, чтобы опалить все эти лица и разбудить их?

— Вот она, — шепнул Фабер.

Вылетев из вертолета, на землю плавно опускалось нечто, что не было ни машиной, ни зверем, ни мертвым, ни живым, яркая бледно-зеленая светимость. Оно приземлилось возле дымящихся развалин дома Монтага, и полицейские, принеся брошенный Монтагом огнемет, положили его перед рылом Гончей. Послышались жужжание, пощелкивание, гудение.

Монтаг потряс головой, встал и допил остаток своего виски:

— Пора. Мне жаль, что все так получилось.

— О чем это вы? Обо мне? О моем доме? Я все это заслужил. Ради бога, бегите. Может быть, мне удастся задержать их здесь...

— Стойте. Пользы не будет, если они обнаружат еще и вас. Когда я уйду, сожгите покрывало с этой кровати, до которого я дотрагивался. Стул из гостиной, на котором я сидел, сожгите в вашей комнате в мусоросжигателе. Оботрите спиртом мебель, протрите дверные ручки. Сожгите коврик из прихожей. Включите на полную мощность кондиционеры во всех комнатах, распылите повсюду средство от насекомых, если оно у вас есть. Потом включите поливальную установку, пусть разбрызгиватели бьют как можно выше, обдайте из шланга дорожку и тротуар. Если нам хоть чуть-чуть повезет, может быть, удастся уничтожить здесь всякие следы моего присутствия.

Фабер пожал ему руку.

— Я об этом позабочусь. Удачи вам. Если нам обоим удастся сохранить доброе здоровье, то на следующей неделе, или еще через неделю, напишите мне в Сент-Луис, до востребования. Жаль, что никак не получится поддерживать с вами связь через наушник. Эта штука хорошо поработала на нас. Однако запасы моего оборудования

ограничены. Видите ли, я никогда не думал, что смогу использовать ее. Вот глупый старик! Совсем ума нет. Глупый, глупый. В общем, у меня нет еще одной зеленой пули нужной конструкции, такой, чтобы можно было вставить вам в голову. Ну а сейчас бегите!

— И последнее. Только быстро. Достаньте любой чемодан и набейте его самой грязной вашей одеждой — старый костюм, чем грязнее, тем лучше, рубаха, какие-нибудь старые кроссовки, носки...

Фабер вышел и вернулся через минуту. Они обклеили картонный чемодан прозрачной липкой лентой.

— Ясное дело, чтобы сохранить внутри древний запах господина Фабера, — заметил Фабер, вспотевший от усилий.

Монтаг обрызгал чемодан снаружи небольшим количеством виски.

— Не хочу, чтобы Гончая учуяла оба запаха сразу. Могу я взять с собой остаток виски? Оно мне потом понадобится. Господи Иисусе, хоть бы все удалось!

Они еще раз пожали друг другу руки и, выходя, бросили взгляд на телевизор. Гончая, сопровождаемая нависшими над ней вертолетами с камерами, шла по следу, шла тихо-тихо, совсем бесшумно, втягиваясь в сильный ночной ветер. Она уже вбежала в первый переулок.

— До свидания!

Монтаг легко выскочил из задней двери и пустился бежать с полупустым чемоданом в руке. Он услышал, как сзади вскинулась поливальная установка и наполнила темный воздух дождем, который сначала падал мягко, а затем превратился в ровный ливень; вода омывала тротуар и стекала на мостовую. Вместе с собой Монтаг унес несколько капель этого дождя, попавших на лицо. Ему показалось, что он услышал, как старик крикнул вслед «До свиданья!», но уверенности в этом не было.

Очень быстро он побежал прочь от дома, вниз по улице, направляясь к реке.

Монтаг бежал.

Он чувствовал Гончую, как чувствуют приход осени, холодной, сухой и скорой, как чувствуют ветер, который, пролетая, не колышет траву, не дребезжит в окнах, не шевелит тенями листьев на белых тротуарах. Гончая не касалась окружающего мира. Свое молчание она несла с собой, и это молчание можно было ощутить, потому что оно, следуя за тобой через весь город, все время наращивало давление за твоей спиной. Монтаг чувствовал, что давление растет, и бежал дальше.

На пути к реке он остановился, чтобы перевести дыхание, и заодно заглянул в тускло освещенные окна проснувшихся домов; внутри он увидел силуэты людей, смотревших стены своих гостиных, а там, на стенах, Механическая Гончая, выдох неоновых паров, паучьими перебежками мчалась вперед: вот она здесь, а вот ее уже нет, опять здесь, и снова ищи ветра в поле! Только что была на террасе Вязов, а уже бежит по улице Линкольна, по Дубовой, по Парковой, вот и переулок, ведущий к дому Фабера!

«Пробеги мимо, — подумал Монтаг. — Не останавливайся, беги дальше, не сворачивай!»

На стене гостиной — дом Фабера, в ночном воздухе пульсируют струи поливальной установки.

Гончая приостановилась, вся дрожа.

«Нет! — Монтаг приник к подоконнику. — Сюда! Я здесь!»

Прокаиновая игла высунулась и мгновенно втянулась назад, высунулась, втянулась. Но перед тем, как игла вообще исчезла в рыле Гончей, с нее сорвалась единичная ясная капелька зелья, приносящего сны.

Монтаг надолго затаил дыхание — словно два кулака сжались в груди.

Механическая Гончая отвернулась и бросилась дальше по переулку, прочь от фаберовского дома.

Монтаг резко перевел взгляд на небо. Вертолеты были гораздо ближе — словно туча насекомых слеталась к единственному источнику света.

С усилием Монтаг снова напомнил себе, что увиденное на экране — не выдуманный эпизод, подсмотренный им по пути к реке, а реальная действительность, и что он был свидетелем шахматной партии, которую, ход за ходом, разыгрывает он сам.

Он закричал, чтобы тем самым дать себе необходимый толчок, чтобы оторваться от окна этого последнего дома и захватывающего сеанса шахматной игры, продолжающегося там. К черту! И вот он уже далеко, его уже нет. Переулок, улица, переулок, улица, запах реки... Нога вперед, нога вниз, нога вперед и вниз... Скоро будут бежать двадцать миллионов Монтагов, если телекамеры поймут его. Двадцать миллионов бегущих Монтагов, бегущих, как в древней, мерцающей на экране кистоунской комедии¹: «копы», грабители, преследователи и преследуемые, охотники и добыча, — он сам видел все это тысячу раз. А за ним гонятся двадцать миллионов беззвучно лающих Гончих, рикошетом летающих через гостиные: от трех бортов в дальнюю лузу, есть! От правой стены через центральную к левой, луза! Правая стена, центральная стена, левая стена, луза!

Монтаг воткнул в ухо «ракушку».

— Полиция предлагает всем гражданам, живущим в районе террасы Вязов, поступить следующим образом: пусть каждый человек в каждом доме на каждой улице откроет парадную или заднюю дверь или выглянет из окна.

¹ Кистоунские комедии — собирательное название для огромного количества короткометражных комедийных фильмов, снятых в эпоху немого кино компанией «Кистоун». Эта компания была создана в 1912 г. и производила по одной комедии в неделю. Большое количество фильмов было посвящено смешным похождениям незадачливых полицейских — «кистоунских копов». В 35 комедиях этого типа снялся Чарли Чаплин.

Беглец не сможет скрыться, если через минуту каждый выйдет из своего дома. Приготовились!

Ну, конечно! Странно, что они не делали этого раньше! За столько лет — и ни разу не испробовали такую игру! Всем встать и всем выглянуть! Вот уж не ошибешься! Он единственный, кто в одиночку бежит по ночному городу, единственный, кто испытывает крепость своих ног!

— А теперь — на счет десять. Один! Два!

Он почувствовал, как весь город встал.

— Три!

Он почувствовал, как весь город повернулся к тысячам своих дверей.

Быстрее! Нога вперед, толчок, нога назад!..

— Четыре!

Люди, как лунатики, бредут по коридорам.

— Пять!

Он ощутил их пальцы на дверных ручках!

Запах реки был прохладным, пахло так, будто идешь под крепким дождем. Горло Монтага было забито перекаленной ржавчиной, от бега в глазах стояли сухие слезы. Он закричал, словно этот крик мог подхлестнуть его, перебросить через последние сто ярдов, остававшиеся до реки.

— Шесть, семь, восемь!

На пяти тысячах дверей повернулись ручки.

— Девять!

Он рванулся, оставив за собой последний ряд домов, и побежал вниз по склону, ведущему к плотной движущейся черноте.

— Десять!

Двери распахнулись.

Он представил себе тысячи и тысячи лиц, всматривающихся во дворы, переулки и небо; тысячи лиц, скрытых занавесками; тысячи бледных лиц, испуганных ночной темнотой, словно рыльца серых зверьков, выглянувших из своих электрических нор; тысячи лиц с серыми бесцвет-

ными глазами, серыми языками и серыми мыслями, проглядывающими сквозь оцепенелую плоть лиц.

Но он был уже у реки.

Монтаг коснулся ее, просто чтобы увериться в ее реальности. Он вошел в воду, разделся в темноте догола и стал брызгать на тело, ноги, руки, голову неразбавленный спирт воды; он пил ее и не мог напиться, и даже носом втянул в себя малую толику. Затем надел старую одежду и башмаки Фабера, а свои вещи швырнул в реку и долго смотрел, как их сносит течением. Потом, не выпуская из руки чемодан, он зашел в реку еще дальше, туда, где уже не чувствовалось дна, и течение унесло в темноту его самого.

Он был уже в трехстах ярдах ниже по течению, когда Механическая Гончая достигла реки. В вышине парили огромные грохочущие круги вертолетных винтов. Буря света обрушилась на реку, и Монтаг нырнул, уходя от этой мощной иллюминации, сравнимой лишь с солнцем, пробившимся сквозь облака. Он чувствовал, что река увлекает его все дальше и дальше в темноту. Затем лучи метнулись назад, на берег, и вертолеты снова начали кружить над городом, словно наткнулись на новый след. Они исчезли. Исчезла Гончая. И теперь была только холодная река, и был Монтаг, плывший по ней в нечаянном покое — прочь от города, огней, погони, прочь от всего.

Ему казалось, будто бы он сошел со сцены, где осталось много актеров. Ему казалось, будто бы он покинул спиритический сеанс, где осталась целая туча бормочущих духов. Из нереальности, которая страшила его, он перемещался в реальность, которая тоже была нереальной — в силу своей новизны.

Мимо скользила черная земля, он плыл теперь за пределами города среди холмов. Впервые за добрый десяток лет над ним высыпали звезды и начали свой ход по небу — великое круговращение огня. Он видел, как в небе

собираются великие силы звезд, грозящие скатиться вниз и сокрушить его.

Он плыл на спине, когда чемодан набрал воды и затонул; река была кротка и нетороплива, она все дальше и дальше уходила от людей, которые ели тени на завтрак, пар на обед и морось на ужин. Река была очень реальна; она мягко несла Монтага, давая ему время и досуг наконец-то обдумать и прошедший месяц, и минувший год, и все годы его жизни. Он прислушался к своему сердцу — его ритм замедлился. И мысли перестали метаться, вторя толчкам крови.

Он увидел, что луна в небе теперь была заметно ниже. Вот сама луна там, а что служит причиной лунному свету? Конечно, солнце. А что дает свет солнцу? Его собственный огонь. День за днем солнце горит и горит, не переставая. Солнце и время. Солнце, время и горение. Горение. Река тихо несла его, легонько поигрывая, как мячиком. Горение. Солнце и все часовые механизмы Земли. Все это сошлось вместе и стало единым целым в его мозгу. После долгого плавания по земле и короткого плавания по реке он наконец понял, почему никогда в жизни он больше не должен жечь.

Солнце горит каждый день. Оно сжигает Время. Планета несется по кругу и вертится вокруг собственной оси, а Время только и делает, что сжигает годы и в любом случае сжигает людей, не прибегая к его, Монтага, помощи. И если он вместе с другими пожарными будет сжигать разные вещи, а солнце будет сжигать Время, то это значит, что сгорит все!

Кто-то из них должен перестать жечь. Солнце, конечно, не перестанет. И получается, что это должен сделать он, Монтаг, и те люди, с кем он работал бок о бок еще несколько коротких часов назад. Где-то опять должно начаться сбережение и накопление, и кому-то придется взять на себя эту роль: сберегать и так или иначе копить, копить

и так или иначе сберегать все заслуживающее внимания — в книгах, в записях, в людских головах, в любом виде, лишь бы все это оставалось нетронутым — ни молью, ни чешуйницей, ни ржавчиной, ни гнилью, ни людьми со спичками. В мире полно горения — всех видов и форм. Скоро, очень скоро должна будет начать свою деятельность новая гильдия — гильдия асбестоткачей.

Он почувствовал, как его пятки ударились о твердь, коснулись гальки, пробороздили песок. Река принесла его к берегу.

Он взгляделся в огромное черное создание, лишенное глаз и света, лишенное формы и имеющее только размер, который тянется на тысячи миль, никак не желая остановиться; создание, раскинувшее свои травяные холмы и леса, которые сейчас ожидали его.

Монтаг медлил, не решаясь покинуть уютный поток воды. На суше его ждала встреча с Гончей. В кронах деревьев мог неожиданно засвистеть могучий вертолетный ветер.

Но пока здесь был лишь обычный осенний ветер, он тек высоко вверх, как еще одна река. Почему Гончая больше не бежит за ним? Почему погоня отвернула от реки? Монтаг внимательно вслушивался. Ничего. Ничего.

Милли, подумал он. Вот передо мной лежит весь этот край. Прислушайся к нему! Ничего, совсем ничего. Так много тишины, Милли, я все думаю, как бы ты ее восприняла? Стала бы кричать мне — «Заткнись! Заткнись!», так или нет? Милли, Милли... Ему стало грустно.

Но Милли здесь не было, и Гончей здесь не было; сухой запах сена, доносившийся с какого-то дальнего поля, вернул его на землю. Он вспомнил одну ферму, на которой побывал очень давно, еще ребенком; то был один из редчайших случаев в его жизни, когда он обнаружил, что где-то там, за семью завесами нереальности, за стенами гостиных, за пустышным рвом, окружавшим город, существовали коровы, которые жевали траву, свиньи, которые

валялись в полдень в теплых лужах, и собаки, которые облаивали белых овец на холме.

И вот теперь сухой запах сена и движение речных вод побудили его вспомнить, как он спал на свежем сене в одиноком амбаре на задах тихого фермерского домика, вдали от шумных скоростных трасс, под древней ветряной мельницей, крылья которой издавали такое жужжание, словно годы жизни проносились над головой. Тогда он всю ночь пролежал на высоком сеновале, прислушиваясь к звукам далеких животных и насекомых, к деревьям, ко всем малым движениям и шевелениям.

А посреди ночи, думал тогда Монтаг, он, возможно, услышит под сеновалом звуки, словно поступь легких шагов. Встрепенувшись, он приподнимется и сядет. Звуки шагов, удаляясь, стихнут. Будет уже поздняя ночь, он снова ляжет и, выглянув в оконце сеновала, увидит, как в фермерском домике гаснут огни, а затем очень молодая и очень красивая женщина сядет у неосвещенного окна и станет завязывать лентой свои волосы. Ее будет очень трудно разглядеть, но лицо этой женщины будет похожим на лицо девушки, которая стала уже далеким прошлым, очень-очень далеким прошлым, девушки, которая понимала погоду, у которой никогда не было ожогов от огненных светляков и которая знала, что будет, если провести одуванчиком по подбородку. Затем женщина исчезнет из теплого окна и снова появится уже этажом выше, в своей выбеленной луной комнате. А он, под звуки смерти, под звуки реактивных истребителей, разрезавших небо на два черных куска так, что линия разреза уходила за горизонт, будет лежать на сеновале, надежно укрытый от любых опасностей, и следить, как эти странные новые звезды над ободом земли бегут мягких красок зари.

Утром он не будет испытывать необходимости во сне, потому что теплые запахи и чарующие картины этой во всех смыслах сельской ночи уже дали ему хороший отдых и по-

дарили крепкий сон, хотя глаза его были всю ночь широко открыты, а на устах как была, так и осталась полуулыбка — он понял это, когда ему пришлось в голову подвигать лицом.

А внизу, у лестницы сеновала, его будет ожидать совсем уже невероятная вещь. В розовом свете раннего утра он осторожно сойдет с последней ступеньки, неся в себе такое полное осознание окружающего мира, что ему будет даже немного страшно, и остановится над маленьким чудом, и наконец нагнется, чтобы дотронуться до него.

До прохладного стакана свежего молока, нескольких яблок и груш, выставленных у подножия лестницы.

Это было все, чего он сейчас хотел. Несколько признаков того, что огромный мир примет его и даст то немалое время, которое требовалось для того, чтобы обдумать все, что следовало обдумать.

Стакан молока, яблоко, груша.

Он вышел из реки.

Берег обрушился на него, как прилив. Монтаг был сокрушен темнотой, и всем видом этой местности, и миллионами запахов, прилетавшими с ветром, который леденил его тело. Он повалился на спину, над ним загибался гребень огромного вала темноты, звука и запаха, в ушах у него стоял рев. Волна закружила его. Звезды посыпались перед глазами, словно пылающие метеоры. Ему захотелось снова нырнуть в реку, с тем чтобы она лениво понесла его, целого и невредимого, куда-нибудь дальше. Темная земля, вздымающаяся над ним... — как в тот день, в детстве, когда он купался в море и вдруг, откуда ни возьмись, самая большая волна за всю историю его воспоминаний вмяла его в соленую грязь и зеленую тьму, вода обожгла ему рот и нос, из желудка поднялась рвота, как он тогда кричал! Слишком много воды!

Слишком много земли.

Шепот из черной стены, стоявшей перед ним. Силуэт. У силуэта два глаза. Ночь смотрела на него. Лес его видел.

Гончая!

Ты бежишь, мчишься, вымаливаешь себе избавление, едва не тонешь, заплываешь в такую даль, затрачиваешь столько сил, и вот, решив, что ты в безопасности, облегченно вздыхаешь и наконец выходишь на берег, — и после этого видишь...

Гончую!

В агонии Монтаг издал последний крик, один-единственный, словно все это было уже чересчур для одного человека.

Силуэт взорвался, и нет его. Глаза исчезли. Кучи листьев взметнулись и осыпались сухим дождем.

Монтаг был один в диком безмолвии.

Олень. Он ощутил тяжелую мускусную струю — словно запах духов, смешанный с кровью и камедным паром звериного дыхания, а еще кардамон, еще мох и амброзия, вот чем пахла эта необъятная ночь, где деревья бежали на Монтага и расступались, бежали и расступались, в ритме крови, пульсировавшей на дне его глаз.

На земле лежал, наверное, миллиард листьев; он шел по ним вброд, шел вброд по этой сухой реке, пахнувшей горячими бутончиками гвоздики и теплой пылью. А прочие запахи! От земли пахло так, будто взрезали сырую картофелину, и запах был тоже сырой, прохладный и белый, оттого что большую часть ночи светила луна. И еще был запах маринада из свежоткрытой бутылки, и запах петрушки, выложенной на столе. И тонкий желтый запах горчицы из баночки. И запах гвоздики из соседского сада. Он опустил руку и почувствовал, как к ней потянулся стебелек травы — словно ребенок погладил его ладонь. Теперь его пальцы пахли лакрицей.

Он остановился и долго дышал, и чем больше вбирал в себя запахов этого края, тем больше наполнялся подробностями земли, расстилавшейся вокруг. Он уже не был пуст. Подробностей было более чем достаточно, чтобы на-

полнить его до краев. Теперь их всегда будет более чем достаточно.

Он брел, спотыкаясь, по мелководью листьев.

Вдруг посреди этой чужести — нечто знакомое.

Нога ударилась о какой-то предмет, отозвавшийся глухим звоном. Он пошарил рукой по земле — ярд в одну сторону, ярд в другую. Железнодорожная колея.

Колея, которая выходила из города и, ржавея по пути, пересекала всю страну, шла через леса и роши, ныне совсем обезлюдившие, бежала все дальше и дальше вдоль берега реки.

Это была тропа, которая вела Монтага к цели, куда бы он ни направлялся. Колея была единственной знакомой здесь вещью, волшебным талисманом, который, возможно, будет вести его какое-то время, талисманом, которого можно коснуться рукой, который можно ощущать под ногами, пока он будет пробираться сквозь заросли ежевики, брести озерами запахов, ошупи и касаний, среди шепота и веяния листьев.

Он зашагал по колее.

И очень удивился, поняв, что вдруг абсолютно уверился в одном факте, доказать который не было никакой возможности.

Когда-то, уже довольно давно, тем же путем, которым шел он сейчас, прошла Кларисса.

Весь замерзший, Монтаг осторожно продвигался по колее, его ноги были исколоты колючками и исхлестаны крапивой, он четко представлял себе, что все его тело, лицо, глаза и рот забиты темнотой, а уши забиты звуками, и вот спустя полчаса он увидел впереди огонь.

Огонь исчез, затем возник снова, словно подмигнул чей-то глаз. Монтаг остановился, боясь, что одним своим выдохом может загасить этот огонь. Но тот остался на прежнем месте, и Монтаг стал осторожно приближаться,

стараясь ничем себя не выдать, хотя до огня было еще далеко. Прошло добрых пятнадцать минут, прежде чем он подошел к нему почти вплотную, тогда Монтаг остановился и, оставаясь в укрытии, начал рассматривать его. Легкое трепетание, белый и красный цвета... — это был странный огонь, поскольку теперь он означал для Монтага нечто совсем иное, не то, что раньше.

Он ничего не жег. Он согревал.

Монтаг увидел множество ладоней, протянутых к его теплу, ладоней без рук, ибо руки были скрыты темнотой. Над ладонями — неподвижные лица, все движение на них было от игры и мерцания пламени. Монтаг не подозревал, что огонь может так хорошо смотреться. За всю жизнь ему и в голову не приходило, что огонь может не только брать, но и давать. Даже запах его был иным.

Он не знал, сколько он так простоял, в нем сидело глупое и в то же время очень приятное ощущение: он воображал себя зверем, который вышел из леса, привлеченный светом костра. Он был тварью с пушистым хвостом и живыми, быстрыми глазами, он был тварью, покрытой шерстью, с вытянутой мордой, копытами и рогами, он был тварью, кровь которой, если бы пролилась на землю, пахла бы осенью. Он стоял так долго-долго, вслушиваясь в теплое потрескивание пламени.

Огонь собрал вокруг себя большую тишину, и тишина была в лицах мужчин, и еще там скопилось само время, и этого времени было достаточно, чтобы сидеть под деревьями у заржавленной колеи и смотреть на мир, и поворачивать его так и эдак глазами, словно он был куском стали, помещенным в самый центр этого костра, и мужчины придавали ему форму. Не только огонь был здесь иным. Иной была и тишина. Монтаг еще ближе придвинулся к этой особой тишине, озабоченной делами всего мира.

Затем раздались голоса, они начали переговариваться, и Монтаг не мог разобрать ни слова из того, о чем голоса

вели речь; звук нарастал и стихал, и голоса тоже поворачивали мир так и эдак, рассматривая его со всех сторон; голоса все понимали и о земле, и о деревьях, и о городе, лежавшем у реки на другом конце колеи. Голоса говорили обо всем, и Монтаг понял, что не было ничего, о чем они не могли бы говорить, он вывел это из самого ритма разговора, из его течения, из любопытства и удивления, плескавшихся в голосах людей.

А затем один из мужчин поднял глаза и увидел Монтага — в первый, а может быть, в седьмой раз, — и чей-то голос сказал, обращаясь к нему:

— Ладно, можете выходить!

Монтаг отступил в тень.

— Все в порядке, — сказал голос. — Вы здесь желанный гость.

Монтаг медленно подошел к костру и пятерым сидевшим вокруг него старым мужчинам, одетым в темно-синие джинсы и джинсовые куртки и темно-синие рубашки. Он не знал, что им сказать.

— Садитесь, — сказал человек, который, по-видимому, был вожаком этой маленькой группы. — Хотите кофе?

Монтаг наблюдал, как темная дымящаяся смесь льется в складную жестяную кружку, которую ему немедленно подали. Он осторожно отхлебнул и почувствовал, что люди у костра с любопытством разглядывают его. Кофе обжигал губы, но это было хорошо. Окружавшие его лица были бородатыми, однако сами бороды — чистыми и опрятными, и руки тоже чистыми. Все встали, как бы приветствуя гостя, и снова сели.

Монтаг отхлебывал из кружки.

— Спасибо, — сказал он. — Большое спасибо.

— Добро пожаловать, Монтаг. Меня зовут Грейнджер. — Мужчина протянул ему бутылочку с бесцветной жидкостью. — Выпейте и это тоже. Это изменит химический состав пота. Через полчаса вы будете пахнуть сразу

как два совершенно посторонних человека. Коль скоро по вашему следу идет Гончая, лучше всего осушить бутылочку до дна.

Монтаг выпил горькую жидкость.

— Вы будете вонять, как рыжая рысь, но это нормально, — добавил Грейнджер.

— Вам известно мое имя, — сказал Монтаг.

Грейнджер кивнул на портативный батарейный телевизор, стоявший возле костра:

— Мы следили за погоней. И догадались, что в конце концов вы свернете на юг и пойдете вдоль реки. Когда мы слышали, как вы ломитесь сквозь лес, словно пьяный лось, то не спрятались, как мы это обычно делаем. Мы поняли, что вы в реке, камеры на вертолетах повернули к городу. А там сейчас весьма занятно. Погоня продолжается. Впрочем, уже в другом направлении.

— В другом направлении?

— Давайте посмотрим.

Грейнджер щелкнул выключателем портативного телевизора.

Картинка была сущим кошмаром — концентрированный ужас, вихрь красок, стремительный полет, — и здесь, в лесу, этот кошмар можно было легко передавать из рук в руки. Голос кричал:

— Погоня продолжается в северной части города! Полицейские вертолеты слетаются к Восемьдесят седьмой авеню и парку «Вязовая роща»!

Грейнджер кивнул:

— Это все подделка. У реки вы сбили их со следа. Но признать это они не могут. Они понимают, что нельзя так долго удерживать внимание аудитории. У шоу должна быть резкая концовка — раз, и все! Если бы они начали обыскивать всю эту чертову реку, то и к утру не управились бы. Вот они и выискивают козла отпущения, чтобы завершить все шоу каким-нибудь прибабахом. Смотри-

те, смотрите. Не пройдет и пяти минут, как Монтга будет пойман.

— Но каким образом...

— Смотрите.

Камера в брюхе вертолета, парящая над городом, метнулась и показала пустую улицу.

— Видите? — шепнул Грейнджер. — Сейчас в самом конце улицы покажется жертва, это и будете вы. Видите, как наезжает камера? Выстраивает картинку. Нарастивает напряжение. Общий план. В эти секунды какой-нибудь бедняга уже вышел на прогулку. Какой-нибудь чудак. Редкость в наше время. Не думайте, что полиция не знает привычек таких вот чудил, людей, которые любят гулять на рассвете черт знает почему или же по причине бессонницы. Во всяком случае, полиция месяцами, годами следит за ними, составляет карты, графики. Никогда ведь не знаешь, когда такого рода информация может понадобиться. А сегодня, получается, она как раз и к месту! Позволяет сохранить лицо. О боже, вы только взгляните!

Мужчины, сидевшие у костра, подались вперед.

На экране из-за угла дома вывернул человек. И тут же в картинку ворвалась Механическая Гончая. Проекторы вертолетов ударили вниз лучами — десяток сверкающих столбов выстроились вокруг человека, заключив его в клетку.

Голос закричал:

— Это Монтга! Погоня закончена.

Безвинный человек с дымящейся сигаретой в руке остановился в полнейшем недоумении. Он уставился на Гончую, не представляя себе, что это такое. Возможно, он никогда не представлял ничего подобного. Он взглянул на небо, в сторону воющих сирен. Камера нырнула вниз. Гончая взвилась в воздух, ритм ее движения и чувство времени были невероятно прекрасны. Выскочила игла. На мгновение она зависла в воздухе перед их глазами, словно бы да-

вая широкой аудитории возможность оценить всю картину: животный ужас на лице жертвы, пустую улицу, стального зверя, подобного пуле, несущейся к мишени.

— Монтаг, не двигайтесь! — сказал голос с неба.

И камера обрушилась на жертву, и Гончая сделала то же самое. Обе настигли ее синхронно. Гончая и камера вцепились в жертву мощной, удушающей паучьей хваткой. Человек завизжал. Он завизжал. Он завизжал!

Затемнение.

Тишина.

Безмолвие.

В полной тишине Монтаг вскрикнул и отвернулся от экрана.

Безмолвие.

Какое-то время люди сидели вокруг костра с ничего не выражающими лицами, а потом диктор за кадром темного экрана сказал:

— Поиски закончены, Монтаг мертв; преступление против общества отомщено.

Темнота.

— А теперь мы на полчаса перенесемся в Небесную комнату гостиницы «Люкс», в программе «За секунду до рассвета» участвуют...

Грейнджер выключил телевизор.

— Они так и не показали лицо этого человека в фокусе. Вы обратили внимание? Даже самые близкие ваши друзья, и те не смогли бы сказать, вы это были или нет. Они смазали картинку ровно настолько, чтобы заработало воображение. Дьявольщина, — прошептал он. — Дьявольщина...

Монтаг ничего не сказал в ответ; весь дрожа, он сидел, снова повернувшись к телевизору, и не сводил глаз с пустого экрана. Грейнджер коснулся его руки:

— С возвращением из загробного мира.

Монтаг кивнул.

— Теперь, пожалуй, можно познакомиться и с остальными, — продолжил Грейнджер. — Это Фред Клемент, когда-то он возглавлял кафедру по Томасу Харди в Кембридже¹, пока этот университет не стал Школой атомной инженерии. А это доктор Симмонс из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, специалист по Ортеге-и-Гассету. Профессор Уэст, присутствующий здесь, внес немалый вклад в этику, науку уже забытую, он преподавал в Колумбийском университете, но это было много лет назад. Преподобный Падовер тридцать лет назад выступил с несколькими проповедями и в итоге за одну неделю, с воскресенья по воскресенье, лишился, по причине своих взглядов, сразу всех прихожан. Он уже давно бродяжничает с нами. Теперь обо мне. Я написал книгу «Пальцы в перчатке, или Подобающие взаимоотношения между личностью и обществом». И вот я здесь! Добро пожаловать, Монтэг!

— Нет, мое место не с вами, — наконец медленно проговорил Монтэг. — Всю дорогу я был идиотом.

— Ну, нам к этому не привыкать. Мы все совершили в своей жизни правильные ошибки, иначе не оказались бы здесь. Когда мы были отдельно взятыми индивидами, все, чем мы располагали, — это ярость. Много лет назад, когда пожарный явился, чтобы сжечь мою библиотеку, я ударил его. С тех пор я в бегах. Хотите присоединиться к нам, Монтэг?

— Да.

— Что вы можете нам предложить?

— Ничего. Я думал, у меня с собой часть «Книги Екклесиаста» и, может быть, фрагмент «Откровения Иоанна Богослова», но даже этого не осталось.

— «Книга Екклесиаста» — это было бы чудесно. А где вы ее держали?

¹ Имеется в виду г. Кембридж (штат Массачусетс), где расположен Гарвардский университет.

— Здесь, — Монтаг коснулся рукой головы.

— А, — с улыбкой кивнул Грейнджер.

— Что-нибудь не так? Разве я неправильно поступил? — спросил Монтаг.

— Более чем правильно, вы поступили отлично! — Грейнджер обернулся к священнику. — У нас есть «Книга Екклесиаста»?

— Да, одна. Человек по имени Харрис в Янгстауне.

— Монтаг, — Грейнджер крепко сжал его плечо, — ходите с опаской. Берегите свое здоровье. Если что-нибудь случится с Харрисом, то «Книгой Екклесиаста» станете вы. Видите, какой важной персоной вы стали за одну минуту!

— Но я все забыл!

— Нет, ничего не исчезает бесследно. У нас есть способы встряхнуть ваши шарики.

— Но я уже пытался вспомнить!

— Не пытайтесь. У каждого из нас фотографическая память, но потребовалась целая жизнь, чтобы понять, как разблокировать то, что на самом деле хранится в мозгу. Симмонс работал над этим двадцать лет, и сейчас мы довели наш метод до такой стадии, когда мы в состоянии вспомнить все, что когда-то читали. Вот вы, Монтаг, хотели бы вы когда-нибудь прочитать «Республику» Платона?

— Конечно!

— Я и есть «Республика» Платона. Хотите почитать Марка Аврелия? Господин Симмонс — это Марк собственной персоной.

— Здравствуйте, — сказал господин Симмонс.

— Привет, — ответил Монтаг.

— Я хочу, чтобы вы познакомились с Джонатаном Свифтом, автором этой злобной политической сатиры «Путешествия Гулливера». Вот этот парень — Чарлз Дарвин, этот — Шопенгауэр, там — Эйнштейн, а здесь, бок о бок со мной, — господин Альберт Швейцер, добрейший философ, по сути. Вот мы все перед вами, Монтаг. Ари-

стофан, Махатма Ганди, Гаутама Будда, Конфуций, Томас Лав Пикок¹, Томас Джефферсон и господин Линкольн — мы все к вашим услугам. И еще мы — Матфей, Марк, Лука и Иоанн.

Все негромко засмеялись.

— Этого не может быть, — сказал Монтаг.

— Это есть! — ответил Грейнджер, улыбаясь. — Мы тоже сжигатели книг. Мы читали, а потом сжигали книги, боясь, что их найдут. Микрофильмирование себя не оправдало; ведь мы все время странствуем, не хочется закапывать микрофильмы, чтобы потом к ним надо было возвращаться. Всегда есть риск, что нас обнаружат. Лучше держать все в наших старых головах, куда никто не сможет заглянуть, никто даже не заподозрит, где надо искать. Все мы — кусочки истории, литературы, международного права. Байрон, Том Пейн², Макиавелли, Христос — все здесь. А время уходит. И началась война. И мы здесь, а город там, укутанный своим тыщасветным покрывалом. Над чем вы задумались, Монтаг?

— Над тем, до чего же я был слеп, когда пытался все повернуть по-своему, когда подбрасывал книги в дома пожарных и поднимал после этого тревогу.

— Вы делали то, что должны были делать. В масштабах всей страны это могло бы сработать прекраснейшим образом. Однако наш путь проще и, как мы думаем, лучше. Все, чего мы хотим, — это сохранить знание, которое, по нашему мнению, потом понадобится нам целым и невредимым. Мы пока еще не хотим никого подстрекать, не хотим никого гневить. Потому что если нас уничтожат, то

¹ Пикок Томас Лав (1785—1866), английский поэт и романист.

² Пейн Томас (1737—1809), американский писатель, публицист (родился в Великобритании; с 1774 г. жил в Северной Америке); участник Войны за независимость в Северной Америке и Великой французской революции.

знание умрет, может быть, навсегда. На наш особый манер мы — образцовые граждане: бродим себе по старым железнодорожным колеям, вечерами укладываемся спать на холмах, и городской люд нас не трогает. Иногда нас останавливают и обыскивают, но среди нашего личного имущества нет ничего такого, что можно было бы вменить нам в вину. Наша организация весьма гибка и фрагментарна, и к тому же устроена очень вольно. Кое-кто из нас сделал себе пластические операции на лицах и кончиках пальцев. Сейчас у нас ужасная пора: мы ждем, чтобы война поскорее началась и так же быстро кончилась. Во всем этом приятного мало, но бразды правления не в наших руках, мы просто нелепое меньшинство, вопиющее в пустыне. Но когда война закончится, может быть, и для нас найдется какое-то применение в этом мире.

— Вы всерьез считаете, что вас тогда будут слушать?

— Если нет, что же, придется подождать еще. Передадим книги нашим детям, в устной форме, а они, в свою очередь, придут с этими книгами к другим людям. Конечно, многое будет утеряно. Но ведь людей невозможно заставить слушать. Рано или поздно, но они должны будут прийти в себя после долгой болезни и тогда начнут задумываться, что же такое случилось в мире и почему он взорвался прямо под их ногами. Долго продолжаться это не может.

— Сколько вас всего?

— Этой ночью нас уже тысячи — на дорогах, на заброшенных железнодорожных путях; снаружи мы бродяги, внутри — библиотеки. Поначалу в этом не было никакого плана. Каждый человек имел какую-нибудь книгу, которую он хотел запомнить. И действительно запоминал. Затем, в течение двадцати лет или около того, мы встречались друг с другом во время наших скитаний и общими усилиями создали нечто вроде просторной сети, а потом вырабатывали план действий. Самое важное, если не единствен-

ное, что нам нужно было вдолбить в самих себя, — это то, что сами мы никакие не важные персоны, мы не должны быть педантами и нам не след ощущать свое превосходство над кем-либо еще в мире. Мы не более чем суперобложки для книг, и другого смысла в нашем существовании нет. Иные из нас живут в маленьких городках. Первая глава книги Торо «Уолден» живет в Грин-Ривер, вторая глава — в Уиллоу-Фарм, штат Мэн. А вот в штате Мэриленд есть один городишко, в котором живут всего двадцать семь человек, ни одна бомба туда никогда не упадет, и этот городок — полное собрание трудов человека по имени Бертран Рассел. Берите этот городок и листайте страницу за страницей, каждый человек — столько-то страниц. А когда война закончится — когда-нибудь, в каком-нибудь году это обязательно произойдет, — можно будет снова писать книги, и тогда наших людей начнут приглашать, одного за другим, чтобы они читали наизусть то, что знают, и мы опять будем печатать все это типографским способом, пока не наступит новое средневековье, и тогда нам придется начинать всю эту чертову карусель сначала. Но ведь это и есть самое замечательное в роде человеческом — его невозможно обескуражить или отвратить от этой деятельности настолько, чтобы он поднял лапки кверху и отказался начинать все сначала, потому что прекрасно знает: такая деятельность очень важна и во всяком случае заниматься ею стоит.

— Что мы будем делать этой ночью? — спросил Монтаг.

— Ждать, — ответил Грейнджер. — И немного продвинемся дальше по реке, так, на всякий случай.

Он начал забрасывать костер комьями земли и мелкой пылью.

Остальные мужчины принялись помогать, и Монтаг тоже стал помогать, и получилось, что вдали от жилья, посреди дикой природы, люди дружно двигают руками, чтобы сообща загасить огонь.

Они стояли у реки в звездном свете.

Монтаг взглянул на светящийся циферблат своих водонепроницаемых часов. Пять. Пять часов утра. Еще год прошел с тиканьем одного-единственного часа, а за дальним берегом реки ждал рассвет.

— Почему вы мне верите? — спросил Монтаг.

Мужчина шевельнулся в темноте.

— Достаточно взглянуть на вас. Вы давно не видели себя в зеркале. Помимо всего прочего, город никогда не придавал нам столь большого значения, чтобы взять на себя хлопоты по организации изощренной погони за вами, лишь бы выйти на нас. Несколько психов со стишками в головах их не волнуют: они это знают, мы это знаем, любой и каждый знает это. Пока большие круги населения не начали бродить по лесам, цитируя Великую хартию вольностей и Конституцию, все в порядке. А чтобы этого не допустить, достаточно время от времени прибегать к помощи пожарных. Нет, города нас не беспокоят. А вот вы беспокоите — вон как вы выглядите, краше в гроб кладут.

Они шли берегом реки, направляясь на юг. Монтаг пытался рассмотреть лица мужчин, старые лица, морщинистые и усталые, как он запомнил их, увидев ночью при свете костра. Он искал в них одухотворенность, решительность, триумфальную победу над будущим, но что-то ничего похожего не было видно. Возможно, он ожидал, что лица будут гореть надеждой, лучиться знаниями, которые были у этих людей, сиять наполняющим их светом, как сияют зажженные фонари. Однако весь свет на лицах его спутников был лишь отблеском походного костра, и эти люди, казалось, ничем не отличались от любых других людей, которые пробежали длинную дистанцию, или потратили много времени на поиски чего-то, или видели, как гибнет что-то хорошее, — и вот теперь, когда время уже позднее, они собрались, чтобы дожидаться конца вечеринки и посмотреть,

как будут тушить лампы. Они вовсе не были уверены, что от тех вещей, которые они носят в своих головах, все зори грядущих дней разгорятся более чистым светом, они вообще ни в чем не были уверены, кроме разве того, что книги аккуратно стоят на полках позади их спокойных глаз, что эти книги, со все еще не разрезанными страницами, ждут своих читателей, которые, возможно, придут позже, спустя годы, и дотронутся до них кто чистыми, а кто и грязными пальцами.

Они шли, и Монтаг время от времени украдкой поглядывал то на одно лицо, то на другое.

— Не судите о книге по обложке, — сказал кто-то.

И все тихо засмеялись, продолжая двигаться дальше, к низовьям реки.

Раздался визг, и реактивные самолеты из города, пронесшись в вышине, скрылись задолго до того, как люди успели поднять головы. Обернувшись, Монтаг посмотрел в сторону города, он лежал выше по реке очень далеко — слабое сияние, не более того.

— Моя жена там.

— Печально слышать. В ближайшие несколько дней городам несдобровать, — отозвался Грейнджер.

— Странно, я по ней не скучаю. Странно, но я вообще ничего особенного не чувствую, — сказал Монтаг. — Секунду назад мне пришло в голову, что, если она умрет, я, наверное, даже грусти не почувствую. Это неправильно. Со мной, должно быть, что-то не так.

— Послушайте, — сказал Грейнджер, взяв Монтага под руку и придерживав ветки кустарника, чтобы он смог пройти. — Когда я был мальчишкой, умер мой дед, он был скульптором, а еще добрейшим человеком, с большим запасом любви, которую он отдавал миру; он помог навести порядок в трущобах в нашем городке, и мастерил для нас игрушки, и вообще переделал в жизни миллион дел, его

руки всегда были заняты. А когда он умер, я вдруг понял, что плачу вовсе не о нем, а о тех вещах, которые он мастерил. Я плакал, потому что он больше никогда ничего не смастерит, никогда не будет резать по дереву, не поможет нам разводить голубей на заднем дворе, не будет играть на скрипке — так, как умел только он, не будет рассказывать нам анекдоты — так, как тоже умел только он. Он был частью нас самих, и когда он умер, умерли и все его дела, и не было никого, кто мог бы делать их так, как он. Он был личностью. Он был значительным человеком. Я так и не смог примириться с его смертью. И я часто думаю, какая же замечательная резьба по дереву так и не родилась на свет только потому, что он умер. Сколько анекдотов исчезло из мира, сколько почтовых голубей остались нетронутыми его ладонями. Он лепил этот мир. Он делал миру добро. И в ночь, когда он усоп, мир обанкротился, лишившись десяти миллионов чудесных дел.

Монтаг шагал молча.

— Милли, Милли, — шептал он. — Милли.

— Что?

— Моя жена, моя жена. Бедная Милли, бедная, бедная Милли. Я ничего не помню. Я думаю о ее руках, но не вижу, чтобы они вообще что-либо делали. Они просто висят вдоль ее тела, или лежат на коленях, или в них дымится сигарета, вот и все.

Монтаг повернулся и взглянул назад.

А что дал городу ты, Монтаг?

Пепел.

А что остальные давали друг другу?

Небытие.

Грейнджер стоял рядом с Монтагом и тоже смотрел в сторону города.

— Каждый человек, когда он умирает, должен оставить что-то после себя. Так говорил мой дед. Ребенка, книгу,

картину, дом, который ты построил, стену, которую ты возвел, пару башмаков, которые ты сшил своими руками. Или сад, который ты посадил. Что-то такое, чего так или иначе касались твои руки, — чтобы твоей душе было куда уйти после твоей смерти, и когда люди посмотрят на дерево или цветок, которые ты посадил, ты будешь там. Не имеет значения, что именно ты делаешь, говорил он, главное, чтобы ты изменил что-то и чтобы это «что-то» было одним до твоего прикосновения, а когда ты убрал руки, оно стало другим, похожим на тебя самого. Вся разница между человеком, который просто подстригает газон, и настоящим садовником заключается в прикосновении, говорил он. Тот, кто просто подстригает траву, мог бы вовсе не подходить к газону, его там словно и не было, а садовник остается в деревьях целую жизнь.

Грейнджер шевельнул рукой.

— Как-то раз, пятьдесят лет назад, дед показал мне несколько фильмов о ракетах «Фау-2». Доводилось вам когда-либо видеть атомное грибовидное облако с высоты двухсот миль? Булавочный укол, пустяк. Особенно по сравнению с дикой природой, расстилающейся вокруг. Дед раз десять прокрутил тогда этот фильм, а затем высказал надежду, что когда-нибудь наши города станут более открытыми и впустят в себя больше зелени, сырой земли и дикой природы, дабы напомнить людям: нам отведено не так уж много места на планете, мы живем по милости дикой природы, и забрать ей у нас все, что она дала, так же легко, как сдуть нас своим дыханием или наслать океан, который поведает нам, что не такие уж мы большие, какими себе кажемся. Если мы забудем, как близко бывает присутствие дикой природы по ночам, говорил дедушка, то в один прекрасный день она придет и съест нас, потому что к тому времени мы и помнить не будем, насколько она может быть ужасной и реальной. Понимаете?

Грейнджер повернулся к Монтагу.

— Вот уже сколько лет как дед умер, но стоит вам приподнять крышку моего черепа, клянусь Богом, и в извилинах мозга вы найдете там крупные папиллярные линии его отпечатков пальцев. Он прикоснулся ко мне. Как я уже упомянул, он был скульптором. «Ненавижу римлянина по имени Статус Кво!» — сказал он мне однажды. И еще он сказал: «Напитай свои глаза чудом. Живи так, как если через десять секунд умрешь на месте. Открой глаза на мир. Он более фантастичен, чем любая греза, сделанная и оплаченная на фабрике. Не проси гарантий, не требуй никакой безопасности — такого зверя не существовало никогда. А если бы и существовал, то он был бы родственником ленивцу, который изо дня в день и целыми днями висит вверх ногами на дереве, просыпая всю свою жизнь. К черту! — воскликнул он. — Потряси дерево и сбрось ленивца — пусть шлепнется на задницу!» — Смотрите! — вскричал Монтаг.

В этот самый миг началась и кончилась война.

Впоследствии люди, стоявшие рядом с Монтагом, так и не могли сказать, видели они что-нибудь или нет. Может быть, мимолетное полыхание света, легкое движение в небе. Может быть, бомбы были уже в воздухе, а реактивные самолеты, на кратчайшую долю секунды застыв в десяти, в пяти, в одной миле над ними, словно зерна, брошенные в небеса гигантской рукой сеятеля, тут же исчезли, и бомбы с ужасающей быстротой и вместе с тем неожиданно медленно поплыли вниз, на утренний город, который самолеты оставили далеко за собой. Бомбардировка на самом деле закончилась в то самое мгновение, когда самолеты, мчавшиеся со скоростью пять тысяч миль в час, обнаружили цель и уведомили об этом бомбардиров; и война тоже закончилась, заняв не больше времени, чем свист косы в воздухе. Она закончилась, лишь только бомбардиры дернули за рычаги бомбосбра-

сывателей. Прошли три секунды, полные три секунды, прежде чем бомбы ударили по городу, и за этот промежуток, в который ужалось все время истории, сами вражеские самолеты уже успели облететь половину обозримого мира, словно пули, в которые дикари-островитяне не могли поверить, потому что пули были невидимы; и вдруг сердце разнесено в клочья, тело падает на землю, причем части его движутся самостоятельно, кровь изумлена тем, что выпущена на вольный воздух, а мозг расточительно тратит время на несколько драгоценных воспоминаний и озадаченно умирает.

В это нельзя было верить. Это был жест, не более того. Монтэг увидел взмах огромного металлического кулака над далеким городом и понял, что скажет им всем вой реактивных самолетов, который раздастся вслед за содеянным: «Разрушайтесь, пусть не останется камня на камне, погибайте. Умрите!»

На одно-единственное мгновение Монтэг задержал бомбы в небе — воздев к ним мысли свои и беспомощные руки.

— Бегите! — крикнул он Фаберу.

Клариссе:

— Беги!

Милдред:

— Выходи, быстрее выходи оттуда!

Но он вспомнил, что Кларисса мертва. А Фабер уже вне города: где-то там, в глубоких долинах дальней части страны, пятичасовой автобус шел от одного разора к другому. И хотя разор еще не начался, еще только висел в воздухе, тем не менее он был неизбежен, как неизбежно осуществляется все задуманное человеком. Не успеет автобус пробежать еще пятьдесят ярдов по скоростному шоссе, как пункт назначения потеряет всякий смысл, а пункт отправления из столицы превратится в свалку.

Но Милдред...

Выходи, беги!

Он увидел ее в номере какой-то гостиницы, а оставалось всего полсекунды, а бомбы были уже в ярде, в футе, в дюйме от крыши. Он увидел, как она сидит, подавшись к огромной мерцающей стене, сделанной из цвета и движения, и слушает, что говорит ей «семья», а «семья» все говорит, говорит, говорит с ней, и болтает, и лепечет, и называет ее по имени, и улыбается ей, и ни слова не говорит о бомбе, которая уже в дюйме, уже в полдюйме, уже в четверти дюйма от крыши гостиницы. А Милдред сидит, подавшись к стене, и смотрит на нее таким голодным взглядом, словно только этот голод и разгадает загадку ее бессонных тревог. Милдред сидит беспокойно, нервно, как будто вот-вот нырнет, прыгнет, упадет в это роящееся буйство красок и утонет в пучине светлого счастья.

Ударил первая бомба.

— Милдред!

Очень может быть... — но кто об этом узнает? — очень может быть, что гигантские вещательные станции, с их лучами красок, света, разговоров и болтовни, ушли в небывшие первыми.

Падая ничком, валясь на землю, Монтэг увидел, ощутил — или ему почудилось, что он увидел и ощутил, — как отблики стен погасли на лице Милли, он услышал ее крик, потому что в ту миллионную долю секунды, что ей осталось жить на свете, она увидела отражение собственного лица, увидела в зеркале, а не в хрустальном шаре, и это было такое дикое пустое лицо, отрешенное, отрезанное от всего в этой комнате, лишенное прикосновений, истощенное и поедающее самое себя, что Милдред не сразу узнала его, но наконец все-таки поняла, что это лицо — ее собственное, и быстро перевела взгляд на потолок, и в этот самый миг вся конструкция гостиницы грянула на нее, неся с собой сотни тонн кирпича, металла,

штукатурки, дерева, и увлекла вниз, на встречу с людьми из других ульев, а затем молниеносно доставила всех в подвал, где мощный взрыв избавил себя от людей на свой безрассудный, как и полагается взрывам, манер.

Вспомнил. Монтаг приник к земле. Вспомнил. В Чикаго. В Чикаго, много лет назад. Милли и я. Вот где мы встретились! Теперь я помню. В Чикаго. Много лет назад.

Страшное сотрясение вздыбило воздух вдоль и поперек реки, повалило людей — словно попадали костяшки домино, выстроенные дорожкой, — дохнуло водой, подняв над рекой фонтаны, дохнуло пылью и заставило деревья над головами горестно зарыдать под сильным ветром, пронесшимся в южную сторону. Монтаг еще сильнее вдавился в землю, сжался в малый комок, плотно зажмурил глаза. Он моргнул только раз, но в этот миг увидел, что в воздухе вместо бомб был город. Бомбы и город поменялись местами. Какое-то непостижимое мгновение город стоял в воздухе перестроенный и неузнаваемый, он был такой высоты, о какой никогда и не мечтал, к какой никогда даже не стремился, намного выше того роста, который определил ему человек, он стал наконец-то гигантской фреской, созданной из всплесков бетонного крошева и искорок рваного металла, фреской, которая повисла, словно опрокинутая в небо лавина, — миллион красок, миллион странностей, дверь вместо окна, низ вместо верха, торец вместо фасада, — а затем город перевернулся и упал запертво.

Звук этой смерти пришел позднее.

Монтаг лежал на земле, его крепко стиснутые веки скрежетали от пыли, и в плотно закрытом рту тоже была мелкая мокрая цементная пыль, он задышался и плакал и вдруг снова подумал: «Я вспомнил, вспомнил, вспомнил, я вспомнил что-то еще. Что же это? Да, да, часть «Екклесиаста». Часть «Екклесиаста» и «Откровение».

Только кусочек той большой книги, только кусочек, быстрее, быстрее же, пока он не исчез, пока не кончилось действие шока, пока не утих ветер. «Книга Екклесиаста». Вот она!»

Лежа на дрожащей земле, он стал беззвучно проговаривать про себя слова книги, он повторил эти слова много раз, и они были совершенны, и нисколько не раздражали, и в них не было ни следа зубной пасты «Денем», там был только Проповедник, только он, и больше никого, и он стоял в полный рост в сознании Монтага и смотрел на него...

— Берегись! — сказал чей-то голос.

Люди лежали, разинув рты, словно рыбы, разложенные на траве. Они держались за землю, как дети держатся за знакомые вещи, несмотря на то, что эти вещи холодны или мертвы, несмотря на то, что уже случилось или еще случится с ними, их пальцы впивались в грязь, и они кричали изо всех сил, чтобы не лопнули барабанные перепонки, чтобы не лопнул их рассудок, они лежали, широко раскрыв рты, и Монтаг кричал вместе с ними, протестуя против ветра, который полосовал лица, рвал губы и от которого из носов текла кровь.

Монтаг наблюдал, как оседает великая пыль, как на мир надвигается великое безмолвие. Он лежал, и ему казалось, что он видит каждую крупинку пыли, каждую травинку, слышит каждый всхлип, крик и шепот, раздающиеся в мире. Тишина падала на землю вслед за медленно сеющейся пылью, неся с собой весь досуг, который им понадобится, чтобы оглядеться и впитать органами чувств реальность этого дня.

Монтаг посмотрел на реку. Мы пойдем по реке. Он посмотрел на старую железнодорожную колею. Или мы пойдем этим путем. Или мы неспешно пойдем по скоростной трассе, и теперь у нас будет время, чтобы вместить в себя все происшедшее. И когда-нибудь, очень не-

скоро, после того как все это осядет в нас, оно выйдет наружу через наши руки и наши рты. Многое окажется неправильным, но какая-то доля, вполне достаточная, будет правильной. Мы только сегодня пускаемся в путь, мы будем идти и смотреть на мир, смотреть, как он бродит вокруг и разговаривает, и мы постараемся понять, как он на самом деле выглядит. Теперь я хочу видеть все. Поначалу, пока увиденное вливается в меня, оно еще не будет мною, но со временем, когда все соберется внутри в единое целое, это уже буду я. Боже ты мой, Боже ты мой Боже, так смотри на мир, лежащий вокруг, смотри на него, он пока там, вовне, за пределами моего тела и моего лица, и единственный способ дотронуться до него — это поместить его туда, где в конечном итоге находится мое «я», впустить его в кровь, пусть пульсирует в жилах, пусть обегает мое тело тысячу, десять тысяч раз в день. Вот тогда я удержу его, и он никогда больше от меня не убежит. Когда-нибудь я крепко ухвачусь за этот мир. Пока я придерживаю его только одним пальцем, но это лишь начало.

Ветер стих.

Остальные мужчины какое-то время лежали, цепляясь за рассветный краешек сна, еще не готовые к тому, чтобы встать и приступить к заботам нового дня, начать разводить костры, готовить еду и делать тысячи мелких дел, не забывая при этом переставлять ноги, сначала правую, потом левую, и двигать руками, сначала правой, потом левой. Они лежали и моргали запорошенными пылью ресницами. Можно было услышать их частое дыхание, частое, замедленное, медленное...

Монтаг сел.

Однако других движений за этим не последовало. Другие поступили так же. Солнце алым краешком робко дотрагивалось до черного горизонта. Воздух был прохладен и пахнул надвигающимся дождем.

Грейнджер бесшумно поднялся, ошупал свои руки и ноги, выругался себе под нос и дальше ругался безостановочно; с его лица капали слезы. Он зашаркал к реке, чтобы посмотреть, что творится выше по течению.

— Там все плоско, — сказал он долгое время спустя. — Город выглядит, как кучка пекарского порошка. Его больше нет. — И добавил, опять-таки долгое время спустя: — Я все пытаюсь понять, сколько людей знало, что грядет конец? Пытаюсь понять, для скольких людей это было полнейшей неожиданностью?

«А в другой половине мира, — думал Монтаг, — сколько еще умерло городов? А сколько у нас, в нашей стране? Сто? Тысяча?»

Кто-то чиркнул спичкой, коснулся ею клочка сухой бумаги, выуженного из кармана, сунул горящую бумагу под кучку травы и листьев, а спустя немного времени подбросил немного веточек, они были мокрые и начали потрескивать, но в конце концов занялись, и костер стал разрастаться в воздухе раннего утра, споря блеском с восходящим солнцем; тогда люди постепенно оторвались от созерцания верховий реки и неуклюже придвинулись к огню, им нечего было сказать, и когда они склонились над костром, солнце окрасило их шеи.

Грейнджер развернул кусок тонкой клеенки, там было немного бекона.

— Перекусим немного. Потом развернемся и пойдем вдоль реки вверх. Люди там нуждаются в нас.

Кто-то достал маленькую сковородку, на нее бросили бекон, а потом сковородку поместили над огнем. Спустя несколько секунд бекон начал трепыхаться и танцевать на сковороде, и шкворчание его наполнило утренний воздух ароматом. Мужчины молча наблюдали за этим ритуалом.

Грейнджер смотрел в огонь.

— Феникс.

— Что?

— Давным-давно, еще до Христа, жила-была на свете глупая чертова птица, которую звали феникс. Каждые несколько сотен лет она разводила большой погребальный костер и сжигала себя. Должно быть, она была первой двюродной родственницей Человека. Но каждый раз, когда она сжигала себя, она выпрыгивала из пепла, таким образом рождаясь снова и снова. Похоже, мы делаем то же самое, тоже повторяем все снова и снова, но у нас есть при этом одна чертова особенность, которой у феникса не было никогда. Мы знаем, какую чертову глупость только что отмочили. Мы знаем все чертовы глупости, которые совершили на протяжении тысячи лет, и поскольку мы понимаем это и наше понимание всегда с нами в такой форме, что его можно увидеть, то когда-нибудь мы все-таки перестанем сооружать эти чертовы погребальные костры и прыгать посреди них. В каждом новом поколении мы находим хотя бы несколько человек, обладающих способностью помнить.

Он снял сковородку с огня и дал бекону остыть, а потом они медленно и задумчиво стали его есть.

— Ну что же, — сказал Грейнджер, — давайте двинемся вверх вдоль реки. И держите в голове одну простую мысль: сами по себе вы вовсе не важны. В вас нет ничего особенного. Когда-нибудь тот груз, который мы несем в себе, может помочь людям. Но даже тогда, много-много лет назад, когда книги были у нас под рукой, мы не использовали то, что извлекали из них. Мы только и делали, что оскверняли память мертвых. Только и делали, что плевали на могилы всех тех бедняг, которые умерли до нас. В ближайшую неделю, и в ближайший месяц, и в ближайший год мы будем встречать множество одиноких людей. И когда они спросят нас, чем мы занимаемся, вы можете ответить: «Мы вспоминаем». Это то самое, что в конечном счете поможет нам победить. И когда-ни-

будь мы вспомним так много, что построим самый большой проклятуший паровой экскаватор во всей истории и выроем самую большую могилу, какая когда-либо была, и сунем туда войну, и накроем могильной плитой. А теперь пошли, нам нужно прежде всего построить фабрику зеркал и весь следующий год производить только одни зеркала, чтобы можно было долго-долго смотреться в них.

Они закончили с едой и погасили костер. Новый день вокруг них разгорался все ярче, будто в розовой лампе кто-то все время выдвигал фитиль. Птицы, которые поначалу стремительно улетели, теперь вернулись и снова начали устраиваться в ветвях деревьев.

Монтаг пустился в путь и через секунду обнаружил, что остальные пристроились за ним, все двигались на север. Это удивило Монтага, и он посторонился, чтобы пропустить вперед Грейнджера, но тот лишь глянул на него и утвердительно кивнул. Монтаг зашагал дальше. Он смотрел на реку, и на небо, и на ржавую колею, которая вела назад, туда, где лежали фермы, где стояли амбары, полные сена, и куда этой ночью пришло множество людей, направлявшихся прочь от города. Когда-нибудь, через месяц или через шесть месяцев, но не позднее чем через год, он снова пройдет здесь, уже один, и будет идти и идти, пока не поравняется со всеми остальными людьми.

А сейчас им предстоял долгий утренний путь, до самого полудня, и если люди молчали, то это потому, что надо было обо всем подумать, и еще потому, что нужно было о многом вспомнить. Может быть, потом, поздним утром, когда солнце будет высоко и всех согреет, они начнут беседовать или просто говорить вслух вещи, которые всплывут в памяти, чтобы убедиться, что эти вещи все еще там, чтобы абсолютно убедиться, что в их головах все содержится в целостности и сохранности. Монтаг ощущал, как в нем самом медленно ворочаются, медленно кипят слова. Что скажет он, когда придет его черед? Что он может предложить лю-

дям в такой день, как этот, чтобы хоть немного облегчить дорогу? «Всему свое время». Да. «Время разрушать и время строить». Да. «Время молчать и время говорить». Да, все это он скажет. А что еще? Что еще? Что-то такое, что-то такое...

«...И по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой: и листья дерева — для исцеления народов»¹.

Да, думал Монтаг, именно это я приберегу для полудня. Для полудня...

Когда мы доберемся до города.

¹ Откр. 22, 2.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Я не знал этого, но я в буквальном смысле писал десятицентовый роман. Весной 1950 года, чтобы написать и закончить первый вариант романа «Человек огня», который впоследствии стал «451° по Фаренгейту», мне пришлось заплатить девять долларов и восемьдесят пять центов, причем десятицентовиками.

Все предыдущие годы, с 1941-го и по ту пору, о которой идет речь, я печатал свои вещи большей частью в гаражах — либо в том, что у нас был в Венеise, штат Калифорния (мы жили там по бедности, а вовсе не потому, что селиться в этом городке тогда считалось модным), либо в гараже позади типового домика, в котором мы с моей женой Маргаритой поднимали нашу семью. Из гаража меня изгнали мои собственные, нежно любящие меня дети, которые то и дело прибегали к заднему оконцу и пели там песни и стучали по стеклу. Папе приходилось выбирать между завершением рассказа и игрой с девочками. Конечно же, я выбирал игру, что ставило под угрозу семейные доходы. Необходимо было найти офис. Денег на это у нас не было.

В конце концов я нашел подходящее место — комнату машинисток в подвале библиотеки Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Там аккуратными рядами стояли штук двадцать, если не больше, пишущих машинок — старых «ремингтонов» или «ундервудов», про-

кат которых стоил десять центов за полчаса. Вы опускали свой десятицентовик, часы начинали бешено тикать, а вы начинали бешено печатать, чтобы закончить работу, прежде чем истекут полчаса. Таким образом, побудительных мотивов было два: мои дети побудили меня работать вне дома, а таймер, приделанный к пишущей машинке, побудил меня стать настоящим клавишным маньяком. Время и на самом деле было деньгами. Я закончил первый вариант романа примерно за девять дней. В нем было двадцать пять тысяч слов — половина объема романа в его окончательном виде.

В перерывах между опусканиями десятицентовиков, припадками безумия, когда машинку заклинивало (ведь при этом утекали драгоценные минуты!), и заправкой и выдергиванием бумажных листов я шатался по верхнему этажу. Там я, погибая от любви, бродил по коридорам, гулял вдоль стеллажей — касался пальцами книг, вытаскивал тот или иной томик, переворачивал страницы, всовывал томик на место; я буквально тонул во всем этом добре, которое и составляет сущность любой библиотеки. Какое роскошное место — вы не согласны? — для написания романа о том, как в Будущем станут жечь книги!

Но довольно о прошлых временах. Что можно сказать о «451° по Фаренгейту» в наши дни? Изменилось ли мое отношение к чему-то из того, что сообщал мне роман, когда я был гораздо более молодым автором? Если только под изменением, которое вы имеете в виду, понимать то, что моя любовь к библиотекам расширилась и углубилась, то ответом на вопрос будет «да» — и пусть это словечко рикошетом отлетает от книжных стеллажей и смахивает тальк со щек библиотекарей. С того момента, как я написал эту книгу, я соткал больше рассказов, романов, эссе и стихотворений о писателях, чем любой другой из известных мне авторов за всю историю литературы. Я написал стихи о Мелвилле, о Мелвилле и Эмили Дикинсон,

об Эмили Дикинсон и Чарлзе Диккенсе, о Готорне, По, Эдгаре Райсе Берроузе, а попутно я сравнивал Жюль Верна и его Безумного Капитана с Мелвиллом и его столь же одержимым моряком. Я царалал стихи о библиотекарях, с моими любимыми авторами я пересекал в ночных поездах бескрайние просторы континента, ночами напролет я бормотал и пил, пил и болтал с ними. В одном из стихотворений я предостерег Мелвилла, чтобы он держался подальше от суши (она никогда не была его стихией!); я превратил Бернарда Шоу в робота, чтобы его удобнее было протащить «зайцем» в ракету, а потом разбудил этого робота во время долгого перелета к созвездию Центавра и слушал, как с его языка срываются «Предисловия» и попадают в мое восхищенное ухо. Я написал рассказ о Машине Времени, в котором я с жужжанием переносюсь в прошлое, чтобы посидеть у смертного одра Уайльда, Мелвилла и По, рассказать им о своей любви к ним и в последние часы жизни согреть их холодеющие кости... Но хватит об этом. Как вы можете видеть, когда дело касается книг, писателей и тех гигантских элеваторов, в которых хранятся зерна их разума, я становлюсь обезумевшим сумасшедшим.

Недавно, воспользовавшись «Студио Театр Плейхаус» в Лос-Анджелесе, я вызвал из мира теней всех моих героев «451° по Фаренгейту». «Что нового? — спросил я Монтага, Клариссу, Фабера, Битти. — Что нового со времени нашей последней встречи в 1953 году?»

Я спросил. Они ответили.

Они написали новые сцены, приоткрыв странные уголки их душ и грез, которые до сих пор никто не обнаруживал. В итоге получилась двухактная пьеса, постановка которой дала хорошие результаты и собрала в основном прекрасные рецензии.

Битти дальше всех вышел на сцену, отвечая на мой вопрос: «Как все это началось? Почему вы приняли решение

стать Начальником Пожарных, сжигателем книг?» Ответ Битти, удививший меня самого, прозвучал в сцене, когда он пригласил главного героя Гая Монтага к себе домой. Войдя в квартиру, Монтгаг был поражен, обнаружив там тысячи и тысячи книг, выстроившихся по стенам потайной библиотеки Начальника Пожарных! Монтгаг поворачивается и кричит своему шефу:

«Но вы же Главный Сжигальщик! Вы не должны держать книги у себя дома!»

На что Главный Сжигальщик с легкой сухой усмешкой отвечает: «Преступление не в том, чтобы владеть книгами, Монтгаг, а в том, чтобы их читать! Да, все правильно. Я владец этих книг, но я не читаю их!»

Монтгаг в ужасе ожидает дальнейших объяснений Битти. «Разве ты не видишь прелести ситуации, Монтгаг? Я никогда не читал их. Ни одной книги, ни единой главы, ни единой страницы, ни единого абзаца. Ну не ирония ли, а? Иметь тысячи книг и не распахнуть ни одной, повернуться к ним спиной и сказать: «Нет». Все равно что иметь полный дом красивых женщин и, улыбаясь, не... даже не коснуться какой-либо из них... Итак, ты видишь, что я вовсе не преступник. Если когда-нибудь ты застанешь меня за чтением книги, тогда да, тогда можешь на меня донести! Но это место так же чисто, как молочно-белая спальня двенадцатилетней девственницы в летнюю ночь. Эти книги умирают на моих полках. Почему? Потому что я так решил. Я не даю им средств к существованию, не вселяю надежд — ни жестом, ни взглядом, ни словом. Они не более чем пыль».

«Не понимаю, как вы можете не...» — протестует Монтгаг.

«...поддаваться искушению? — восклицает Начальник Пожарных. — О, это уже было, только давным-давно. Яблоко съедено, его больше нет. Змей вернулся на свое дерево, сад зарос сорняками и поражен ржавчиной».

«А ведь когда-то... — Монтаг колеблется, но все-таки продолжает: — Когда-то вы, должно быть, очень любили книги».

«Тущé! — отвечает Начальник Пожарных. — Удар ниже пояса. В челюсть. Пробито сердце. Кишки наружу. О, посмотри же на меня, Монтаг. Да, перед тобой человек, который любил книги, нет, мальчишка, который впадал из-за них в исступление, терял рассудок, лазил по книжным полкам, как обезумевший шимпанзе. Я ел их как салат, книги были моими сэндвичами на завтрак, они были моим вторым завтраком, обедом и полуночной жвачкой. Я вырывал страницы и ел их с солью, обмакивал в соус, грыз переплеты, языком перелистывал главы! Книги — десятками, сотнями, миллиард книг... Я столько перетаскал их домой, что остался горбатым на долгие годы. Философия, история искусств, политика, общественные науки, стихи, очерки, величайшие пьесы — назови что угодно, я все это ел. А затем... а затем...» — Голос Пожарного Начальника стихает.

Монтаг подсказывает:

«А затем?»

«Как тебе сказать, затем случилась жизнь. — Начальник Пожарных закрывает глаза, вспоминая. — Жизнь. Обычная жизнь. Та самая. Любовь, которая была не очень-то и любовью, мечта, которая прокисла и свернулась, секс, который развалился на части, смерти, которые так быстро и так незаслуженно пришли к моим друзьям, убийство того, убийство другого, безумие близкого человека, медленная смерть матери, внезапное самоубийство отца... — бег стада слонов, мощная атака болезней. И ни разу, ни разу не подвернулась в нужное время нужная книга, чтобы заткнуть отверстие в крошащейся стене разваливающейся плотины и тем самым сдержать потоп. Метафорой больше, сравнением меньше, дело не в этом. И вот, когда мой тридцатый год был на исходе и тридцать первый уже высу-

нул краешек, я решил, что надо оправляться от болезни, — а ведь все кости до единой переломаны, каждый сантиметр кожи ободран, изранен или обожжен. Я взглянул на себя в зеркало и за испуганным лицом молодого еще человека увидел затаившегося там старика, увидел ненависть ко всем и ко всему на свете. Что ни назови — все проклял бы! И я открыл страницы прекрасных книг своей библиотеки и обнаружил... что, что, что же я там обнаружил?!»

Монтаг высказывает догадку:

«Страницы оказались пустыми?»

«В самое яблочко! Точно в цель! О, конечно, слова там были, но они обтекали мои глаза, как горячее масло, не попадая внутрь, и не означали ничего. Они не могли предложить ни помощи, ни утешения, ни покоя, ни тихой гавани, ни настоящей любви, ни кровати, ни света».

Монтаг возвращается в мыслях в прошлое.

«Тридцать лет назад... сожжение последних библиотек...»

Битти утвердительно кивает:

«Мишень поражена! И вот, не имея работы, я, неудавшийся романтик, да как меня ни назови, черт возьми, подаю документы на Пожарного Первого Класса! Первого! Я первый, кто взбегаю по лестнице, первый, кто вламывается в библиотеку, первый, кто вторгается в пылающие топки сердец наших вечно пламенеющих сограждан, облейте меня керосином, дайте мне факел! Лекция окончена. Отправляйся восвояси, Монтаг. Дверь вон там!»

И Монтаг уходит, и интереса к книгам в нем еще больше, чем раньше, он уходит, и это начало того пути, который приведет его в изгой, и уже скоро за ним погонится и едва не уничтожит Механическая Гончая, мой робот, мой клон великого баскервильского зверя, созданного Артуром Конан Дойлом.

В моей пьесе старик Фабер — учитель, живущий не совсем чтобы по месту учительствования, — всю долгую

ночь разговаривает с Монтагом (через «ракушечное» радио, воткнутое в ухо), а потом гибнет от руки Пожарного Начальника. Каким образом? Битти подозревает, что кто-то инструктирует Монтага через потайное устройство, он выбивает «ракушку» из уха Монтага и кричит далекому учителю:

«Мы уже едем, чтобы схватить тебя! Мы уже у двери! Уже поднимаемся по лестнице! Взять его!»

И это так пугает Фабера, что его сердце разрывается...

Все это хорошие сцены. И соблазн был велик, время-то идет. Мне пришлось драться с самим собой, чтобы не всунуть их в новое издание романа.

Наконец, многие читатели прислали мне письма, в которых протестовали против исчезновения Клариссы и интересовались, что с нею стало. Франсуа Трюффо был полон того же любопытства, и в своей киноверсии моего романа¹ он извлек Клариссу из забвения и поместил ее среди Книжных Людей — они вместе бродили по лесам и, как молитвы, читали друг другу книги, хранившиеся у них в головах. Мне тоже хотелось спасти Клариссу: ведь в конце концов именно на ней, полубезумной, болтавшей всякие глупости о звездах, лежала большая часть ответственности за то, что Монтаг начал задумываться о книгах и о том, что в них содержится. Поэтому в финале моей пьесы Кларисса все-таки появляется, она приветствует Монтага, и таким образом у моей вещи, произведения весьма мрачного, образуется нечто вроде «хэппи энда».

Однако роман, в отличие от пьесы, остался верен себе прежнему. Я не верю, что произведения каких бы то ни было молодых авторов следует подчищать, особенно если учесть, что когда-то таким молодым автором был я сам. Монтаг, Битти, Милдред, Фабер, Кларисса — все они

¹ Французский режиссер Франсуа Трюффо (1932—1984) снял фильм по роману Р. Брэдбери «451° по Фаренгейту» в 1967 г. Это единственный фильм Трюффо на английском языке.

стоят, двигаются, входят и выходят точно так же, как делали это тридцать два года назад, когда я впервые описал их — десять центов за полчаса работы на машинке — в подвальном этаже библиотеки Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. С тех пор я не изменил ни одной мысли, ни одного слова.

И последнее открытие. Как вы видели, все свои романы и рассказы я пишу, задыхаясь от наплыва восхитительных чувств. Только совсем недавно, глядя на этот роман, я осознал, что Монтаг получил свою фамилию от названия одной бумагоделательной компании. А Фабер, конечно же, это карандашный фабрикант! Ну и хитрая же бестия мое подсознание — так назвать моих героев!

И ничего не сказать мне самому!

КОДА

Около двух лет тому назад я получил письмо от одной важной молодой леди из колледжа Вассара¹, в котором она сообщала, что ей очень понравился мой эксперимент в области космической мифологии — «Марсианские хроники».

Но, добавила она, разве не будет лучше, если сейчас, по прошествии времени, переписать эту книгу, вставив в нее побольше женских персонажей и ролей?

За несколько лет до этого я получил немало писем по поводу все тех же «Марсианских хроник»; авторы многих посланий сетовали, что черные в книге — сплошные «дяди Томы», и интересовались, почему бы мне не «переписать их заново»?

Примерно в то же самое время пришло письмо от одного белого южанина, который рассудил, что я слишком расположен к черным, и предложил вообще выкинуть из цикла один из рассказов.

Две недели назад гора моей почты родила почти не различимую взглядом мышь в виде письма от одного известного издательства, которое вознамерилось включить мой рассказ «Ревун» в антологию для средней школы.

В этом рассказе я описал маяк: по ночам идущий от него свет воспринимался как «Свет Бога». Если встать на пози-

¹ Престижный частный гуманитарный колледж высшей ступени в г. Покипси (штат Нью-Йорк).

цию любого морского существа, то можно вообразить, что этот свет был не чем иным, как воплощением «Его Присутствия».

Редакторы убрали из текста «Свет Бога» и «Его Присутствие»¹.

Лет пять назад редакторы другой антологии, предназначенной для школьников, объединили в одном томике около 400 (можете пересчитать!) рассказов. Как можно втиснуть в одну книгу 400 рассказов таких авторов, как Твен, Ирвинг, По, Мопассан и Бирс?

Святая простота! Сдери кожу, выломай кости, вытряхни костный мозг, иссеки мясо, развари, перетопи сало и уничтожь. Каждое прилагательное, имеющее хоть какое-нибудь значение, каждый глагол, который не стоит на месте, каждая метафора весом больше комара — вон! Каждое сравнение, способное заставить полукретина скривить губы в улыбке, — ату его! Каждое отступление, объясняющее грошовую философию первоклассного писателя, — долой!

И вот уже любой рассказ, исхудавший, изголодавшийся, исчерканный, облепленный пиявками и обескровленный до белизны, неотличим от любого другого рассказа. Твен читается, как По, читается, как Шекспир, читается, как Достоевский, читается, как — в финале — Эдгар Гест². Каждое слово, в котором более трех слогов, — вырезается бритвой. Каждый образ, требующий хотя бы секундного внимания, — убит наповал.

Ну что, начинаете схватывать эту проклятую, эту невероятную картину?

¹ В русском переводе этого рассказа, сделанном в советские времена, «Свет Бога» стал «божественным огнем», а вместо «в Его Присутствии» появилось «предстали перед каким-нибудь рыбьим божеством».

² Гест Эдгар Альберт (1881—1959), американский журналист, родился в Англии; писал стихами. Для творчества Геста характерно разнообразие литературных форм и методов стихосложения.

Вы спросите, как я на все это среагировал?

А я всех «уволил».

Всем и каждому послал уведомления об отказе.

Обеспечил эту ассамблею идиотов билетами до самых дальних пределов ада.

Смысл сказанного очевиден. Сжечь книгу можно разными способами. В мире полно людей, бегающих с зажженными спичками. Каждое меньшинство, будь то баптисты / унитарии / ирландцы / итальянцы / движение за права восьмидесятилетних / дзен-буддисты / сионисты / адвентисты седьмого дня / движение в защиту прав женщин / республиканцы / Международная церковь истинного Евангелия, — все они полагают, будто обладают волей, правом и обязанностью обливать книги керосином и поджигать запал. Каждый полудурок-редактор, считающий, что стоит у истоков всего этого скучнейшего литературного бланманже, всей этой незаправленной литературной каши, всего этого пресного литературного теста, постоянно вылизывает свою гильотину, приглядываясь к шеям авторов, которые осмеливаются говорить не шепотом или писать что-нибудь посложнее прибауток.

Капитан-Пожарный Битти в моем романе «451° по Фаренгейту» описал, как поначалу книги сжигались именно меньшинствами, каждое из них выдирало страницу или абзац сначала из этой книги, потом из той, пока не наступил день, когда в книгах осталась одна пустота, мозги захлопнулись, а библиотеки закрылись навсегда.

«Закроешь дверь — они идут в окно, окно закроешь — валят через дверь». Это слова одной старой песни. Они как нельзя более подходят к стилю моей жизни, потому что новые мясники-цензоры появляются каждый месяц. Всего шесть недель назад я обнаружил, что редакторы, уютно устроившиеся в издательстве «Баллантайн Букс», уже много лет кромсают мой роман, опасаясь, что он «заразен» для молодых читателей: кусочек за кусочком они вымара-

ли в общей сложности 75 фрагментов. Об этой изошренной иронии судьбы — ведь мой роман как раз и посвящен цензуре и сжиганию книг в будущем — мне сообщили не кто иные, как школьники, прочитавшие роман. Новая редакторша «Баллантайн Букс» Джуди-Линн Дел Рей недавно распорядилась, чтобы весь текст книги был набран заново, сейчас издание готовится к печати и выйдет в свет нынешним летом — со всеми чертыханиями и проклятиями на прежних местах.

И, наконец, последнее испытание для старого Иова Второго: месяц назад я послал свою пьесу «Левиафан-99» в один университетский театр. Пьеса эта основывается на мифологии «Моби Дика» и посвящена Мелвиллу, там фигурируют экипаж ракеты и их слепой капитан, которые отправились в рискованное космическое путешествие, чтобы встретиться с Большой Белой Кометой и заблаговременно уничтожить эту истребительницу человечества. Нынешней осенью в Париже состоится премьера моей пьесы — уже в виде оперы. Пока суд да дело, университетский театр отвечает мне, что вряд ли рискнет поставить мою пьесу — ведь в ней совсем нет женщин! И если даже факультет драматургии все-таки осмелится на постановку, то в университетском городке найдется немало дам, ратующих за поправку о равных правах женщин, которые ринутся на сцену с бейсбольными битами!

Истирая в крошку коренные зубы, я написал письмо, в котором предположил, что отныне, очевидно, мы больше не увидим на сцене ни «Ребят из оркестра»¹ (нет женских ролей), ни «Женщин»² (нет мужских). А если посчитать по

¹ Популярная пьеса американского драматурга Марта Краули о мужском джазовом ансамбле, по которой режиссер Уильям Фридкин снял фильм с тем же названием (1970).

² Популярная пьеса американской политической деятельницы и драматурга Клэр Бут Люс (1903—1987), которая в свое время долго шла на Бродвее. В 1939 г. режиссер Джордж Кьюкор (1899—1983) снял по ней одноименный комедийный фильм.

головам, мужским и женским, то мы не увидим и большую часть шекспировских пьес; особенно полезно считать строчки — сразу убеждаешься, что все хорошее у Шекспира говорят мужчины!

И еще я написал в том письме, что они могут играть пьесы по очереди: одну неделю идет моя вещь, а следующую неделю — «Женщины». Они, наверное, решили, что я пошутил; впрочем, я сам до конца не понял, шутил я или нет.

Потому что мы живем в безумном мире, и он станет еще безумнее, если мы позволим меньшинствам — будь то карлики, или гиганты, орангутаны или дельфины, ядерные психи или певцы чистой воды, компьютерные фанатики или неолуддиты, простаки или мудрецы — вмешиваться в эстетику. Да, реальный мир — это игровая площадка, где могут собираться какие угодно группы, и им вольно сочинять свои законы или отказываться от них. Но кончик носа любой моей книги, любого рассказа, любого стихотворения — это то место, где их права заканчиваются и начинаются мои территориальные императивы: управляй и властвуй¹. Если мормонам не нравятся мои пьесы, пусть пишут свои собственные. Если ирландцам ненавистны мои дублинские рассказы, пусть берут напрокат пишущие машинки. Если учителя и составители школьных учебников по грамматике полагают, что от моих зубодробительных фраз у них расшатываются молочные зубы, с которыми только кашку впору кушать, пусть едят черствые кексы, вымоченные в бездарном слабеньком чайке их собственного производства. А если интеллектуалы-«чиканос» хотят перекроить мой рассказ «Чудесный костюм цвета сливочного мороженого», чтобы

¹ Р. Брэдбери имеет в виду известное высказывание, авторство которого уже трудно установить: «Ваша свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается мой нос».

он превратился в «зут»¹, то пусть у них расстегнется пояс и свалятся штаны.

Давайте посмотрим правде в глаза: авторские отступления — это душа ума. Лишите философских отступлений Данте, Мильтона или тень отца Гамлета, и от них останутся только иссохшие кости. Лоренс Стерн когда-то сказал: «Отступления, бесспорно, подобны солнечному свету; они составляют жизнь и душу чтения. Изымите их, например, из этой книги, — она потеряет всякую цену: холодная, беспросветная зима воцарится на каждой ее странице; отдайте их автору, и он выступает, как жених, — всем приветливо улыбается, хлопочет о разнообразии яств и не дает уменьшиться аппетиту»².

Короче говоря, не оскорбляйте меня усековением головы, обрубанием пальцев или выкачиванием воздуха из легких, как вы запланировали поступить с моими сочинениями. Голова мне нужна, чтобы отрицательно качать ею или утвердительно кивать, руки — чтобы размахивать или сжимать в кулаки, а легкие — чтобы кричать или шептать. Я не отправлюсь, выпотрошенный, с покорностью на полку, чтобы стать не-книгой.

Эй, боковые судьи, возвращайтесь на трибуны! Рефери, бегом в душевую! Это моя игра, я подаю, я бью битой, я ловлю мяч. Я сам бегу по полю. К заходу солнца я либо выиграю, либо проиграю. А на восходе выйду опять и снова попробую показать, на что я способен.

И никто меня не удержит. Даже вы.

1979

¹ Чиканос — американцы мексиканского происхождения. «Чудесный костюм цвета сливочного мороженого» относится к числу так называемых мексиканских рассказов Р. Брэдбери. «Зут» — костюм, состоящий из длинного широкоплечего пиджака, мешковатых, зауженных внизу брюк на подтяжках и широкополой шляпы; ко всему этому еще полагались карманные часы на длинной цепочке. Был популярен в 1940-е годы, особенно среди латиноамериканской и негритянской молодежи больших городов.

² Слова из романа английского писателя Лоренса Стерна (1713—1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760—1767). Перевод А. А. Франковского.



МЕХАНИЗМЫ РАДОСТИ

**Сборник
рассказов**

МЕХАНИЗМЫ РАДОСТИ

Отец Брайан решил пока не спускаться к завтраку, поскольку ему показалось, что он слышит там, внизу, смех отца Витторини. Витторини, как всегда, трапезовал в одиночестве. Тогда с кем бы он там мог смеяться — или над кем?

«Над нами, — подумал отец Брайан, — вот над кем».

Он снова прислушался.

В своей комнате, которая располагалась в другом конце зала, был погружен в молитвенное созерцание, а точнее сказать, прятался отец Келли.

Они никогда не допускали, чтобы Витторини закончил завтрак, о нет! Они всегда умудрялись присоединиться к нему как раз в тот момент, когда он дожевывал последний кусочек тоста. В противном случае чувство вины не давало бы им покоя весь день.

Тем не менее внизу явственно раздавался смех — или послышалось? Отец Витторини, видно, откопал что-то в утренней «Таймс». А то, чего доброго, он сидел полночи, пребывая в скверном расположении духа и потворствуя собственным причудам, перед этим нечистым демоном — телевизором, стоящим у двери, словно непрощенный гость. И теперь, наверное, в его голове, промытой электронным чудовищем, беззвучно крутились шестеренки и вызревали планы какой-то новой дьявольской каверзы, и он сидел, намеренно постясь и надеясь распалить любопытство со-

седей звуками своего итальянского веселья и выманить их вниз.

— О Господи! — Отец Брайан вздохнул и повертел в пальцах конверт, который приготовил вчера вечером. Он сунул его под рясу в качестве орудия обороны, если все же решится вручить его пастору Шелдону. Сумеет ли отец Витторини обнаружить конверт сквозь ткань с помощью своих черных, быстрых рентгеновских глаз?

Отец Брайан крепко провел ладонью по груди, чтобы разгладить малейшие складки, которые могли бы выдать его прошение о переводе в другой приход.

— Что ж, пошли! — И, шепча про себя молитву, отец Брайан стал спускаться по лестнице.

— А! Отец Брайан! — Витторини поднял взгляд от полной тарелки с завтраком. Негодник даже еще не удосужился посыпать сахаром свои кукурузные хлопья.

У отца Брайана было такое ощущение, будто он шагнул в пустую шахту лифта. Чтобы спастись, он инстинктивно выставил вперед руку и коснулся телевизора. Тот был еще теплым.

— Вы что же, провели здесь всю ночь?

— Я бодрствовал у телевизора, да.

— Ну конечно, бодрствовали! — фыркнул отец Брайан. — Бодрствуют у одра болящего или усопшего, не так ли? Мне довелось кое-что повидать в жизни, но более безмозглой штуки, чем эта, я не встречал. — Он отвернулся от электронного кретина и внимательно посмотрел на Витторини. — И вы слышали далекие крики и завывания духов на этом, как его?.. Канаверал?

— Запуск отменили в три часа утра.

— И вот вы сейчас сидите здесь, свеженький как огурчик... — Отец Брайан прошел вперед, покачав головой. — Да, мы живем не в самом справедливом мире.

Витторини налил в тарелку молока и тщательно размешивал в нем хлопья.

— А вы, отец Брайан, напротив, выглядите так, словно побывали нынешней ночью на экскурсии в преисподней.

К счастью, в этот момент вошел отец Келли. Увидев, как мало отец Витторини продвинулся со своим завтраком, он будто примерз к полу. Скороговоркой поприветствовал обоих священников, уселся за стол и поглядел на взволнованного отца Брайана.

— Действительно, Уильям, вид у вас весьма неважный. Бессонница?

— Что-то вроде этого.

Отец Келли, склонив голову несколько набок, внимательно оглядел обоих мужчин.

— Что происходит? Может, что-нибудь случилось в мое отсутствие здесь вчера вечером?

— У нас была небольшая дискуссия, — ответил отец Брайан, поигрывая ложкой в тарелке с размокшими хлопьями.

— Небольшая дискуссия! — подхватил отец Витторини. Он чуть было не рассмеялся, однако сдержал себя и сказал просто: — Дело в том, что ирландского священника беспокоит поведение итальянского Папы.

— Полноте, отец Витторини, — сказал Келли.

— Пусть продолжает, — пробурчал отец Брайан.

— Чрезвычайно признателен за ваше любезное разрешение, — очень вежливо ответил Витторини, дружелюбно кивнув ему. — Папа Римский, видите ли, являет собой постоянный источник благочестивого раздражения если не для всех, то по крайней мере для некоторых ирландских священнослужителей. Почему Папу зовут не Нолан? Отчего бы ему не носить зеленую шапочку вместо красной? Почему бы, если уж на то пошло, не перенести собор Святого Петра в Корк или Дублин в двадцать пятом веке?

— Надеюсь, на самом деле никто не говорил именно так? — спросил отец Келли.

— Мне недостает смирения, — произнес отец Брайан. — В своей гордыне я, возможно, и сделал подобное предположение.

— При чем здесь гордыня? И что за предположение?

— Вы слышали, что он только что сказал про двадцать пятый век? — спросил отец Брайан. — Так вот, это когда Флэш Гордон и Бак Роджерс влетают в баптистерий через оконный проем и верующие бросаются к выходу.

Отец Келли вздохнул:

— Ах, господи, опять та самая шутка?

Отец Брайан почувствовал, что кровь прилила к его щекам и они вспыхнули, поэтому он изо всех сил постарался, чтобы она отхлынула к более холодным областям его тела.

— Шутка? Это выходит далеко за рамки простой шутки. Вот уже целый месяц только и слышишь повсюду: «Канаверал то, Канаверал се, траектории, астронавты». Можно подумать, что это Четвертое июля, он по полночи не спит из-за этих ракет! Я, собственно, хочу сказать: ну что это за жизнь теперь, что за карусель каждую ночь с этой машиной-Горгоной, которая стоит у дверей и начисто отшибает у вас все мозги, стоит только взглянуть на нее? Я совершенно не могу спать, потому что чувствую, что вот-вот все в приходе пойдет прахом.

— Да-да, — согласился отец Келли. — А все-таки что это вы там говорили насчет Папы?

— Это не о новом, о предпоследнем, — устало ответил Брайан. — Покажите ему вырезку, отец Витторини.

Витторини замялся.

— Покажите, — настаивал Брайан.

Отец Витторини вынул маленькую газетную вырезку и положил ее на стол.

Даже не переворачивая, отец Брайан прочитал плохие новости:

**«ПАПА БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ШТУРМ
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА».**

Отец Келли вытянул палец и осторожно дотронулся до заметки. Потом взял ее и вполголоса, с выражением прочитал, подчеркивая ногтем каждое слово:

— «ЗАМОК ГАНДОЛЬФО, ИТАЛИЯ, 20 СЕНТЯБРЯ. Сегодня Папа Пий XII дал свое благословение усилиям человечества, направленным на завоевание космического пространства. В выступлении перед делегатами Международного конгресса по космическим полетам понтифик сказал: «Господь не намерен ограничивать человека в его попытках покорить космос».

Четыреста делегатов конгресса, посланцы двадцати двух стран, были приняты Папой в его летней резиденции.

«Этот конгресс, посвященный космическим полетам, имеет огромное значение для нашего времени — начавшейся эпохи исследования человеком космического пространства, — сказал Папа. — Он затрагивает интересы всего человечества. ... Человеку необходимо приложить немалые усилия, чтобы установить новые отношения с Богом и Его Вселенной».

Отец Келли читал все медленнее и наконец остановился.

— Когда была напечатана эта заметка?

— В тысяча девятьсот пятьдесят шестом году.

— Неужели так давно? — Отец Келли отложил ее в сторону. — Никогда ее не читал.

— Похоже, — сказал отец Брайан, — что вы и я, отец, вообще читаем не очень много.

— Каждый мог пропустить ее, — ответил Келли, — это совсем крохотная заметка.

— Но в ней заложена очень большая идея, — добавил отец Витторини, всем своим видом демонстрируя хорошее настроение.

— Дело в том, что...

— Дело в том, что, — перебил Витторини, — когда я впервые заявил об этом, правдивость моих слов была подвергнута очень серьезным сомнениям. Теперь мы видим, что я говорил истинную правду.

— Разумеется, — поспешно сказал отец Брайан. — Однако, как заметил наш поэт Уильям Блейк: «Коль правду ты во зло употребил — гнусней лжеца любого поступил».

— Безусловно. — Витторини продолжал излучать дружелюбие. — Но разве не Блейк написал также:

Кто собственным глазам не доверяет —
Не верит никогда и никому.
Но Солнце и Луна коль веру потеряют,
Вселенная погрузится во тьму.

— Весьма убедительно, — добавил священник-итальянец, — и очень подходит для космической эры.

Отец Брайан уставился на возмутительного спорщика:

— Я был бы вам бесконечно благодарен, если бы вы не цитировали нам нашего Блейка.

— Вашего Блейка? — спросил стройный бледный мужчина с волнистыми темными волосами. — Странно. Я всегда был убежден, что он англичанин.

— Поэзию Блейка, — сказал отец Брайан, — очень любила моя мать. И именно она рассказывала мне, что у него была ирландская кровь по материнской линии.

— Искренне признателен вам за столь ценные для меня сведения, — поблагодарил отец Витторини. — Однако же вернемся к газетной заметке. Теперь, когда мы ее наконец разыскали, не пора ли нам поподробнее ознакомиться с энциклопедией Пия Двенадцатого?

Отец Брайан, осторожность которого была его второй натурой, недоверчиво спросил:

— Что же это за энциклика?

— Позвольте, та самая — о космических путешествиях.

— Он не мог написать этого!

— Тем не менее написал.

— О космических полетах! Специальная энциклика?

— Совершенно верно, специальная.

Оба священника-ирландца чуть было не попадали с кресел — настолько сильным оказался для них этот удар.

Отец Витторини делал движения, как человек, приводящий в порядок свой костюм после взрыва: сощелкнул пылинку с рукава, стряхнул волосок, подобрал две-три хлебные крошки со скатерти.

— Неужели недостаточно было того, — проговорил отец Брайан упавшим голосом, — что он пожал руки этой шайке астронавтов, сказал им, дескать, молодцы, ребята, и все такое, но ему показалось мало, и он обо всем этом еще и написал?

— Этого было недостаточно, — подтвердил отец Витторини. — Он, как я слышал, пожелал подробно изложить свои взгляды относительно проблем жизни на других планетах и влияния этого феномена на христианский образ мышления.

После каждого из этих слов, произнесенных очень отчетливо, двое других мужчин все дальше откидывались назад в своих креслах.

— Вы слышали? — прошептал отец Брайан. — А вы сами это еще не читали?

— Еще нет, но я намереваюсь...

— Вы много вещей намереваетесь сделать, и отнюдь не самых лучших. Иногда, отец Витторини, — и мне крайне неприятно говорить это, — ваши речи звучат совершенно неподобающим для священнослужителя католической церкви образом.

— Я говорю, — парировал Витторини, — как итальянский священник, пытающийся сохранить поверхностное натяжение церковного болота, где я по воле Божьей оказался в окружении огромного стада клерикалов по имени Шонесси, и Налти, и Фланнери, значительно превосходящих меня по численности, которые начинают панически метаться по кругу, словно карибу или бизоны, стоит мне лишь шепнуть: «Папская булла».

— Теперь я уже несколько не сомневаюсь, — тут отец Брайан скосил глаза в ту сторону, где, по его представле-

нию, должен располагаться Ватикан, — что вы собственнолично, окажись вы там, втянули бы святого отца во все это дуракаваляние с космическими путешествиями.

— Я?

— Вы! Разве не вы — не мы же, в конце концов, — натащили сюда целый грузовик журналов с космическими кораблями на глянцевых обложках и нечистыми зелеными шестиглазыми чудовищами о семнадцати манипуляторах, которые гоняются за полураздетыми девицами на какой-то там луне? Это вы — я своими ушами слышал — вместе со своим бесовским телевизором среди ночи ведете отсчет: десять, девять, восемь — и до единицы. А мы лежим и трясемся от страха так, что у нас пломбы из зубов вылетают. Вы, два итальянца — один здесь, а другой в замке Гандольфо — прости меня, Господи! — умудрились парализовать все ирландское духовенство!

— Успокойтесь! — сказал наконец отец Келли. — Вы оба.

— Успокоюсь. Так или иначе, но я обрету покой, — сказал отец Брайан, доставая из кармана конверт.

— Уберите, — приказал отец Келли, предчувствуя, что может там содержаться.

— Пожалуйста, передайте это от моего имени пастору Шелдону.

Отец Брайан тяжело поднялся и обвел глазами комнату, отыскивая дверь, чтобы уйти. И быстро вышел.

— Вот, полюбуйтесь, что вы наделали, — сказал отец Келли.

Отец Витторини, искренне потрясенный, перестал есть.

— Но, святой отец, я все время полагал, что это не более чем дружеская дискуссия: он выдвигал свои аргументы, а я — свои, он горячился, я же возражал со всей возможной мягкостью.

— Видите ли, ваша перепалка слишком затянулась, и забавный словесный поединок принял серьезный обо-

рот, — сказал Келли. — Ах, вы не знаете Уильяма так, как его знаю я. Вы ведь и впрямь глубоко ранили его.

— Я сделаю все, что в моих силах, чтобы загладить...

— Лучше брюки свои погладьте! И не путайтесь под ногами, я сам все постараюсь устроить. — Отец Келли схватил со стола конверт и посмотрел через него на свет. — Рентген скорбящей души. Ах ты господи.

Он поспешно поднялся наверх.

— Отец Брайан? — позвал он. Немного помедлив, постучал в дверь. — Отец? Уильям?

Отец Витторини, снова оказавшийся один в столовой, вспомнил о нескольких последних хлопьях, так и оставшихся у него во рту. Они были совершенно безвкусными. И ему понадобилось довольно много времени, чтобы их проглотить.

Только после ланча отцу Келли удалось в маленьком садике за домом загнать в угол отца Брайана и всунуть ему обратно в руки конверт.

— Уилли, я хочу, чтобы ты порвал это. Я не позволю тебе уйти с поля в середине игры. Сколько времени все это между вами продолжается?

Отец Брайан вздохнул и взял конверт, однако не порвал его.

— Все подкралось к нам как-то незаметно. Поначалу я ему читал ирландских писателей, а он пел мне итальянские оперы. Потом я рассказывал ему о Евангелии Келлза в Дублине, а он просвещал меня насчет Ренессанса. Слава Богу, что он раньше ничего не говорил о папской энциклике, посвященной этим — будь они прокляты — космическим полетам, а не то я бы ушел в монастырь, где отцы по обету хранят молчание. Только я боюсь, что даже туда он бы за мною последовал и стал бы жестаами отсчитывать время до старта на Канаверале. Из этого человека получился бы великолепный «адвокат дьявола»!

— Отец!

— Потом я наложу на себя епитимью. Все дело в том, что он настоящий акробат, жонглер, он играет догматами церкви, как цветными мячиками. Конечно, это очень интересное зрелище, но я настаиваю на том, чтобы не смешивать скомороха с истинно верующими, как вы и я! Простите меня за гордыню, отец, однако же мне представляется, что основная тема должна иметь различные вариации, когда ее исполняют на пикколо или, как мы, на арфе. Вы согласны со мной?

— Сие есть таинство, Уилл. И мы, служители церкви, должны являть мирянам пример того, как тут следует поступать.

— Интересно, а отцу Витторини кто-нибудь это говорил? Давайте смотреть правде в лицо: ведь итальянцы — это ротарианский клуб церкви. Нипочем не поверю, что хоть один из них мог бы остаться трезвым во время Тайной Вечери.

— Любопытно, а ирландец смог бы? — пробормотал отец Келли.

— По крайней мере, мы дождались бы, пока она закончится.

— Ну вот что, мы священники или кто? Что мы здесь стоим и толкуем о каких-то пустяках? Не лучше ли попробовать отбрить Витторини его же собственной бритвой? Уильям, у вас нет никакого плана?

— Может, пригласить сюда баптиста в качестве посредника?

— Да ну вас с вашим баптистом! Вы проштудировали энциклику?

— Энциклику?

— Вы что же, после завтрака так и стояли соляным столпом? И никуда не ходили!.. Давайте-ка почитаем этот эдикт о космических полетах! Как следует изучим его, выучим наизубок, а потом контратакуем поборника ракет на его же собственной стартовой площадке! Так что идемте в би-

блиотеку. Как там кричит современная молодежь? Пять, четыре, три, два, один, пуск! Так, что ли?

— Более или менее так.

— Ну, тогда за мной!

При входе в библиотеку они столкнулись с пастором Шелдоном, который оттуда выходил.

— Бесполезно, — сказал, улыбаясь, пастор, когда увидел их разгоряченные лица. — Вы ее там не найдете.

— Чего мы там не найдем? — Отец Брайан заметил, что пастор смотрит на письмо, которое он все еще сжимал в руке, и быстро спрятал его. — Не найдем чего, сэр?

— Ракетный корабль несколько великоват для нашей скромной обители, — ответил пастор, делая не очень-то удачную попытку говорить загадками.

— Неужели итальянец уже успел пожаловаться? — воскликнул в смятении отец Келли.

— Отнюдь нет, однако в здешних местах слухи имеют свойство очень быстро распространяться. Я приходил сюда, чтобы кое-что проверить лично.

— В таком случае, — с облегчением вздохнул Брайан, — вы на нашей стороне?

Глаза пастора Шелдона как-то погрузтели:

— А в данном вопросе существуют какие-нибудь стороны, святые отцы?

Втроем они вошли в маленькую комнату библиотеки, где отец Брайан и отец Келли в неловких позах пристроились на краешках жестких стульев. Пастор Шелдон, видя, как им неудобно, остался стоять.

— Итак. Почему вы боитесь отца Витторини?

— Боимся? — Отец Брайан изобразил удивление и мягко воскликнул: — Правильнее было бы сказать, что мы сердимся!

— Одно влечет за собой другое, — признал Келли и продолжал: — Видите ли, пастор, дело главным образом заклю-

чается в том, что какой-то тосканский городишко мечет камни в Мейнут, который, как вам известно, всего в нескольких милях от Дублина.

— Я — ирландец, — терпеливо сказал пастор.

— Да, это так, пастор. И тем больше у нас оснований недоумевать, почему вы храните столь великое спокойствие среди этого бедствия? — сказал отец Брайан.

— Я — калифорнийский ирландец, — ответил пастор.

Он подождал, пока они проглотят его слова. Когда наконец до них дошел их смысл, отец Брайан с несчастным видом пробормотал:

— Ах да. Мы совершенно забыли.

Он посмотрел на пастора и увидел смуглое, покрытое свежим загаром лицо человека, который даже здесь, в Чикаго, всегда ходил с поднятой к небу, словно подсолнечник, головой, чтобы получить как можно больше света и тепла, столь необходимых его организму. Перед ним стоял мужчина, под рясой которого все еще угадывалась фигура теннисиста, его длинные сильные руки выдавали мастера по гандболу. А когда на кафедре во время проповеди он взмахивал руками, то очень легко можно было представить себе, как он, рассекая волны, плывет под горячим калифорнийским небом.

У отца Келли вырвался смешок.

— Ох, неисповедимы пути Господни. Отец Брайан, да вот же он, ваш баптист!

— Баптист? — удивился пастор Шелдон.

— Не обижайтесь, пастор. Просто мы отправились было искать посредника и встретили вас, ирландца из Калифорнии, который еще настолько не освоился с зимней стужей Иллинойса, что, глядя на вас, невольно думаешь о подстриженных кортах и январском солнцепеке. Мы-то сами родились и выросли на холодных камнях Корка и Килкока, пастор. И не оттаем, прожив двадцать лет в Голливуде. А теперь послушайте, ведь говорят — разве не так? —

что Калифорния очень... — он сделал паузу, — похожа на Италию?

— Я вижу, куда вы клоните, — проговорил отец Брайан.

Пастор Шелдон кивнул, на лице у него появилось теплое и одновременно грустное выражение. Он сказал:

— Во мне течет та же кровь, что и в вас. Но климат, в котором я сформировался, похож на климат Рима. Так что, видите, отец Брайан, спрашивая, есть ли здесь какие-нибудь стороны, я говорил то, что мне подсказывало сердце.

— Ирландец и в то же время не ирландец, — прошептал отец Брайан. — Почти что итальянец, но не совсем. Ох, ну и шутки же играет с нашей плотью этот мир.

— Только с нашего позволения, Уильям, Патрик.

Оба священника были несколько удивлены, услышав свои имена.

— Вы все же так и не ответили: почему вы боитесь?

Руки отца Брайана начали беспокойно мять одна другую.

— Понимаете ли, это из-за того, что в то самое время, когда на Земле все более или менее устроилось, когда, похоже, победа уже не за горами, когда святая церковь утвердилась на надежном основании, — вдруг появляется отец Витторини...

— Простите меня, отец, — перебил его пастор. — Появляется реальность. Появляются пространство, время, энтропия, прогресс, появляется еще миллион вещей, и так всегда. Отец Витторини не изобретал космических полетов.

— Нет, конечно. Но он радуется этому. Благодаря ему «все начинается с мистики, а кончается политикой». Ну да ладно. Я готов спрятать свою боевую палицу, если он уберет свои ракеты.

— Нет, пусть и то и другое останется на виду, — возразил пастор. — Лучше не скрывать ни оружия, ни особых средств передвижения. Лучше с ними работать. Почему бы нам не залезть в эту ракету и не научиться чему-нибудь новому?

— Чему научиться? Что большая часть из того, о чем мы в прошлом проповедовали на Земле, не подходит ни для Марса, ни для Венеры — или я уж не знаю, куда там, к дьяволу, Витторини нас запустит? Изгнать Адама и Еву из какого-нибудь нового Эдема, скажем, на Юпитере, с помощью пламени наших собственных ракет? Или, еще лучше, выяснить, что не существует ни рая, ни Адама, ни Евы, ни проклятого яблока, ни змия, ни грехопадения, ни первородного греха, ни благовещения, ни непорочного зачатия, ни Сына — можете сами продолжать список, — нет вообще ничего, только погибающие миры сменяют друг друга? Это и есть то, чему мы должны научиться, пастор?

— Если в том возникнет необходимость, то да, — ответил пастор Шелдон. — Это Божья Вселенная и Господни миры во Вселенной, отец. Не следует пытаться взять с собой наши храмы, если все, что нам нужно, — дорожный саквояж. Церковь можно уложить в ларец, где будет лишь потребное для отправления мессы — ковчежец не больший, чем в состоянии унести эти руки. И оставьте это отцу Витторини — народы южных широт давным-давно научились строить из воска, который тает и принимает формы, соответствующие побуждениям и потребностям человека. Уильям, Уильям, ежели вы настаиваете на том, чтобы строить из твердого льда, то возведенное рассыплется, когда мы преодолеем звуковой барьер, или растает, не оставив и следа, в пламени ракетных двигателей.

— Этому, — сказал отец Брайан, — нелегко учиться в пятьдесят лет, пастор.

— Однако надо, и я знаю, у вас это получится. — Пастор тронул его за плечо. — Даю вам поручение: помиритесь с итальянским священником. Найдите сегодня же вечером какой-нибудь способ для взаимного понимания. Приложите все свои силы, отец. А когда исполните это, поскольку наша библиотека уж очень мала, поохотьтесь и разыщите

космическую энциклику, чтобы мы хотя бы знали, из-за чего разгорелся весь сыр-бор.

И пастор тут же ушел.

Отец Брайан прислушался к удаляющимся шагам быстрых ног — словно белый мяч высоко взмыл в нежно-голубое небо и пастор кинулся, чтобы в изящном броске перехватить его.

— Ирландец — и в то же время не ирландец, — задумчиво сказал он. — Почти, но не совсем итальянец. Ну а мы-то с тобой кто, Патрик?

— Я что-то начал сомневаться, — ответил тот.

И они направились в более фундаментальное книгохранилище, где могли таиться глобальные воззрения Папы относительно большей Вселенной.

Намного позже ужина, в сущности, совсем незадолго до того времени, когда пора отходить ко сну, из библиотеки вернулся отец Келли. Он ходил по дому, открывал двери и что-то шептал.

Около десяти часов отец Витторини спустился вниз и застыл с открытым от удивления ртом.

У нерастопленного камина стоял отец Брайан и грелся около маленького газового обогревателя. Некоторое время священник не обращивался.

Комната была прибрана, а ненавистный телевизор переместился вперед и стоял в окружении четырех кресел и двух табуретов, на которые Брайан водрузил две бутылки и четыре стакана. Все это он сделал сам, не разрешив Келли помогать ему. Сейчас он повернулся, потому что в комнату входили Келли и пастор Шелдон.

Пастор стоял у входа и осматривал комнату.

— Великолепно, — констатировал он. Потом, несколько помедлив, добавил: — Дайте-ка мне подумать... — Он прочитал этикетку на одной из бутылок. — Отец Витторини будет сидеть здесь.

— Около «Айриш Мосс»? — спросил Витторини.

— Я тоже, — сказал отец Брайан.

Витторини с очень довольным видом уселся в кресло.

— Ну а мы расположимся поблизости от «Лакрима Христа». Нет возражений? — сказал пастор.

— Это итальянское вино, пастор.

— Сдается мне, что я о нем кое-что слышал, — сказал пастор и сел.

— Вот так. — Отец Брайан торопливо привстал и, не глядя на Витторини, щедро плеснул себе в стакан «Айриш Мосс». — Ирландское возлияние.

— Позвольте мне. — Витторини кивнул в знак благодарности и поднялся, чтобы налить присутствующим напитки. — Слезы Христа и солнце Италии... А сейчас, прежде чем мы выпьем, мне хотелось бы кое-что сказать.

Присутствующие в ожидании глядели на него.

— Папской энциклики о космических полетах, — наконец произнес он, — не существует.

— Мы обнаружили это, — вставил Келли, — несколько часов назад.

— Простите меня, святые отцы, — продолжал Витторини. — Я похож на рыбака, сидящего на берегу. Когда он видит рыбу, то кидает в воду приманку. Я все время подозревал, что энциклики нет. Но всякий раз, когда этот вопрос всплывал и обсуждался в городе, я постоянно слышал, как священники из Дублина отрицают ее существование. И я подумал: она должна быть! Ведь они не пойдут проверять, так это или нет, потому что боятся обнаружить ее. Я же, в гордыне своей, не буду исследовать этот вопрос, поскольку боюсь, что ее нет. Так что в чем, собственно, разница между римской гордыней и гордыней Корка?.. Я намерен отступить и буду хранить молчание целую неделю. Пастор, прошу наложить епитимью.

— Хорошо, отец, хорошо. — Пастор Шелдон встал. — А теперь и я хочу сделать заявление. В следующем месяце

сюда приезжает новый священник. Я долго размышлял над этим. Он итальянец, родился и вырос в Монреале.

Витторини прищурил один глаз и попытался представить себе прибывающего.

— Церковь — это полнота всех вещей для всех людей, — продолжал пастор, — и меня очень занимает мысль, каким может быть человек с горячей кровью, выросший в холодном климате, как наш новый итальянец. Впрочем, этот случай так же интересен, как и мой собственный: холодная кровь, воспитанная в Калифорнии. Нам тут не помешал бы еще один итальянец, чтобы растормошить здешнюю публику; и этот латинянин, похоже, из таких, кто может встряхнуть даже отца Витторини. Ну а теперь кто-нибудь хочет предложить тост?

— Пастор, разрешите мне, — снова встал отец Витторини. Он добродушно улыбался и переводил сверкающий взгляд по очереди на всех присутствующих. — Не Блейк ли говорил где-то о механизмах радости? Другими словами, разве не Господь создал окружающую среду, затем ограничил Силы Природы, дав возможность развиться плоти, возникнуть мужчинам и женщинам — крохотным куколкам, каковыми мы все являемся? И затем в неизреченной всеблагости и премудрости своей послал нас вперед к мирным и прекрасным пределам. Так разве мы не Господни механизмы радости?

— Если Блейк такое говорил, — сказал отец Брайан, — то я забираю свои слова назад. Он никогда не жил в Дублине!

Все рассмеялись.

Витторини пил «Айриш Мосс» и был, соответственно, весьма немногословен. Остальные пили итальянское вино и преисполнялись добродушия, а отец Брайан в приступе сердечности воскликнул:

— Витторини, а почему бы вам не включить, хоть это и не по-божески, этого демона?

— Девятый канал?

— Именно девятый!

И пока Витторини крутил ручки, отец Брайан, задумчиво глядя поверх своего стакана, спрашивал:

— Неужели Блейк действительно говорил такое?

— Важно то, святой отец, — отвечал ему Витторини, склонившись к призракам, мелькавшим на экране, — что он вполне мог так сказать, если бы жил сегодня. А это я сочинил сам сегодня ночью.

Все посмотрели на итальянца чуть ли не с благоговением. Тут телевизор кашлянул, и изображение стало четким; на экране где-то вдалеке возникла ракета, готовая к старту.

— Механизмы радости, — сказал отец Брайан. — А вот этот, который вы сейчас настраиваете? И тот, другой, вон там — ракета на стартовой площадке?

— Они вполне могут ими стать сегодня ночью, — прошептал Витторини, — если эта штука вместе с человеком, который в ней сидит, поднимется, и человек останется жив, и облетит всю планету, а мы — вместе с ним, хотя мы просто смотрим телевизор. Это действительно будет огромной радостью.

Ракету готовили к взлету, и отец Брайан на миг закрыл глаза.

«Прости мне, Иисус, — думал он, — прости старику его гордыню, и прости Витторини его язвительность, и помоги мне постигнуть то, что я вижу сегодня вечером, и дай мне бодрствовать в веселии духа, если понадобится, до рассвета, и пусть эта штуковина благополучно поднимется и спустится, и не оставь помыслами Своими раба Своего в той штуковине, спаси его, Господи, и сохрани. И помоги мне, Господи, тогда, когда придет лето, ибо неизбежно, что вечером Четвертого июля Витторини с детишками со всего квартала на нашей лужайке станут запускать ракеты. Все они будут смотреть в небо, словно настал Судный день, и тогда помоги мне, Всемогущий, быть таким, как те дети,

пред великим концом времени и той пустотой, где Ты пребываешь вовеки. И помоги мне, Боже, в вечер праздника Независимости выйти, и запустить свою ракету, и стоять рядом с отцом-латинянином с выражением детского восторга от сверкающего великолепия».

Он открыл глаза.

Ветер времени доносил с далекого мыса Канаверал голоса. Очертания странных призраков неясно вырисовывались на экране.

Отец Брайан доливал остатки вина, когда кто-то осторожно тронул его за локоть.

— Отец, — сказал Витторини, приблизив губы к его уху, — пристегните ремень.

— Непременно. Непременно. И — большое спасибо.

Он откинулся в кресле. Закрыв глаза. Он ждал, когда вспыхнет пламя и раздастся гром. Он ждал толчка и голоса, который научит его дурацкой, странной, нелепой и чудесной вещи: обратному счету, все время задом наперед... до нуля.

ТОТ, КТО ЖДЕТ

Я живу в колодце. Я живу, как дым в колодце. Как пар в каменной глотке. Я не двигаюсь. Я ничего не делаю, только жду. Над головой я вижу холодные ночные и утренние звезды, и еще я вижу солнце. И иногда я пою старые песни этого мира тех времен, когда я был молод. Как я могу сказать, что я такое, когда я и сам не знаю. Я не могу. Я просто жду. Я туман, и лунный свет, и память. Я печален и стар. Иногда я проливаюсь дождем над колодцем. Паутина вздрагивает у поверхности воды в тех местах, где дождь идет сильнее. Я жду в прохладной тишине, и однажды настанет день, когда я перестану ждать.

Сейчас утро. Я слышу сильные раскаты грома. Я чувствую запах дыма на расстоянии. Я слышу металлические удары. Я жду. Я слушаю.

Голоса. Далеко отсюда.

— Хорошо!

Это один голос. Чужой голос. Чужой голос, который я не могу знать. Я не понимаю ни слова. Я слушаю.

— Вышлите людей!

Хруст песка.

— Марс! Вот что это такое!

— Где флаг?

— Он здесь, сэр.

— Хорошо, хорошо.

Солнце высоко в небе, и его золотые лучи наполняют колодец, и я парю как цветочная пыльца, невидимый и распыленный в теплом воздухе.

Голоса.

— Именем Правительства Земли, я провозглашаю это Марсианской Территорией, которая будет поровну разделена между нациями — участниками.

Что они говорят? Я поворачиваюсь к солнцу, как колесо, невидимый и ленивый, золотой и неустойчивый.

— Что там такое?

— Колодец.

— Не может быть.

— Да.

Приближение тепла. Три фигуры склоняются над колодезной пастью, и моя прохлада поднимается к ним.

— Великолепно.

— Думаешь, там хорошая вода?

— Увидим.

— Пусть кто-нибудь принесет бутылку для лабораторного теста и веревку.

— Я принесу.

Звук бега. Возвращение.

— Держите.

Я жду.

— Спускай ее вниз. Потихоньку.

Стакан сверкает, там наверху, спускаясь на тонкой бечевке.

По воде идет мелкая рябь в том месте, где стекло касается воды, и стакан наполняется. Я поднимаюсь вместе с теплым воздухом к верху колодца.

— Ну вот и все. Ты хочешь попробовать эту воду. Устроим проверку, Реджент?

— Да, давай сделаем это.

— Какой красивый колодец. Посмотри на конструкцию. Как думаешь, сколько ему лет?

— Только Господь знает. Когда мы сели в том городе вчера, Смит сказал, что на Марсе не было жизни 10 000 лет.

— Сложно представить.

— Ну и как она, Реджент? Вода?

— Чистая как серебро. Попробуй.

Звук льющейся воды в жарком солнечном свете. Теперь я парю на ветру как пыль, как корица.

— В чем дело, Джонс?

— Я не знаю. Ужасно разболелась голова. Совсем внезапно.

— Ты еще не выпил воды?

— Нет, не успел. Это не из-за нее. Я просто заглянул в колодец, и внезапно голова как будто расколосась от боли. Сейчас уже лучше.

Теперь я знаю, кто я.

Меня зовут Стивен Леонард Джонс и мне двадцать пять лет, и я только что прилетел на ракете с планеты, которая называется Земля, и я стою со своими хорошими друзьями Реджентом и Шоу около старого колодца на Марсе.

Я посмотрел на свои золотые пальцы, загорелые и сильные. Посмотрел на свои длинные ноги, и на серебристую форму, и на своих друзей.

— Что случилось, Джонс? — спросили они.

— Ничего. — ответил я, глядя на них. — Совершенно ничего.

Еда хороша. В последний раз еда была десять тысяч лет назад. Она приятно касается языка, а вино, которое подают вместе с едой, согревает. Я слушаю звук голосов. Я произношу слова, которые не понимаю, но все же каким-то образом понимаю. Я пробую воздух.

— В чем дело, Джонс?

Я наклоняю голову и даю отдых рукам, в которых серебряные приборы. Я чувствую все.

— Что ты имеешь в виду? — произносит этот голос, это мое новое приобретение.

— Ты как-то забавно дышишь. Как будто кашляешь. — говорит другой человек.

Я четко произношу слова.

— Возможно, небольшая простуда.

— Сходи к доктору попозже.

Я киваю, и это приятное ощущение. Приятно делать некоторые вещи спустя десять тысяч лет. Приятно вдыхать воздух и чувствовать солнце, которое проникает вглубь тела, приятно чувствовать структуру костей, скелет, спрятанный внутри плоти, и слышать звуки чище и быстрее, чем доносящиеся через каменную глубину колодца. Я сидел, полностью очарованный.

— Очнись, Джонс. Займись делом. Нам пора двигаться дальше.

— Да, — ответил я, загипнотизированный тем, как слова возникают на кончике языка и с неторопливой красотой падают в воздух.

Я пошел, и идти было приятно. Я выпрямился, и до земли осталось огромное расстояние, когда я посмотрел на него своими глазами на свой собственной голове. Как будто живешь на утесе и абсолютно счастлив от этого.

Реджент остановился у каменного колодца и заглянул внутрь. Другие, переговариваясь, ушли к серебристому кораблю, на котором они прибыли.

Я чувствовал пальцы на руке и улыбку на своем лице.

— Там глубоко, — сказал я.

— Да.

— Он называется «Колодец души».

Реджент поднял голову и посмотрел на меня.

— Откуда ты это знаешь?

— А разве он не похож?

— Я никогда не слышал о «Колодце души».

— Место, где кто-то ждет, кто-то, некогда состоявший из плоти и крови. — сказал я, дотрагиваясь до его руки.

Песок обжигал, а корабль горел серебряным пламенем в жарком мареве этого дня, этот жар был приятен. Звук мо-

их шагов по песочному насту. Я слушаю. Звук ветра и солнца, сжигающего долины. Я вдыхал запах ракеты, кипящей в полуденном зное. Я остановился за трапом.

— Где Реджент? — спросил кто-то.

— Я видел его около колодца, — ответил я.

Один из них побежал к колодцу. Я начал дрожать. Меня трясло, дрожь шла глубоко изнутри, и становилась все сильнее. И я услышал это в первый раз, как будто оно тоже было спрятано в колодце. Голос глубоко внутри меня, слабый и испуганный. И этот голос кричал. Выпусти меня, выпусти меня, и было ощущение, как будто кто-то пытается освободиться, открывает запутанные двери, спускается вниз по темным коридорам и поднимается вверх по проходам, крича и плача.

— Реджент в колодце!

Парни бегут, все пятеро. Я бегу с ними, но теперь я болен, дрожь становится просто невыносимой.

— Он, должно быть, упал. Джонс, вы были вместе с ним. Вы видели? Ну же, говори, парень.

— Что случилось, Джонс?

Я падаю на колени, так сильно меня трясет.

— Он болен. Скорее, помогите мне.

— Солнце.

— Нет, это не солнце, — пробормотал я.

Они помогли мне вытянуться, и припадки приходят и уходят, как землетрясение, и глубоко спрятанный во мне голос продолжает кричать. Это Джонс, это я, это не он, это не он, не верьте ему, выпустите меня, выпустите меня. И я смотрю вверх, и делаю знаки, и мои веки дрожат. Они трогают мои запястья.

— Сердце останавливается.

Я закрываю глаза. Крики закончились. Дрожь прекращается.

Я поднимаюсь, как в прохладном колодце, с облегчением.

— Он мертв, — говорит кто-то.

— Джонс мертв.

— Из-за чего?

— Шок, похоже на то.

— Что за шок? — говорю я, и теперь меня зовут Сешенс, мои губы уверенно двигаются, и я капитан этих людей. Я стою среди них, и смотрю вниз на тело, которое остывает в песках. Я хлопаю обоими руками по голове.

— Капитан!

— Ничего, — говорю я, — Просто головная боль. Со мной все будет в порядке. Там. Там. — шепчу я, — Теперь все в порядке.

— Нам лучше уйти с солнца, сэр.

— Да, — говорю я, глядя вниз на Джонса. — Нам не нужно было приходить. Марс не хочет нас.

Мы несем тело с собой к ракете, и новый голос внутри меня просит выпустить его.

На помощь, на помощь. Далеко внизу, во влажных глубинах тела. Помогите, помогите. В красных недрах, отражается эхом и умоляет.

Дрожь на этот раз начинается намного раньше. Труднее удерживать контроль.

— Капитан, вы бы ушли с солнца, вы плохо выглядите, сэр.

— Да, — говорю я. — На помощь, — говорю я.

— Что, сэр?

— Я ничего не говорил.

— Вы сказали: «На помощь», сэр.

— Разве, Мэтьюз, разве?

Тело лежало в тени ракеты, и голос кричал в глубоких лабиринтах костей и ярко-алого прилива крови. Мои руки резко дернулись. Рот открылся и пересох. Зрачки расширились. Глаза округлились. На помощь, на помощь, господа, помогите, не надо, не надо, отпусти меня, не надо, не надо.

— Не надо, — сказал я.

— Что, сэр?

— Ничего. — ответил я. — Мне нужно было освободиться. — сказал я. Я зажал рукой рот.

— Как же это, сэр? — крикнул Мэтьюз.

— Быстро внутрь, вы все, возвращайтесь на Землю. — крикнул я.

В моей руке был пистолет. Я поднял его.

— Не надо, сэр.

Взрыв. Тени бегут. Крик оборвался. Остался свистящий звук падения сквозь пространство.

Спустя десять тысяч лет так хорошо умереть. Так приятно ощутить внезапную прохладу, расслабленность. Так приятно ощутить себя рукой без перчатки, которая распрямляется и сохраняет прохладу в жарком песке. Да, еще покой и очарование приближающейся ослепляющей смерти. Но ничто не может продолжаться вечно.

Щелчок, треск.

— Великий Боже, он убил себя. — я кричу и открываю глаза, и вижу капитана, лежащего напротив ракеты, его голова разнесена пулей, глаза открыты, а язык застрял между белоснежных зубов. Из головы льется кровь. Я склоняюсь к нему, чтобы коснуться.

— Глупец, — говорю я, — Зачем он это сделал?

Парни в ужасе. Они стоят над двумя мертвецами и поворачивают головы, чтобы увидеть марсианские пески и далекий колодец, где Реджент плавает на глубине. Хрипы вырываются из их пересохших губ, это вой, детский протест против этой ужасной картины.

Они поворачиваются ко мне.

Спустя какое-то время один из них говорит.

— Теперь ты капитан, Мэтьюз.

— Я знаю, — медленно говорю я.

— Нас осталось только шестеро.

— Боже, это произошло так быстро.

— Я не хочу здесь оставаться, давайте выбираться отсюда.

Парни запротестовали. Я подошел к ним, и дотронулся до одного из них с уверенностью, которая пела во мне.

— Послушайте, — говорил я, дотрагиваясь до их локтей, рук, запястий.

Все внезапно замолчали.

Все стали единым целым.

Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Внутренние голоса кричали, глубоко внутри, загнанные в тюрьму за внешней оболочкой.

Мы смотрели друг на друга. Мы это Самуэль Мэтьюз, и Рэймонд Мозес, и Уильям Сполдинг, и Чарльз Эванс, и Форрест Коул, и Джон Саммерс, и мы ничего не говорили друг другу, но только смотрели поверх голов, на белые лица и трясущиеся руки.

Мы повернулись как один по команде и устались на колодец.

— Сейчас, — сказали мы.

— Нет, нет, — кричали шесть голосов, спрятанные под многими слоями, погребенные навсегда.

Наши следы отпечатались на песке как будто огромная рука с двенадцатью пальцами двигалась по дну жаркого моря.

Мы склонились над колодцем, глядя вниз. Из прохладной глубины на нас уставились шесть лиц.

Мы склонялись один за другим, пока наша гармония не пропала, и один за другим падали в пасть колодца, а затем через прохладную темноту в холодную воду.

Солнце село. Звезды начали кружить по ночному небу. Где-то далеко виден всполох света. Приближается другая ракета, оставляя красные следы в пространстве.

Я живу в колодце. Я живу, как дым из колодца. Как пар в каменной глотке. Над головой я вижу холодные ночные и утренние звезды, и еще я вижу солнце. И иногда я пою старые песни моего мира из тех времен, когда я был молод. Как я могу сказать, что я такое, если я и сам не знаю. Не могу. Я просто жду.

TYRANNOSAURUS REX

Он открыл дверь в темноту просмотрового зальчика.

Раздалось резкое, как оплеуха: «Закройте дверь!» Он скользнул внутрь и выполнил приказ. Оказавшись в непроглядной тьме, тихонько выругался. Тот же тонкий голос с сарказмом произнес:

— Боже! Вы Тервиллиджер?

— Да, — отозвался Тервиллиджер.

В более светлом пятне справа угадывался экран. Слева неистово прыгал огонек сигареты в невидимых губах.

— Вы опоздали на пять минут!

«Велика беда, — подумал Тервиллиджер, — не на пять же лет!»

— Отнесите пленку в проекционную. И пошевеливайтесь!

Тервиллиджер прищурился, привыкая к густому сумраку зала.

В темноте он различил в креслах пять шумно дышащих и беспокойно ерзающих фигур, исполненных чиновничьего ража. В центре зала с каменной неподвижностью сидел особняком и покуривал подросток.

«Нет, — сообразил Тервиллиджер, — это не подросток. Это Джо Клеренс. Тот самый. Клеренс Великий».

Теперь маленький, как у куклы, ротик выдохнул облачко дыма.

— Ну?

Тервиллиджер суетливо кинулся в сторону проекционной, сунул ролик в руки механику; тот скорчил рожу в сторону боссов, подмигнул Тервиллиджеру и скрылся в своей будке.

Вскоре раздался зуммер.

— Боже! — вспыхнул гнусавый голосок. — Да запускайте же!

Тервиллиджер пошарил рукой в поисках кресла, обо что-то ударился, шагнул назад и остался стоять.

С экрана полилась музыка. Под звуки барабанного боя пошли титры его демонстрационного фильма:

TYRANNOSAURUS REX:

ГРОЗА ДОИСТОРИЧЕСКИХ ВРЕМЕН

Снято автоматической камерой для замедленной съемки.

Куклы и анимация Джона Тервиллиджера. Исследование жизни на Земле за миллиард лет до нашей эры.

Коротышка в центре зала с иронией тихонько похлопал детскими ручками.

Тервиллиджер закрыл глаза. Смена музыкальной темы заставила его посмотреть на экран. Титры заканчивались на фоне ядовитого ливня в доисторических джунглях, полускрытых за пеленой дождя. Камера наплывом пошла сквозь тропический лес к подернутому утренним туманом морскому берегу, по пути встречая на земле и в воздухе бегущих и летящих чудовищ. Покрытые массивными треугольными костными шипами, что были разбросаны по коже цвета зеленой плесени, рассекали ветер птеродактили, сверкая алмазами глаз и показывая частокोल огромных зубов. Эти смертоносные летучие змеи пикировали на свои не менее страшного вида жертвы, а затем стремительно взмывали ввысь с добычей, которая визжала и извивалась в их пасти.

Тервиллиджер зачарованно следил за происходящим на экране.

У самой земли пышная растительность кишела рептилиями. Ящеры самых разных размеров, закованные в панцирь, месили лапами жирную грязь. Воссозданные воображением Тервиллиджера, они олицетворяли для него злодейство во плоти, от которого бросается врассыпную все живое.

Бронтозавры, стегозавры, трицератопсы... Легко сказать, но трудно представить себе эти многотонные машины.

Исполинские динозавры передвигались как гигантские уродливые танки, сеющие ужас и гибель. Мшистая почва ушелый сотрясалась под ними. Тысячи цветов гибли под очередным шагом чугунной лапы. Ноздри уродливых рыл вбирали туман, и джунгли оглашал рык такой силы, что небо раскалывалось пополам.

«Мои красавчики, — думал Тервиллиджер, — мои лапочки! Крошки ненаглядные!»

Сколько трудов они ему стоили — создания из разных видов резины, с крохотными подвижными стальными суставами. Придуманные в бессонные ночи, воплощенные сперва в глине, а затем сформованные из пенорезины или из губчатой резины, они двигались только благодаря его рукам. И большинство было не крупнее кулака. Остальные — не больше той головы, в которой они зародились.

— Господи! — восхищенно ахнул кто-то в темноте.

А ведь когда-то это было снято кадр за кадром, и он, Тервиллиджер, создавал стремительное движение своих фантастических образов из неподвижных картинок. Самую малость изменив позы и положение зверушек, он делал снимок. Потом опять продвигал их на волосок — и фотографировал. Этот кропотливый труд продолжался часы, дни, месяцы. И вот теперь восемьсот футов отснятого материала — а именно таков был скромный результат — будут просмотрены за считанные минуты.

«Смотри-ка, они живут, они двигаются», — радовался Тервиллиджер. Он никак не мог привыкнуть, что на экране его создания совсем как живые!

Кусочки пористой резины и латекса, глина, стальные детальки, стеклянные глаза, каменные клыки — и все это вдруг превращается в хищное зверье, терроризирующее континенты, царящее в джунглях задолго до появления человека, миллиард лет назад! Эти чудища дышат. Эти чудища сотрясают воздух своими громовыми голосами. Какое сверхъестественное преобразование!

«Пусть это и нескромно, — думал Тервиллиджер, — но вот он — мой райский сад, и вот они — мои гады земные, о коих могу сказать в конце Шестого дня, что они хороши, и назавтра, в день Седьмой, почтить от дел своих».

— Господи! — повторил в темноте тот же восхищенный голос.

Тервиллиджер, войдя в роль Творца, чуть было не отозвался: «Да, я слушаю».

— Замечательный материал, мистер Клеренс, — продолжил дружественный голос.

— Возможно-возможно, — отозвался гнусавый мальчишечий голосок.

— Мультипликация высшего класса.

— Видал я и получше, — сказал Клеренс Великий.

Тервиллиджер так и обмер. Кровавая бойня в джунглях из папье-маше продолжалась, но он теперь отвернулся от экрана, чтобы посмотреть на зрителей. Впервые он мог толком разглядеть своих предполагаемых работодателей.

— Восхитительный материал!

Похвала исходила от пожилого человека, сидевшего в дальнем конце небольшого зала. Его голова была запрокинута, и он наблюдал за доисторической драмой с несомненным увлечением.

— Фигуры двигаются толчками. Посмотрите вон на того! — Странный мужчина с фигурой мальчика даже

привстал, показывая что-то кончиком сигареты, торчащей изо рта. — А вот еще никчемный кадр. Вы обратили внимание?

— Да, — как-то сразу сник пожилой союзник Тервиллиджера. И даже съехал пониже в своем кресле. — Я заметил.

У Тервиллиджера кровь застучала в висках.

— Толчками двигаются, — повторил Джо Клеренс.

Белый экран, мелькнули цифры — и все. Музыка закончилась, монстры пропали.

— Уф, слава богу, — раздался в темноте голосок Джо Клеренса. — А то время ланча уже на носу. Уолтер, давай следующий ролик! Спасибо, Тервиллиджер, вы свободны. — Молчание. — Тервиллиджер! — Опять молчание. — Кто-нибудь скажет, этот оболтус еще в зале?

— Я здесь, — отозвался Тервиллиджер. Его руки, висящие у бедер, сжались в кулаки.

— Ага, — протянул Джо Клеренс. — Знаете, неплохая работа. Однако на большие деньги не рассчитывайте. Вчера здесь перебивала дюжина ребят, и они показывали материалы не хуже вашего, а то и получше. У нас конкурс для нового фильма под названием «Доисторический монстр». Оставьте моей секретарше конверт с вашими условиями. Выход через ту же дверь, через которую вы вошли. Уолтер, что ты там копаешься? Давай следующий ролик!

Тервиллиджер двинулся к выходу, то и дело натываясь в темноте на стулья. Нащупав ручку двери, он вцепился в нее мертвой хваткой.

А за его спиной экран взорвался: землетрясение рушило здания, сыпало на головы жителей горные валуны, обрушивало и уносило мосты. Среди этого грохота ему вспомнился диалог недельной давности:

— Мы заплатим вам тысячу долларов, Тервиллиджер.

— Да вы что! Одно оборудование обойдется мне в эту сумму!

— Послушайте, мы даем вам шанс войти в кинобизнес. Или вы соглашаетесь, или увы и ах.

На экране рушились здания, а в нем самом — надежды. Он уже понял, что согласится. И возненавидит себя за это согласие.

Лишь когда на экране все дорушилось и отгрохотало, в Тервиллиджере отбурлила ярость и решение стало окончательным. Он толкнул от себя многотонную дверь и вышел в слепящий солнечный свет.

Насадим на гибкие сочленения шеи череп, натянем на него матерчатую морду, приладим на шарнирчиках нижнюю челюсть, замаскируем швы, и наш красавец готов. *Tyrannosaurus Rex*. Царь тираннозавров. Тиран доисторических джунглей.

Руки Творца, омытые светом «юпитера», нежно опустили монстра в миниатюрные джунгли, занимающие половину небольшой студии.

Сзади кто-то грубым толчком распахнул дверь.

В студию влетел крохотный Джо Клеренс — один хуже ватаги бойскаутов. Быстрым и цепким взглядом он обежал все помещение, и его лицо перекошилось.

— Черт побери! У вас еще ничего толком не готово? Мои денежки за аренду утекают зря!

— Если я закончу раньше срока, — сухо возразил Тервиллиджер, — вы мне лишних денег не заплатите. А дело пострадает.

Джо Клеренс мелкими шажками бегал от одного конца макета к другому.

— Ладно, не спешите, но поторапливайтесь. И сделайте этих ящеров действительно ужасными!

Тервиллиджер стоял на коленях у края джунглей из папье-маше, поэтому его глаза были на одном уровне с глазами босса.

— Сколько футов крови и ужаса вы желаете? — спросил он Клеренса.

Тот хищно хохотнул:

— О-о, по две тысячи футов каждого!.. А это у нас кто?

Он шустро схватил самого крупного и самого страшного динозавра и поднес его поближе к своим глазам.

— Поосторожнее!

— Что вы так паникуете? — огрызнулся Клеренс, ворочая хрупкую игрушку в своих неловких и равнодушных ручонках. — Мой динозавр — что хочу, то и делаю. В контракте огово...

— В контракте черным по белому сказано, что вы имеете право использовать моих ящеров для рекламных роликов до завершения съемок, а затем куклы остаются в моей полной собственности.

— Размечтались! — Размахивая динозавром, Клеренс фыркнул и сказал: — Не знаю, какой дурак вписал в контракт такой пункт. Когда мы подписывали его четыре дня назад...

— А мне кажется, что не четыре дня назад, а четыре года. — Тервиллиджер потер воспаленные глаза. — Я две ночи провел без сна, заканчивая этого зверюгу, чтобы мы могли приступить к съемке.

Клеренс прервал его нетерпеливым жестом:

— К чертям собачьим контракт. Плевал я на юридические штучки. Эта зверюга моя. Вы с вашим агентом доведете меня до инфаркта. То вам нужен большой гонорар, то лучшее финансирование, то более дорогое оборудование...

— Камера, что вы мне дали, суший антиквариат.

— Не говорите мне, если она сломается. У вас есть руки, чтобы починить. Когда на фильм тратится мало денег, люди лучше работают — они начинают шевелить мозгами, а не уповать на технику. Что же касается этого страшилища, — Клеренс опять потрянул динозавром в своей руке, — то это мое детище. И зря это не прописано в чертовом контракте.

— Простите, я никому не отдаю созданные мной вещи. — Тервиллиджер прямодушно стоял на своем. — Слишком много времени и души я в них вкладываю.

— Хорошо-хорошо. Мы накинем вам пятьдесят долларов, плюс забирайте после съемок эту камеру с причиндалами. Но зверюга останется мне. Ведь с этой аппаратурой вы можете открыть собственную студию и конкурировать со мной — утереть мне нос, используя мою же технику! — Клеренс хихикнул.

— Если ваша техника до той поры не развалится, — пробормотал Тервиллиджер.

— И вот еще что. — Поставив ящера на пол, Клеренс обежал его кругом, приглядываясь с разных сторон. — Мне не нравится его характер.

— Вам не нравится что? — Тервиллиджер с трудом сохранил вежливый тон.

— Вялая морда. Нужно добавить больше огня в глаза, больше... Ну, чтоб сразу было видно, что это крутой парень, что ему пальца в пасть не клади... И добавьте ему понта.

— Чего-чего?

— Ну, типа: «Кто тут на меня? Пасть порву!» Глаза покрупнее. Ноздри с выгибцем. Зубы с искрой. Язык лопатой. Да что мне вам объяснять — вы же мастер. Зверюга не моя, а ваша — вам и карты в руки.

— Моя, — с готовностью согласился Тервиллиджер, поднимаясь с пола.

Теперь на уровне глаз Джо Клеренса оказалась металлическая пряжка его ремня. Несколько секунд продюсер, словно загипнотизированный, тарашился на блестящую железку.

— Черт бы побрал этих чертовых юристов, — наконец бормотнул он и засеменял к двери, бросив через плечо: — Трудитесь!

Дверь за ним захлопнулась, и в ту же секунду о нее шмякнулся тираннозавр.

Рука, запустившая любимым детищем в дверь, бессильно упала. Плечи Тервиллиджера поникли. Он добрал до двери, подобрал куклу и прошел к рабочему столу. Там он отвернул тираннозавру голову, стащил с черепа матерчатую маску и поставил череп на полку. Потом размял кусок глины и принялся лепить новый вариант морды.

— Побольше кругизны, — яростно бормотал Тервиллиджер, — побольше понта...

Неделей позже состоялся первый просмотр материала с участием главного героя — тираннозавра.

Когда короткий ролик закончился, Клеренс одобрительно закивал в сумраке просмотрового зала:

— Уже лучше. Но... Надо бы пострашнее. Чтобы от него кровь в жилах застывала. Пусть зрительницы в зале визжат и падают в обморок. Итак, начнем с нуля еще разок.

— Но теперь я на неделю отстаю от графика, — запротестовал Тервиллиджер. — Вы то и дело прибегаете — велите поменять то одно, то другое. И я меняю. Сегодня хвост, завтра лапы...

— Наступит день, когда мне будет не к чему придаться, — сказал Клеренс. — Но для этого надо попотеть. Итак, к рабочему столу — и разогрейте как следует свою фантазию.

В конце месяца состоялся второй просмотр.

— Уже почти то, Тервиллиджер! Вот-вот будет то! — констатировал Клеренс. — Морда близка к идеалу. Однако надо попробовать еще разок.

Тервиллиджер поплелся обратно к рабочему столу. Теперь его динозавр ругался в кадре последними словами. У того, кто умеет читать по губам, могли бы волосы встать дыбом, приди ему в голову пристально следить за ртом тираннозавра. Однако обычная публика, обманутая звуковой дорожкой, услышит только рев и рык. А в одну из бессонных ночей Тервиллиджер внес дополнительные изменения в физиономию зверя.

На следующий день в просмотровом зале Клеренс едва ли не прыгал от радости:

— В самую точку! Великолепно! Теперь я вижу перед собой настоящего монстра. Бр-р! Какая мерзость!

С сияющим выражением лица он повернулся к своему юристу, мистеру Глассу, и своему ассистенту, Мори Пулу:

— Как вам нравится моя зверушка?

Тервиллиджер, набывшийся в последнем ряду, такой же ширококостный, как и созданный им ящер, заметил, как пожилой законник передернул плечами:

— Все страшилища одинаковые.

— Ты прав, Гласс. Но это особенное страшилище, — радостно гундосил Клеренс. — Даже я готов признать, что наш Тервиллиджер — настоящий гений!

Затем все сосредоточились на экране, где в чудовищном вальсе кружил по поляне исполинский ящер, кося своим острым как бритва хвостом траву и вытаптывая цветы. В какой-то момент зверь успокоился и, показанный крупным планом, задумчиво уставился в туман, грызя окровавленный кусок ящера помельче.

— Этот монстр мне кого-то напоминает, — заметил мистер Гласс, напряженно шурясь на экран.

— Кого-то напоминает? — весь напрягся Тервиллиджер.

— У зверюги такое выражение... — задумчиво сказал мистер Гласс. — Где-то я подобное видел.

— Быть может, в Музее естественной истории?

— Нет-нет.

— Гласс, — хохотнул Клеренс, — вы наверняка читали книжки с картинками про динозавров. Вот и застряло в памяти.

— Странно... — Не смущенный репликой шефа, Гласс спетушил голову набок и прикрыл один глаз. — Я, как детектив, никогда лица не забываю. И с этим тираннозавром я где-то определенно встречался.

— Да плевать! — гаркнул Клеренс. — Зверь получился на славу. Всем монстрам монстр. А все потому, что я постоянно стоял у Тервиллиджера над душой и помогал советами. Идемте, Мори.

Когда за продюсером закрылась дверь, мистер Гласс пристально посмотрел на Тервиллиджера. Не сводя с него глаз, он крикнул в будку механика:

— Уолт! Уолтер! Пожалуйста, крутани пленку еще раз.

— Как скажете.

Во время нового просмотра Тервиллиджер беспокойно ерзал в кресле. Он чувствовал сгущающуюся в зале тревогу. Ужасы в доисторических лесах казались ему детской игрой по сравнению с опасностями, которые поджидают его в стенах этой студии.

— Да-да, совершенно точно, — рассуждал вслух мистер Гласс, — я точно помню его, прямо перед глазами стоит... Но кто?

Гигантский хищник развернулся в сторону камеры и, словно собираясь ответить на вопрос юриста, глянул сквозь миллиард лет на двух людишек, прячущихся в темной комнате. Тираннозавр открыл пасть, будто хотел представиться, но вместо этого сотряс джунгли бессмысленным ревом.

Когда через десять недель черновой вариант фильма был готов, Клеренс собрал в просмотровом зале человек тридцать — управленцы, техперсонал и несколько друзей продюсера.

Примерно на пятнадцатой минуте фильма по залу вдруг прокатилось что-то вроде общего удивленного вздоха.

Клеренс озадаченно завертел головой.

Сидящий рядом с ним мистер Гласс вдруг выпрямился и окаменел.

Тервиллиджер с самого начала просмотра нутром почувствовал опасность, встал, прокрался к выходу и остался там,

почти распластавшись по стене. Он понятия не имел, чего именно он боится. Просто напряженные нервы подсказывали, что лучше быть поближе к двери.

Вскоре зрители снова хором ахнули.

А кто-то, вопреки кровавым ужасам на экране, вдруг хихикнул. Какая-то секретарша. Затем воцарилась гробовая тишина.

Потому что Джо Клеренс вскочил на ноги.

Маленькая фигурка пробежала к экрану и рассекла его надвое своей тенью. На протяжении нескольких мгновений два существа мельтешили в темноте — тираннозавр на экране грузно метался, разрывая зубами птеранодона, а рядом Клеренс размахивал руками и топал ногами, будто хотел включиться в доисторическую схватку.

— Остановите пленку!

Тираннозавр на экране застыл.

— В чем дело? — спросил мистер Гласс.

— Это вы меня спрашиваете, в чем дело?

Клеренс подскочил вплотную к экрану и маленькой ручкой стал тыкать тираннозавру в челюсть, в глаза, в клыки, в лоб. Потом он развернулся лицом к залу и, ослепленный светом проектора, прикрыл глаза. На его щечках отражалась шкура рептилии.

— Это что такое? Я вас спрашиваю, это что такое? — провизжал он.

— Динозавр, шеф. Очень крупный.

— «Динозавр!» — передразнил Клеренс и злобно шлепнул кулаком по экрану. — Черта с два! Это я!

Одни зрители озадаченно подались вперед, другие с улыбками откинулись на спинки кресел. Двое вскочили. Один из вскочивших был мистер Гласс. Он нащупал в кармане вторые, более сильные очки, посмотрел на экран и простонал:

— Боже, так вот где я его видел!

— Что вы хотите сказать? — заверещал Клеренс.

Мистер Гласс затряс головой и закатил глаза:

— Я же говорил, что это лицо мне знакомо!

По комнате прошел ветерок.

Все взгляды устремились в сторону выхода. Дверь была открыта.

Тервиллиджера и след простыл.

Тервиллиджера нашли в его студии — он проворно собирал свои вещи в большой картонный ящик. Тираннозавр торчал у него под мышкой.

Когда толпа с Клеренсом во главе ввалилась в студию, Тервиллиджер затравленно оглянулся.

Продюсер заорал с порога:

— Чем я заслужил такое?

— Я прошу прощения, мистер Клеренс.

— Он просит прощения! Разве я вам плохо платил?

— Да не то чтобы хорошо.

— Я приглашал вас на ланчи...

— Только однажды. И счет за двоих оплатил я.

— Вы ужинали в моем доме, вы плавали в моем бассейне. И вот ваша благодарность?.. Вы уволены! Вон отсюда!

— Вы не можете уволить меня, мистер Клеренс. Последнюю неделю я работаю за так — вы забыли выдать мне чек...

— Плевать! Вы уволены в любом случае. Вы уволены решительно и окончательно. Ни одна студия в Голливуде вас не примет! Уж я об этом позабочусь! Мистер Гласс! — Клеренс обернулся в поисках юриста. — Мы завтра же возбуждаем судебный процесс против этой змеи, которую я пригред на своей груди!

— А что вы можете у меня отсудить? — возразил Тервиллиджер. Ни на кого не поднимая глаз, он сновал по студии, собирая в ящик остаток своих вещей. — Что можно у меня отнять? Деньги? Вы мне платили не так много, чтобы я что-то откладывал. Дом? Никогда не мог по-

зволить себе. Жену? Я всю жизнь работал на людей вроде вас и, стало быть, содержать жену не имел возможности. Я все свое ношу с собой. Вы меня ни с какого конца не прищучите. Если отнимете моих динозавров — ладно, я укачу в какой-нибудь городок в глуши, разживусь там банкой латекса, ведром глины и дюжиной стальных трубок и создам новых рептилий. Пленку я куплю дешевую и оптом. Моя старенькая камера всегда при мне. Времени уйдет больше, но я своего добьюсь. Руки у меня, слава богу, золотые. Так что вам меня не уесть.

— Вы уволены! — заорал Клеренс. — Не прячьте глаза! Вы уволены! Ко всем чертям уволены!

— Мистер Клеренс, — негромко вмешался мистер Гласс, выступая вперед из группы сотрудников, — позвольте мне переговорить с Тервиллиджером наедине.

— Беседуйте с ним хоть до конца света! — злобно прогнусавил Клеренс. — Какой теперь в этом прок? Вот он, стоит и в ус не дует, а под мышкой у него страшилище, как две капли воды похожее на меня. Прочь с дороги!

Клеренс пулей вылетел из студии. За ним вышла и свита.

Мистер Гласс прикрыл дверь и прошел через комнату к окну. Выглянув в окно, какое-то время смотрел на чистое, без единого облачка, небо.

— Дождь сейчас был бы очень кстати, — сказал он. — Одного я терпеть не могу в Калифорнии: здесь не бывает хорошего дождя, со свистопляской. А сейчас бы и просто капля с неба не помешала.

Он замолчал. Тервиллиджер замедлил свои лихорадочные сборы. Мистер Гласс опустился в кресло у стола, достал блокнот и карандаш и заговорил — негромко и с грустью в голосе, как будто говорил сам с собой:

— Итак, посмотрим, что мы имеем. Использовано шесть роликов пленки высшего качества, сделана половина фильма и три тысячи долларов пошли коту под хвост.

Рабочая группа картины без работы — зубы на полку. Акционеры топают ногами и требуют компенсации. Банк по головке не погладит. Очередь людей сыграть в русскую рулетку. — Он поднял глаза на Тервиллиджера, который защелкивал замки своего портфеля. — Зачем вы это сотворили, господин Творец?

Тервиллиджер потупил глаза на свои провинившиеся руки:

— Клянусь вам, я сам не ведал, что творю. Работали только пальцы. Это детище подсознания. Я не нарочно — руки работали сами по себе.

— Лучше бы ваши руки пришли в мой офис и сразу задушили меня, — сказал мистер Гласс. — Хотя бы не мучился! Я боялся умереть в автокатастрофе. Но никогда не предполагал, что погибну под пятой резинового монстра. Ребята из съемочной группы теперь как спелые помидоры на дороге у слона.

— Мне и без того тошно, — сказал Тервиллиджер. — Не втирайте соль в рану.

— А чего вы от меня ждете? Чтоб я пригласил вас развеяться в танцевальный зал?

— Он получил по заслугам! — вскричал Тервиллиджер. — Он меня доставал. «Сделай так. Сделай сяк. Исправь тут. Выверни наизнанку здесь!..» А мне только и оставалось — молча исходить желчью. Я был на пределе ярости двадцать четыре часа в сутки. И бессознательно стал вносить вполне определенные изменения в рожу динозавра. Но еще за секунду до того, как мистер Клеренс начал бесноваться, мне и в голову не приходило, что именно я создал. Разумеется, я виноват и целиком несу груз ответственности.

— Не целиком, — возразил мистер Гласс. — У нас ведь тоже глаза не на затылке. Мы обязаны были заметить. А может, заметили, но признаться себе не посмели. Возможно, по ночам во сне мы довольно хохотали, а утром ничего не

помнили. Ладно, подведем итоги. Мистер Клеренс вложил немалые деньги и не хотел бы их потерять. Вы вложили талант и не хотели бы пустить по ветру свое будущее. В данный момент мистер Клеренс расцеловал бы любого, кто докажет ему, что случившееся просто страшный сон. Его ярость на девяносто процентов вызвана тем, что фильм из-за досадной глупости не выйдет на экраны и тогда плакали его денежки. Если вы уделите несколько минут своего драгоценного времени на то, чтобы убедить мистера Клеренса в том, что я вам сейчас изложу, съемочной группе завтра не нужно будет листать «Варьете» и «Голливудский репортер» в поисках работы. Не будет вдов и сирот, и все уладится наилучшим образом. Вам нужно сказать ему...

— Сказать мне что?

Это произнес знакомый тоненький голос. Клеренс стоял в дверях — все еще багровый от бешенства.

— То же, что он минуту назад говорил мне, — хладнокровно отозвался мистер Гласс. — Весьма трогательная история.

— Я весь внимание! — пролаял Клеренс.

— Мистер Клеренс, — начал бывалый юрист, взвешивая каждое слово, — своим фильмом мистер Тервиллиджер хотел выразить свое восхищение вами. Воздать вам должное.

— Что-что? — возопил Клеренс.

Похоже, от удивления челюсти отвисли разом у обоих — и у Клеренса, и у Тервиллиджера.

Старый законник, все так же глядя на стену перед собой, скромно осведомился:

— Следует ли мне продолжать, Тервиллиджер?

Мультипликатор проглотил удивление и сказал:

— Да, если вам угодно.

— Так вот, — мистер Гласс встал и величаво указал в сторону просмотрового зала, — увиденный вами фильм сделан с чувством глубочайшего уважения и дружеского располо-

жения к вам, мистер Клеренс. Вы денно и ночью трудитесь на ниве кинематографа, оставаясь невидимым героем киноиндустрии. Неведомый широкой публике, вы трудитесь как пчелка, а кому достаются лавры? Режиссерам. Звездам. Как часто какой-нибудь простой человек из глубинки говорит своей женушке: «Милая, я тут вечером думал о Джо Клеренсе — великий продюсер, не правда ли?» Как часто? Да никогда, если смотреть правде в глаза. Тервиллиджер этот факт осознал. И его мозг включился в работу. «Как познакомить мир с таким явлением, как подлинный Джо Клеренс?» — вот какой вопрос задавал себе снова и снова наш друг. И вот его взгляд упал на динозавра, стоявшего на рабочем столе. Хлоп! И на Тервиллиджера снизошло! «Вот оно, — подумал он, — вот передо мной олицетворенный ужас мира, вот существо одинокое, гордое, могучее, с хитрым умом хищника, символ независимости и знамя демократии — благодаря доведенному до предела индивидуализму». Словом, гром и молния, одетые в панцирь. Тираннозавр — тот же Джо Клеренс. Джо Клеренс — тот же тираннозавр. Деспот доисторических лесов — и великий голливудский магнат. Какая восхитительная параллель!

Мистер Гласс опустил на стул. Он даже не запыхался после столь вдохновенной и долгой речи.

Тервиллиджер помалкивал.

Клеренс молча прогулялся по комнате, медленно обошел по кругу мистера Гласса. Прежде багровое лицо продюсера было теперь скорее бледным. Наконец Клеренс остановился напротив Тервиллиджера.

Его глазки беспокойно бегали по долговязой фигуре режиссера.

— Так вы это рассказали Глассу? — спросил он слабым голосом.

Кадык на шее Тервиллиджера прогулялся вверх-вниз.

— У него хватило духу только со мной поделиться, — объяснил мистер Гласс. — Застенчивый парень. Все его бе-

ды от застенчивости. Вы же сами видели — он такой неразговорчивый, такой безответный. Ни разу не огрызнется, все держит в себе. А в глубине души любит людей, только сказать стесняется. У замкнутого художника один способ выразить свою любовь — увековечить в образе. Тут он владыка!

— Увековечить? — недоверчиво переспросил Клеренс.

— Вот именно! — воскликнул старик юрист. — Этот тираннозавр все равно что статуя на площади. Только ваш памятник передвижной — бегаёт по экрану. Пройдут годы, а люди все еще будут говорить друг другу: «Помните фильм «Монстр эпохи плейстоцена»? Там был потрясающий монстр, настоящий зверь, к тому же недюжинный характер, любопытная индивидуальность, горячая и независимая натура. За всю историю Голливуда никто не создал лучшего чудовища. А все почему? Потому что при создании чудища один гениальный режиссер имел достаточно ума и воображения опереться на черты характера реального человека — крутого и сметливого бизнесмена, великого магната киноиндустрии». Вот как будут говорить люди. Мистер Клеренс, вы входите в историю. В фильмотеках будут спрашивать фильм про вас. Клуб любителей кино — приглашать на встречи со зрителями. Какая бешеная удача! Увы, с Иммануилом Глассом, заурядным юристом, подобной феерии произойти не может. Короче говоря, на протяжении следующих двухсот или даже пятисот лет ежедневно где-нибудь да будет идти фильм, в котором главная звезда — вы, Джо Клеренс.

— Еже... ежедневно? — мечтательно произнес Клеренс. — На протяжении следующих...

— Восьмисот лет. А почему бы и нет!

— Никогда не смотрел на это с такой точки зрения.

— Ну так посмотрите!

Клеренс подошел к окну, какое-то время молча таращился на голливудские холмы, затем энергично кивнул.

— Ах, Тервиллиджер, Тервиллиджер! — сказал он. — Неужели вы и впрямь до такой степени любите меня?

— Трудно словами выразить, — выдавил из себя Тервиллиджер.

— Я полагаю, мы просто обязаны доснять этот потрясающий фильм, — сказал мистер Гласс. — Ведь звездой этой картины является тиран джунглей, сотрясающий своим движением землю и обращающий в бегство все живое. И этот безраздельный владыка, этот страх Господень — не кто иной, как мистер Джозеф Клеренс.

— М-да, м-да... Верно! — Клеренс в волнении забегал по комнате. Потом рассеянно, походкой счастливого лунатика направился к двери, остановился на пороге и обернулся. — А ведь я, признаться, всю жизнь мечтал стать актером!

С этими словами он вышел — тихий, умиротворенный.

Тервиллиджер и Гласс разом согнулись от беззвучного хохота.

— Страшилозавр! — сказал старик юрист.

А режиссер тем временем доставал из ящичка письменного стола бутылку виски.

После премьерного показа «Монстра каменного века», ближе к полуночи, мистер Гласс вернулся на студию, где предстоял большой праздник. Тервиллиджер угрюмо сидел в одиночестве возле отслужившего макета джунглей. На коленях у него лежал тираннозавр.

— Как, вы не были на премьере? — ахнул мистер Гласс.

— Духу не хватило. Провал?

— С какой стати! Публика в восторге. Критики визжат. Прекрасней монстра еще никто не видал! Уже пошли разговоры о второй серии: «Джо Клеренс опять блистает в роли тираннозавра в фильме «Возвращение монстра каменного века», — звучит! А потом можно снять третью серию — «Зверь со старого континента». И опять в роли тирана джунглей несравненный Джо Клеренс!..

Зазвонил телефон. Тервиллиджер снял трубку.

— Тервиллиджер, это Клеренс. Я буду на студии через пять минут. Мы победили! Ваш зверь великолепен! Надеюсь, уж теперь-то он мой? Я хочу сказать, к черту контракт и меркантильные расчеты. Я просто хочу иметь эту душку-игрушку на каминной полке в моем особняке!

— Мистер Клеренс, динозавр ваш.

— Боже! Это будет лучше «Оскара». До встречи!

Ошарашенный Тервиллиджер повесил трубку и доложил:

— Большой босс лопается от счастья. Хихикает как мальчишка, которому подарили первый в его жизни велосипед.

— И я, кажется, знаю причину, — кивнул мистер Гласс. — После премьеры к нему подбежала девочка и попросила автограф.

— Автограф?

— Да-да! Прямо на улице. И такая настойчивая! Сперва он отнекивался, а потом дал первый в своей жизни автограф. Слышали бы вы его довольный смешок, когда он подписывался! Кто-то узнал его на улице! «Глядите, идет тираннозавр собственной персоной!» И господин ящер с довольной ухмылкой берет в лапу ручку и выводит свою фамилию.

— Погодите, — промолвил Тервиллиджер, наливая два стакана виски, — откуда взялась такая догадливая девчушка?

— Моя племянница, — сказал мистер Гласс. — Но об этом ему лучше не знать. Ведь вы же не проболтаетесь?

Они выпили.

— Я буду нем как рыба, — заверил Тервиллиджер.

Затем, подхватив резинового тираннозавра и бутылку виски, оба направились к воротам студии — поглядеть, как во всей красе, сверкая фарами и гудя клаксонами, на вечеринку начнут съезжаться лимузины.

КАНИКУЛЫ

День был свежий — свежестью травы, что тянулась вверх, облаков, что плыли в небесах, бабочек, что опускались на траву. День был соткан из тишины, но она вовсе не была немой, ее создавали пчелы и цветы, суша и океан — все, что двигалось, порхало, трепетало, вздымалось и падало, подчиняясь своему течению времени, своему неповторимому ритму. Край был недвижим, и все двигалось. Море было неспокойно, и море молчало. Парадокс, сплошной парадокс, безмолвие срасталось с безмолвием, звук со звуком. Цветы качались, и пчелы маленькими каскадами золотого дождя падали на клевер. Волны холмов и волны океана, два рода движения, были разделены железной дорогой — пустынной, сложенной из ржавчины и стальной сердцевины дорогой, по которой, сразу видно, много лет не ходили поезда. На тридцать миль к северу она тянулась петляя, потом терялась в мглистых далях; на тридцать миль к югу пронизывала острова летучих теней, которые на глазах смещались и меняли свои очертания на склонах далеких гор.

Неожиданно рельсы задрожали.

Сидя на путях, одинокий дрозд ощутил, как рождается мерное слабое биение, словно где-то, за много миль, забилось чье-то сердце.

Черный дрозд взмыл над морем.

Рельсы продолжали тихо дрожать, и наконец из-за поворота показалась, вдоль по берегу пошла небольшая дре-

зина, в великом безмолвии зафыркали и зарокотали двухцилиндровый мотор.

На этой маленькой четырехколесной дрезине, на обращенной в две стороны двойной скамейке, защищенные от солнца небольшим тентом, сидели мужчина, его жена и семилетний сынишка. Дрезина проходила один пустынный участок за другим, ветер бил в глаза и развеивал волосы, но все трое не оборачивались и смотрели только вперед. Иногда, на выходе из поворота, глядели нетерпеливо, иногда печально и все время настороженно — что дальше?

На ровной прямой мотор вдруг закашлялся и смолк. В сокрушительной теперь тишине казалось — это покой, излучаемый морем, землей и небом, затормозил и пресек вращение колес.

— Бензин кончился.

Мужчина, вздохнув, достал из узкого багажника запасную канистру и начал переливать горючее в бак.

Его жена и сын тихо глядели на море, слушали приглушенный гром, шепот, слушали, как раздвигается могучий занавес из песка, гальки, зеленых водорослей, пены.

— Море красивое, правда? — сказала женщина.

— Мне нравится, — сказал мальчик.

— Может быть, заодно сделаем привал и поедим?

Мужчина навел бинокль на зеленый полуостров вдаль.

— Давайте. Рельсы сильно изъело ржавчиной. Впереди путь разрушен. Придется ждать, пока я исправлю.

— Сколько лопнуло рельсов, столько привалов! — сказал мальчик.

Женщина попыталась улыбнуться, потом перевела свои серьезные, пытливые глаза на мужчину:

— Сколько мы проехали сегодня?

— Неполных девяносто миль. — Мужчина все еще напряженно глядел в бинокль. — Больше, по-моему, и не стоит проходить в день. Когда гонишь, не успеваешь ничего

увидеть. Послезавтра будем в Монтеррее, на следующий день, если хочешь, в Пало-Альто.

Женщина развязала ярко-желтые ленты широкополой соломенной шляпы, сняла ее с золотистых волос и, покрытая легкой испариной, отошла от машины. Они столько ехали без остановки на трясучей дрезине, что все тело пропиталось ее ровным ходом. Теперь, когда машина остановилась, было какое-то странное чувство, словно с них сейчас снимут оковы.

— Давайте есть!

Мальчик бегом отнес корзинку с припасами на берег.

Мать и сын уже сидели перед расстеленной скатертью, когда мужчина спустился к ним; на нем был строгий костюм с жилетом, галстук и шляпа, как будто он ожидал кого-то встретить в пути. Раздавая сэндвичи и извлекая маринованные овощи из прохладных зеленых баночек, он понемногу отпускал галстук и расстегивал жилет, все время озираясь, словно готовый в любую секунду опять застегнуться на все пуговицы.

— Мы одни, папа? — спросил мальчик, не переставая жевать.

— Да.

— И больше никого, нигде?

— Больше никого.

— А прежде на свете были люди?

— Зачем ты все время спрашиваешь? Это было не так уж давно. Всего несколько месяцев. Ты и сам помнишь.

— Плохо помню. А когда нарочно стараюсь припомнить, и вовсе забываю. — Мальчик просеял между пальцами горсть песка. — Людей было столько, сколько песка тут на пляже? А что с ними случилось?

— Не знаю, — ответил мужчина, и это была правда.

В одно прекрасное утро они проснулись — и мир был пуст. Висела бельевая веревка соседей, и ветер трепал ослепительно-белые рубашки, как всегда поутру, блестели ма-

шины перед коттеджами, но не слышно ничего «до свидания», не гудели уличным движением мощные артерии города, телефоны не вздрагивали от собственного звонка, не кричали дети в чаше подсолнечника.

Лишь накануне вечером он сидел с женой на террасе, когда принесли вечернюю газету, и, даже не развертывая ее, не глядя на заголовки, сказал:

— Интересно, когда мы ему осточертеем и он всех нас выметет вон?

— Да, до чего дошло, — подхватила она. — И не оставишь. Как же мы глупы, правда?

— А замечательно было бы... — Он раскурил свою трубку. — Проснуться завтра, и во всем мире ни души, начиная все сначала!

Он сидел и курил, в руке сложенная газета, голова откинута на спинку кресла.

— Если бы можно было сейчас нажать такую кнопку, ты бы нажал?

— Наверное, да, — ответил он. — Без насилия. Просто все исчезнет с лица земли. Оставить землю, и море, и все, что растет — цветы, траву, плодовые деревья. И животные тоже пусть остаются. Все оставить, кроме человека, который охотится, когда не голоден, ест, когда сыт, жесток, хотя его никто не задевает.

— Но мы-то должны остаться. — Она тихо улыбнулась.

— Хорошо было бы. — Он задумался. — Впереди — сколько угодно времени. Самые длинные каникулы в истории. И мы с корзиной припасов, и самый долгий пикник. Только ты, я и Джим. Никаких сезонных билетов. Не нужно тянуться за Джонсами. Даже автомашины не надо. Придумать какой-нибудь другой способ путешествовать, старинный способ. Взять корзину с сэндвичами, три бутылки шипучки, дальше, как понадобится, пополнять запасы в безлюдных магазинах в безлюдных городах, и впереди нескончаемое лето...

Долго они сидели молча на террасе, их разделяла свернутая газета.

Наконец она сказала:

— А нам не будет одиноко?

Вот каким было утро нового мира. Они проснулись и услышали мягкие звуки земли, которая теперь была просто-напросто лугом, города тонули в море трав-муравы, ноготков, маргариток, вьюнков. Сперва они приняли это удивительно спокойно — должно быть, потому, что уже столько лет не любили город, и позади было столько мнимых друзей, и была замкнутая жизнь в уединении, в механизированном улье.

Муж встал с кровати, выглянул в окно и спокойно, словно речь шла о погоде, заметил:

— Все исчезли.

Он понял это по звукам, которых город больше не издавал.

Они завтракали не торопясь, потому что мальчик еще спал, потом муж выпрямился и сказал:

— Теперь мне надо придумать, что делать.

— Что делать? Как... разве ты не пойдешь на работу?

— Ты все еще не веришь, да? — Он засмеялся. — Не веришь, что я не буду каждый день выскакивать из дому в десять минут девятого, что Джиму больше никогда не надо ходить в школу. Все, занятия кончились, для всех нас кончились! Больше никаких карандашей, никаких книг и кислых взглядов босса! Нас отпустили, милая, и мы никогда не вернемся к этой дурацкой, проклятой, нудной рутине. Пошли!

И он повел ее по пустым и безмолвным улицам города.

— Они не умерли, — сказал он. — Просто... ушли.

— А другие города?

Он зашел в телефонную будку, набрал номер Чикаго, потом Нью-Йорка, потом Сан-Франциско.

Молчание. Молчание. Молчание.

— Все, — сказал он, вешая трубку.

— Я чувствую себя виноватой, — сказала она. — Их нет, а мы остались. И... я радуюсь. Почему? Ведь я должна горевать.

— Должна? Никакой трагедии нет. Их не пытали, не жгли, не мучили. Они исчезли и не почувствовали этого, не узнали. И теперь мы ни перед кем не обязаны. У нас одна обязанность — быть счастливыми. Тридцать лет счастья впереди, разве плохо?

— Но... но тогда нам нужно заводить еще детей?

— Чтобы снова населить мир? — Он медленно, спокойно покачал головой. — Нет. Пусть Джим будет последним. Когда он состарится и умрет, пусть мир принадлежит лошадям и коровам, бурундукам и паукам. Они без нас не пропадут. А потом когда-нибудь другой род, умеющий сочетать естественное счастье с естественным любопытством, построит города, совсем не такие, как наши, и будет жить дальше. А сейчас уложим корзину, разбудим Джима и начнем наши тридцатилетние каникулы. Ну, кто первым добежит до дома?

Он взял с маленькой дрезины кувалду, и, пока он полчаса один исправлял ржавые рельсы, женщина и мальчик побежали вдоль берега. Они вернулись с горстью влажных ракушек и чудесными розовыми камешками, сели, и мать стала учить сына, и он писал карандашом в блокноте домашнее задание, а в полдень к ним спустился с насыпи отец, без пиджака, без галстука, и они пили апельсиновую шипучку, глядя, как в бутылках, теснясь, рвутся вверх пузырьки. Стояла тишина. Они слушали, как солнце настраивает старые железные рельсы. Соленый ветер разносил запах горячего дегтя от шпал, и мужчина легонько постукивал пальцем по своему карманному атласу.

— Через месяц, в мае, доберемся до Сакраменто, оттуда двинемся в Сиэтл. Пробудем там до первого июля, июль хороший месяц в Вашингтоне, потом, как станет холоднее,

обратно, в Йеллоустон, несколько миль в день, здесь поохотимся, там порыбачим...

Мальчику стало скучно, он отошел к самой воде и бросал палки в море, потом сам же бегал за ними, изображая ученую собаку.

Отец продолжал:

— Зимуем в Таксоне, в самом конце зимы едем во Флориду, весной — вдоль побережья, в июне попадем, скажем, в Нью-Йорк. Через два года лето проводим в Чикаго. Через три года — как ты насчет того, чтобы провести зиму в Мехико-Сити? Куда рельсы приведут, куда угодно, и если нападём на совсем неизвестную старую ветку — превосходно, поедём по ней до конца, посмотрим, куда она ведет. Когда-нибудь, честное слово, пойдем на лодке вниз по Миссисипи, я об этом давно мечтал. На всю жизнь хватит, не маршрут — находка...

Он смолк. Он хотел уже захлопнуть атлас неловкими руками, но что-то светлое мелькнуло в воздухе и упало на бумагу. Скатилося на песок, и получился мокрый комочек.

Жена глянула на влажное пятнышко и сразу перевела взгляд на его лицо. Серьезные глаза его подозрительно блестя. И по одной щеке тянулася влажная дорожка.

Она ахнула. Взяла его руку и крепко сжала.

Он стиснул ее руку и, закрыв глаза, через силу заговорил:

— Хорошо, правда, если бы мы вечером легли спать, а ночью все каким-то образом вернулось на свои места. Все нелепости, шум и гам, ненависть, все ужасы, все кошмары, злые люди и бестолковые дети, вся эта катавасия, мелочность, суета, все надежды, чаяния и любовь. Правда, было бы хорошо?

Она подумала, потом кивнула.

И тут оба вздрогнули.

Потому что между ними (когда он пришел?), держа в руке бутылку из-под шипучки, стоял их сын.

Лицо мальчика было бледно. Свободной рукой он коснулся щеки отца, там, где оставила след слезинка.

— Ты... — сказал он и вздохнул. — Ты... Папа, тебе тоже не с кем играть.

Жена хотела что-то сказать.

Муж хотел взять руку мальчика.

Мальчик отскочил назад:

— Дураки! Дураки! Глупые дураки! Болваны вы, болваны!

Сорвался с места, сбежал к морю и, стоя у воды, залился слезами.

Мать хотела пойти за ним, но отец ее удержал:

— Не надо. Оставь его.

Тут же оба оцепенели. Потому что мальчик на берегу, не переставая плакать, что-то написал на клочке бумаги, сунул клочок в бутылку, закупорил ее железным колпачком, взял покрепче, размахнулся — и бутылка, описав крутую блестящую дугу, упала в море.

«Что, — думала женщина, — что он написал на бумажке? Что там, в бутылке?»

Бутылка плыла по волнам.

Мальчик перестал плакать.

Потом он отошел от воды и остановился около родителей, глядя на них, лицо ни просветлевшее, ни мрачное, ни живое, ни убитое, ни решительное, ни отрешенное, а какая-то причудливая смесь, словно он примирился со временем, стихиями и этими людьми. Они смотрели на него, смотрели дальше, на залив и затерявшуюся в волнах светлую искорку — бутылку, в которой лежал клочок бумаги с каракулями.

«Он написал наше желание? — думала женщина. — Написал то, о чем мы сейчас говорили, нашу мечту?»

Или написал что-то свое, пожелал для себя одного, чтобы проснуться завтра утром — и он один в безлюдном мире, больше никого: ни мужчины, ни женщины, ни отца, ни

матери, никаких глупых взрослых с их глупыми желаниями, подошел к рельсам и сам, в одиночку, повел дрезину через одичавший материк, один отправился в нескончаемое путешествие, и где захотел — там и привал.

Это или не это?

Наше или свое?..

Она долго глядела в его лишенные выражения глаза, но не прочла ответа, а спросить не решилась.

Тени чаек парили в воздухе, осеняя их лица мимолетной прохладой.

— Пора ехать, — сказал кто-то.

Они поставили корзину на платформу. Женщина покрепче привязала шляпу к волосам желтой лентой, ракушки сложили кучкой на доске, муж надел галстук, жилет, пиджак и шляпу, и все трое сели на скамейку, глядя в море, — там, далеко, у самого горизонта, поблескивала бутылка с запиской.

— Если попросить — исполнится? — спросил мальчик. — Если загадать — сбудется?

— Иногда сбывается... даже чересчур.

— Смотря чего ты просишь.

Мальчик кивнул, мысли его были далеко. Они посмотрели назад, откуда приехали, потом вперед, куда предстояло ехать.

— До свиданья, берег, — сказал мальчик и помахал рукой.

Дрезина покатила по ржавым рельсам. Ее гул затих и пропал. Вместе с ней вдали, среди холмов, пропали женщина, мужчина, мальчик.

Когда они скрылись, рельсы минуты две тихонько дребезжали, потом смолкли. Упала ржавая чешуйка. Кивнул цветок.

Море сильно шумело.

БАРАБАНЩИК ИЗ ШАЙЛОУ

Не раз и не два в эту апрельскую ночь с цветущих плодовых деревьев падали лепестки и, шелестя, ложились на перепонку барабана. В полночь чудом провисевшая всю зиму на ветке персиковая косточка, задетая легким крылом птицы, упала стремительно, незримо вниз, ударила о барабан, и родилась волна испуга, от которой мальчик вскочил на ноги. Безмолвно он слушал, как сердце выбивает дробь в его ушах, потом стихает, удаляясь, возвращаясь на свое место в груди.

Он повернул барабан боком. Огромный лунный лик смотрел на него всякий раз, когда он открывал глаза.

Напряженное ли, спокойное — лицо мальчика оставалось серьезным. Серьезной для парнишки четырнадцати лет была и эта пора, и ночь среди персиковых садов у Совиного ручья, неподалеку от шайлоуской церкви.

«... тридцать один, тридцать два, тридцать три...»

Дальше не было видно, и он перестал считать.

Тридцать три знакомых силуэта, а за ними, утомленные нервным ожиданием, неловко скорчились на земле сорок тысяч человек в мундирах и никак не могли уснуть от романтических грез о грядущих битвах. В какой-нибудь миле от них точно так же лежало другое войско, ворочаясь с боку на бок, кутаясь в мысль о том, что предстоит, когда настанет час: рывок, истощный крик, слепой бросок — вот и вся их стратегия, зеленая молодость — вся броня и защи-

та. Снова и снова мальчик слышал, как рождается могучий ветер и воздух начинает трепетать. Но он знал, что это: войско здесь и там что-то шептало во тьме про себя. Кто-то говорит с товарищем, кто-то сам с собой, и вот — размеренный гул, словно неторопливый вал, вырастал то на севере, то на юге от вращения земли навстречу рассвету.

Что шепчут воины? Он мог только гадать. Наверное, вот что: «Уж я-то останусь живой, всех убьет, а меня не убьет. Я уцелею. Я вернусь домой. Будет играть оркестр. И я его услышу».

«Да, — думал мальчик, — им хорошо, они могут ответить ударом на удар!»

Ведь подле небрежно разбросанных костей молодых воинов, которыми ночь, черный косарь, связала снопы костров, вразброс лежали стальные кости — ружья. И примкнутые штыки, словно рассыпанные в садовой траве негасимые молнии.

«Не то что я, — думал мальчик. — У меня только барабан да две палочки к нему, и нет никакого щита».

Из лежащих здесь в эту ночь воинов-мальчиков у каждого был щит, который он сам, идя на первый бой, высек, склепал или выковал из горячей и стойкой преданности своей далекой семье, из окрыленного знаменами патриотизма и острой веры в собственное бессмертие, заточенной на оселке сугубо реального пороха, шомпола, литых пуль и кремня. А у барабанщика этих вещей не было, и он чувствовал, как его родные совсем исчезают где-то во мраке, словно их безвозвратно унес могучий, гудящий, огнедышащий поезд, и остался он один с этим барабаном, никчемной игрушкой в игре, что предстоит им завтра — или не завтра, но все равно слишком скоро. Мальчик повернулся на бок. Лица его коснулся мотылек — нет, персиковый лепесток. Потом его погладил лепесток — нет, мотылек. Все смешалось. Все потеряло имя. Все перестало быть тем, чем было когда-то.

Если на рассвете, когда солдаты наденут вместе с фуражками свою удаль, лежать совсем-совсем тихо, быть может, они — и война вместе с ними — уйдут, не заметив его: лежит такой маленький, сам все равно что игрушка.

— Вот так штука, это еще что такое? — произнес голос.

Мальчик поспешил зажмуриться, хотел спрятаться в самом себе, но было поздно. Кто-то, проходя мимо в ночи, остановился возле него.

— Вот так так, — тихо продолжал голос, — солдат плачет *перед* боем. Ладно. Давай. Потом будет не до того.

Голос двинулся было дальше, но мальчик с испугу задел барабан локтем. От этого звука человек опять остановился. Мальчик чувствовал его взгляд, чувствовал, как он медленно наклонился. Очевидно, из ночи вниз протянулась рука, так как барабан тихой дробью отозвался на касание ногтей, потом лицо мальчика овеяло чужое дыхание.

— Да это, кажется, наш барабанщик?

Мальчик кивнул, хоть был не уверен, виден ли его кивок.

— Сэр, это *вы*? — спросил он.

— Полагаю, что это я. — Хрустнули колени: человек наклонился еще ниже.

От него пахло так, как должно пахнуть от всех отцов, — соленым потом, золотистым табаком, конской кожей, землей, по которой он шел. У него было много глаз. Нет, не глаз, латунных пуговиц, пристально глядевших на мальчика.

Генерал — конечно, он, кто же еще.

— Как тебя звать, парень? — спросил он.

— Джоби, — прошептал мальчик, приподнимаясь, чтобы сесть.

— Ладно, Джоби, не вставай. — Рука мягко надавила на грудь мальчика, и он лег опять. — Давно ты с нами, Джоби?

— Три недели, сэр.

— Бежал из дому или записался к нам как положено?
Молчание.

— Да, дурацкий вопрос, — сказал генерал. — А бриться ты уже начал, парень? Тоже дурацкий вопрос. Вон у тебя какие щеки, будто на этом дереве зрели. Да и другие тут немногим старше тебя. Зеленые, эх, до чего вы все зеленые. Готов ты к завтрашнему или послезавтрашнему дню, Джоби?

— По-моему, да, сэр, готов.

— Ты давай поплачь еще, если хочется. Я сам прошлую ночь слезу пустил.

— *Вы, сэр?*

— Истинная правда. Как подумал обо всем, что предстоит. Обе стороны надеются, что противник первый уступит, совсем скоро уступит, неделька-другая — и войне конец, и разошлись по домам. Да только на деле-то будет не так. Потому я и плакал, наверное.

— Да, сэр, — сказал Джоби.

Генерал, должно быть, достал сигару, потому что мрак вдруг наполнился индейским запахом табака, который еще не зажгли, а только жевали, обдумывая дальнейшие слова.

— Это будет что-то несусветное, — заговорил опять генерал. — Здесь, если считать обе стороны, собралось в эту ночь тысяч сто, может быть, чуть побольше или поменьше, и ни один толком стрелять не умеет, не отличит мортирного ядра от конского яблока. Встал, грудь раскрыл, пулю схватил, поблагодарил и садись. Вот какие вояки: что мы, что они. Нам бы сейчас — кру-гом! И четыре месяца обучаться. Им бы тоже так сделать. А то вот, полюбуйте на нас — весенний пыл в крови, а нам кажется — жажда крови, нам бы серу с патокой, а мы ее — в пушки, каждый думает стать героем и жить вечно. Вон они там, так и вижу, согласно кивают, только в другую сторону. Да, парень, неправильно все это, ненормально, как если бы повернули человеку голову наоборот и шагал бы он по жизни задом наперед. Так

что быть двойному избиению, если кто-то из их егрозливых генералов вздумает попасть своих ребят на нашей травке. Из чистого ухарства будет застрелено больше безгрешных юнцов, чем когда-либо прежде. Нынче в полдень Совиный ручей был полон ребят, которые плескались в воде на солнышке. Боюсь, как бы завтра на закате ручей опять не был полон телами, которые будут плыть по воле потока.

Генерал смолк и в темноте сложил кучку из сухих листьев и прутьиков, будто собираясь сейчас подпалить их, чтобы видеть путь в грядущие дни, когда солнце, возможно, не захочет открыть свой лик, не желая смотреть на то, что будет делаться здесь и по соседству. Мальчик глядел, как рука ворошит листья, раскрыл было рот, собираясь что-то сказать, но не сказал. Генерал услышал дыхание мальчика и заговорил:

— Почему я тебе говорю все это? Ты об этом хотел спросить, да? Так вот, если у тебя табун диких лошадок, их надо каким-то способом обуздать, укротить. Эти парни, эти сосунки, — откуда им знать то, что я знаю, а как я им это скажу: что на войне непременно кто-то гибнет. Каждый из этих ребят сам себе войско. Мне же надо сделать из них одно войско. И для этого, парень, мне нужен ты.

— Я?! — дрогнули губы мальчика.

— Понимаешь, — тихо говорил генерал, — ты сердце войска. Задумайся над этим. Сердце войска. Послушай-ка.

И Джоби, лежа на земле, слушал.

А генерал продолжал говорить.

Если завтра он, Джоби, будет бить в барабан медленно, медленно будут биться и сердца воинов. Солдаты лениво побредут по обочине. Они задремлют в поле, опираясь на свои мушкеты. А потом в том же поле и вовсе уснут навек, так как юный барабанщик замедлил стук сердец, а вражеский свинец их остановил.

Если же он будет бить в барабан уверенно, твердо, все быстрее и быстрее, тогда — тогда вон через тот холм мо-

гучей волной, сплошной чередой перевалят солдатские колени! Видел он когда-нибудь океан? Видел, как волны кавалерийской лавой накатываются на песок? Вот это самое и нужно, это и требуется! Джоби — его правая и левая рука. Генерал отдает приказы, но Джоби задает скорость!

— Так давай постарайся, чтобы правое колено вверх, правая нога вперед! Левое колено вверх, левая нога вперед!левой — правой, в добром, бодром ритме. Пусть кровь бежит вверх — голову выше, спину прямо, челюсть вперед! Давай — взгляд прищурить, зубы сжать, шире ноздри, крепче кулак, всех покрой стальной броней — да-да, когда у воина кровь быстро бежит по жилам, ему сдается, что на нем стальные доспехи. И так держать, темп не сбавлять! Долго, упорно, долго, упорно! И тогда хоть бы и пуля, хоть бы и штык — не так больно, потому что кровь жарка, кровь, которую он, Джоби, помог разогреть. Если же кровь у воинов останется холодной, будет даже не побоище, а такое убийство, такой кошмар, такая мука, что страшно сказать и лучше не думать.

Генерал закончил и смолк, дал успокоиться дыханию. Потом, чуть погода, добавил:

— Вот так-то, вот какое дело. Ну что, парень, поможешь мне? Понял теперь, что ты — командующий войском, когда генерал останется сзади?

Мальчик безмолвно кивнул.

— Поведешь их тогда вперед вместо меня?

— Да, сэр.

— Молодец. И глядишь, будь на то Божья воля, через много-много ночей, через много-много лет, когда тебе стукнет столько, сколько мне теперь, а то и намного больше, спросит тебя кто-нибудь, чем ты-то отличился в это грозное время, а ты и ответишь, смиренно и гордо: «Я был барабанщиком в битве у Совиного ручья», или «на реке Теннесси», а может быть, битву назовут по здешней церкви. «Я был барабанщиком в битве при Шайлоу». А что,

хорошо, звонко звучит, хоть мистеру Лонгфелло в стих. «Я был барабанщиком в битве при Шайлоу». Сгодится для любого, кто не знал тебя прежде, мальчик. И не знал, что ты думал в эту ночь и что будешь думать завтра или послезавтра, когда нам надо будет встать! И — марш вперед!

Генерал выпрямился.

— Ну ладно. Бог тебя благослови, парень. Доброй ночи.

— Доброй ночи, сэр.

И, унося с собой блеск латуни и начищенных сапог, запах табака, соленого пота и кожи, генерал пошел дальше по траве.

С минуту Джоби пристально глядел ему вслед, но не мог рассмотреть, куда он делся.

Мальчик глотнул. Вытер слезы. Откашлялся. Успокоился. И наконец медленно, твердой рукой повернул барабан ликом к небу.

Всю эту апрельскую ночь 1862 года поблизости от реки Теннесси, неподалеку от Совиного ручья, совсем близко от церкви под названием Шайлоу на барабан, осыпаясь, ложился персиковый цвет, и всякий раз мальчик слышал касание, легкий удар, тихий гром.

**РЕВЯТКИ! ВЫРАЩИВАЙТЕ
ГИГАНТСКИЕ ГРИБЫ
У СЕВЯ В ПОДВАЛАХ!**

Хью Фортнем проснулся и, лежа с закрытыми глазами, с наслаждением прислушивался к утренним субботним шумам.

Внизу шкварчал бекон на сковородке; это Синтия будит его не криком, а милым ароматом из кухни.

По ту сторону холла Том взаправду принимал душ.

Но чей это голос, перекрывая жужжание шмелей и шорох стрекоз, спозаранку честит погоду, эпоху и злодейку судьбу? Никак соседка, миссис Гудбоди? Конечно же. Христианнейшая душа в теле великанши — шесть футов без каблучков, чудесная садовница, диетврач и городской философ восьмидесяти лет от роду.

Хью приподнялся, отодвинул занавеску и высунулся из окна как раз тогда, когда она громко приговаривала:

— Вот вам! Получайте! Что, не нравится? Ха!

— Доброй субботы, миссис Гудбоди!

Старуха замерла в облаках жидкости против вредителей, которую она распыляла с помощью насоса в виде гигантского ружья.

— Глупости говорите! — крикнула она в ответ. — Чего тут доброго с этими козявками-злыдняшками. Поналезли всякие!

— И какие на этот раз?

— Не хочу кричать, чтобы какая-нибудь сорока не услышала, но... — Тут соседка подозрительно огляделась и понизила голос: — К вашему сведению: в данный момент я стою на первой линии огня и защищаю человечество от вторжения летающих тарелок.

— Замечательно, — отозвался Фортнем. — Недаром столько разговоров, что инопланетяне придут чуть ли не со дня на день.

— Они уже здесь! — Миссис Гудбоди послала на растения новое облако отравы, норовя обрызгать нижнюю поверхность листьев. — Вот вам! Вот вам!

Фортнем убрал голову из окна. Несмотря на приятную свежесть денька, прекрасное поначалу настроение было слегка подпорчено. Бедняжка миссис Гудбоди! Обычно такая образцово разумная. И вдруг такое! Не иначе как возраст берет свое.

В дверь кто-то позвонил.

Он схватил халат и, еще спускаясь с лестницы, услышал незнакомый голос: «Срочная доставка. Дом Фортнемов?» Затем он увидел, как Синтия возвращается от двери с небольшим пакетом в руке.

— Срочная доставка — пакет авиапочтой для нашего сына.

Тому хватило секунды, чтобы оказаться на первом этаже.

— Ух ты! Наверняка из ботанического сада в Грейт-Байю, где культивируют новые виды растений.

— Мне бы так радоваться заурядной посылке! — сказал Фортнем.

— Заурядной? — Том мигом порвал бечевку и теперь лихорадочно сдирал оберточную бумагу. — Ты что, не читаешь последние страницы «Популярной механики»? Ага, вот они!

Все трое смотрели внутрь небольшой коробочки.

— Ну, — сказал Фортнем, — и что это такое?

— Сверхгигантские грибы Сильвана Глейда. «Стопроцентная гарантия стремительного роста. Выращивайте их в своем подвале и гребите деньги лопатой!»

— А-а, разумеется! — воскликнул Фортнем. — Как я, дурак, сразу не сообразил!

— Вот эти вот фигушечки? — удивилась Синтия, шурясь на содержимое коробочки.

— «За двадцать четыре часа достигают невероятных размеров, — шпарил Том по памяти. — Посадите их у себя в подвале...»

Фортнем переглянулся с женой.

— Что ж, — промолвила она, — это по крайней мере лучше, чем жабы и зеленые змейки.

— Разумеется, лучше! — крикнул Том на бегу.

— Ах, Том, Том! — с легким упреком в голосе сказал Фортнем.

Сын даже приостановился у двери в подпол.

— В следующий раз, Том, — пояснил отец, — ограничься обычной бандеролью.

— Полный отпад! — сказал Том. — Они там чего-то перепутали и решили, что я какая-нибудь богатая фирма. Срочно, авиа, да еще с доставкой на дом — нормальному человеку это не по карману!

Подвальная дверь захлопнулась.

Слегка ошарашенный, Фортнем повертел в руках обертку посылки, потом бросил ее в корзину для мусора. По пути на кухню он не удержался и заглянул в подвал.

Том уже стоял на коленях и лопаткой взрыхлял землю.

Фортнем ощутил за спиной легкое дыхание жены. Через его плечо она вглядывалась в прохладный полумрак подвала.

— Надеюсь, это действительно съедобные грибы, а не какие-нибудь... поганки!

Фортнем крикнул со смехом:

— Доброго урожая, фермер!

Том поглядел вверх и помахал рукой.

Опять в распрекрасном настроении, Фортнем прикрыл подвальную дверь, подхватил жену под руку, и они направились в кухню.

Ближе к полудню по дороге к ближайшему супермаркету Фортнем заметил Роджера Уиллиса, тоже члена клуба деловых людей «Ротари», преподавателя биологии в городском университете. Тот стоял у обочины и отчаянно голосовал.

Фортнем остановил машину и открыл дверцу.

— Привет, Роджер, тебя подбросить?

Уиллис не заставил просить себя дважды, вскочил в машину и захлопнул дверь.

— Какая удача — ты-то мне и нужен. Который день собираюсь с тобой повидаться, да все откладываю. Тебе не трудно сделать доброе дело и минут на пять стать психиатром?

Фортнем изучающе покосился на приятеля. Машина катила вперед на средней скорости.

— Ладно. Выкладывай.

Уиллис откинулся на спинку кресла и сосредоточенно уставился на ногти своих рук.

— Погоди чуток. Веди машину и не обращай на меня внимания. Ага. Ну ладно. Вот что я тебе намеревался сказать: с этим миром что-то неладно.

Фортнем тихонько рассмеялся:

— А когда с ним было ладно?

— Да нет, я имею в виду... Странное что-то... небывалое... происходит.

— Миссис Гудбоди, — произнес Фортнем себе под нос — и осекся.

— При чем тут миссис Гудбоди?

— Сегодня утром она поведала мне о летающих тарелках.

— Нет. — Уиллис нервно куснул костяшку на указательном пальце. — Это не похоже на летающие тарелки. По крайней мере, мне так кажется. Интуиция — это, по-моему, что?

— Осознанное понимание того, что долгое время оставалось подсознательным. Но только никому не цитируй это наскоро скроенное определение. В психиатрии я всего лишь любитель.

Фортнем снова рассмеялся.

— Хорошо-хорошо! — Уиллис отвернул просветлевшее лицо и поудобнее устроился на сиденье. — Ты попал в самую точку! То, что накапливается на протяжении долгого времени. Копится, копится, а потом — бац, и ты выплюнул, хотя и не помнишь, как набиралась слюна. Или, скажем, руки у тебя грязные, а тебе невдомек, когда и где ты их успел перепачкать. Пыль ложится на предметы безостановочно, но мы ее не замечаем, пока не накопится много, и тогда мы говорим: фу-ты, какая грязь! По-моему, как раз это и есть интуиция. А теперь можно спросить: ну а на меня какая такая пыль садилась? То, что я видел по ночам сколько-то падающих метеоритов? Или наблюдения за странностями погоды по утрам? Понятия не имею. Может, какие-то краски, запахи, загадочные поскрипывания в доме в три часа ночи. Или то, как у меня почесываются волоски на руках? Словом, Господь один ведает, как накопилось столько пыли. Только в один прекрасный день я вдруг понял.

— Ясно, — несколько обеспокоенно сказал Фортнем. — Но что именно ты понял?

Уиллис не поднимал взгляда от своих рук, лежащих на коленях.

— Я испугался. Потом перестал бояться. Потом снова испугался — прямо среди бела дня. Доктор меня проверял. У меня с головой все в порядке. В семье никаких проблем. Мой Джо замечательный пацан, хороший сын.

Дороти? Прекрасная женщина. Рядом с ней не страшно постареть и даже умереть.

— Ты счастливчик.

— Сейчас вся штука в том, что за фасадом моего счастья. А там я трясусь от страха — за себя, за свою семью... А в данный момент и за тебя.

— За меня? — удивился Фортнем.

Он припарковал машину на пустынной стоянке возле супермаркета. Какое-то время Фортнем в полном молчании смотрел на приятеля. В голосе Уиллиса было что-то такое, от чего мороз бежал по спине.

— Я за всех боюсь, — сказал Уиллис. — За твоих и моих друзей и за их друзей. И за всех прочих. Чертовски глупо, правда?

Уиллис открыл дверь, вышел из машины и потом нагнулся посмотреть в глаза Фортнему.

Тот понял: надо что-то сказать.

— И что нам в этой ситуации делать? — спросил он.

Уиллис метнул взгляд в сторону палящего солнца.

— Быть бдительными, — произнес он с расстановкой. — На протяжении нескольких дней внимательно приглядываться ко всему вокруг.

— Ко всему?

— Мы не используем и десятой части способностей, отпущенных нам Богом. Необходимо чутче слушать, зорче смотреть, больше принимать и тщательнее следить за вкусовыми ощущениями. Возможно, ветер как-то странно метет вон те семена на этой стоянке. Или что-то не в порядке с солнцем, которое торчит над телефонными проводами. А может, цикады в вязах поют не так, как положено. Нам следует хотя бы на несколько дней и ночей сосредоточиться по-настоящему — прислушиваться, и приглядываться, и сравнивать свои наблюдения.

— Хороший план, — шутливо сказал Фортнем, хотя на самом деле ощутил нешуточную тревогу. — Я обещаю от-

ныне приглядываться к миру. Но чтобы не прозевать, мне надо хотя бы приблизительно знать, что именно я ищу.

С искренним простодушием глядя на него, Уиллис произнес:

— Если оно тебе попадется — ты не пропустишь. Сердце подскажет. В противном случае нам всем конец. Буквально всем. — Последнюю фразу он произнес с отрешенным спокойствием.

Фортнем захлопнул дверцу. Что сказать еще, он не знал. Только почувствовал, как краснеет.

Похоже, Уиллис уловил, что приятелю неловко.

— Хью, ты решил, что я... Что у меня крыша поехала?

— Ерунда, — чересчур поспешно отозвался Фортнем. — Ты просто перенервничал, вот и все. Тебе бы стоило недельку отдохнуть.

Уиллис согласно кивнул.

— Увидимся в понедельник вечером?

— Когда тебе удобно. Заглядывай к нам домой.

Уиллис двинулся через кое-где поросшую бурьяном стожанку к боковому входу в магазин.

Фортнем проводил его взглядом. Неожиданно расхотелось куда-нибудь трогаться отсюда. Фортнем поймал себя на том, что тишина давит на него и он дышит долгими глубокими вдохами.

Он облизал губы. Соленый привкус. Взгляд остановился на голом локте, выставленном в окно. Золотые волоски горели на солнце. На пустой стоянке ветер играл сам с собой. Фортнем высунулся из окна и посмотрел на солнце. Солнце посмотрело на него в ответ таким палящим взглядом, что он шустро втянул голову обратно. Громко выдохнув, вслух рассмеялся. И завел двигатель.

Кусочки льда мелодично позвякивали в живописно запотевшем стакане холодного лимонада, а сам сладкий напиток чуть кислил и доставлял подлинное наслаждение язы-

ку. Покачиваясь в сумерках в плетеном кресле на веранде, Фортнем смаковал лимонад, отпивая по маленькому глотку и закрывая глаза. Кузнечики стрекотали на газоне. Синтия, вязавшая в кресле напротив, с любопытством поглядывала на него; он чувствовал ее повышенное внимание.

— Что за мысли бродят у тебя в голове? — наконец спросила она напрямую.

— Синтия, — не открывая глаз, отозвался он вопросом на вопрос, — твоя интуиция не заржавела? Тебе не кажется, что погода предвещает землетрясение? И что все провалится в таргарары? Или что, к примеру, объявят войну? А может, все ограничится тем, что дельфиниум в нашем саду запаршивеет и погибнет?

— Погоди, дай пощупаю свои косточки — что они подсказывают.

Он открыл глаза. Теперь наступил черед Синтии закрыть глаза и прислушаться к себе. Возложив руки на колени, она на время окаменела. Потом тряхнула головой и улыбнулась:

— Нет. Никакой войны не объявят. И ни один континент не канет в море. И даже парша не поразит наш дельфиниум. А почему ты, собственно, спрашиваешь?

— Сегодня я встретил уйму людей, предрекающих конец света. Если быть точным, то лишь двух, но...

Дверь на роликах с грохотом распахнулась. Фортнем так и привскочил, словно его ударили.

— Какого!..

На веранде появился Том с садовой корзинкой в руке.

— Извини, что побеспокоил, — сказал он. — Все в порядке, папа?

— В порядке. — Фортнем встал, довольный случаем размять ноги. — Что там у тебя — урожай?

Том с готовностью подошел поближе.

— Только часть. Так и прут — чокнуться можно! Всего каких-то семь часов плюс обильный полив, а погляди-

те, какие они вымахали! — Он поставил корзинку на стол перед родителями.

Урожай действительно впечатлял. Сотни небольших серовато-коричневых грибов торчали из кома влажной земли.

Фортнем изумленно ахнул. Синтия потянулась было к корзинке, но потом с нехорошим чувством отдернула руку.

— Не хочу портить вам радость, и все же... Вы совершенно уверены, что это грибы, а не что-то другое?

Том ответил ей оскорбленным взглядом:

— Чем я, по-твоему, собираюсь накормить вас? Бледными поганками?

— Да нет, мне просто почудилось, — поспешно сказала Синтия. — А как отличить грибы полезные от ядовитых?

— Съесть их, — отрезал Том. — Если останешься живым — значит, полезные. Если с копыт долой — значит, увы и ах. — Том расхохотался.

Фортнему шутка понравилась. Зато Синтия только заморгала и обиженно села в кресло.

— Лично мне они не по душе! — заявила она.

— Фу-ты ну-ты! — раздраженно передразнил Том, подхватывая корзинку. — Люди, кажется, тоже делятся на полезных и ядовитых.

Том зашаркал прочь. Отец счел нужным окликнуть его.

— Да ладно, проехали, — сказал Том. — Все почему-то думают, что их убудет, если они поддержат инициативного парнишку. Да провались оно пропадом!

Фортнем пошел в дом за Томом и видел, как тот остановился на пороге подвала, швырнул корзинку с грибами вниз, с силой захлопнул дверь и выбежал из дома через задний выход.

Фортнем оглянулся на жену, виновато отводившую глаза.

— Прости меня, — сказала она. — Уж не знаю, что меня за язык потянуло, но я не могла не высказать Тому свое мнение. Я...

Зазвонил телефон. У аппарата был длинный провод, поэтому Фортнем вышел с ним на веранду.

— Хью? — спросила Дороти Уиллис. В ее до странно-сти усталом голосе слышались испуганные нотки. — Хью, Роджер не у вас?

— Нет, Дороти. Его здесь нет.

— Он ушел из дома! Забрал всю свою одежду из гардероба. — Она расплакалась.

— Дороти, не падай духом! Я буду у тебя через минуту.

— Да, мне нужна помощь. Помогите мне! Что-то нехорошее с ним случилось, я чувствую. — Снова всхлипы. — Если вы ничего не предпримете, мы его больше никогда не увидим живым!

Фортнем медленно положил трубку, до последнего момента полную горестных причитаний Дороти. Вечерний стрекот кузнечиков вдруг стал оглушительным. Фортнем ощутил, как волосы у него на голове встают дыбом — волосок за волоском, волосок за волоском.

На самом деле волосы на голове не способны становиться дыбом. Это только выражение такое. И очень глупое. В реальной жизни волосы не могут подняться сами собой.

Но его волосы это сделали — волосок за волоском, волосок за волоском.

Вся мужская одежда действительно исчезла из чуланчика-гардеробной. Фортнем в задумчивости погонял пустые проволочные вешалки туда-сюда по штанге, потом повернулся и выглянул наружу, где стояли Дороти Уиллис и ее сын Джо.

— Я просто шел мимо, — доложил Джо. — И вдруг вижу — гардероб пустой. Одежды отца как не бывало.

— Все было прекрасно, — сказала Дороти. — Жили душа в душу. Я просто не понимаю. Я просто не могу понять. Совершенно не могу! — Закрыв лицо ладонями, она опять разрыдалась.

Фортнем выбрался из гардеробной и спросил Джо:

— А ты слышал, когда отец уходил из дома?

— Мы с ним играли в мяч на заднем дворе. Папа говорит: я ненадолго зайду в дом. Сперва я поиграл сам, а после пошел за ним. А его и след простыл!

— Я думаю, — сказала Дороти, — он по-быстрому собрал вещи и ушел пешком. Если его где-то ждало такси, то не у дома — мы бы услышали звук отъезжающей машины.

Теперь все трое шли через холл.

— Я проверю вокзал и аэропорт, — сказал Фортнем. — И вот еще... Дороти, в семье Роджера никто, часом, не...

— Нет, это не приступ безумия, — решительно возразила Дороти. Потом куда менее уверенно добавила: — У меня такое странное чувство, будто его украли.

Фортнем отрицательно мотнул головой:

— Это против здравого смысла. Собрать вещи и выйти навстречу своим похитителям!

Приоткрыв входную дверь, словно она хотела пустить в дом вечерний сумрак или ночной ветер, Дороти обернулась и обвела взглядом весь нижний этаж.

— Это похищение, — медленно произнесла она. — Они каким-то образом проникли в дом. И выкрали его у нас из-под носа. — Она помолчала и добавила: — Что-то страшное уже случилось.

Фортнем вышел на улицу и замер среди стрекота кузнечиков и шороха листьев. Прорицатели конца света, подумал он, свое слово сказали. Сперва миссис Гудбоди, затем Роджер. А теперь их компания пополнилась женой Роджера. Что-то страшное уже случилось. Но что именно, черт возьми? И почему?

Он оглянулся на Дороти и ее сына. Джо моргал, сгоняя слезы на щеки. Потом медленно повернулся, прошел через холл, остановился у входа в подвал и взялся за ручку двери.

Веки Фортнема дернулись, зрачки сузились, словно он пытался вспомнить какую-то картинку.

Джо распахнул дверь, начал спускаться по лестнице вниз и наконец пропал из виду. Дверь за ним медленно прихлопнулась сама собой.

Фортнем открыл рот, чтобы сказать что-то, но тут Дороти схватила его за руку, и ему пришлось посмотреть в ее сторону.

— Умоляю, найдите его для меня!

Он поцеловал ее в щеку:

— Я сделаю все, что в человеческих силах.

Все, что в человеческих силах. Боже мой, с какой стати он выбрал именно эту формулу?

Он заспешил прочь от дома Уиллисов.

Хриплый вдох и тяжкий выдох, опять хриплый вдох и тяжкий выдох, астматический судорожный вдох и шипящий выдох. Неужели кто-то умирает в темноте? Слава богу, нет.

Просто за живой изгородью невидимая миссис Гудбоди так поздно все еще занята работой — выставив костлявые локти, орудует своей пушкой-распылителем. Чем ближе Фортнем приближался к дому, тем больше его окутывал одуряюще сладкий запах средства по борьбе с насекомыми.

— Миссис Гудбоди! Все трудитесь?

Из-за темной живой стены донеслось:

— Да, черт возьми. Будто мало нам было тли, водяных клопов, личинок древооточца! Теперь припожаловали *Marasmius oreades*. Растут как из пушки.

— Любопытное выражение.

— Теперь или я, или эти *Marasmius oreades*. Я им спуску не дам, я им задам жару! Изничтожу! Вот вам, гадам, вот!

Он миновал живую изгородь, чахоточную помпу и визгливый голос. У дома его поджидала жена. Фортнему почудилось, что он прошел через зеркало: от одной женщины, провожавшей на крыльце, к другой — на крыльце встречающей.

Фортнем уже открыл рот доложить о происходящем, но тут заметил движение внутри, в холле. Шаги, скрип досок. Поворот дверной ручки.

Это сын в очередной раз скрылся в подвале.

Будто бомба разорвалась перед Фортнемом. Голова пошла кругом. Все было цепеняще знакомо, словно въяве сбывался старый сон и каждое предстоящее движение тебе заранее известно, как и каждое слово, которое еще не сошло с губ говорящего.

Он поймал себя на том, что тупо смотрит через холл на дверь подвала. Вконец озадаченная Синтия потянула мужа за рукав и втащила в дом.

— У тебя такой взгляд из-за Тома? Да я уже смирилась. Он принимает эти чертовы грибы так близко к сердцу. А впрочем, им несколько не повредило то, что он швырнул их с лестницы вниз. Шлепнулись на земляной пол и растут себе дальше...

— Растут, значит? — пробормотал Фортнем, думая о своем.

Синтия тронула его за рукав:

— Как насчет Роджера?

— Он действительно пропал.

— Мужчины, мужчины, мужчины...

— Нет, ты не права, я виделся с Роджером почти ежедневно на протяжении последних десяти лет. Когда столько общаешься, видишь человека насквозь и можешь с точностью сказать, как у него дома — тишь и гладь или ад крошечный. До сих пор он не ощутил дыхания смерти в затылок; он не паниковал и не пытался, выпучив глаза, гоняться за вечной юностью, срывая персики в чужих садах. Нет-нет, могу поклясться, могу поставить на спор все до последнего доллара, что Роджер...

За их спинами раздался звонок. Это посыльный с почты неслышно вошел на крыльцо и ждал с телеграммой в руке, когда ему откроют дверь.

— Дом Фортнемов?

Синтия поспешно включила люстру в прихожей, а Фортнем стремительно разорвал конверт, разгладил бумажку и прочел:

НАПРАВЛЯЮСЬ НОВЫЙ ОРЛЕАН. ЭТА ТЕЛЕГРАММА ВОЗМОЖНО НЕОЖИДАННОСТЬ. ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ, ПОВТОРЯЮ, ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБЫХ ПАКЕТОВ СРОЧНОЙ ДОСТАВКИ. РОДЖЕР.

Синтия растерянно спросила:

— Ничего не понимаю. Что это все значит?

Но Фортнем уже бросился к телефону и спешно набирал короткий номер.

— Девушка! Мне срочно полицию!

В десять пятьдесят телефон зазвонил уже в шестой раз за вечер. Фортнем снял трубку и задохнулся от волнения:

— Роджер! Ты откуда звонишь?

— Где я, черт возьми? — передразнивающим тоном отозвался Роджер. — Ты прекрасно знаешь, где я, и ты в ответе за это. Мне бы стоило разозлиться на тебя!

Фортнем энергичным кивком показал жене на кухню, и Синтия кинулась со всех ног туда — снять трубку второго телефонного аппарата. Как только раздался тихий щелчок, Фортнем продолжил:

— Роджер, клянусь тебе, я понятия не имею, где ты находишься. Я получил от тебя телеграмму...

— Какую телеграмму? — игриво осведомился Роджер. — Я никаких телеграмм не посылал. Я спокойненько ехал себе на юг в поезде. Вдруг на станции вваливается полиция, хватает меня и норовит снять с поезда, и вот я звоню тебе из полицейского участка на вокзале заштатного городка, чтобы эти обалдуи наконец оставили меня в покое. Хью, если ты подобным образом шутишь...

— Послушай, Роджер, ведь ты просто взял и исчез!

— Какое там исчез! Обычная деловая поездка. Я и Дороти предупреждал, и Джо говорил.

— Все это очень запутанно, Роджер. Ты, случаем, не в опасности? Может, кто-то тебе угрожает? То, что ты говоришь, ты говоришь добровольно?

— Я жив, здоров, свободен, и никто меня не запугивает.

— Но где именно ты находишься?

— Дурацкий разговор! Слушай, я на тебя не дуюсь за твою глупую выходку — чего тебе еще?

— Я рад, Роджер...

— Тогда будь пайнкой и позволь мне ехать дальше по моим делам. Позвони Дороти и скажи, что я вернусь через пять дней. Ума не приложу, как она могла забыть!

— А вот забыла. Так, значит, Роджер, увидимся через пять дней?

— Через пять дней, обещаю.

Столько спокойной уверенности и теплоты в голосе — словно вернулся Роджер былых дней. Фортнем очумело тряхнул головой.

— Роджер, — сказал он, — последний день был самым безумным в моей жизни. Так ты, значит, не убежал от своей Дороти? Уж мне-то, черт возьми, ты можешь сказать правду!

— Я люблю ее всем сердцем. А теперь передаю трубку лейтенанту Паркеру из риджтаунской полиции. До свидания, Хью.

— До сви...

Но в трубке уже гудел раздраженный голос лейтенанта. Кто позволил мистеру Фортнему навязать такие хлопоты полиции? Что происходит? Что вы себе позволяете, мистер Фортнем? За кого вы себя принимаете? Что делать с вашим так называемым другом — отпускать или упрятать в кутузку?

— Отпустите его, — бросил Фортнем куда-то в середину этого потока ругательств и повесил трубку. Его вооб-

ражению представилось, как в двухстах милях южнее на вокзальном перроне гремит грозное «Посадка закончена» и громоздкий поезд с грохотом устремляется вперед сквозь черную-пречерную ночь.

Синтия неспешно вернулась в гостиную.

— Чувствую себя полной дурой, — сказала она.

— А я себя кретином.

— Тогда кто же послал ту телеграмму и зачем?

Фортнем налил себе виски и застыл в центре комнаты, разглядывая содержимое стакана.

— Я искренне рада, что с Роджером все в порядке, — наконец прервала молчание его жена.

— С ним не все в порядке, — сказал Фортнем.

— Но ведь ты только говорил...

— Ничего я не говорил. А что мы, в сущности, могли сделать? Настоять на том, чтобы его сняли с поезда и в наручниках доставили домой? И это при том, что он твердит, будто с ним полный порядок? Дело обстоит иначе. Телеграмму он отослал, да только потом решил все иначе. Знать бы почему! Почему? — Фортнем ходил по комнате из угла в угол, временами отпивая из стакана. — Чего ради он предостерегал нас против срочной доставки? Единственная вещь, которую мы получили срочной доставкой на протяжении целого года, — это пакет для Тома — тот, что доставили сегодня утром...

На последних слогах его голос начал спотыкаться.

Синтия первой бросилась к корзинке для мусора ихватила оттуда измятую бумагу, в которую был упакован пакет с грибами.

Обратным адресом значился Новый Орлеан, штат Луизиана.

Синтия подняла глаза от бумаги:

— Новый Орлеан. Ведь именно туда и направляется Роджер в данный момент?

В сознании Фортнема звякнула дверная ручка, дверь открылась и с хлопком закрылась. Другая дверная ручка

в другом доме звякнула, дверь открылась и с хлопком закрылась. И в ноздри ударил запах свежеразрытой земли.

Через секунду он уже набирал телефонный номер. Прошло мучительно много времени, прежде чем на другом конце провода раздался голос Дороти Уиллис. Он представил себе, как она сидит в своем страшно опустевшем доме, где во всех комнатах горит ненужный свет.

Фортнем быстро и спокойно изложил ей свой разговор с Роджером, после чего замялся, откашлялся и сказал:

— Дороти, я понимаю, что задаю дурацкий вопрос. Но ответь мне: за последние несколько дней вы получали что-нибудь с почты — срочной доставкой на дом?

— Нет, не получали, — устало отозвалась она. Потом вдруг встрепенулась: — А впрочем, погоди. Три дня назад. Но я была уверена, что вы в курсе! Все мальчишки в округе помешаны на этом увлечении.

Фортнем теперь взвешивал каждое свое слово.

— Помешаны на чем? — спросил он.

— Странный допрос, — сказала Дороти. — Что может быть плохого в выращивании съедобных грибов?

Фортнем закрыл глаза.

— Хью, вы меня слушаете? Я сказала: что может быть плохого...

— ... в выращивании съедобных грибов? — наконец откликнулся Фортнем. — Разумеется, ничего плохого. Совершенно ничего. Абсолютно ничего.

И он медленно-медленно повесил трубку.

Легкие занавески колыхались, словно сотканые из лунного света. Тикали часы. Глубокая ночь заполняла собой каждый уголок спальни. А Фортнему вдруг вспомнился звонкий голос миссис Гудбоди, прорезающий утреннюю благодать — миллион лет назад. Он вспомнил и Роджера, когда тот в полдень навел тучу на солнце в ясном небе. Потом в ушах зазвучал лающий голос полицей-

ского, костерившего его по телефону из далекого южного штата. А потом вернулся голос Роджера, и в ушах застучал колесами поезд, уносящий друга далеко-далеко. Стук колес медленно затихал, пока в сознании не всплыл диалог с невидимой миссис Гудбоди, работающей где-то за живой изгородью:

- Растут как из пушки.
- Любопытное выражение.
- Теперь или я, или эти *Marasmius oreades*.

Фортнем открыл глаза и проворно вскочил с постели.

Через несколько мгновений он уже был внизу и листал энциклопедию.

Найдя нужное, он подчеркнул ногтем то, что его интересовало:

«Marasmius oreades — разновидность съедобных грибов, обычно произрастающих на газонах летом или ранней осенью...»

Захлопнув книгу, он вышел на крыльцо и закурил.

Пока Фортнем безмятежно покуривал, небо прочертила падающая звезда. Деревья тихо шептались.

Дверь дома распахнулась. На пороге стояла Синтия в ночной рубашке:

- Не спится?
- По-моему, слишком душно.
- Да вроде бы нет.

— Ты права, — сказал он и почувствовал, как зябко рукам. — Можно сказать, даже холодно. — Он затянулся пару раз, потом сказал, не глядя на жену: — Синтия, а что, если... — Он хмыкнул, замялся. — Ну, словом, что, если Роджер был прав вчерашним утром? И что, если миссис Гудбоди тоже права? И вдруг в данный момент действительно происходит нечто ужасное? К примеру... — тут он кивком указал на небо, усеянное миллионами звезд, — к приме-

ру, как раз сейчас Землю завоевывают пришельцы из иных миров.

— Хью...

— Нет, дай поиграть моему воображению.

— Совершенно очевидно, что нас никто не завоевывает. Мы бы заметили.

— Сформулируем это так: мы заметили нечто лишь интуитивно, мы смутно забеспокоились. Если что-то происходит, то где и как? Откуда опасность и каким способом нас завоевывают?

Синтия посмотрела на звезды и хотела что-то сказать, но муж опередил ее мысль:

— Нет-нет, я не имею в виду метеориты и летающие тарелки — они бросаются в глаза. Как насчет бактерий? Они ведь тоже могут явиться из космоса, не правда ли?

— Я что-то читала о подобном.

— Быть может, чужие споры, семена, пыльца и вирусы в огромных количествах ежесекундно таранят нашу атмосферу на протяжении миллионов лет. Возможно, прямо сейчас мы стоим под невидимым дождем. И этот дождь идет над всей страной, над городами и городками, над полями и лесами. Над нашим газоном тоже.

— Над нашим газоном?

— А также и над газоном миссис Гудбоди. Однако люди ее типа постоянно истребляют сорняки и паразитов в своем саду — выпалывают бурьян, распыляют инсектициды. В городах, с их ядовитой атмосферой, пришельцам тоже не выжить. Есть зоны неблагоприятного климата. Наилучшие погодные условия скорее всего на юге: в Алабаме, Джорджии и Луизиане. В тамошних топях и при такой жаре пришельцы будут расти как на дрожжах.

Синтия рассмеялась:

— Уж не к тому ли ты клонишь, что ботанический сад в Грейт-Байю, который специализируется на выращивании новых видов, на самом деле находится под управлением

двухметровых грибов с другой планеты и что посылку Тому прислали именно они?

— Твоя версия выглядит забавной.

— Забавной? Да можно со смеха лопнуть!

Синтия весело закинула назад свою красивую головку.

Фортнем вдруг рассердился:

— Боже правый! Что-то происходит, это очевидно! Миссис Гудбоди истребляет этих *Marasmius oreades*. А что такое *Marasmius oreades*? Грибы-вредители. Грибы-убийцы. И вот, в самый разгар войны миссис Гудбоди с *Marasmius oreades* почтовый курьер приносит в наш дом что? Грибы для Тома. Что еще происходит? Роджер высказывает опасения за свою жизнь! Не проходит и нескольких часов, как он исчезает. И присылает нам телеграмму — какого содержания? Избегайте того, что приносит почтовый курьер! То есть не берите грибы для Тома! Значит ли это, что у Роджера есть какие-то основания предупреждать, потому что его собственный сын уже получил подобный пакет и нечто произошло? Да, несколько дней назад Джо получил пакет с грибами. Откуда? Из Нового Орлеана. А куда исчез Роджер? Он едет в Новый Орлеан! Синтия, это же так очевидно! Неужели ты все еще не понимаешь? Я был бы только счастлив, окажись все эти факты совершенно не связаны друг с другом. На самом же деле образуется недвусмысленная цепочка: Роджер, Том, Джо, грибы, миссис Гудбоди, бандероли, обратный адрес!

Жена пристально смотрела на него — без прежнего веселья, но и не до конца серьезно:

— Только не лезь в бутылку.

— А я совершенно спокоен! — чуть ли не выкрикнул Фортнем. Однако через секунду взял себя в руки. В противном случае оставалось только расхохотаться или заплакать. А ему хотелось хладнокровно оценить ситуацию.

Он обводил взглядом окрестные дома и думал, что в каждом из них есть подвал. Все соседские мальчишки,

читающие «Популярную механику», шлют деньги в Новый Орлеан и населяют подвалы грибами. Естественный энтузиазм мальчишек. Он и сам подростком получал по почте всякие химикалии для опытов, семена, черепашек, разные мази от прыщей и прочую ерунду. Так во скольких американских домах сегодня ночью разрастаются гигантские грибы благодаря стараниям невинных детских душ?

— Хью! — Жена тронула его за рукав. — Грибы, даже гигантские, не способны мыслить, двигаться, у них нет рук и ног. Как они могут распоряжаться почтовой службой доставки и «завладеть миром»? Будь серьезен, взгляни трезвым взглядом на этих якобы страшных завоевателей, врагов рода человеческого!.. А давай-ка просто посмотрим на них!

Она потянула его за собой в дом. Когда Синтия повела его через холл к двери в подвал, Фортнем решительно уперся. Он замотал головой и сказал с глуповатой ухмылкой:

— Нет-нет, я прекрасно знаю, что мы там найдем. Ты победила. Вся эта история — чушь собачья. Роджер вернется на следующей неделе — мы с ним опрокинем по стаканчику и посмеемся над собой. Ты иди спать наверх, а я выпью молока и приду через пару минут.

— Так-то лучше!

Синтия крепко обняла мужа, поцеловала его в обе щеки и взбежала вверх по лестнице.

В кухне Фортнем взял стакан, открыл холодильник, достал бутылку молока и вдруг застыл на месте.

Его взгляд приковала желтая мисочка на верхней полке холодильника. Не сама мисочка, а ее содержимое.

Свежесрезанные грибы.

Он стоял с вытаращенными глазами по меньшей мере полминуты, выдыхая облачка пара. Потом взял желтую мисочку, принялся к ней, потрогал пальцем грибы и вышел с ней из кухни в холл. Он посмотрел вверх вдоль лестницы. Где-то там, укладываясь спать, скрипела кроватью Синтия. Фортнем собрался было крикнуть: «Синтия, ты зачем по-

ставила грибы в холодильник?» — но осекся. Ответ он знал. Она их туда не ставила.

Поставив мисочку с грибами на плоский верх балясины перил в самом начале лестницы, Фортнем задумчиво разглядывал ее содержимое. Он представил себе, как он поднимается в свою спальню, открывает окна, любителю лунным светом на потолке. И в его воображении проигрался последующий диалог:

— Синтия?

— Да, дорогой.

— Синтия, у них есть способ получить руки и ноги.

— Что-что? Ты опять за свои глупости?

Тогда он соберет все свое мужество, ввиду ее неизбежного гомерического смеха, и скажет:

— А что, если человек, бредущий по болоту, возьмет и съест такой вот гриб...

Синтия только фыркнет и ничего не скажет.

— Но ведь если гриб попадет внутрь человека, ему ничего не стоит через кровь завладеть каждой человеческой клеткой и превратить человека — в кого? В марсианина? Если принять версию с поеданием, то грибам не нужны руки-ноги. Они проникают в людей и одалживают их конечности. Они живут в людях, и люди становятся грибами. Роджер отведал грибов, выращенных сыном. И Роджер стал «чем-то другим». Он сам себя похитил, когда направился в Новый Орлеан. В короткую минуту просветления он дал нам телеграмму и предостерег против этих грибов. Тот Роджер, который позже звонил из полицейского участка, был уже другой Роджер, пленник того, что он имел несчастье съесть. Синтия, ведь все части головоломки совпадают. Неужели ты и теперь не согласна?

— Нет, — отвечала Синтия из воображаемого разговора, — нет и нет, ничто не совпадает, нет и нет...

Из подвала вдруг донесся какой-то звук — не то слабый шепот, не то едва слышный шорох. С трудом оторвав

взгляд от грибов в миске, Фортнем подошел к двери в подвал и приложил к ней ухо.

— Том? — окликнул он.

Нет ответа.

— Том, ты внизу?

Нет ответа.

— Том!!!

Спустя вечность голос Тома отозвался из глубины:

— Что, папа?

— Уже далеко за полночь, — сказал Фортнем, следя за своим голосом, пытаясь подавить волнение. — Что ты делаешь там, внизу?

Молчание.

— Я спросил...

— Ухаживаю за грибами, — не сразу ответил сын. Его тихий голос звучал как чужой.

— Ладно, давай оттуда. Вылезай! Ты меня слышишь?

Молчание.

— Том! Послушай, это ты положил грибы в холодильник сегодня вечером? Если да, то зачем?

Секунд десять прошло, прежде чем мальчик снизу отозвался:

— Конечно. Хотел, чтобы вы с мамой попробовали.

Фортнем чувствовал, как бешено колотится его сердце. Пришлось три раза глубоко вдохнуть — без этого невозможно было продолжить разговор.

— Том! А ты... ты, часом, сам не попробовал эти грибы? Ты их не пробовал, а?

— Станный вопрос. Разумеется. Вечером, после ужина. Сделал сэндвич с грибами. А почему ты спрашиваешь?

Фортнему пришлось схватиться за ручку двери, чтобы не упасть. Теперь настал его черед молчать. Колени подгибались, голова шла кругом. Он пытался справиться с дурнотой, уговаривал себя, что все это бред, бред, бред. Однако губы не подчинялись ему.

— Папа! — тихонько позвал Том из глубины подвала. — Спускайся сюда. — Очередная пауза. — Хочу, чтоб ты поглядел на мой урожай.

Фортнем ощутил, как ручка двери выскользнула из его вспотевшей ладони и звякнула, возвращаясь в горизонтальное положение. Он судорожно вздохнул.

— Папа, иди сюда! — негромко повторил Том.

Фортнем распахнул дверь.

Перед ним был черный зев подвала.

Фортнем шелестнул пальцами по стене в поисках выключателя.

Том, казалось, угадал его намерение, потому что торопливо сказал:

— Не надо света. Свет вреден для грибов.

Фортнем убрал руку с выключателя.

Он нервно сглотнул. Потом оглянулся на лестницу, которая вела в спальню, к жене. «Надо бы мне сперва подняться наверх, — подумал он, — и попрощаться с женой... Но что за нелепые мысли! Какой вздор лезет в голову! Нет ни малейшей причины... Или все-таки есть?

Конечно же нет».

— Том! — сказал Фортнем нарочито бодрым голосом. — Готов я к этому или нет, но я спускаюсь.

И, захлопнув за собой дверь, он шагнул в непроглядную темноту.

ПОЧТИ КОНЕЦ СВЕТА

В полдень двадцать второго августа 1961 года Уилли Берсингер, слегка надавливая на акселератор ветхого джипа старательским сапогом, глядел на раскинувшийся перед ним городок Утесы и вел неторопливую беседу со своим компаньоном Сэмюэлом Фиттсом:

— И все-таки, Сэмюэл, это здорово — возвращаться в город. Да, сэр! После нескольких месяцев на руднике Ужасный Цент заурадный музыкальный автомат производит на меня такое же впечатление, как витраж в соборе. Нам необходим город; без него мы однажды проснулись бы и почувствовали себя куском вяленой говядины или оцепеневшим камнем. Ну и, конечно, мы тоже, в свою очередь, нужны городу.

— Это почему? — поинтересовался Сэмюэл Фиттс.

— Видишь ли, мы приносим в города то, чего там нет: горы, речки, ночь в пустыне, звезды и все такое...

«И это действительно так, — размышлял Уилли, прибавляя скорости. — Стоит человеку пожить в глуши, на краю света, и он начинает пить из родников тишины. Он слышит и безмолвие зарослей шалфея, и урчание горного льва, похожее на шум улья в знойный день, и молчание речных отмелей на дне каньонов. Все это человек выпитывает в себя. А в городе, едва открыв рот, он все это выдыхает».

— Ах, как я люблю развалиться в мягком парикмахерском кресле, — признался Уилли. — И обвести взглядом

всех этих горожан, которые сидят в очереди под календарем с изображением голой девицы и тарашатся на меня, пока я им разжевываю свою философию скал, миражей и того особого Времени, что затаилось там, в горах, и ждет, когда Человек уйдет прочь. Я выдыхаю — и та пустыня тончайшей пылью оседает на клиентах. Как хорошо: я говорю тихо и плавно, говорю и говорю...

Он представил себе, как в глазах клиентов вспыхивают искорки. В один прекрасный день они возопят и бегом кинутся в горы, бросив свои семьи и оставив позади цивилизацию будильников.

— Приятно ощущать, что ты нужен. Мы с тобой, Сэмюэл, являем собой фундаментальную ценность для этих парней, топчущих тротуары. Так расступитесь же перед нами, Утесы!

И приятели пулей влетели в город, преисполненный трепетного восхищения и благоговения.

Они проехали по городку, наверное, с сотню футов, как вдруг Уилли ударил по тормозам. Колымага, словно королева, замерла посреди дороги, и с бампера осыпались хлопья ржавчины.

— Что-то тут не так, — проговорил Уилли. Он покосился по сторонам своими рысьими глазами. Мощным носом приняхался. — Ты это чуешь?

— Точно, — подтвердил Сэмюэл, которого кольнуло недоброе предчувствие. — Но что?

Уилли нахмурился:

— Ты когда-нибудь видел лазурного индейца на той табачной лавке?

— Никогда.

— Так вот погляди. А розовую конуру, а оранжевый сарай, а фиолетовый курятник? Смотри: вон там, там и там!

Мужчины медленно поднялись с сидений и вылезли на подножки, которые под ними мучительно заскрипели.

— Сэмюэл, — прошептал Уилли, — ты только глянь? Да тут все: каждое полено, перила на всех верандах, все заборы, каждый пожарный гидрант, мусорные баки — да весь чертов город... Смотри! Его покрасили только час назад!

— Быть не может, — вымолвил Сэмюэл Фиттс.

Тем не менее прямо перед их носом располагались: баптистская церковь, пожарная команда, летняя эстрада, трамвайное депо, «Приют скорбящих духом», окружная тюрьма, кошачья лечебница, парники, бунгало, коттеджи, а среди них тут и там виднелись телефонные будки, почтовые ящики, урны, вывески — и все это сверкало и переливалось разнообразнейшими оттенками янтарно-желтого, изумрудно-зеленого, рубиново-красного. Каждая постройка — от водонапорной вышки до цирка-шапито — выглядела так, будто сам Господь Бог только что вымыл ее, выкрасил и выставил на улицу просохнуть.

И это еще не все: там, где испокон веку росла лишь сорная трава, повсюду теперь зеленели лук, капуста, салат. Толпы любопытных подсолнухов уставились в полуденное небо, а под сенью бесчисленных деревьев огромные и влажные «анютины глазки» взирали на подстриженные лужайки, которые были зеленее рекламных плакатов ирландского туристического агентства. А в довершение мимоприятий промчалась ватага мальчишек — с вымытыми мылом лицами, аккуратно причесанных, в белоснежных футболках, трусах и кедах.

— Этот город, — констатировал Уилли, провожая взглядом ребятишек, — просто спятил. Непостижимо! Кругом загадки. Сэмюэл, что за тиран захватил здесь власть? Неужели принят какой-то необыкновенный закон, способный заставить детей не пачкаться, а взрослых — красить каждую зубочистку, каждый цветочный горшочек? Чувствуешь этот запах? В каждом доме новые обои! Какая-то пагуба, приняв ужасный вид, обуяла этих людей и терзает их. Человеческая природа не может стать столь совершенной за одну

ночь. Готов спорить на все золото, которое намыл за этот месяц, что здесь любой чердак, любой подвал вычищен не хуже, чем палуба линкора. Спорим, что тут в самом деле стряслось нечто серьезное?

— Отчего же? Мне, например, наоборот, кажется, что я слышу, как херувимы поют в Эдемском саду, — возразил Сэмюэл. — Откуда ты взял, будто это пагуба? Давай сюда руку, поспорим, и я положу твои денежки себе в карман!

Джип свернул за угол, и порыв ветра донес до старателей запах канифоли и белил. Сэмюэл, фыркнув, выбросил в окошко обертку от жевательной резинки. То, что за этим последовало, немало озадачило его. На улицу выскочил какой-то старикашка в новеньком комбинезоне и начищенных до зеркального блеска башмаках, схватил мятую бумажку и злобно погрозил кулаком вслед удалявшейся машине.

— Пагуба... — обернувшись, с грустью сказал Сэмюэл Фиттс. — Тем не менее... наш спор все еще в силе.

Открыв дверь парикмахерской, друзья увидели, что там полным-полно людей, чьи волосы были уже пострижены и напомажены, а лица выбриты так тщательно, что казались чуть ли не розовыми. Несмотря на это, все они ждали своей очереди, чтобы снова плюхнуться в кресла, вокруг которых сутились три парикмахера, вовсю орудуя ножницами и расческами. В комнате было шумно, как на фондовой бирже, поскольку и цирюльники, и клиенты говорили одновременно.

Как только Уилли и Сэмюэл вошли, гомон мгновенно стих.

— Сэм... Уилли...

В наступившей вдруг тишине некоторые из мужчин встали со своих мест, а кое-кто из стоявших сел, пристально рассматривая старателей.

— Сэмюэл, — шепнул Уилли уголком рта, — у меня такое ощущение, что где-то здесь стоит Красная Смерть соб-

ственной персоной. — И добавил громко: — Привет честной компании! Вот и я. Хочу закончить мою лекцию на интереснейшую тему: «Флора и фауна Великой американской пустыни», а также...

— Нет! — Антонелли, главный брадобрей, стремглав бросился к Уилли, одной рукой схватил его за локоть, а другой зажал ему рот. — Уилли, — зашептал он, с беспокоейством поглядывая через плечо на своих клиентов, — пообещай мне одну вещь: ты купишь иголку с ниткой и зашьешь свою пасть. Молчи, парень, если жизнь тебе еще дорога!

Уилли и Сэмюэл почувствовали, как Антонелли настойчиво подталкивает их вперед. Двое безукоризненно постриженных и побритых клиентов предупредительно выпорхнули из кресел, и старатели заняли их места. Друзья посмотрели на собственное отражение в засиженном мухами зеркале.

— Сэмюэл, ты погляди! Это же мы! Ты только сравни!

— Ба, и правда... Похоже, мы единственные в Утесах, кому действительно нужно постричься и побриться.

— Чужаки! — Антонелли помог им поудобнее устроиться в креслах, как будто собирался быстренько сделать старателям анестезию. — Вы даже не представляете себе, до какой степени вы здесь чужаки!

— Послушай, дружище, нас тут не было всего несколько месяцев...

Горячее полотенце, от которого валил пар, накрыло лицо Уилли; он издал несколько придушенных возгласов и подчинился. Погрузившись в горячую влажную тьму, старатель услышал низкий настойчивый голос Антонелли:

— Мы приведем вас в порядок, и вы будете как все. Не то чтобы вы выглядели опасными, вовсе нет! Но вот то, что вы, ребята, болтаете, может расстроить людей — по нынешним-то временам...

— По нынешним временам, черт побери! — Уилли приподнял край раскаленного полотенца и тусклым глазом уставился на Антонелли. — Что случилось в Утесах?

— Не только в Утесах. — Антонелли вперил взор в некий невероятный мираж по ту сторону горизонта. — В Фениксе, Тусоне, Денвере. Во всех городах Америки! На прошлой неделе мы с женой ездили на экскурсию в Чикаго. Вообрази себе Чикаго чистым, выкрашенным и новеньким. «Жемчужина Востока» — во как его теперь называют! В Питтсбурге, Цинциннати, Буффало — то же самое! А все из-за того, что... Знаешь... Встань-ка, пойдй включи вон тот телевизор у стенки.

Уилли отдал Антонелли дымящееся полотенце, подошел к телевизору и включил его. Прислушался к жужжанию, покрутил ручки, подождал. На экране шел снег.

— А теперь попробуй радио, — посоветовал Антонелли.

Уилли спиной ощутил, как все присутствующие напряженно следили за ним, когда он пробовал настроиться то на одну, то на другую станцию.

— Дьявольщина! — ругнулся он в конце концов. — У тебя сломались и телик, и радио!

— Никак нет, — смиренно возразил Антонелли.

Уилли снова развалился в кресле и прикрыл глаза. Антонелли нагнулся и горько вздохнул.

— Слушай, — сказал он. — Недели четыре назад, уже ближе к полудню, женщины с детьми смотрят по телевизору клоунов и фокусников. В магазинах одежды дамочки смотрят по телику демонстрацию мод. В парикмахерских и скобяных лавках мужчины следят за бейсбольным матчем или соревнованием по ловле форели. Во всем цивилизованном мире каждый человек что-нибудь смотрит. Все замерли, никто не разговаривает; движение и голоса — только на маленьких черно-белых экранах. И вдруг в самый разгар всего этого смотрения... — Антонелли на минуту умолк, приподнял уголок вареного полотенца. — Пятна на Солнце! — молвил он.

Уилли весь напрягся.

— Самые большие солнечные пятна, будь они прокляты, за всю историю человечества. Весь этот чертов мир накрыла волна электричества и все начисто смыла с экрана каждого телевизора. И ничего не оставила, а потом — опять-таки пустота.

Голос его звучал отстраненно, как у человека, описывающего арктический пейзаж. Брадобрей намылил щеки и подбородок Уилли, даже не взглянув на его лицо.

Уилли оглядел парикмахерскую; телевизор жужжал, показывая вечную зиму, на экране падал и падал мягкий снег. Ему показалось, что он слышит, как по-заячьи бьется каждое сердце в помещении.

Тем временем Антонелли продолжал свою надгробную речь:

— Нам потребовался целый день, чтобы осознать происшедшее. Через два часа после того, как разразилась солнечная буря, все телевизионные мастера Соединенных Штатов были подняты на ноги. Каждый считал, что только его телевизор не в порядке. А поскольку не работали и радиоприемники, в тот вечер, как в старину, мальчишки бегали по улицам и выкрикивали газетные заголовки. Вот тогда-то нас и потрясла весть о том, что эти пятна на Солнце будут еще долго — до конца нашей жизни!

Посетители заволновались и что-то забормотали. Рука Антонелли, сжимавшая бритву, дрожала. Ему надо было успокоиться.

— Вся эта пустота, эта порожняя дрянь, которая все падает и падает в наших телевизорах... Это просто сводит всех с ума, доложу я тебе. Как будто стоишь в передней и разговариваешь со своим добрым приятелем, а он вдруг — бац! — на полуслове падает замертво и лежит вот тут, лицо белое, и ты понимаешь, что он умер, и от ужаса сам весь холодеешь. В тот первый вечер все городские кинотеатры были переполнены. Фильмов хотя и было не

много, но казалось, что в центре города «Приют скорбящих духом» устроил праздничный бал, который длился до глубокой ночи. В первый вечер Бедствия в аптеке продали двести порций ванильного мороженого, триста порций содовой с шоколадным сиропом. Но нельзя же ведь каждый вечер ходить в кино и покупать лимонад. И что тогда остается? Позвонить теще с тестем и пригласить их поиграть в канасту?

— Ну, от этого, — заметил Уилли, — тоже запросто можно чокнуться.

— Безусловно. Но ведь людям необходимо было выбраться из своих опостылевших жилищ. Пройти через гостиную — все равно что прогуляться по кладбищу: кругом мертвая тишина...

Уилли приподнялся:

— Если уж говорить о тишине...

— На третий день, — поспешно перебил его Антонелли, — мы все еще пребывали в шоке. И спасла нас от неминуемого помешательства некая женщина. Где-то в городе она сначала высунула голову из двери своего дома, исчезла, а через минуту снова показалась во дворике. В одной руке она держала кисть. А в другой...

— Ведерко с краской, — подсказал Уилли.

Все присутствующие закивали и заулыбались, радуясь его сообразительности.

— Если когда-нибудь психологи начнут награждать золотыми медалями, они просто обязаны наградить ту женщину и всех женщин, подобных ей, в каждом маленьком городке, потому что именно они спасли наш мир от светопреставления. Эти женщины инстинктивно нащупали верную дорогу в сгустившихся сумерках и принесли нам чудесное исцеление...

Уилли представил себе сосредоточенных, замкнувших-ся отцов семейств и их хмурых отпрысков, в отчаянии сидящих перед мертвыми телевизорами в ожидании, когда

наконец эти проклятые ящики заработают и можно будет завопить: «Первый мяч!!!» или «Второй удар!!!» И вдруг они пробуждаются от своего забытья, поднимают глаза и в предвечернем сумраке видят эту прекрасную женщину. Она преисполнена великого благородства и нестигаемой целеустремленности; она ждет их, в одной руке сжимаемая малярную кисть, а в другой — ведро с краской. И свет неземной осиял их ланиты и очи...

— Боже мой, это было похоже на лесной пожар, — продолжал Антонелли. — От дома к дому, от города к городу. Всеобщее помешательство на головоломке «Мозаика» в 1932 году можно считать пустяком по сравнению с нашей манией «Каждый делает все», которая взорвала город, оставив от него груды обломков, а затем снова все склеила. Мужчины красили любой предмет, около которого им удавалось простоять хотя бы десять секунд. Повсюду они забирались на колокольни, шпили и заборы, сотнями падали с крыш и стремянок. Женщины красили комоды и шкафы; дети красили игрушки, фургоны и воздушные змеи. И так везде, во всех городках, где люди совсем было разучились раскрывать рот и беседовать друг с другом. Говорю тебе, мужчины ходили как лунатики, кругами, совершенно бессмысленно, пока жены не вкладывали им в руку кисть и не подводили к ближайшей некрашеной стенке.

— Похоже, вы уже всю работу закончили, — сказал Уилли.

— За первую неделю в магазинах трижды кончалась краска. — Антонелли с гордостью посмотрел вокруг. — Разумеется, так долго покраской заниматься невозможно, если, конечно, не начать красить живые изгороди и каждую травинку в отдельности. И теперь, когда чердаки и подвалы тоже вычищены, наша жажда деятельности перекинулась... Короче говоря, женщины опять консервируют фрукты, маринуют помидоры, варят малиновый и клубничный джем. В погребах на полках уже нет места. А еще начали прово-

дить многолюдные богослужения. Создали клубы поклонников боулинга, бейсбола, проводим любительские соревнования по боксу, ну и все такое прочее. Музыкальный магазин продал пятьсот гавайских гитар, двести двенадцать банджо, четыреста шестьдесят флейт и гобоев — это за последние четыре недели! Я сам учусь играть на тромбоне. А вон сидит Мэк, он — на скрипке. Каждый четверг и воскресенье по вечерам оркестр дает концерт. А машинки для домашнего приготовления мороженого идут прямо нарасхват: только на прошлой неделе Берт Тайсон продал двести штук! Двадцать восемь дней, Уилли, Двадцать Восемь Дней, Которые Потрясли Мир!

Уилли Берсингер и Сэмюэл Фиттс сидели задумавшись, пытаясь представить себе, почувствовать это потрясение, пережитое городом, этот сокрушительный удар.

— Двадцать восемь дней парикмахерская переполнена мужчинами, которые бреются по два раза на дню только для того, чтобы сидеть здесь и ждать, когда точно такие же клиенты, как и они, может, что-нибудь расскажут, — говорил Антонелли, наконец-то начавший брить Уилли. — Вспомни, некогда, еще до телевидения, считалось, что парикмахеры чрезвычайно болтливы. Поначалу нам понадобилась целая неделя, чтобы прийти в норму, разогреться, так сказать, счистить ржавчину. Сейчас мы тараторим без умолку; качество, конечно, никудашное, но количество просто поразительно. Да ты и сам слышал весь этот гвалт, когда вошел сюда. Впрочем, все, разумеется, придет в норму, когда мы свыкнемся с великим Бедствием...

— Неужели все именно так называют то, что произошло?

— Безусловно, большинство из нас именно так это и воспринимают, может быть, временно.

Уилли Берсингер тихонько засмеялся и покачал головой:

— Теперь я понимаю, почему, увидев меня, ты не захотел, чтобы я закончил свою лекцию.

«Странно, — подумал Уилли, — что я сразу об этом не догадался. Какие-то четыре недели назад на этот городок обрушилось безмолвие, и оно их изрядно напугало. Из-за пятен на Солнце во всех городах западного мира тишины хватит лет на десять. А тут еще появляюсь я со своей проповедью отшельничества, болтовней о пустыне, безлунных ночах, звездном небе и шепоте песка в руслах пересохших ручьев. Страшно подумать, что могло бы случиться, если бы Антонелли не заткнул мне рот. Скорее всего меня бы обмазали смолой, вываляли в перьях и под улюлюканье горожан вышвырнули прочь».

— Антонелли, — сказал он вслух, — спасибо.

— Не за что, — ответил тот и, взяв ножницы и расческу, спросил: — Как будем стричь? Виски покороче, сзади подлиннее?

— С боков подлиннее, на затылке покороче, — ответил Уилли Берсингер, снова закрывая глаза.

Час спустя Уилли и Сэмюэл опять садились в свой драндулет, который кто-то — друзья так никогда и не узнали кто — помыл и отполировал, куда они были в парикмахерской.

— Пагуба, — Сэмюэл протянул небольшой мешочек золотого песка, — с большой буквы «П».

— Оставь. — Уилли положил руки на руль и задумался. — Давай лучше на эти деньги махнем в Феникс, Тусон, Канзас-Сити. А почему нет? Здесь мы совершенно лишние. И не понадобится до тех пор, пока эти маленькие ящички снова не начнут нести околесицу, петь и плясать. Дураку ясно, если мы останемся здесь, то непременно влипнем в неприятности.

Уилли хмурым взглядом посмотрел на дорогу, уходящую вдаль.

— Жемчужина Востока! Кажется, так он сказал? Ты можешь себе представить этот старый грязный город — Чи-

каго — покрашенным, блестящим и свежим, словно младенец в лучах восходящего солнца? Клянусь всем святым, мы прямо сейчас едем смотреть Чикаго!

Он завел мотор, посмотрел на город.

— Человек выживает, — пробормотал Уилли. — Человек может вынести все. Как жаль, что мы пропустили момент больших перемен. Наверное, это было жестокое время, час испытаний и проверки на прочность. Сэмюэл, я что-то запамятовал, может, ты помнишь? Мы с тобой когда-нибудь смотрели телевизор?

— Я однажды смотрел, как женщина боролась с медведем.

— И кто же победил?

— Хоть убей, не помню. Она...

Но тут джип тронулся, унося с собой Уилли Берсингера и Сэмюэла Фиттса, щегольски постриженных, идеально выбритых и благоухающих одеколоном. На их отполированных ногтях играло солнце. Они проплыли под густыми ярко-зелеными кронами только что политых деревьев, по обсаженным цветами улочкам, мимо желтых, розовых, лиловых, белых домиков и выехали на шоссе, где не было ни единой пылинки.

— Жемчужина Востока, принимай гостей!

Из какого-то двора выскочила собака, надушенная, с завитой на бигуди шерстью, попыталась укусить машину за колесо и залаяла. Она лаяла, пока старатели не скрылись из виду.

БЫТЬ МОЖЕТ, МЫ УЖЕ УХОДИМ...

Странное, неизменное коснулось его шеи, прошлось по крохотным волоскам, пока он просыпался. Не открывая глаз, он вдавил ладони в землю.

То ли мир ворочался во сне, поигрывая древним подкожным огнем?

Или то бизоны выбивают дробь копытами в пыли прерий, в шелестящей траве, накатываясь, как черная буря?

Нет.

Что же это? Что?

Он открыл глаза и стал мальчиком Хо-Ави из племени, названного именем птицы, с холмов, прозванных тенями сов, близ великого моря, в день беспричинного зла.

Хо-Ави смотрел на занавес у входа в шатер, дрожащий, как вспоминающий зиму огромный зверь.

«Скажи мне, — подумал он, — откуда идет этот ужас? Кому несет он смерть?»

Отодвинув занавес, Хо-Ави вышел наружу.

Он двинулся медленно — мальчишка, чьи смуглые скулы походили на грудки летящих птичек. Карие глаза видели небо, полное облаков и духов, в приложенной к уху ладони отдавался гром барабанов войны под ударами пушинок, но великая тайна тянула его к окраине деревни.

Там, говорили легенды, земля разливалась волной до иного моря. От берега до берега столько земли, сколько звезд в ночном небе. Где-то там, вдали, тучи темных бизо-

нов выкашивали под корень траву. А здесь стоял Хо-Ави с холодеющим сердцем, удивляясь, недоумевая, ожидая, боясь.

«И ты?» — спросила тень ястреба.

Хо-Ави обернулся.

Тени рук его деда чертили письма на ветру.

Нет. Руки деда сказали: «Молчи!» Язык Старика мягко оглаживал беззубые десны. Глаза как лужицы, оставшиеся в пересохших руслах глаз, среди истрескавшихся песчаных пустошей лица.

Они стояли на краю рассвета, притянутые неведомым.

Старик последовал примеру мальчика. Прислушались высохшие уши, дрогнули ноздри. Старик так ждал ответного тихого рыка, который скажет им, что это лишь буря грудой валежника обрушится с небес. Но ветер не ответил ему, болтая сам с собой.

«Мы пойдем на Великую Охоту, — показал Старик. — Сегодня, — как уста, говорили руки, — день несмышленных юнцов и дряхлых старцев. Воины не пойдут с ними. Зайчонок и умирающий гриф пойдут вдвоем. Ибо лишь самые юные видят жизнь впереди, и лишь самые старые способны на нее оглянуться; прочие же так заняты жизнью, что не видят ее».

Старик неторопливо огляделся.

Да! Он знал, он был уверен, он не ошибся! Чтобы найти, чтобы увидеть то, что из тьмы, нужны невинность младенца и невинность слепца.

«Пошли!» — приказали дрожащие пальцы.

Маленький кролик и ястреб, прикованный к земле, покинули деревню и вышли в надвигающуюся бурю.

Они обшарили горы, чтобы проверить, не лежат ли камни горами, и так оно и было. Они озирали прерии, но видели лишь ветры, игравшие друг с другом дни напролет, как дети племени. Они находили наконечники стрел, память древних войн.

«Нет, — чертили в небе руки Старика, — люди этого племени и того курят у летних костров, покуда их женщины рубят хворост. Мы слышим свист не их стрел».

И наконец, когда солнце ушло в страну охотников на бизонов, Старик глянул вверх.

«Птицы! — вскричали руки его. — Птицы летят на юг! Кончилось лето!»

«Нет, — ответили пальцы мальчишки, — лето только началось, и я не вижу птиц!»

«Они летят так высоко, — сказали руки Старика, — что лишь слепой может ощутить их полет. Их тени ложатся на сердце, не на землю. Мое сердце чувствует их перелет. Лето уходит. А с ним, видно, и мы. Быть может, мы уже уходим...»

— Нет! — вскрикнул мальчик испуганно. — Куда мы пойдем? Почему? Зачем?

«Кто знает? — откликнулся Старик. — Мы можем не двигаться с места. Но даже не двигаясь, мы, быть может, уйдем».

— Нет! Возвращайтесь! — кричал мальчишка пустому небу, незримым птицам, ясным ветрам. — Останься, лето!

«Бесполезно, — сама собою ответила рука Старика. — Ни ты, ни я, ни наш народ не остановят этих холодов. Погода сменилась, и холод падет на нашу землю до конца веков».

«Но откуда идет он?»

«Оттуда», — указал наконец Старик.

И в сумерках они взгляделись в великие воды, что тянутся на восток до края мира, куда еще никто не заплывал.

«Там», — показал сжатый кулак Старика. Там.

Вдалеке горел на берегу одинокий костер.

Вставала луна, а Старик и малыш тащились по песку, слышали в море странные голоса, вдыхали горький дым приблизившегося костра.

Они подползли и замерли, глядя на свет.

И чем дольше глядел Хо-Ави, тем холоднее становилось ему; и он понял, что Старик прав.

Ибо близ костра, где горели мох и плавник, близ языков огня, трепетавших на вечернем, холодном, несмотря на лето, ветру, сидели создания, невиданные дотоле.

То были люди, чьи лица были как раскаленные угли, а глаза — как синее небо. На щеках и подбородках их росли блестящие волосы. Один из них стоял, сжимая в руке молнию, и на голове его была острозубая луна вроде рыбьей морды. Другие носили на груди яркие, круглые, искристые льдышки, позвякивавшие при ходьбе. Хо-Ави смотрел, как эти люди снимают с голов брнчащие яркие штуки, сбрасывают ослепительные панцири, черепашью броню с торсов, рук, ног и швыряют сброшенные оболочки на песок. И эти создания смеялись, а в море колыхалась на волнах черная тень, как огромное темное каноэ с развешанными над ним ключьями облаков на шестах.

Когда не было больше сил задерживать дыхание, Старик и мальчик ушли.

Они смотрели с холма на костер, что казался не больше звезды. Моргнешь — и он дрогнет. Закроешь глаза — исчезнет.

И останется.

«И это великое дело?» — спросил мальчик.

Лицо Старика исполнилось ужасом лет и нежеланной мудрости, как у павшего на землю орла. Глаза полыхали ясно, точно из глубины их поднималась ледяная чистая вода, в которой отражается все; как река, впивавшая небо и землю, познававшая их, принимавшая молчаливо и позволявшая копить пыль и время, облики, звуки и судьбы.

Он кивнул.

То была буря. Ею кончится лето. От нее летели птицы на юг, не касаясь тенями скорбящей земли.

Морщинистые руки застыли. Время вопросов прошло.

Вдалеке взметнулось ввысь пламя. Один из пришельцев поднялся; блеснула яркая черепашья броня — словно стрела вонзилась в бок ночи.

Мальчик исчез во тьме, следуя за орлом и ястребом, обитавшими в каменеющем теле деда.

А внизу вздыбилось море, метнуло на берег еще одну соленую волну, и, грянувшись о берег, та разлетелась на мириады осколков, зашипевших в песке, — словно тысяча затачиваемых ножей.

ВОТ ТЫ И ДОМА, МОРЯК

- Доброе утро, капитан.
- Доброе утро, Хэнкс.
- Милости просим к столу, сэр. Кофе готов.
- Спасибо, Хэнкс.

Старик сел за камбузный столик и уронил руки на колени. Там, на коленях, они были как две переливчатые форели. Призрачные, будто сотканые из пара его слабого дыхания, две рыбины лениво подрагивали в ледяной прозрачной глубине. Десятилетним мальчишкой ему случалось видеть, как форель поднимается почти к самой поверхности горных ручьев. Едва приметные движения рыб зачаровывали тем больше, что их сверкающая чешуя, если смотреть долго-долго, начинала загадочно бледнеть. Они как бы истаивали на глазах.

— Капитан, — забеспокоился Хэнкс, — с вами все в порядке?

Капитан резко вскинул голову и глянул привычным огненным взглядом.

— Разумеется, в порядке! Станный вопрос!

Дымок поставленной перед ним чашки кофе дразнил воспоминаниями о других ароматах других времен, там плясали неясные лики — полузабытые лица давным-давно минувших женщин.

Ни с того ни с сего старик захлюпал носом, и Хэнкс подскочил с платком.

— Спасибо, Хэнкс.

Капитан как следует высморкался. Затем отхлебнул из чашки в дрожащей руке.

— Слышь, Хэнкс!

— Да, капитан, тут он я.

— А барометр-то падает.

Хэнкс оглянулся на настенный прибор:

— Нет, сэр. Показывает на умеренно ясно. Умеренно ясно, вот что он показывает.

— Собирается буря, и солоно придется, потому как распогодится не скоро, очень не скоро.

— Не нравятся мне такие разговоры, — буркнул Хэнкс, проходя мимо столика.

— Что чувствую, то и говорю. Рано или поздно покою придет конец. Уж так оно устроено, что бури не миновать. Я к ней готов, и с давних пор.

Да, с давних пор. Уж который год... А который именно? Много песка утекло в песочных часах — и не углядишь сколько. Да и снега перепадало немало: на белую простыню одной зимы ложилась новая простынка — и сколько их понаслоилось, без счета. До первых-то зим уже и не дощупаться в памяти.

Он встал и, покачиваясь, доплелся до двери камбуза, открыл ее и шагнул...

...на веранду дома, построенного в виде носовой части корабля. И пол веранды был из просмоленных досок, совсем как палуба на судне. Капитанскому взору предстала не бесконечная водная гладь, а подраскисший от летнего дождя палисадник. Старик подошел к перилам и обежал глазами окрестные холмы — куда ни гляди, все холмы да взгорки, до самого горизонта.

«Зачем я здесь? — вдруг закипело в его сознании. — В этом нелепом доме, в этом корабле без паруса посреди прерий, где волком взвоешь от одиночества, где всех звуков — щебетнет осенью птица, пролетая на юг, да еще раз весной — возвращаясь на север».

Зачем он здесь? Действительно — зачем?

Уняв дрожь, старик поднял бинокль к глазам, чтобы лучше разглядеть не то пустыню перед собой, не то пустыню лет позади.

Ах, Кейт, Катарин, Кейти — где ты, где?

Ночью, утопая в перине, он благополучно забывал. Зато днем память не давала покоя. Он жил один, вот уже двадцать лет как один — если не считать Хэнкса, чье лицо встречало его на заре и провожало на закате.

А Кейт?

Тысячу штормов и тысячу затиший назад был один штиль и одна буря, на веки веков засевшие в его памяти.

Как звонок был его голос тогда, в утреннем порту:

— Вот он, Кейт, гляди! Вот он, корабль-красавец, что унесет нас, куда бы мы ни пожелали!

И они заторопились к причалу — такая немислимо молодая чета! Кейт, чудесной Кейт едва ли было двадцать пять. А ему — за сорок, хорошо за сорок. Но мальчишкой ощущал он себя, когда они с Кейт — рука в руке — подбегали к трапу.

Однако у самого трапа Кейт вдруг замешкалась, вдруг оглянулась на холмы Сан-Франциско и тихо выдохнула, словно для себя самой:

— В последний раз я касаюсь твердой земли.

— Брось ты! Коротенькое путешествие!

— Если бы! — спокойно возразила она. — Я чувствую, путешествие будет долгим-предолгим.

Секунд сколько-то он ничего не слышал, кроме заунывного скрипа корабельных снастей, и ему почудилось, что это шумно ворочается потревоженная во сне Судьба.

— С чего бы это я? — встряхнулась Кейт. — Вздор какой-то!

И смело шагнула на борт корабля.

Той ночью они, недавно обвенчанные, плыли к жарким тихоокеанским островам. Он — бывалый моряк с просо-

ленной и задубевшей кожей. Она — нежно-гибкая и шустрая, как саламандра, что в августовский полдень устраивает пляску на корабельном юте.

Где-то на половине пути судно угодило в штиль. Теплое уютное затишье: паруса поникли, но как-то умиротворенно, бестревожно.

Его разбудил посреди ночи не то последний выдох ветра, не то Кейт, которая прислушивалась к непривычной тишине.

Замолчали корабельные снасти, больше не пели паруса. Да и матросы словно вымерли — где топот голых пяток по палубе? Какое-то заколдованное беззвучие. Будто взошла луна и обронила серебристый приказ для всего сухого под собой: мир и покой!

Капитан и его молоденькая жена поднялись на палубу. Члены команды, словно пригвожденные чарами к местам, где их застало мановение волшебной палочки, не обращали на них внимания. Стоя у самого борта, капитан и его жена всей кожей ощущали, как в их присутствии Сейчас удлинится в Во Веки Веков.

И тогда, будто запросто читая будущее в зеркале моря, где увяз их корабль, Кейт промолвила:

— Не было от века более прекрасной ночи. И не было с сотворения мира двух людей более счастливых, чем мы, и корабля прекраснее этого. Ах, оставаться бы так еще тысячу лет — в этом совершенном мире, где мы хозяева, где мы живем по нами же сотворенным законам. Обещай, что ты не позволишь мне умереть — никогда-никогда.

— Никогда, — решительно отозвался он. — Сказать почему?

— Да, и скажи так, чтобы я поверила.

Ему вдруг вспомнилась одна легенда, и он рассказал ее Кейт.

Жила-была одна прекрасная женщина. И так прекрасна она была, так любя богам, что боги исхитили ее из власти

ненасытного Времени и поместили среди океана, дабы никогда более не коснулась ее нога тверди земной. Ибо земля обременила бы тело женщины силой непомерной тяжести. От зрелища людского тщеславия, от обилия пустых соблазнов и нелепых тревог изнемогла бы ее душа. Но среди волн да живет она вечно — там, и только там, не убудет во веки веков от ее красоты и молодости! И так плавала женщина по хлябям морским годы и годы — временами проплывая на корабле совсем близко от острова, где жил и старел ее возлюбленный. Тогда она принималась кричать что было сил: приди, любимый, и забери меня на берег!.. Возлюбленный слышал ее стенания — и ничего не предпринимал, ибо любил ее и ведал, что берег обозначает для нее гибель молодости и красоты. И вот однажды она решила сама — бросилась в воду и доплыла до берега. Одну только ночь провели они вместе — чудную, чудную ночь... А наутро он увидел, что с рассветом красавица превратилась в древнюю-предревнюю старуху — будто иссохший лист лежал рядом с ним.

— Не знаю, слышал ли я эту историю от кого-то, — сказал капитан. — А может, она еще никем не рассказана — и совершается как раз сейчас и с нами... Вообрази себе, что я нарочно увлек тебя в море — прочь от гвалта больших и малых городов, прочь от автомобильных гудков и суетливых многомиллионных толп, прочь от всего, что изнашивает тело и душу.

Теперь Кейт хохотала. Звонко, громко, запрокинув голову. И матросы, отряхнув сонную одурь, вдруг зашевелились и ответно заулыбались.

— Том, любимый мой Том, разве ты не помнишь, что я сказала на трапе перед отплытием? «В последний раз я касаюсь твердой земли». Как-то само вырвалось. Но я бы еще тогда могла действительно догадаться о том, что ты замыслил! Ладно, твоя взяла — я остаюсь на борту, сколько бы мы ни плыли и куда бы мы ни плыли — хотя бы и на край земли. Стало быть, я уже никогда не постарею, да и ты тоже?

— Мне вечно будет сорок восемь!

И он рассмеялся — довольный тем, что изгнал из своей головы темные мысли. Обнимая Кейт, осыпая поцелуями ее шею, он словно погружался в снежный сугроб посреди августовской жары. Да, в ту знойную нескончаемую ночь в его постели был словно нерастопимый снег...

— Хэнкс, ты помнишь тот штить в августе девяносто седьмого года? — крикнул старик в дом. — Сколько он, бишь, длился?

— Дней девять-десять, сэр.

— Нет, Хэнкс. Могу поклясться, тот штить девяносто седьмого продолжался лет пять, не меньше.

Дней девять или лет десять, разве теперь вспомнишь... Но какое это счастье, Кейт, что я увлек тебя туда, в эти дни или годы, и не смутился тем, как люди пошучивали, будто, прикасаясь к тебе, я тужусь помолодеть. Приятели-капитаны твердили: любовь, она повсюду, ждет в каждом порту, в тени каждого дерева, одинаковая в каждом кабаке, как подогретая кокосовая брага, которую нюхнул, по-быстрому опрокинул в себя и «поплыл». Господи, какое глупое заблуждение! Добро этим жалким забубенным головам перекояться из-за гроша со шлюхами на Борнео и тискать арбузы у потаскух на Суматре — что прочного они создадут в темных вонючих задних комнатухах с этими лихо пляшущими под ними обезьянами? А на возвратном пути домой — с кем они, эти умудренные капитаны? Одни-одинешеньки. Поганая, надо сказать, компания на пути длиной в десять тысяч миль! Нет, Кейт, пусть злые языки измозолятся, а мы будем вместе — вопреки всему.

Да, мертвый штить посреди океана все не кончался и не кончался. Море дышало ровно, нечувствительно, и если где-то существовали исполинские дредноуты-континенты, то они не иначе как разломились и канули в бескрайний океан.

Однако на девятый день команда не вытерпела. Матросы спустили шлюпки на воду и сели в них — в ожидании приказа налечь на весла и буксировать корабль как баржу, ища ветра в море. И капитан в конце концов покорился общей воле.

К концу десятого дня на горизонте медленно восстал остров.

Капитан сказал жене:

— Кейт, мы отправляемся к берегу в шлюпках — пополнить запас провизии. Ты с нами?

Она посмотрела на остров узнающим взглядом, словно видела его когда-то и где-то, еще до своего рождения, и медленно мотнула головой: нет.

— Отправляйтесь. Ноги моей не будет на суше, пока мы не прибудем домой.

Глядя на Кейт, он угадал: она интуитивно действует по букве той легенды, которую он с такой легкостью сплел и так легкомысленно рассказал. Подобно той сказочной красавице, его любимая чувала, что на безлюдном песчаном берегу кораллового рифа таится некое зло, от которого ей будет ущерб, а то и гибель.

— Что ж, Кейт, Господь тебе навстречу. Нас не будет часа три.

И он уплыл вместе с матросами.

Ближе к вечеру они вернулись. С пятью бочонками свежей пресной воды. Из лодок поднимался пряный запах фруктов и цветов.

Кейт терпеливо поджидала на корабле, ибо эта женщина стояла на том, что нога ее больше не коснется суши.

Ей первой дали испить свежей прохладной воды.

Расчесывая волосы перед сном, глядя на едва заметное колыхание волн, она сказала:

— Вот и все. Уже недолго. К утру все переменится. Ах, Том, Том, как это будет трудно — такой холод после такого зноя...

Посреди ночи он проснулся. Рядом в темноте беспокойно ворочалась Кейт и что-то бормотала во сне. Прикосновение ее руки обожгло. Потом она вскрикнула, но не проснулась.

Капитан пощупал ее пульс и прислушался к другому биению — снаружи начиналась буря.

Пока он встревоженно сидел возле Кейт, корабль начал медленно ходить вверх-вниз на высоких волнах. Чары рассеялись: период волшебного покоя завершился.

Одрябшие паруса наполнились жизнью, бодро зашлоупались. Все канаты вдруг зазвучали — словно могучая рука перебирала струны, казалось, навек замолчавшей арфы. Волшебная музыка возобновленного путешествия.

Штиля как не бывало. Свирепствовал шторм.

И, будто одного шторма было мало, внутри его свершилось нечто ураганное.

Лихорадка накинулась на Кейт со свирепостью огненного смерча — испепелила враз. Тот шторм снаружи еще бушевал, а здесь, в каюте, уже воцарились гробовая тишь и вечный покой.

Матрос, обычно чинивший паруса, скроил для Кейт саван, в котором ей предстояло лечь на морское дно. В полумраке каюты иголка в руках матроса летала и посверкивала, будто крохотная тропическая рыбка — узкорылая, узко спинная, неутомимая: ныр-ныр, ныр-ныр, снова и снова тычется рыльцем в холст и вшивает в него тишину.

В последние часы урагана они вынесли на палубу зашитый в белый саван штиль и бросили его в волны, на мгновения разорвав их бег. Да, меньше половины мгновения — и не стало Кейт.

Не стало и его жизни.

— Кейт, Кейт! О Кейт!

Как он мог оставить ее здесь — просто обронить в морские потоки между Японией и Золотыми Воротами? В ту ночь внутри капитана лютвала буря страшнее шторм-

ма, и его собственные рыдания были громче ураганного воя. Позабыв о смертельной опасности, он прилип к рулевому колесу — и все кружил, кружил вокруг того места, где холщовый мешок причинил морю ничтожную ранку, которая затянулась с невероятной скоростью. И вот тогда-то он познал покой — тот самый покой, который остался с ним на всю дальнейшую жизнь. С тех пор он ни разу ни на кого не повысил голос и ни разу ни на кого не сжались у него кулаки. Именно так, спокойным, невыразительным голосом и не потрясая кулаками, капитан наконец-то отдал приказ идти прочь от того рокового места в океане, даже не оцарапанного там, где должна была зиять рана. Ровным голосом командовал он в море во время кругосветных плаваний и в портах при погрузке и разгрузке товаров. Потом с тем же спокойствием в один прекрасный день сошел с корабля и навеки повернулся к морю спиной. Бросив родной корабль томиться в гавани, зажатой зелеными холмами, капитан где пешком, где на колесах все удалялся и удалялся от моря, пока не оказался в двенадцати сотнях миль от него. Там он, словно во сне, купил участок земли. Слово во сне, построил на нем дом — вместе с Хэнксом. Что он купил и что строит — этим он не интересовался очень долго. Одно вертелось в голове: счастье было так быстротечно! Против Кейт он был стариком. Однако он лишился возлюбленной слишком молодым... Впрочем, уж теперь-то он был слишком стар, чтобы надеяться на новое счастье.

Словом, оказался он в месте, где до восточного побережья тысяча миль, до западного — и того больше, и проклял свою жизнь и такое знакомое ему море, ибо помнил не то, что оно ему дало, а то, что оно так стремительно отняло.

И был день, когда он вышел в поле, твердо ступая по твердому, и бросил в землю семена, и стал готовиться к первому урожаю, и стал называть себя фермером.

Но однажды ночью в свое первое фермерское лето, забравшись так далеко от ненавистного моря, как только человек может, он проснулся среди ночи от знакомого шума — и не поверил своим ушам. Он весь затрясся под одеялом и зашептал: «Нет, нет, этого быть не может... Я схожу с ума!.. Но... но ты только послушай!»

Он распахнул дверь своего фермерского дома и вышел на веранду — поглядеть что к чему. Лишь теперь его как обухом ударило: так вот что я, стало быть, сделал — без собственного ведома.

Вцепившись в поручень веранды и смигивая слезы, он молча озирает окрестные поля.

На залитых лунным светом пологих холмах колыхалась пшеница — плескалась пшеница, взблескивая отраженным светом. Вал за валом, как волны в море. Его дом, ставший вдруг кораблем, находился прямехонько посреди великого и безграничного тихого океана колосьев.

Остаток ночи он провел вне дома — перебегая с места на место, все еще ошарашенный своим открытием: море в самом центре континента!

Следующие годы были посвящены переделке дома. Пристроечка здесь, пристроечка там, досочка здесь, планочка там — глядишь, и вышло со временем подобие корабля. И внешне похоже, и по существу, и с тем же чувством надежности в случае лютых ветров и крутых волн.

— Слышь, Хэнкс, как давно мы не видели моря?

— Двадцать лет, капитан.

— Врешь! Мы его видели не далее как сегодня утром.

Капитан вернулся в дом. Сердце тяжело колотилось. Барометр на стене словно тучей заволокло, а по краю век будто молнии змеились.

— Не надо кофе, Хэнкс. Просто глоток чистой воды.

Хэнкс вышел за водой. Когда он вернулся, старик сказал:

— Обещай мне кое-что. Похорони меня там же, где я похоронил ее.

— Но, капитан, она же... — Тут Хэнкс осекся. Потом энергично кивнул: — Стало быть, где она. Хорошо, сэр. Не сомневайтесь, сэр.

— Замечательно. А теперь водицы.

Вода была свежая, ключевая, родом с островов под твердью земной. И с привкусом вечного сна.

— Чашка воды... А ты знаешь, Хэнкс, она была права. Никогда больше не ступать на берег — никогда-никогда. В этом что-то есть. Как права она была! И всего-то я ей дал — чашку воды с суши. Пригоршней воды коснулась суша ее губ, и в этой пригоршне нечистой воды... О, если бы, если бы...

Порыжелая от времени рука всколыхнула воду в чашке. Из ниоткуда вдруг налетел ураган, вздыбил волнами уютный чашечный штиль. Смертоносная буря разыгралась в крохотном сосудце.

Капитан поднял чашку к губам и быстрыми глотками испил ураган до дна.

— Хэнкс! — вскрикнул он.

Нет-нет, это не он вскрикнул, это ураган прощально взревел, уносясь и унося его с собой.

Пустая чашка покатилась по полу.

Стоял довольно ясный день. Воздух был приятно свеж, а ветер приятно крепок. Полночи Хэнкс копал могилу и половину утра закапывал ее. Теперь работа была закончена. Городской священник пособил ему немного, а теперь стоял в стороне и наблюдал, как Хэнкс укладывает поверх зарытой ровень с землей могилы куски прежде срезанного верхнего слоя почвы — с золотыми колосьями зрелой пшеницы ростом с десятилетнего мальчишку. Эти куски, отложенные при рытье, Хэнкс аккуратно пригонял один к одному, как части головоломки.

Наконец он поставил последний и разогнулся. Теперь поле сомкнулось над могилой и казалось нетронутым.

— Хотя бы крест или еще какой знак! — возмутился священник.

— Нет, сэр. Тут никакого знака быть не должно. И не будет.

Священник снова запротестовал, но Хэнкс решительно взял его под руку и повел на вершину взгорка. Там он обернулся и жестом пригласил посмотреть вниз.

Постояли молча. Довольно долго. Затем священник понимающе кивнул и с умиротворенной улыбкой сказал:

— Вижу-вижу. И понимаю.

Под ними колыхался океан пшеницы — волны бежали одна за другой, все на восток да на восток — ни тебе пролысинки, ни тебе выемки, чтобы указать на место, где капитан погрузился в вечный покой.

— Выходит, это погребение по морскому обычаю, — сказал священник.

— По самому что ни на есть морскому, — отозвался Хэнкс. — Я обещал ему. И слово сдержал.

Тут они разом повернулись и зашагали холмистым берегом — и ни словом не перемолвились, пока не дошли до дома, скрипящего на ветру.

ДЕНЬ СМЕРТИ

Утро.

Мальчишка по имени Раймундо неся по Авенида Мадеро. Он бежал сквозь ранний запах ладана, доносившийся из множества церквей, и сквозь запах угля от десятка тысяч жаровен, на которых готовились завтраки. Он двигался среди мыслей о смерти, поскольку этим утром весь Мехико был пропитан мыслями о смерти. Храмы отбрасывали огромные тени, повсюду были женщины в черных траурных платьях, и дым от церковных свечей и жаровен забивал ноздри бегущего мальчика запахом сладкой смерти. Ничего странного — в этот день все мысли были о смерти.

Это был *El Dia de Muerte*, День Смерти.

Во всех уголках страны женщины с фанерных лотков торговали белыми сахарными черепами и марципановыми покойниками, которых следовало жевать и глотать. Во всех храмах шли богослужения, а на всех кладбищах сегодня вечером зажгут свечи и люди будут пить много вина и потом долго петь высокими голосами.

Раймундо бежал и чувствовал, что его наполняет целая вселенная; и то, что рассказывал ему Тию Хорже, и то, что он сам видел за свою жизнь. В этот день будет много интересного, даже в таких далеких местах, как Гуанахуато или озеро Пацкуаро. А здесь, на большой арене для боя быков *trabajandos*, уже сейчас разгребают и ровняют песок, всюю идет торговля билетами, и быки в скрытых от постороннего

взгляда стойлах нервничают, бешено вращают глазами или стоят, как в параличе, в предчувствии смерти.

Тяжелые железные ворота кладбища Гуанахуато были широко распахнуты, чтобы *turistas*, спустившись по длинной винтовой лестнице глубоко под землю, могли попасть в сухие гулкые катакомбы и поглазеть на стоящие вдоль стены мумии, жесткие, как куклы. Сто десять мумий, надежно прикрепленных проволокой к камням, с искаженными гримасой ужаса ртами и высохшими глазами; тела, которые зашуршат, если до них дотронуться.

Жители острова Ханицио на озере Пацкуаро забрасывали в воду большие сети, чтобы они наполнились серебряистой рыбой. Здесь, на острове, который славился огромной каменной статуей отца Морелоса, стоящей на горе, уже начали пить текилу, что открывало празднование Дня Смерти.

В крохотном городке Ленарес грузовик переехал собаку, и шофер не остановился и даже не оглянулся.

Сам Христос был в каждом храме, весь окровавленный и измученный.

А Раймундо, освещенный ноябрьским солнцем, бежал по Авенида Мадеро.

Ах, эти сладкие ужасы! Повсюду в витринах выставлены сахарные черепа с именами на их белоснежных лбах: ХОСЕ, КАРЛОТТА, РАМОНА, ЛУИЗА. Все мыслимые имена на шоколадных мертвых головах и засахаренных костях.

Небо над головой отливало голубой глазурью, а трава казалась ярко-зеленым ковром. В кулачке Раймундо крепко сжимал пятьдесят сентаво — большие деньги, на которые можно было купить массу сладостей, и он обязательно купит и ноги, и череп, и ребра и с удовольствием съест их. Сегодня — день поедания Смерти. Они покажут этой Смерти, да уж, зададут ей жару! Он и *madrecita mia*, он и его братья и сестренки!

В своем воображении мальчик уже видел череп с кармальной надписью: РАЙМУНДО. «Я съем свой собственный череп и обману Смерть, которая вечно стучится в окно каплями дождя или скрипит в петлях старой двери. Обману Смерть, запеченную в пирожок больным пекарем. Смерть, одетую в саван из вкусной маисовой лепешки».

Раймундо казалось, что он прямо-таки слышит, как все это ему рассказывает старый Тио Хорже. Его старший-престарший дядя с лицом кирпичного цвета, который движением пальцев помогает каждому слову вылетать изо рта и который говорит: «Смерть сидит в твоих ноздрях, как курчавые волоски. Смерть растет в твоём животе, как ребенок. Смерть блестит в твоих глазах».

За шатким лотком какая-то старуха со злобным ртом и бусинками в ушах торговала досточками, на которых были изображены миниатюрные похороны: маленький картонный гробик, священник из папье-маше с микроскопической Библией, бумажные служки с орешками вместо голов, клир с хорутвями и леденцово-белый покойник с крохотными глазами в игрушечном гробу. На алтаре за гробом стояла фотография кинозвезды. Эти маленькие похороны на фанерке можно было принести домой, выбросить кинозвезду, а на ее место на алтаре вставить фотографию своего усопшего — чтобы была возможность как бы еще раз похоронить любимого человека.

Раймундо протянул монетку в двадцать сентаво.

— Одну, — сказал он и получил фанерку со сценой погребения.

Тио Хорже говорил:

— Жизнь, Раймундо, — это погоня за вещами. В жизни всегда должно хотеться каких-то вещей. Тебе будет хотеться воды, ты будешь желать женщину, ты будешь хотеть спать; больше всего — спать. Тебе захочется купить нового ослика, сделать новую крышу в своем доме, ты захочешь красивые ботинки, как в стеклянных витринах, и опять

тебе захочется спать. Ты будешь хотеть дождя, ты будешь хотеть спелых фруктов, ты будешь хотеть хорошего мяса; и снова ты захочешь спать. Тебе понадобится лошадь, тебе понадобятся дети, тебе понадобятся драгоценности из огромных сверкающих магазинов на avenida, и — ты, конечно же, помнишь? — в конце концов тебе понадобится сон. Запомни, Раймундо, ты будешь хотеть разных вещей. Жизнь — это такое вот хотение. Тебе будет хотеться вещей до тех пор, пока ты не перестанешь их хотеть, и тогда наступит время, чтобы желать только сна, и сна, и сна. Для каждого из нас наступает такое время, когда сон становится самой великой и прекрасной вещью. И когда уже ничего не хочется, кроме сна, тогда человек начинает думать о Дне мертвых и счастливых усопших. Запомнил, Раймундо?

— Si, Тио Хорже.

— А чего тебе хочется, Раймундо?

— Я не знаю.

— Чего хотят все люди, Раймундо?

— Чего?

— Чего следует хотеть, Раймундо?

— Может быть, я знаю. Ах нет, не знаю, не знаю!

— Зато я знаю, чего ты хочешь, Раймундо.

— Чего?

— Я знаю, чего хотят все люди в этой стране. Этого полно кругом, но этого хотят больше всего, и это превышает всех прочих желаний, этого вожделеют и этому поклоняются, потому что это отдохновение и покой для всех членов и всего тела...

Раймундо зашел в лавку и взял сахарный череп, на котором было написано его имя.

«Ты держишь это в руках, Раймундо, — прошептал Тио Хорже. — Даже в твоём возрасте ты бережно держишь это, откусываешь маленькие кусочки, потом их глотаешь, и они растворяются в твоей крови. У тебя в руках, Раймундо, посмотри!»

Сахарный череп.

«Я вижу собаку на улице. Я веду машину. Я что, торможу? Или убираю ногу с педали? Нет! Прибавляю скорости! Бах! Так-то! Собаке стало хорошо, разве нет? Ушла из этого мира, покинула его навсегда».

Раймундо расплатился и с гордостью засунул свои грязные пальцы внутрь черепа, тем самым снабдив его мозгом с пятью шевелящимися извилинами.

Мальчик вышел из лавки, оглядел залитый солнцем широкий бульвар, по которому неслись ревущие автомобили. Он перевел взгляд и...

Все *banderas* были забиты битком. В *la sombra* и *el sol*, в тени и на солнцепеке, все места гигантской чаши стадиона, где состоится коррида, были заполнены народом до самого неба. Духовой оркестр гремел медью! Ворота раскрыты настежь! Матадоры, пикадоры, *banderilleros* — все вышли или выехали на свежий, ровный песок арены, горячий от яркого солнца. Оркестр грохотал и взрывался маршами, возбужденная публика махала руками, аплодировала и кричала.

Ударили литавры, и музыка оборвалась.

За стенками *bandera* мужчины в обтягивающих блестящих костюмах натягивали береты на лоснящиеся черные волосы, переговариваясь друг с другом, осматривали свои плащи и шпаги, а какой-то человек, перегнувшись сверху через ограждение, шуршал и щелкал наведенным на них фотоаппаратом.

Снова гордо грянул оркестр. Ворота с шумом распахнулись, и на арену выскочил первый огромный черный бык. Его бока тяжело вздымались, и развевались цветастые ленточки, прикрепленные к его загривку. Бык!

Раймундо стремглав мчался по Авенида Мадеро. Он очень ловко лавировал между быстрыми, большими и черными, как быки, автомобилями. Одна гигантская машина взревела и начала сигналить. Раймундито бежал быстро и легко.

Легко, словно танцуя, похожий на голубое перышко, которое порыв ветра несет над песком арены, выбежал banderillero навстречу быку. Бык громоздился перед ним, подобно черной скале. Вот banderillero остановился, встал в позу для броска и топнул ногой. Banderillas подняты, ах! ну же! Мягко-мягко побежали голубые балетные тапочки по гладкому песку, и бык тоже ринулся вперед, но banderillero, приподнявшись на носках, изящно изогнулся, и две пики упали вниз, и бык остановился как вкопанный, издавая не то мычание, не то визг от боли, которую причиняли ему два острия, глубоко впившиеся в загривок. А banderillero, источник его боли, уже исчез. Толпа взревела от восторга!

Ворота кладбища Гуанахуато открылись.

Раймундо стоял не шевелясь, будто примерз к асфальту, а машина надвигалась на него. Вся земля пахла древней смертью и прахом, и все вещи вокруг стремились к смерти либо были охвачены смертью.

Кладбище Гуанахуато заполнили turistas. Массивная деревянная дверь была отперта, и они по шатким ступенькам спустились в катакомбы, где вдоль стены стояли сто десять наводящих ужас, иссохших, сморщенных мертвецов. Выступающие вперед зубы, широко раскрытые глаза, устремленные в пустоту. Обнаженные тела женщин, подобные множеству проволочных каркасов, на которые криво и беспорядочно налипли комья глины. «Мы ставим их в катакомбах, потому что родственники не могут заплатить за погребение», — шептал низкорослый служитель.

У подножия холма, где находится кладбище, что-то похожее на представление жонглеров: идет мужчина, пытаясь удержать на голове какой-то предмет, за ним следует небольшая толпа. Они проходят мимо похоронной лавки под музыку гробовщика, который, набив рот гвоздями, стучит по гробу, как по барабану. Осторожно балансируя, жонглер несет на черной гордой голове обшитую атласом серебри-

стую коробку, до которой он то и дело осторожно дотрагивается, чтобы та не упала. Он шагает с большим достоинством, мягко наступая босыми ногами на булыжники, а за ним плетутся женщины в черных rebosos. В коробке, скрытый от всех взоров, в полной безопасности лежит маленький покойник — его только что умершая дочка.

Похоронная процессия проходит мимо открытых лавок гробовщиков, из которых на всю округу разносится стук молотков и визг пил. Эту процессию в катакомбах поджидают стоящие покойники.

Раймундо выгнул спину, как того, когда он делает vergónica, чтобы надвигающийся автомобиль мог проскочить мимо и зрители воскликнули бы «Ole!». Он улыбнулся во весь рот.

Черная машина нависла над ним, застияя свет, и задела мальчика. Тьма пронзила его насквозь. Наступила ночь...

В церковном дворе на озере Ханицио, под огромной темной статуей отца Морелоса — крошечная тьма, потому что еще ночь. Слышатся только высокие голоса мужчин, чья плоть высохла от вина, мужчин с женскими голосами, но не такими, какие бывают у нежных женщин, нет, это голоса женщин жестоких, пьяных, порывистых, диких и меланхоличных. На темной глади озера появляются огоньки — с того берега плывут индейские лодки, на которых из Мехико едут туристы, чтобы посмотреть церемонию El Día de Muerte. Лодки скользят в тумане по черному озеру, люди в них дрожат от холода и кутаются в пледы.

Восходит солнце.

Христос пошевелился.

Он опустил руку с распятия, потом поднял ее и вдруг — помахал.

Горячее солнце вспыхнуло, рассыпавшись искрами, как золотой взрыв, из-за высокой колокольни в Гвадалахаре и высокого распятия, покачивающегося под порывами ветра. Если бы Христос посмотрел своими добрыми, теплы-

ми глазами вниз — а именно это он и сделал в данный момент, — он увидел бы две тысячи зрителей, запрокинувших вверх головы: как будто множество дынь рассыпалось по рыночной площади; увидел бы тысячу поднятых рук, загораживающих от солнца напряженные и любопытные глаза.

Подул небольшой ветерок, и крест на колокольне качнулся и чуть подался вперед.

Христос помахал рукой. Те, кто стоял внизу на площади, помахали в ответ. Кто-то вскрикнул в толпе. Автомобилей на улицах не было. На площади пахло свежескошенной травой и ладаном из дверей церкви. Было одиннадцать часов жаркого зеленого воскресного утра.

Затем Христос опустил вторую руку, помахал ею и неожиданно, оторвавшись от креста, перевернулся и повис на ногах, головой вниз. На лицо ему упал маленький серебряный медальон, висевший у него на смуглой шее.

— Ole! Ole! — закричал где-то далеко внизу мальчуган, показывая пальцем сначала на него, а потом на себя. — Вы видите, видите? Это Гомес, мой брат!

И мальчик, держа в руке шляпу, начал обходить толпу и собирать деньги.

Раймундо, лежащий на асфальте, пошевелился, закрыл глаза и вскрикнул. И снова провалился во тьму.

Туристы вылезли из лодок и сонно бредут по ночному острову Ханицио. На сумрачных улицах, как туман с озера, развешаны огромные сети, а на лотках поблескивают горы пойманной сегодня серебристой рыбы. Лунный свет играет на ее чешуе.

В ветхой церкви на вершине пологого холма стоит Христос, сильно источенный термитами, хотя кровь все еще обильно течет из его живописных ран, и минет еще не один год, пока маска страдания на его лице будет полностью съедена насекомыми.

Подле церкви сидит чахоточная женщина, время от времени заходящаяся в кашле, и помахивает сорванными ипо-

меями над пламенем шести свечей. Цветы, проходя сквозь огонь, испускают нежный, возбуждающий запах. Движущиеся мимо туристы останавливаются рядом и стоят, глядя вниз. Им хочется спросить, что делает здесь женщина, сидя на могиле мужа, однако они молчат.

В церкви, словно смола на прекрасном дереве, на теле Христа, вырезанном из плоти красивых заморских деревьев, выступает сладкая священная камедь и висит мелкими дождевыми каплями, которые никогда не упадут, — кровь, пеленающая его наготу.

«Ole!» — вопит толпа.

Опять яркий солнечный свет. Что-то давит на Раймундо. Машина, свет, боль!

На коне, обвязанном толстыми матами, выехал пикадор и ударил быка сапогом по плечу, одновременно всадив туда длинное древко с тонким острым шипом на конце. Пикадор тут же исчез. Заиграла музыка. Вперед медленно выходил матадор.

Бык стоял, выставив одну ногу, в центре залитого солнцем круга. Все его чувства были напряжены. В глазах тускло поблескивали одновременно страх и ненависть. Его нервы были на пределе, но он нервничал все больше и больше, и это только приближало развязку. Из распоротого плеча лилась кровь, шесть *banderillas*, впившиеся в спину, позвякивали, ударяясь друг о друга.

Матадор очень тщательно, никуда не торопясь, прикрыл шпагу плащом. Зрители и вздрагивающий бык терпеливо ждали.

Бык ничего не знал, ничего не понимал. Бык не желал ничего видеть и понимать. Мир — это боль, мелькание теней и света да усталость. Бык стоял и ждал, когда его убьют. Он был бы только рад побыстрее прекратить всю эту путаницу, мельтешение силуэтов, размахивание предательскими плащами, лживый гром фанфар и фальшивый бой.

Бык шевельнулся, пошире расставил ноги и остался в прежней позе, медленно поводя головой из стороны в сторону. Глаза его подернулись мутной пленкой, по задним ногам текли зеленоватые экскременты, кровь, пульсируя, лениво струилась из шеи. Где-то вдалеке, на краю зрения, человек выставил перед собой блестящую шпагу. Бык не шевельнулся. Шпага, которую держит улыбающийся человек, трижды коротко чиркнула под носом у ослепшего быка — раз-раз-раз!

Толпа взвыла от восторга.

Бык не двинулся с места и даже не вздрогнул. Кровь струей полилась из сопящих разрезанных ноздрей.

Матадор топнул ногой.

С обреченной покорностью бык побежал навстречу врагу. Шпага пронзила его шею. Бык зашатался, упал с глухим шумом, дернул ногой, замер.

«Ole!» — взвыла толпа. Оркестр грянул финальный туш!

Раймундо почувствовал, как его ударила машина. В глазах замелькали черно-белые вспышки.

В церковном дворе Ханицио над двумя сотнями каменных могил горели двести свечей, пели мужчины, туристы внимательно наблюдали за происходящим, с озера поднимался туман.

В Гуанахуато вовсю светит солнце! Пробиваясь в катакомбы сквозь щель в потолке, солнечный луч падает на карие глаза женщины, стоящей со скрещенными руками и широко раскрытым ртом. Туристы трогают ее и шелкают по ней пальцами, как по барабану.

«Ole!» Матадор обошел по кругу арену, держа высоко над головой свой маленький черный берет. Хлынул ливень. Сверху посыпались монеты, кошельки, ботинки, шляпы. Матадор стоял под этим дождем с миниатюрным беретом вместо зонтика!

Подбежал человек с отрезанным ухом убитого быка. Матадор показал его зрителям. Когда он делал круг почета, пу-

блика бросала на арену свои шляпы и деньги. Однако большие пальцы были опущены вниз, и, хотя крики выражали удовлетворение, толпа была недовольна тем, что он принял отрезанное ухо. Пальцы опущены. Не оглядываясь, матадор пожал плечами и с силой швырнул ухо о песок. Окровавленное ухо лежало на арене, а толпа, обрадованная тем, что матадор его выбросил, поскольку не так уж хорошо он провел бой, возликовала. На арену выскочили уборщики, прицепили поверженного быка к упряжке лошадей, которые шарахались и испуганно свистели ноздрями, почуяв запах свежей крови и оглохнув от криков зрителей. Лошади рванули и потащили мертвую тушу за собой, оставляя в песке борозды от рогов быка и капли крови.

Раймундо почувствовал, как сахарный череп выскользнул у него из руки. Погребение на деревянной дощечке тоже выпало из другой его откинутой руки.

Бах! Бык ударился о баггега и отскочил от ограждения, а лошади с диким ржанием скрылись в туннеле.

Какой-то человек подбежал к баггега, где сидел сеньор Виллалта, протянул вверх *banderillas* с острыми наконечниками, измазанными кровью и плотью быка. «*Gracias!*» Виллалта бросил вниз песо, гордо взял *banderillas*, на которых развевались маленькие оранжевые и голубые креповые ленточки, и изящно, как музыкальные инструменты, преподнес их жене и друзьям, курившим сигары.

Христос пошевелился.

Толпа смотрела вверх на покачивающийся крест колокольни.

Христос сделал стойку на руках, подняв ноги к небу!

Маленький мальчик бегал в толпе. «Видите моего брата? Платите! Это мой брат! Платите!»

Теперь Христос висел, ухватившись одной рукой за колеблющийся крест. Под ним раскинулся весь город Гвадалахара, очень красивый и очень спокойный в воскресенье. «Сегодня я заработаю много денег», — думал он.

Крест пошатнулся, и его рука соскользнула. В толпе раздался крик.

Христос упал.

Христос умирает ежечасно. Его можно видеть вырезанным из дерева и высеченным из камня в десятках тысяч скорбных мест. Он возводит глаза к высоким пыльным небесам десятков тысяч храмов, и при этом всегда много крови, ах, сколько крови.

«Видите! — сказал сеньор Виллалта. — Видите!» Он подносил *banderillas* к красным и потным лицам своих друзей.

За ним бежали дети, смеялись, хватали за одежду, а матадор раз за разом обходил арену под непрекращающимся градом монеток и шляп.

Лодки с туристами уже плывут назад по предрассветно-бледному озеру Пацкуаро. Ханицио остался позади, свечи догорели, кладбище опустело, сорванные цветы выброшены и завяли. Лодки причаливают, туристы сходят на берег. Их встречает новый день, а в гостинице, построенной на самом берегу озера, их поджидает огромный серебряный кофейник; от него с тихим шелотом поднимается пар, словно последние клочья озерного тумана, и растворяется в теплом воздухе ресторана. Приятно позванивают тарелки и вилки, слышится приглушенный шум светской беседы. Веки тяжелеют, и кофе допивается уже в полудреме, в предвкушении мягкой подушки. Двери закрываются. Туристы засыпают на влажных от тумана подушках, завернувшись в пропитанные туманом простыни, как в саваны.

В Гуанахуато ворота заперты, исчезли жесткие кошмары. Винтовую лестницу вынули, она лежит на ноябрьском припеке. Лает собака. Ветер треплет мертвые ипомеи. Захлопывается большая дверь над спуском в катакомбы. Высушенные люди убраны.

Оркестр исполняет последнюю триумфальную мелодию, и *banderas* пустеют. Выйдя со стадиона, люди проходят вдоль рядов нищих с гноящимися глазами, которые поют

высокими-высокими голосами; внизу, на арене, кровавые следы последнего быка засыпают песком, и песок разравнивают люди с граблями. Матадор моется в душе, и его по мокрым ягодицам шлепает человек, который благодаря ему сегодня выиграл деньги.

В ослепительном свете упал Раймундо, упал Христос. Раймундо коснулся земли, Христос коснулся земли, но они не узнали об этом.

Похороны на фанерке разбились вдребезги. Сахарный череп отлетел далеко в водосточный желоб и разбился на три десятка белоснежных кусочков.

Мальчик, Христос, лежал тихо.

«Ах», — сказала толпа.

«РАЙМУНДО», — сказали кусочки сахарного черепа, рассыпавшиеся по земле.

А кусочки сахарного черепа с буквами Р, и А, и Й, и М, и У, и Н, и Д, и О были подобраны, расхватаны и съедены детьми, которые дрались за каждую часть имени.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЖЕНЩИНА

Когда новый пациент приходит в кабинет, впервые растягивается на кушетке и начинает пышный парад своих свободных ассоциаций, опытный психоаналитик обязан для начала определить, какими частями тела его собеседник касается поверхности кушетки.

Другими словами, определить точки соприкосновения пациента с реальностью.

От некоторых создается впечатление, что они всей своей анатомией парят в дюйме над кушеткой. Такие не бывали на твердой почве так давно, что у них развилось что-то вроде морской болезни.

Есть другой тип. Эти на дружеской ноге с силой земного притяжения: ложатся с такой основательностью, так плотно притирают себя к реальности, ворочаясь и пристраиваясь, что после их ухода в мягкости кушетки надолго остается отпечаток.

Случай с Эммой Флит совсем особенный. Когда она возлегла перед креслом доктора Джорджа С. Джорджа, тот долгое время не мог понять, где кончается пациентка и где начинается кушетка.

Потому что своими размерами Эмма Флит могла бы поспорничать не только с кушеткой, но и со стоящим рядом трехстворчатым шкафом.

Сердце обливалось кровью при виде того, как эта женщина самостоятельно преодолевает двери, тогда как с плат-

формой, лебедкой и бригадой рабочих процесс был бы и короче, и эстетичнее.

Когда она продвигалась через комнату, половицы прогибались под ней, как чешуя огромной рыбы.

Доктор Джордж не мог сдержать новый сочувственный вздох, прикинув в уме, что эта гора мяса должна весить по меньшей мере четыреста фунтов.

Будто прочитав его мысль, Эмма Флит улыбнулась.

— Если быть точной, я вешу четыреста два фунта, — сказала она.

Тем временем доктор Джордж перевел сочувственный взгляд на кушетку.

— О, не беспокойтесь, — опять интуитивно угадала миссис Флит. — Кровать выдержит.

И она села на кушетку.

Та коротко тявкнула, как собака под рухнувшей на нее стеной.

Доктор Джордж откашлялся.

— Прежде чем вы удобно расположитесь, я должен предупредить вас без промедления и со всей честностью, что мы, специалисты-психоаналитики, не гарантируем ощутимых успехов в области лечения патологического аппетита. До настоящего времени проблема излишнего веса и злоупотребления пищей ускользает от разрешения с помощью психоанализа. Признание странное с моей стороны, однако я не хочу излишней деликатностью вводить вас в заблуждение и в бессмысленные расходы. Если вы надеетесь, что я помогу вам сбросить вес, то вы обратились не по адресу.

— Спасибо за откровенность, доктор, — сказала Эмма Флит. — Однако я мечтаю не похудеть, а поправиться. И надеюсь, что вы поможете мне прибавить еще фунтов сто или двести.

— О-о, нет! — воскликнул доктор Джордж.

— О-о, да! Вот только мое сердце, увы, препятствует тому, чего так страстно желает душа. Я хочу сказать: то серд-

це, которое любит, мечтает прибавить еще двести фунтов, но другое сердце, анатомическое, не выдерживает.

Она горестно вздохнула. А кушетка под ней горестно охнула.

— Позвольте мне коротко ввести вас в курс дела. Я замужем за Уилли Флитом. Мы работаем в странствующей труппе, которая называется «Шоу Диллбека и Хорсманна». Мое цирковое имя — Леди Меня-Много. А Уилли...

Поднявшись с кушетки, как вулкан из моря, она проплыла через комнату, догоняя свою исполинскую тень, и распахнула дверь.

В приемной, как раз напротив двери, с тросточкой в одной руке и с соломенной шляпой в другой, держа спину по-армейски прямо, сидел худощавый мужчина крохотного росточка с маленькими изящными ручками и скучающе разглядывал обои маленькими ярко-голубыми глазками. В нем едва ли было три фута роста, и на полных шестьдесят фунтов он тянул разве что в мокрой одежде после дождя. Однако маленький подбородок выразительного личика был с достоинством вскинут, а в глазах полыхали гордыня и страсть, наводившие на мысль о неистовой гениальности.

— Это мой Уилли Флит, — с нежностью в голосе сказала Эмма и прикрыла дверь.

Кушетка опять вскрикнула под ней.

Лучистым взглядом Эмма безмятежно смотрела на ошарашенного психоаналитика, который никак не мог прийти в себя.

— Я так понимаю, детей у вас нет? — машинально спросил он.

— Детей нет, — сказала Эмма Флит, продолжая счастливо улыбаться. — Однако наша беда также и не в этом. В сущности, Уилли и есть мой ребенок. И я ему не только жена, но и в некотором отношении мать. Наверное, это отчасти связано с нашими размерами. Однако мы как бы уравниваем друг друга и живем в полной гармонии.

— Хорошо. Если ваша проблема не в отсутствии детей, и не в излишке веса, и не в разнице габаритов — тогда в чем же?

Эмма Флит тихонько рассмеялась. В ее приятном смехе не было и следа раздражения. Казалось, внутри массивного тела с жирной шеей спрятана субтильная девчушка со звонким горлом.

— Потерпите, доктор. Следует ли мне начать с самого начала и поведать, как мы с Уилли познакомились?

Доктор пожал плечами, усмехнулся про себя, кивнул и внутренне расслабился, приготовившись к долгому рассказу.

— Старшекласницей я весила сто восемьдесят фунтов. А к двадцати одному году тянула уже на все двести пятьдесят. Как вы можете догадаться, подружки редко брали меня с собой на загородные пикники. Когда предстояла прогулка на природе, я заранее знала, что мне суждено в гордом одиночестве куковать в городе.

С другой стороны, у меня было много подружек, любивших бывать со мной на людях. Почти все они весили под сто пятьдесят фунтов, однако на моем фоне казались худышками. Впрочем, это драма давно минувших дней. Теперь я несколько не стыжусь своего веса. Встреча с Уилли полностью изменила мою жизнь.

— По всему видно, ваш Уилли — примечательная личность, — вырвалось у доктора Джорджа, хотя подобный комментарий был против правил.

— О да! Он замечательный! В нем скрыто тлеют великие способности — у него огромный талант, пока непризнанный и неведомый миру! — ласковой скороговоркой произнесла Эмма Флит. — Он ворвался в мою жизнь подобно летнему урагану — да благословит его Господь! Восемь лет назад я была с подружкой на карнавале в День труда. К концу вечера я осталась одна-одинешенька среди редящей толпы, потому что парни, весело проносясь

мимо, подхватывали то одну, то другую из моих подружек и уводили их прочь, в темноту. И вот брожу я неприкаянно, теребя в руках свою сумочку — дешевая подделка под крокодиловую кожу, — и действую на нервы парню с весами под табличкой: «Узнайте свой вес!», потому что, проходя мимо, я каждый раз делаю задумчивое лицо, словно собираюсь вынуть монетку и взвеситься.

Но, как оказалось, я не раздражала парня с весами. Со всем наоборот. Пройдя мимо него раза три, я вдруг заметила, что он таращится на меня с почтительным любопытством, да что там с любопытством — с восхищением! И догадайтесь, кто был этот парень с весами? Разумеется, Уилли Флит. Когда я проплывала мимо весов в четвертый раз, он окликнул меня и обещал призовую игрушку, если я доставлю ему удовольствие и взвешусь. Когда я согласилась и подошла, он весь покраснелся от возбуждения. Он так и пританцовывал возле меня. Прямо не знал, с какой стороны забежать и как мне получше угодить. За всю мою прежнюю жизнь не было случая, чтобы кто-нибудь так ласково суетился вокруг меня. Щеки у меня вспыхнули, но я чувствовала себя на седьмом небе. Наконец я уселась на стул весов. Уилли чем-то там пошелкал, и я услышала, как он присвистнул — в полном восторге.

«Двести восемьдесят фунтов! — закричал он. — Ох ты, ах ты, до чего же вы прекрасны!»

«Я... Как вы сказали?»

«Вы самая прекрасная девушка во всем мире!» — заявил Уилли, глядя мне прямо в глаза.

Я снова покраснела до самых ушей. И рассмеялась. Мы оба хохотали. А потом я, наверное, расплакалась — сама не помню как. Опомнилась, когда почувствовала на своем локте ласковое, утешающее прикосновение его руки. Он растревоженно заглядывал мне в глаза.

«Извините, я сказал что-нибудь не то?»

«Наоборот. — Я в последний раз всхлипнула и успокоилась. — Вы сказали именно правильную вещь. Но это впервые в моей жизни, когда...»

«Когда что?» — спросил Уилли.

«Вы первый отнеслись по-доброму к тому, что я такая жирная».

«Но вы не жирная! — воскликнул он. — Вы крупная, вы большая, вы прекрасная. Микеланджело был бы от вас в восторге. Тициан вас бы обожал. Леонардо да Винчи стал бы вашим покорным рабом. В эпоху Возрождения люди были умнее. Они умели ценить размер, размах, ширь. Везде и во всем. И я их понимаю. Я с ними целиком и полностью согласен. Мне ли не ценить размер! Поглядите на меня: я шесть сезонов путешествовал по стране с трупной карликов Сингера, и мой сценический псевдоним — Джек Наперсток. Ах ты господи, вы же, милая леди, как будто сошли с самой прекрасной картины эпохи Возрождения! Архитектор Бернини, воздвигший эти неохватные колонны алтаря и колоннады собора Святого Петра, он бы черту продал свою вечную душу за один взгляд на вас!»

«О нет! — вскричала я. — Мне не судьба быть такой счастливой. Когда вы умолкнете, я умру от горя».

«В таком случае, — сказал он, — я не стану останавливаться, мисс...»

«Эмма Герц».

«Эмма, — спросил он, — вы замужем?»

«Смеетесь?»

«Эмма, вы любите путешествовать?»

«Я никогда в жизни не путешествовала».

«Эмма, — сказал он, — карнавальные представления в вашем городе продлятся еще неделю, и все это время наша трупка будет здесь. Было бы здорово, если бы вы приходили сюда каждый день и каждый вечер. Мы будем беседовать, познакомимся поближе. И как знать — быть может, в итоге вы решитесь уехать вместе со мной».

«Как мне понимать ваше предложение?» — сказала я.

Ни гнева, ни раздражения я не испытывала. Просто была приятно поражена и заинтригована тем, что кому-то вообще вздумалось что-то предлагать мне — киту на двух ногах.

«Я имею в виду брак!» Задыхаясь от волнения, Уилли Флит не сводил с меня глаз.

И я вдруг представила его в костюмчике альпиниста, с альпенштоком в руке, в альпийской шляпе с пером и с мотком веревки на детском плечике. Идет покорять гору. И если бы я спросила его: «Зачем тебе это?» — возможно, я не добилась бы иного ответа, кроме: «Потому что ты существуешь».

Но я не спросила, и ему не пришлось подыскивать ответ. Мы еще долго стояли друг против друга посреди карнавальная ярмарки, прежде чем я пошла прочь — слегка покачиваясь.

«Ой, я пьяная! — закричала я. — Я совсем пьяная, а ведь ничегошеньки не пила!»

«Теперь, когда я тебя наконец нашел, — прокричал мне вслед Уилли Флит, — не вздумай исчезнуть! Не смей!»

Уж не помню, как я нашла дорогу домой — я была как слепая, у меня в голове все кругом шло от его хороших мужских слов, пусть и произнесенных тонким женским голоском.

Не прошло и недели, как мы стали мужем и женой.

Эмма Флит помолчала, смущенно разглядывая свои руки.

— Вам не будет скучно, доктор, если я расскажу о нашем медовом месяце? — застенчиво осведомилась она.

— Нет, — мгновенно отозвался доктор Джордж. Затем, устыдившись своего неприкрытого и отнюдь не врачебного любопытства, добавил менее горячим тоном: — Пожалуйста, продолжайте.

— Наш медовый месяц... Его нельзя назвать обычным.

Брови доктора слегка подпрыгнули вверх. Он невольно перевел взгляд с лежащей на кушетке Эммы Флит на дверь в приемную, где сидел крошечный сколок Эдмунда Хиллари, славного покорителя Эвереста.

— О, вы представить себе не можете, с каким страстным нетерпением Уилли увлек меня в свой будто кукольный домик, состоявший из одной небольшой комнаты с крохотным оконцем. Теперь эта комнатка стала и моей. Уилли — всегда спокойный и добрый, всегда деликатный, всегда истинный джентльмен. И когда мы оказались в его домике, он себе не изменил. Он самым вежливым образом попросил меня дать ему мою блузку. Я ее сняла и протянула в его маленькие изящные ручки. Тогда он попросил юбку, и я подчинилась. И так он перечислял предметы моей одежды, пока я не оказалась... Не знаю, можно ли покраснеть с головы до ног, но мне тогда показалось, что я покраснела от макушки до пят. Я была в центре комнаты, как огромный костер, и полыхала, то бледнея всем телом, то снова краснея, то снова бледнея.

«Боже! — вскричал Уилли. — Словно распустился огромный бутон самой прекрасной на свете камелии!»

И при этих его словах я снова зарумянилась от стыда от макушки до пят, и новые волны огня и холода покатались у меня по телу, но было чрезвычайно отраднo чувствовать, как моя кожа вызывает в Уилли упоение восторга. И что, по-вашему, Уилли сделал потом? Догадайтесь!

- Я не смею, — сказал доктор и вдруг сам зарделся.
- Он обошел вокруг меня — раз, другой, третий.
- То есть он кружил вокруг вас?

— Да, словно скульптор вокруг глыбы белоснежного мрамора, с которой ему предстоит работать. Он так и называл меня — глыбой гранита или мрамора, из которой можно создать произведение искусства невиданной красоты. И он все кружил и кружил вокруг меня, торжествуя ахая и охая, потирая руки, сверкая глазками и довольно пока-

чивая головой, не в силах нарадоваться на свое счастье. Казалось, он прикидывал, с какого места начать. Откуда, откуда же начать?

И вот он наконец обрел речь и спросил меня:

«Эмма, знаешь ли ты, почему я столько лет ездил с лилипутами и, в дополнение к главной работе — куплетам и танцам, — занимался тем, что взвешивал людей на ярмарках? Я отвечу тебе. Потому что всю свою взрослую жизнь я искал кого-нибудь вроде тебя. Вечер за вечером, лето за летом я видел перед собой, как прыгает и скачет стрелка моих весов. Но я был капризен. Я ждал подлинной удачи. И дождался. Теперь у меня есть ты, а вместе с тобой — и возможность выразить мой гений. Ты — мой холст, ты — голая белая стена собора, которую должно украсить роскошной фреской!»

Он захлебнулся от чувств и молча взирал на меня блестящими глазами.

«Эмма, — сказал он наконец нежнейшим голосом, — могу ли я делать с тобой все, что мне захочется? Могу ли я полностью располагать тобой?»

«Ах, Уилли, — вскричала я. — Делай со мной все, что хочешь, Уилли! Я твоя!»

Эмма Флит замолчала.

Доктор давным-давно сдвинулся на самый край своего кресла и весь подался вперед. Теперь он быстро выдохнул:

— Ну-ну, и дальше?

— А дальше он вынул из шкафчика все свои коробочки, бутылочки с чернилами, трафареты и сверкающие серебряные татуировочные иглы.

— Тату... Татуировочные иглы?

Доктор Джордж ошарашенно отъехал в глубину своего кресла:

— Он вас... татуировал?

— Да, он меня татуировал.

— Выходит, он мастер татуировки? Художник по телу?

— Да-да, вы употребили правильное слово: художник! Но так Уилли предначертано талантом, что холстом ему служит человеческое тело.

— Стало быть, вы, — медленно произнес доктор, — стали тем холстом, который он искал с юности?

— Да, я стала тем холстом, который он искал всю свою жизнь.

Миссис Флит сделала паузу, дабы психоаналитик как следует осознал суть произнесенного. И тот действительно, хотя и не сразу, не без заметного усилия, но проникся.

Эмма продолжила свой рассказ не раньше чем убедилась по игре чувств на лице доктора, что сказанное ею достигло самого дна его души и вызвало там громкий всплеск эмоций.

— И с тех пор началась упоительная жизнь! Я души не чаяла в Уилли, а Уилли души не чаял во мне, и мы оба любили то, что было выше нас и чем мы занимались вместе. Мы были заняты созданием самой грандиозной картины в мире — такой, что свет еще не видел! «Мы достигнем полнейшего совершенства!» — восклицал Уилли. «Мы достигнем полнейшего совершенства!» — вторила я ему.

Ах, каким счастливым было то время! Мы провели за работой десять тысяч беспечальных светлых часов. Вы представить себе не можете, до чего я была горда своей ролью неоглядного берега, о который плещутся волны всех красок таланта Уилли Флита!

Год мы трудились над моими руками — сперва над правой, затем над левой. Полгода ушло на мою правую ногу и целых восемь месяцев — на левую. И это была только подготовка к грядущему буйству деталей и красок: мы начали кропотливый труд над спиной — от затылка к лопаткам и ниже, ниже, пока не сомкнули края картины на бедрах. И тогда мы перешли на переднюю часть тела: ярмарочные карусели и взрывы шутих соседствовали там с обнаженными красавицами Тициана, с умиротворяющими пейза-

жами Джорджоне и миниатюрными копиями картин великого Эль Греко.

Видит небо, не было и не будет на свете любви, подобной нашей! Любви двух существ, в едином порыве посвятивших себя одному делу — подарить миру совершенное произведение искусства. Мы и минуты не могли провести друг без друга, купались в общении друг с другом — и я все толстела и толстела, и у Уилли это ничего не вызывало, кроме искренней и буйной радости. С каждым лишним фунтом увеличивалась площадь холста, который предстояло заполнить искрометной фантазии художника.

Мы упивались этим временем, ибо смутно чувствовали, что с окончанием шедевра что-то уйдет из нашей жизни — карнавальные огни нескончаемого праздника поневоле померкнут. Правда, завершив титанический труд, Уилли получит возможность бросить труппу лилипутов и больше не выступать с куплетами в ярмарочных балаганах, ибо мы сможем выставлять меня в Музее искусства в Чикаго, в лучших собраниях Вашингтона и Нью-Йорка, в Лувре и лондонской галерее Тейта. Всю оставшуюся жизнь мы будем путешествовать по свету и ни о чем не печалиться!

И так мы трудились, год за годом. Окружающий мир был нам не нужен, ибо нам хватало друг друга. Днем мы зарабатывали на хлеб — каждый своей прежней работой. Зато по вечерам начиналось пиршество истинного труда — до самой полуночи. Сегодня Уилли корпит над моей лодыжкой, завтра над локтем, а послезавтра оживляет белые пустыни крестца. Уилли редко позволял мне любоваться его трудом. Он не любил, когда во время работы ему заглядывают через плечо. Хотя мне для этого порой пришлось бы заглядывать через свое плечо. Иногда мне приходилось проводить месяцы в мучительном ожидании, прежде чем он разрешал оценить новую работу, кропотливо созданную дюйм за дюймом на протяжении бесконечной череды

вечеров, когда я утопала в волнах его вдохновения, покада он расцветчивал меня всеми цветами радуги.

Восемь лет это продолжалось — восемь чудесных, незабываемых лет! И вот наступил день, когда работа завершилась. Уилли упал как подкошенный на постель и проспал сорок восемь часов подряд. И я, тоже обессиленная, спала рядом — мамонт рядом с черным ягненокком.

Это случилось всего лишь четыре недели назад. Да, четыре коротких недели назад нашему счастью пришел конец!

— Так-так, ясно, — изрек доктор Джордж. — Вы с мужем страдаете тяжелой формой посткреативной депрессии типа «тоски по животу» — стресса, который мать испытывает после рождения ребенка. Ваша многолетняя работа закончена. И, как после завершения всякого вдохновенного труда, наступает период апатии, которая частенько сопровождается необъяснимой грустью. Но теперь вам следует сосредоточить внимание на тех наградах, что окупят долгие титанические усилия. Итак, вы отправляетесь в кругосветное турне?

— Нет, — полувсхлипнула Эмма Флит, и слезы заструились из ее глаз. — Какое турне, если Уилли может сбежать буквально в любой момент! Он уже начал убегать и слоняться по городу. Вчера я застала его в кладовке — он протирал и смазывал свои старые весы. А сегодня утром я застала его с этими весами на ярмарке — впервые за восемь лет он сидел под табличкой: «Узнайте свой вес!».

— Батюшки! — воскликнул психиатр. — Неужели он...

— Да, он взвешивает на ярмарке женщин. Он ищет новое полотно! Он ничего не говорит, но я знаю, знаю! На этот раз он отыщет женщину еще крупнее — пятисот- или даже шестисотфунтовую! Я нутром почуяла эту опасность еще месяц назад, буквально сразу после окончания нашего шедевра. Поэтому я стала есть еще больше и толстеть на глазах. От этого на коже появились растяжки, которые исказили некоторые пропорции, а кое-где появились

новые свободные пространства, которые нуждались в заполнении. Таким образом, Уилли был вынужден тут поправить, там прибавить — и это заняло его на некоторое время. Но теперь я выдохлась, поправиться больше я уже не в силах. И нигде на моем теле — от щиколоток до кадыка — нет и миллионной доли дюйма, куда бы можно было врисовать еще одного демона, или дервиша, или барочного ангелочка. И мое сердце лопнет, если я прибавлю еще хотя бы фунт веса. Больше никакого шанса. Для Уилли я безнадежно использованный материал. Я боюсь, что моему мужу, если он проживет долго, придется жениться еще раз четыре — и всякий раз на более объемной особе, дабы иметь еще больше простора для своего крепнущего таланта, пока он не создаст шедевр шедевров исполинского размера. А в последнюю неделю, в довершение всех бед, у него вдруг появилась страсть критиковать.

— Он позволяет себе критиковать свой шедевр? — сочувственно спросил психоаналитик.

— Как любой большой художник, он во власти мечты о полном совершенстве. И вот теперь Уилли находит недостаток тут, упущение там, излишне примитивную композицию в одном месте и неверный колорит — в другом. А кое-где мое лихорадочное прибавление веса непоправимо исказило пропорции. Для него я была прежде всего началом творческого пути — так сказать, первой пробой татуировочной иглы. И теперь ему надо двигаться дальше — от ученических проб к зрелому мастерству. Ах, доктор, он меня вот-вот бросит! Какая судьба ожидает одинокую, брошенную, четырехсотфунтовую женщину, чье тело сплошь покрыто иллюстрациями? Если он меня покинет — куда мне деваться, куда идти? Кому я такая нужна? Неужели мне предстоит вернуться к прежнему жалкому существованию и снова опущать себя незваным и нежеланным гостем в этом мире — как это было до встречи с Уилли, до моего безумного счастья?

— Как психоаналитик, — произнес доктор Джордж, — я не имею права давать прямые советы. Однако...

— Однако? Однако что? — вся загорелась Эмма Флит.

— Искусство психоаналитика не в том, чтобы подсказать пациенту способ решить его проблему, а в том, чтобы пациент, незаметно подведенный к этому решению, самостоятельно обнаружил его. Однако в вашем случае...

— Ах, не мучьте, говорите!

— Случай представляется мне не слишком сложным. Дабы сохранить любовь вашего мужа...

— Дабы сохранить любовь моего мужа... Что?

Доктор лукаво усмехнулся:

— Для этого вам следует уничтожить шедевр.

— Что?

— Ну, стереть его, истребить. Ведь от татуировок можно избавиться, не правда ли? Я где-то однажды читал про это.

— Ах, доктор! — Эмму Флит будто лебедкой подняло с кушетки. — Это именно то! И это возможно! И тем более замечательно, что именно Уилли придется этим заняться! Ему понадобится по меньшей мере три месяца, чтобы вернуть кожу к прежнему виду, избавив меня от шедевра, который теперь лишь раздражает его своим несовершенством. А когда я стану опять девственно-белой, мы можем трудиться снова еще восемь лет, после чего смыть все — и еще восемь лет, а потом еще. О, доктор, я знаю, он согласится. Быть может, он уже давно ждет, когда я сама это предложу. Какая же я дуручка, что прежде не сообразила! Ах, доктор, доктор!

Она шагнула к нему и чуть было не раздавила в своих объятиях.

Оставив чуть живого психоаналитика приходить в себя, она пошла кругами в центре комнаты.

— Как странно и чудесно, — щебетала Эмма Флит, сотрясая пол неуклюжим танцем, — всего за полчаса вы сбро-

силы с меня груз на три тысячи дней вперед или сколько их там у меня осталось. Вы истинно мудрый человек. Я готова заплатить вам любой гонорар!

— Меня устроит плата и по моей обычной таксе, — сказал доктор.

— Хотя я горю нетерпением сообщить обо всем Уилли, — вдруг сказала миссис Флит, — но вы были так мудры, так чутки, что заслужили честь увидеть шедевр, перед тем как он будет безвозвратно уничтожен.

— Едва ли это необходимо, мадам.

— Поскольку творение скоро погибнет, я не могу лишить вас возможности оценить редкую фантазию, точный глаз и твердость руки такого крупного художника, как Уилли Флит!

Воскликнув это, она стала проворно расстегивать пуговицы своего безразмерного сарафана.

— Миссис Флит, едва ли...

— Вот! — сказала она и широко развела полы сарафана.

То, что под сарафаном она оказалась совершенно голой, доктора мало шокировало.

Однако ошарашен он был невероятно. Удивлен настолько, что дыхание сперло. Глаза у него чуть не выкатились из орбит. Рот беспомощно открылся. Он рухнул обратно в кресло, не в силах отвести взгляд от необозримых телес Эммы Флит.

От необозримых телес Эммы Флит, молочно-белых и девственно-чистых. Ни единого миллиметра татуировки, ни тебе рисуночка, ни тебе картинки.

Нагое, нетронутое, никак не иллюстрированное.

Доктор Джордж еще раз охнул и привел в порядок свое лицо.

Довольная произведенным эффектом, со счастливой улыбкой акробата, проделавшего сложнейший трюк под куполом цирка, она запахнула сарафан и застегнула пуговицы.

Когда она пошла, переваливаясь, к двери, доктор воскликнул:

— Погодите!

Но Эмма Флит уже распахнула дверь и тихонько, звенящим от радости голосом подозвала мужа. Нагнувшись к его миниатюрному ушку, она что-то быстро зашептала, и доктор видел, как глаза Уилли Флита широко открылись, а рот округлился от удивления.

— Доктор! — тонким голоском вскричал он. — Спасибо вам, доктор! Огромное, огромное спасибо!

Он просеменил через кабинет, схватил руку психоаналитика и принялся ее трясти. Доктор Джордж не мог не удивиться пламенности и силе его рукопожатия. Эта маленькая ручка была воистину рукой искушенного художника, мастера. А в темных глазах, благодарно устремленных на доктора, прочитывался ум и огромный артистический темперамент.

— Все складывается наилучшим образом! — возбужденно сказал Уилли. — Теперь все будет отлично!

Доктор Джордж пребывал в растерянности, нерешительно переводя взгляд с крошечного супруга на исполинскую супругу, которая уже тянула Уилли прочь из кабинета — как видно, горя нетерпением поскорее начать новый этап работы.

— Надо ли нам прийти к вам еще раз, доктор? — осведомился Уилли.

Боже правый, думал психоаналитик, неужели он всерьез думает, что покрыл татуировкой все ее тело — так сказать, от носа до кормы? И неужели она покорно поддакивает и подыгрывает ему? Значит, это он сумасшедший в этой паре?

Или же это она воображает, что он покрыл ее татуировкой с ног до головы? А поддакивает и подыгрывает — он. В этом случае безумна она.

Однако можно предложить и самое фантастическое: что они оба свято верят в то, что она вся расписана, как Сикстинская капелла. И поддерживают друг друга в своей вере, создавая совместными усилиями некий особенный иллюзорный мир.

— Я спрашиваю, доктор, нам повторно приходиться? — повторил Уилли свой вопрос.

— Нет, — сказал доктор. — Повторно приходиться не надо.

Да, не надо. Потому что какое-то наитие свыше и природное милосердие заставили его прикусить язык, и доктор Джордж в итоге поступил как нельзя лучше. Сперва он, до конца не разобравшись, дал дельный совет, а потом вовремя промолчал. А терапевтический эффект оказался отличным. Кто из них верит в татуировку — он, она или они оба, — совершенно неважно. Если стать чистым холстом, готовым принять новую живопись, важно для Эммы Флит, то доктор сделал благое дело, предложив смыть шедевр. А если это ее супруг стал искать другую женщину, чтобы покрыть воображаемой татуировкой, то рецепт опять-таки сработал: жена вновь стала для него девственно-чистой и желанной.

— Спасибо, доктор! Спасибо! Огромнейшее спасибо!

— Не надо меня благодарить, — сказал доктор. — Я ничего особенного не совершил.

Он едва не сказал, что все это было шуткой, забавным кульбитом. И он только чудом благополучно приземлился на ноги!

— Всего доброго! Всего наилучшего!

Лифт унес вниз гигантскую женщину и крошечного мужчинку.

— Всего доброго, доктор, и спасибо, спасибо! — еще какое-то время доносилось из шахты лифта.

Доктор Джордж рассеянно огляделся и на ватных ногах вернулся в свой кабинет. Закрыв за собой дверь, бессильно прислонился к стене.

— Врач, излечись сам...

Он шагнул вперед. Чувство реальности не возвращалось. Надо бы прилечь, хотя бы на минуту-другую.

Но куда?

На кушетку, разумеется. На нее, родную.

КОЕ-КТО ЖИВЕТ КАК ЛАЗАРЬ

Вы не поверите, если я скажу, что этого убийства я ждала шестьдесят лет — надеясь на него, как только способна надеяться женщина. Я и пальцем не пошевелила, дабы предотвратить это убийство, когда его неизбежность стала очевидна. Анна-Мария, сказала я себе, даже если ты будешь постоянно начеку, ты не сумеешь помешать тому, что должно свершиться. Но когда убийство наконец происходит после десяти тысяч дней напрасного ожидания, оно кажется не столько сюрпризом, сколько истинным чудом.

— Держи крепче! Ты меня уронишь!

Это голос миссис Харрисон.

Ни разу за полсотни лет мне не довелось слышать, чтобы она сказала что-нибудь шепотом или хотя бы нормально. Только крик, визг, громогласные приказы и шумные угрозы.

Да, всегда на пределе громкости.

— Успокойся, мамочка. Вот хорошо, мамочка.

Ни разу за эти долгие годы мне не довелось слышать, чтобы его голос поднялся на тон выше раболепного журчания или возвысился до громкого протеста. Ни единожды он не взорвался ругательствами, пусть бы и визгливыми!

Нет. Вечное, исполненное любви монотонное мурлыканье.

Этим утром, которое ничем не отличалось от множества утр в прежние годы, они подкатили в своем бесконечном

черном роскошном лимузине, сущем катафалке, к отелю «Грин бей», где неизменно проводили каждое лето. И вот он уже суетливо протягивает руку, чтобы помочь этому манекену, этому посыпанному пудрой и тальком ветхому мешку с костями, который только в дурном сне и в шутку можно величать мамочкой.

- Осторожно, мамочка.
- Ты мне руку сломаешь!
- Прости, мамочка.

Из павильона возле озера я наблюдала, как он катил по дорожке инвалидное кресло, а старуха в нем размахивала тростью, словно мушкетом, из которого она собиралась убить наповал богинь Судьбы или фурий, если те вдруг заступят им путь.

— Осторожно, ты опрокинешь меня на клумбу! Слава богу, что у меня хватило ума в конце концов отказаться от поездки в Париж. Ты бы меня угробил в этих проклятых автомобильных пробках. Ты огорчен?

- Нет, мамочка.
- Мы увидим Париж в будущем году.

В будущем году. Ха, будущий год — это выдумка, никакого будущего года в природе не существует.

Я не сразу ловлю себя на том, что произнесла это вслух, больно вцепившись в подоконник. Почти семьдесят лет я слышу эти обещания — сперва мальчику, потом юноше-мальчику, потом мужчине-мальчику, а теперь вот этому седому насупленному жуку-богомолу с душой мальчика. Вот он катит кресло с вечно мерзнущей женщиной, закутанной в меха даже сейчас, посреди лета, — катит мимо тех веранд отеля, где некогда восседали знатные дамы и бумажные веера в их руках трепетали, как пестрые крылья восточных бабочек.

— Вон там, в коттедже, мамочка... — Его голос из-за расстояния уже плохо слышен. Голос юнца, хотя он уже старик. А прежде, в молодости, его голос казался голосом древнего старика.

Сколько же лет этой рухляди в инвалидной коляске? Пожалуй, девяносто восемь. Да, правильно, девяносто восемь. Она похожа на фильм ужасов, который неизменно крутят по вечерам каждое лето, потому что служба развлечений отеля скупится на новый.

Я быстро пробежалась в памяти по всем их приездам-отъездам вплоть до самого первого. Отель «Грин бей» только-только построили, всюду виднелись модные тогда зеленые и лимонно-желтые дамские зонтики от солнца. Стояло лето 1890 года, и я впервые увидела Роджера. Ему было столько же, сколько и мне, всего лишь пять лет, но уже тогда у него был взгляд усталого и умудренного жизнью старика.

Он стоял на газоне возле павильона и смотрел вверх, на небо и на пестрые флажки, развешанные между деревьями.

— Привет, — сказала я.

Он просто оглянулся и ни слова не произнес.

Я толкнула его в плечо и отбежала.

Он хоть бы двинулся!

Тогда я вернулась и снова толкнула в то же место.

Он вытаращился на свое плечо и собрался было пуститься за мной, как вдруг издалека громынуло:

— Роджер, ты испачкаешь свой костюмчик!

И он медленно пошел в сторону летнего домика, где они жили. А на меня даже не оглянулся.

С того дня я его возненавидела.

Многоцветные зонтики расцветали тысячами и исчезали, стаи бумажных вееров уносил августовский ветер; павильон сгорел и был отстроен на том же месте и в том же виде, а озеро стало намного меньше — сохлось, как слива. И моя ненависть, словно покоряясь местному закону прилива и отлива публики в зависимости от сезона, то появлялась, то пропадала. Порой моя ненависть вырастала до размеров гигантских, а порой на время уступала место любви — но лишь на время. Ненависть возвращалась всег-

да — правда, с годами все более похожая на старую стертую подметку.

Помню его семилетним. Он едет в коляске — длинные волосы раскинуты по щуплым покатым плечам. Мать рядом, и они держатся за руки. И слышен ее зычный повелительный голос:

— Если ты этим летом будешь хорошим мальчиком, то в будущем году мы поедem в Лондон. Или в крайнем случае через год.

А маленькая девчушка, дочка местной прислуги, не спускала с них глаз: сравнивала их глаза, уши, рты. Когда однажды днем он в одиночку зашел в павильон выпить лимонада, я решительным шагом подошла к нему и громко заявила:

— Она не твоя мать!

— Что? — Он в панике оглянулся, словно его мать могла услышать мои слова.

— Она тебе даже не тетка и не бабушка! — продолжала я в полный голос. — Она — ведьма, которая украла тебя из люльки. Ты не знаешь своих настоящих родителей. Ты ни чуточки на нее не похож. Она держит тебя для того, чтобы получить от какого-нибудь короля или графа миллион долларов в качестве выкупа за тебя, когда тебе исполнится двадцать один год.

— Не говори такие вещи! — закричал он и вскочил со стула.

— А почему бы и нет? — со злостью сказала я. — Зачем ты сюда приезжаешь? Ты не умеешь играть в это, ты не умеешь играть в то. Ты ничего не умеешь. Ты никчемный. Она все за тебя знает. Она за тебя все говорит. Но мне-то про нее все известно! По ночам она спит в своей спальне, свесившись с потолка головой вниз в своем безобразном черном платье!

— Не говори такие вещи! — повторил он с бледным, перепуганным лицом.

— А с какой стати мне молчать?

— Потому что это правда.

И с этими словами он пулей устремился к двери и был таков.

Снова я увидела его только на следующее лето. Да и тогда всего лишь один раз, мельком, когда моя матушка велела отнести чистые простыни в летний домик, где жили Харрисоны, мать и сын.

Впервые я сделала паузу в своей ненависти к нему в то лето, когда нам было по двенадцать.

Однажды он позвал меня из-за стеклянной двери павильона и, когда я выглянула, сказал тихим, спокойным голосом:

— Анна-Мария, когда мне исполнится двадцать и тебе исполнится двадцать, я женюсь на тебе.

— Размечтался! — фыркнула я. — Так я и вышла за тебя замуж!

— Так и выйдешь, — убежденно сказал он. — Запомни мои слова, Анна-Мария. И жди меня. Обещаешь?

Конечно же, я утвердительно кивнула. Как иначе?

— А как насчет... — вдруг встрепелась я.

— О, она к тому времени уже умрет, — мрачно произнес он. — Она старая. Очень старая.

Он повернулся и пошел прочь.

А на следующее лето он так и не объявился на курорте. Я слышала, будто его мать больна. И по вечерам, перед сном, я истово молилась, чтобы она побыстрее окочурилась.

Но двумя годами позже они вновь появились у нас и уже больше не пропускали ни одного лета. Мы все росли и росли, и вот уже нам стукнуло по девятнадцать. Еще потерпели — и дотянули до двадцати. И вот, впервые за все время, они появились в павильоне вместе. Она была уже в инвалидной коляске и уже тогда непрестанно зябла и куталась в меха. Ее лицо под слоем пудры походило на жеванный пергамент.

Пока я ставила перед ней многослойное мороженое, она пристально рассматривала меня, потом повернулась к Роджеру, потому что он произнес:

— Мамочка, я хочу представить тебе...

— Я не знаколюсь с девицами, которые прислуживают в буфетах! Я не отрицаю тот факт, что они существуют, работают и получают жалованье. Однако я тут же забываю их имена.

Она капризно ковырнула ложечкой мороженое — раз, другой. Но Роджер так и не прикоснулся к своему.

Они уехали на день раньше обычного. Я увиделась с Роджером в холле гостиницы, когда он оплачивал счет. На прощание он нежно взял меня за руку, а я не удержалась и сказала:

— Ты кое-что забыл.

— Багаж здесь, — стал вспоминать он. — Счет оплачен. Бумажник на месте. Нет, похоже, я ничего не забыл.

— Когда-то давно, — напомнила я, — ты дал мне одно обещание.

Он молчал.

— Роджер, — сказала я, — нам уже по двадцать. Тебе и мне.

Он схватил мою руку — так испуганно и проворно, словно он падает за борт, а я плячусь прочь и, отказав в помощи, позволяю ему рухнуть в пучину.

— Подожди еще год, Анна! Или два-три, не больше!

— О нет! — вскрикнула я в отчаянии.

— В самом худшем случае — четыре года. Доктора говорят...

— Роджер, доктора не знают того, что знаю я. Она будет жить вечно. Она переживет и тебя, и меня и будет попивать вино на наших похоронах.

— Да у нее ни одного здорового места нет! Анна, ей долго не протянуть, это же очевидно!

— С ней ничего не случится, потому что у нее есть могучий источник силы. Она прекрасно понимает, что мы

ждем не дождемся ее смерти. И черпает силы в желании досадить нам.

— Я не могу вести подобные разговоры! Не могу!

Подхватив чемоданы, он заспешил через холл к выходу.

— Роджер, я ждать тебя не стану! — крикнула я вслед.

У самой двери он оглянулся — бледный-бледный — и посмотрел на меня так беспомощно, что я была не в силах повторить свою угрозу.

Дверь за ним закрылась.

А там и лето закончилось.

На следующее лето Роджер первым делом примчался к моему лотку с содовой водой.

— Это правда? Кто он?

— Пол, — ответила я. — Ты же знаешь Пола. В один прекрасный день он станет главным менеджером отеля. Мы поженимся этой осенью.

— Ты не оставляешь мне времени! — охнул Роджер.

— Поздно спохватился. Мы уже обручены.

— Господи! Они обручены! Да ты же его не любишь!

— Пожалуй что и люблю.

— «Пожалуй!» Так «пожалуй» или любишь? Это разные вещи! А вот меня ты любишь без всяких «пожалуй»!

— Ты так уверен, Роджер?

— Не надо всех этих штучек-дрючек! Ты же прекрасно знаешь, что любишь меня! Ах, Анна, ты будешь несчастна!

— Я и сейчас несчастнее некуда, — сказала я.

— Анна, не пори горячку! Дождись меня!

— Да я всю свою жизнь только и жду тебя. И знаю, что моему ожиданию конца-края не будет.

— Анна! — вдруг воскликнул он уже с другой интонацией. Казалось, ему только что пришла в голову совсем новая мысль. — Анна, а вдруг... А вдруг она умрет прямо этим летом?

— Черта с два.

— Она умрет, если ей станет хотя бы чуточку хуже. Я хочу сказать, в ближайшие два месяца... — Он смотрел на меня побитой собакой и старался прочесть мои мысли по глазам. — Анна, если она умрет в следующем месяце... или нет, лучше через две недели — какие-то короткие две недели... Ведь ты же меня дождешься? Ведь ты согласна будешь выйти за меня замуж?

Я расплакалась.

— Ах, Роджер, мы даже ни разу не поцеловались. Это так глупо.

— Скажи мне, если она умрет через неделю, всего лишь через семь дней...

Он схватил меня за руки.

— Откуда тебе знать! — сказала я между всхлипами.

— Я позабочусь, чтоб это стало фактом. Клянусь тебе, через неделю ее не будет в живых — в противном случае я больше не стану донимать тебя.

Его как ветром сдуло. А для меня мир вдруг стал нестерпимо ярок, будто на небе включилось второе солнце.

— Роджер, не смей! — крикнула я, но мне совсем не хотелось, чтобы он остановился и вернулся. В голове у меня стучало: правильно, Роджер, сделай что-нибудь — что угодно! — и положи всему этому конец.

Той ночью, лежа в постели, я ломала голову над тем, какие есть способы убить и не быть схваченным. Думает ли лежащий в сотне метров отсюда Роджер о том же самом? Что он предпримет завтра? Отправится ли он на болото, чтобы найти похожие на съедобные, но смертельно ядовитые грибы? Или во время прогулки на машине войдет в крутой поворот на слишком большой скорости, чтобы пассажирка вывалилась из нарочно не до конца прикрытой двери?

Я представила, как эта восковая кукла описывает кривую по воздуху, шмякается о придорожный дуб, тополь или клен и ее головенка раскалывается, будто грецкий орех. Мне это так понравилось, что я привстала на постели

и долго беззвучно хохотала до слез. А поплакав, снова принялась хохотать. Нет-нет, успокаивала я себя, он умный, он найдет наиболее безопасный путь. Например, неведомый грабитель проникнет ночью в дом и вытрясет жизнь из старой карги. Пусть она так перепугается, что сердце у нее выскочит из груди и уже не вскочит обратно!

Но потом явилась самая черная, самая древняя — и самая простодушно-детская мысль из всех роившихся в моей голове. Есть лишь один способ прикончить эту бабу, рот которой так похож на окровавленную резаную рану. Поскольку она ему никто, даже не тетушка и не бабушка, а ведьма-похитительница, то избавиться от нее можно только так: подстеречь где-нибудь и вогнуть в сердце кол!

Я услышала ее пронзительный вопль. Он был так громок, что ночные птицы испуганно вспорхнули с веток и расселись по звездам.

Я опять легла. Анна-Мария, добропорядочная христианка, о чем ты тут мечтаешь ночной порой?! Об убийстве! Неужели ты и впрямь желаешь убить? Да, желаю. Ибо отчего бы и не убить убийцу, эту женщину, которая долгие годы медленно удушает собственное дитя — как начала душить с колыбели, так с тех пор и не отнимает свои преступные руки! Он оттого так беспомощен и так бледен, бедняжка, что с младенчества ему ни разу не было позволено вдохнуть полной грудью.

И потом вдруг непрошеными гостями явились строки одного старого стихотворения. Не могу сказать, откуда они взялись в моей памяти. Может, я их где-то прочитала, или кто-то мне их процитировал, или я сама бессознательно сочиняла их на протяжении нескольких лет. Однако строки будто польхали передо мной в темноте, и я зашептала:

Кое-кто живет как Лазарь
 В могиле жизни,
 Чтобы с опозданием восстать к смерти
 В больничных сумерках или в морге.

Следующие строки не возвращались. Я мучилась, повторяя эти слова и стараясь выудить из памяти продолжение, затем вдруг как-то сами собой выпрыгнули из темных глубин сознания последние пять строк:

Уж лучше пить глазами горечь ледяных
небес на Севере,
Чем жить слепцом мертворожденным,
подобьем призрака.
Взамен потерянного Рио влюбись
в арктические берега!
О ветхий Лазарь,
Изыди вон¹.

Стихотворение отзвучало во мне и отпустило меня в сон. Мое бдение закончилось, и я спала сном ребенка — в надежде, что утром услышу хорошие новости, которые решат мою судьбу раз и навсегда.

На следующий день я увидела, как он везет инвалидное кресло со своей матерью к концу пирса. Меня так и пронзило: вот оно! Правильно! Она сгинет в волнах, а через неделю найдут выброшенный волнами труп — страшного морского монстра, сплошное лицо без тела.

Но день прошел, и ничего не случилось. Ладно, решила я, все свершится завтра.

Второй день обещанной недели прошел, потом третий, четвертый, а за ними пятый и шестой. И вот на седьмой день вижу: бежит по тропке одна из горничных и верещит, вытаращив глаза:

— Ужас! Ужас! Ужас!

— Что, миссис Харрисон? — вскрикнула я. Мне чуть дурно не стало, однако на моем лице, помимо воли, расплылась довольная улыбка.

¹ Евангелие от Иоанна (11:43): «Лазарь, иди вон!» Воскрешенный Лазарь выходит из могилы-пещеры к жизни. В стихотворении обратное: при жизни труп воскресает к смерти.

— Нет-нет! Ее сын! Он повесился!

— Повесился? — глупо переспросила я. Это меня так ошарашило, что я вдруг принялась ей объяснять самым идиотским образом: — Ничего подобного! Это не он должен был умереть. Это...

Я бы сгоряча выложила все, если бы горничная не схватила меня за руку и не потянула за собой, приговаривая:

— Веревку срезали. Он, слава богу, еще живой. Быстрее же, быстрее!

Еще живой? Тут она глубоко заблуждалась. Они вынули его из петли, и он дышал. И продолжал дышать все последующие годы. Однако я бы поостереглась называть его действительно живым. Он не выжил в тот день. Нет.

Зато ей это лишь прибавило жизни. Этот его неудачный порыв к свободе ей был как с гуся вода. Однако попытки бегства она ему никогда не простила.

— Что ты хотел этим сказать? Что ты хотел этим сказать? — орала она на него, когда он лежал с закрытыми глазами и бледный как смерть в их летнем домике и потирал себе горло.

Примчавшись туда, я так их и застала: он судорожно глотает воздух, и она злобно пританцовывает рядом.

— Что ты хотел этим сказать? Что? Чего ты этим хотел добиться?

Глядя на распростертое на полу тело, я вдруг догадалась, что он хотел убежать от нас обеих. Ибо мы обе были ему невыносимы. Я тоже не простила ему. То есть не могла простить очень и очень долго. Но потом я ощутила, что моя застарелая ненависть к нему превращается во что-то иное, в некую тупую боль. А в тот день я стрелой помчалась за врачом. За моей спиной миссис Харрисон продолжала вколачивать гвозди по самую шляпку:

— Что ты хотел этим сказать, глупый мальчишка? Что? Что?

Осенью того же года я вышла замуж за Пола.

И годы побежали однообразной чередой. Раз в году, на протяжении летних месяцев, Роджер регулярно бывал в павильоне и заказывал мятное мороженое. С ложечкой в вялой руке он грустно поглядывал на меня, однако никогда больше не называл по имени и ни разу не упомянул о своем давнем обещании.

На протяжении тех сотен месяцев, что я была женой Пола, мне не раз случалось думать, что Роджеру совершенно необходимо — теперь уже только для себя, исключительно для себя — что-то предпринять: восстать в один прекрасный день и истребить агрессивного дракона с уродливой, густо напудренной мордой и лапами, покрытыми сухой чешуйчатой кожей. Во имя Роджера, и только Роджера, Роджер обязан положить этому конец.

Ну уж в этом-то году он это наконец сделает, думала я, когда ему исполнилось пятьдесят. То же я думала, когда ему стукнул пятьдесят один. То же я думала и годом позже. А между сезонами, проглядывая чикагские газеты, я ловила себя на том, что надеюсь наткнуться на ее фотографию с ножом в сердце — огромный, отвратительный, окровавленный желтый цыпленок. Но увы, увы, увы.

До того как они объявились снова сегодня утром, я почти выкинула их из памяти. Роджер ужасно постарел и рядом с ней больше похож на старенького шаркающего мужа, чем на сына. Волосы седые с прожелтью, спина сгорбленная, синие глаза стали водянисто-голубыми, во рту не хватает зубов. Разве что иссохшие руки с ухоженными ногтями утратили лишний жир и стали выглядеть более энергичными.

В полдень он остановился у входа в павильон — одинокий, жалкий, бескрылый ястреб, глядящий с тоской в небо, куда за всю жизнь так и не решился взмыть. Потоптавшись у входа, Роджер открыл дверь и быстро прошагал ко мне. Впервые на моей памяти его голос поднялся почти до крика:

— Почему ты не сказала?

— Не сказала что? — спросила я и стала, не ожидая заказа, накладывать в розетку шарики мятного мороженого.

— Одна горничная проговорилась, что твой муж уже пять лет как в могиле! Пять лет! Ты была обязана сообщить мне об этом!

— Что ж, теперь ты знаешь, — только и промолвила я. Роджер медленно опустился на стул.

— Господи, — воскликнул он, отправил в рот первую ложечку мороженого, просмаковал ее с закрытыми глазами и заявил: — Как горько!

Покончив с мороженым, он сказал:

— Анна, я никогда не решался спросить. У вас были дети?

— Нет, — ответила я. — Сама не понимаю почему. И думаю, теперь уже никогда не пойму.

Я оставила его за столиком с новой порцией мороженого, а сама пошла мыть посуду.

Около девяти часов вечера я услышала чей-то смех возле озера. Чтоб Роджер когда-либо смеялся — такого я не помнила. Разве что в самом раннем детстве. Поэтому мне и в голову не могло прийти, что это он приближается к павильону. Но чуть позже кто-то решительно распахнул дверь, и я увидела на пороге Роджера. Он возбужденно размахивал руками, переполненный безудержным весельем.

— Что случилось? — спросила я.

— Ничего-ничего! Ничего такого! — восклицал он. — Все отлично! Кружку пива, Анна! Налей кружку и себе! Выпей со мной!

Пока мы пили пиво, Роджер хохотал и подмигивал, но потом вдруг стал невероятно тих и грустен. Хотя продолжал улыбаться. И я заметила, как удивительно он помолодел.

— Анна, — громко прошептал он, наклоняясь поближе к моему лицу, — угадай, что происходит? Я завтра улетаю

в Китай! А оттуда еду в Индию. Потом Лондон, Мадрид, Париж, Берлин, Рим и Мехико!

— Ты шутишь, Роджер?

— Я действительно еду! И заметь — я еду. Не мы, а я. Я, я один! Я, Роджер Бидвелл Харрисон. Я! Я! Я!

Я вытаращила на него глаза, а он ответил спокойным, умиротворенным взглядом. Я ахнула, и до меня наконец-то дошло, что он совершил сегодня вечером — буквально несколько минут назад.

— О нет! — помимо воли шепнули мои губы.

Но да, да, его глаза ответили мне «да». Невероятное свершилось. Чудо произошло. После всех этих бесконечных лет бесплодного ожидания! Сегодня вечером наконец-то произошло. Сегодня.

Я дала ему выговориться. После Рима и Мехико он собирался еще в Вену и в Стокгольм. У него множество планов — так что и в сорок лет не уложиться. Оказалось, что он помнит наизусть расписание авиарейсов и лучшие отели по всему миру, а также знает едва ли не все достопримечательности света и уже везде побывал в своем воображении.

— Но самое прекрасное в этом всем, — подытожил он свой лихорадочный рассказ, — самое прекрасное в этом всем то, что со мной рядом будешь ты, Анна! Ведь ты согласна поехать со мной, Анна? У меня отложена прорва денег. Я горю желанием их потратить. Анна, скажи мне, ведь ты согласна?

Я вышла из-за стойки и мельком взглянула на себя в зеркало. Женщина семидесяти лет, опоздавшая на вечеринку на каких-нибудь пятьдесят лет.

Я села за столик рядом с ним и помотала головой.

— Но, Анна, почему же нет? Не вижу ни единой причины для отказа!

— Причина есть, — сказала я. — Ты сам.

— Я? Но речь-то не обо мне!

— О тебе, Роджер, о тебе.

— Анна, мы проведем вместе сказочное время.

— Да, это была бы сказка, тут я не спорю. Но, Роджер... Ты был связан — все равно что женат — на протяжении почти семидесяти лет. Теперь, впервые в жизни, ты свободен от уз. Ты же не хочешь немедленно оказаться в новых оковах?

— Я... Не хочу? — сказал он и растерянно заморгал глазами.

— Если ты прислушаешься к себе, то поймешь, что нет, не хочешь. Ты заслужил право побыть какое-то время ни с кем не связанным, в одиночку объездить мир и в одиночестве поискать себя, понять: кто он такой, этот Роджер Харрисон. Тебе надо побыть вдаль от женщин. А потом, когда ты объедешь вокруг света и вернешься, можно подумать о других вещах.

— Ну, если ты так говоришь...

— Нет. Мое мнение тут ни при чем. Не оглядывайся на меня. Теперь ты должен стать хозяином своей судьбы и только к себе прислушиваться. Уезжай в кругосветное путешествие и получи удовольствие на полную катушку. Бери счастья сколько сможешь.

— А ты будешь ждать моего возвращения?

— Моя способность ждать давно истощилась. Однако я буду здесь, никуда не денусь.

Он вскочил и устремился к двери. Потом остановился как вкопанный и оглянулся на меня — словно его поразила какая-то новая мысль.

— Анна, — сказал он, — а если бы это случилось сорок или пятьдесят лет назад, ты бы тогда поехала со мной? Тогда бы ты захотела поехать со мной?

Я ничего не ответила.

— Анна! — настаивал он.

После долгого молчания я наконец сказала:

— Есть вопросы, которые негоже задавать.

А про себя я уточнила: есть вопросы, на которые попросту не существует ответов. Если я пробежусь памятью

по берегу нашего озера до самых первых времен — ничто в прошлом не подскажет мне, могла ли я стать счастливой. Быть может, еще сопливой девчонкой я почувствовала, что Роджер для меня недостижим и потому он что-то необычное. И меня уже тогда потянуло к нему — недостижимое и необычное имеет свойство притягивать сердца. Он был чем-то вроде редкостного цветка между страницами старой книги — раз в год этот цветок можно вынуть, повосхищаться им и... А собственно говоря, что еще можно с ним делать? Чья голова во всем этом разберется? Уж конечно, не моя. Мне трудно размышлять над подобными вопросами на закате вечера и на закате жизни. Знаю только, что жизнь — это вопросы, а не ответы.

Роджер, похоже, многое из того, что я думала, прочитал на моем лице. И то, что он угадал, заставило его сперва потупить взгляд, а потом и вовсе закрыть глаза.

Потом он вернулся ко мне, взял мою руку и прижал ее к своей щеке.

— Я вернусь. Клянусь тебе, я вернусь!

Выйдя из павильона, он на какое-то время застыл, ошарашенный обилием лунного света. Вертел головой и спешно устремлял взгляд во все концы света, как школьник, который впервые приехал на каникулы и растерянно и счастливо пыхтит, не зная, куда кинуться для начала.

— Не спеши возвращаться! — с жаром сказала я. — Делай все, что твоему сердцу угодно. Смакуй все не спеша. И не торопись возвращаться!

Я видела, как он чуть ли не вприпрыжку направился к лимузину возле летнего домика. Завтра утром я должна пойти к этому домику, постучаться в дверь — и не получить ответа. Однако я поступлю иначе. Я не пойду туда и горничным прикажу не ходить: дескать, пожилая леди не велела ее беспокоить. Это даст Роджеру возможность начать новую жизнь без помех. Полицию я могу позвать через неделю или даже через две-три недели. А если наручники бу-

дут ждать Роджера у трапа корабля после его возвращения из всех этих заманчивых мест планеты — не велика беда.

А впрочем, все может обойтись и без полиции. Возможно, старуха умерла от сердечного приступа, а Роджеру лишь почудилось, что это он ее убил, и теперь он уплывает прочь в большой мир в гордом сознании своего мнимого преступления, не допуская мысли, что даже ее смерть была последним проявлением ее стальной воли и самодурства — властная прихоть добровольно умереть естественной смертью и отпустить его на волю.

Но если отложенное на семьдесят лет убийство все же совершилось и он действительно схватил ее за горло и придушил отвратительную индюшку, у меня не найдется и слезинки, чтобы ее оплакать. Если о чем я и жалею, так лишь о том, что исполнение приговора было отложено на столь длительный срок.

Подъездная дорога пуста. Лимузин проурчал прочь уже несколько часов назад.

Потушив свет в павильоне, я стою возле окна и смотрю на сверкающую гладь озера, возле которого в другом веке, под другим солнцем, я увидела мальчика с лицом старичка и пихнула его в плечо, приглашая поиграть, а он ждал семьдесят лет, прежде чем вернуть мне тычок, чмокнуть мне руку и кинуться наутек, растерянно оглядываясь: отчего же я не бегу за ним?

Перед многими вопросами стою я в растерянности сегодня вечером.

Лишь в одном я уверена.

Роджера Харрисона я больше не ненавижу.

ДИКОВИННОЕ ДИВО

В один не слишком погожий и не слишком хмурый, не слишком знойный и не слишком студеной день по пустынным горам с суматошной скоростью катил допотопный потрепанный «Форд». От лязга и скрежета металлических частей взмывали вверх трясогузки в рассыпчатых облачках пыли. Уходили с дороги ядовитые ящерицы — ленивые подделки индейских камнерезов. С шумом и грохотом «Форд» все глубже вторгался в немую глухомань.

Старина Уилл Бентли оглянулся с переднего сиденья и крикнул:

— Сворачивай!

По крутой дуге Боб Гринхилл бросил машину за рекламный щит. Тотчас оба повернулись. Они глядели на дорогу над гармошкой сложенного верха и заклинали поднятую колесами пыль:

— Успокойся! Ложись! Пожалуйста!

И пыль медленно осела.

Как раз вовремя.

— Пригнись!

Мимо них, с такой яростью, точно прорвался сквозь все девять кругов ада, прогремел мотоцикл. Над лоснящимся рулем в стремительном броске навстречу ветру изогнулся человек с изборожденным складками, чрезвычайно неприятным лицом, в защитных очках, насквозь пропечен-

ный солнцем. Рычащий мотоцикл и человек промчались по дороге.

Старики выпрямились в своем рыдване, перевели дух.

— Счастливого пути, Нед Хоппер, — сказал Боб Гринхилл.

— Почему? — спросил Уилл Бентлин. — Почему он всегда преследует нас?

— Уилли-Уильям, раскинь мозгами, — ответил Гринхилл. — Мы же его удача, его козлы отпущения. Зачем ему упускать нас, если погоня за нами делает его богатым и счастливым, а нас бедными и умудренными?

И они с невеселой улыбкой поглядели друг на друга. Чего не сделала с ними жизнь, сделали размышления о ней. Тридцать лет прожито вместе под знаком отказа от насилия, то бишь от труда. «Чую, жатва скоро», — говаривал Уилли, и они покидали город, не дожидаясь, когда созреет пшеница. Или: «Вот-вот яблоки начнут осыпаться!» И они удалялись миль этак на триста — чего доброго, в голову угодит.

Повинуясь руке Боба Гринхилла, автомобиль медленно, точно укрощенная лавина, сполз обратно на дорогу.

— Уилли, дружище, не падай духом.

— Это уже давно пройдено, — сказал Уилл. — Теперь я учусь мириться.

— Мириться с чем?

— Что мне сегодня попадется клад, сундук консервов — и ни одного ключа для консервных банок. А завтра — тысяча ключей и ни одной банки бобов.

Боб Гринхилл слушал, как мотор разговаривает сам с собой под капотом, словно старик шамкает о бессонных ночах, дряхлых костях, истертых до дыр сновидениях.

— Не везет, не везет — ан вдруг повезет, Уилли.

— Ясное дело, да когда же это будет? Мы с тобой продаем галстуки, а через улицу кто сбывает такой же товар на десять центов дешевле?

— Нед Хоппер.

— Мы находим золотую жилу в Топопа, и кто первым подает заявку?

— Старина Нед.

— Всю жизнь на его мельницу воду льем, разве не так? Не поздно ли затевать что-нибудь свое, на чем бы он не нагрел руки?

— Самое время, — возразил Роберт, уверенно ведя машину. — Вся беда в том, что ни ты, ни я, ни Нед никак не решим, что нам, собственно, надо. Мечемся из города в город, увидели — схватили. И Нед тоже увидел — схватил. Ему это не нужно, он только потому хватает, что нам это приглянулось. И держит, пока мы не махнули дальше, потом все бросает и тянется хвостом за нами, лишь бы еще какой-нибудь хлам добыть. Вот когда мы поймем, что нам надо, в ту же минуту Нед шарахнет от нас прочь, навсегда сгинет. А, черт с ним. — Боб Гринхилл вдохнул свежий, как утренняя роса, воздух, струившийся над ветровым стеклом. — Все равно хорошо. Это небо. Эти горы. Пустыни и...

Он осекся.

Уилл Бентлин взглянул на него:

— Что случилось?

— Почему-то... — Боб Гринхилл вытаращил глаза, а его дубленые руки сами медленно повернули баранку, — нам нужно... свернуть... с дороги...

«Форд» содрогнулся, переваливая через обочину. Они съехали в пыльную канаву, выкарабкались из нее и очутились на выступе, который, словно полуостров, возвышался над пустыней. Боб Гринхилл, будто загипнотизированный, протянул руку и повернул ключ зажигания. Старик под капотом перестал сетовать на бессонницу и задремал.

— Ну, так зачем ты это сделал? — спросил Уилл Бентлин.

Боб Гринхилл смотрел на баранку и на свои руки, которые ни с того ни с сего откололи такую штуку.

— Что-то заставило меня. Зачем? — Он поднял глаза. Мышцы его расслабились, взгляд смягчился. — Чтобы полюбоваться этим видом, только и всего. Отличный вид. Все как миллиард лет назад.

— Кроме этого города, — сказал Уилл Бентлин.

— Города? — повторил Боб.

Он повернулся. Вот пустыня, и вдали горы цвета львиной шкуры, и совсем-совсем далеко, взвешенное в волнах горячего утреннего песка и света, плавало некое видение, смутный набросок города.

— Это не может быть Феникс, — сказал Боб Гринхилл. — До Феникса девяносто миль. А других городов поблизости нет.

Уилл Бентлин зашуршал лежащей на коленях картой, проверяя.

— Верно... нет других городов.

— Сейчас лучше видно! — вдруг воскликнул Боб Гринхилл.

Они поднялись в полный рост над запыленным ветровым стеклом и смотрели вперед, подставив ласковому ветру морщинистые лица.

— Постой, Боб, знаешь, что это? Мираж! Ясное дело! Так все сошлось: свет, атмосфера, небо, температура. Город лежит где-нибудь за горизонтом. Видишь, он мелькает, то темнее, то ярче! Небо отражает его, как зеркало, как раз сюда, и мы его видим! Мираж, чтоб мне лопнуть!

— Такой огромный?

Уилл Бентлин измерил взглядом город, а тот на глазах у него стал еще отчетливее, порыв ветра, плавно кружащие вдали песчаные вихри сделали его еще выше.

— Всем миражам мираж! Это не Феникс. И не Санта-Фе, и не Аламогордо, нет. Погоди... И не Канзас-Сити...

— Еще бы, до него отсюда...

— Так-то так, да ты погляди на эти дома. Высоченные! Самые высокие в стране. На всем свете есть только один такой город.

— Неужели... Нью-Йорк?

Уилл Бенглин медленно кивнул, и оба молча продолжали рассматривать мираж. Освещенный утренней зарей город был высокий, сверкающий, все до мелочей видно.

— Да; — сказал наконец Боб. — Здорово.

— Здорово, — согласился Уилл. — Но, — добавил он чуть погодя шепотом, точно боясь, что город услышит, — откуда ему тут взяться, в Аризоне, за три тысячи миль от дома, невесть где?

Не отрывая глаз от города, Боб Гринхилл сказал:

— Уилли, дружище, никогда не задавай природе вопросов. Ей не до тебя, она занята своим делом. Скажем, радиоволны, радуги, северные сияния и все такое прочее, — словом, какая-то шутовщина сделала этаким огромный снимок города Нью-Йорка и проявила его здесь, за три тысячи миль, в тот самый день, когда надо нас подбодрить, нарочно для нас.

— Не только для нас. — Уилл повернул голову вправо. — Погляди-ка!

Немая лента странствий отпечаталась на крупитчатой пыли скрещенными черточками, углами и другими таинственными знаками.

— Следы шин, — сказал Боб Гринхилл. — Знать, немало машин сворачивает сюда.

— Чего ради, Боб? — Уилл Бенглин выпрыгнул из машины, опустился на землю, топнул по ней, повернулся, упал на колени и коснулся земли неожиданно и сильно задрожавшими пальцами. — Чего ради, а? Чтобы посмотреть мираж? Так точно! Чтобы посмотреть мираж!

— Ну?

— Ты только представь себе! — Уилл выпрямился и загудел, как мотор: — Ррррррр! — Он повернул воображаемую баранку. Затрусил вдоль машинного следа. — Ррррррр! Иииии! Торможу! Роберт-Боб, понимаешь, на что мы напали?! Глянь на восток! Глянь на запад! На много миль —

единственное место, где можно свернуть с шоссе и сидеть любоваться!

— Это неплохо, что люди понимают толк в красоте...

— Красота, красота! Чья это земля?

— Государственная, надо полагать...

— Не надо! Это наша земля, моя и твоя! Разбиваем лагерь, подаем заявку, приступаем к разработкам, и по закону участок наш... верно?

— Стой! — Боб Гринхилл впился взглядом в пустыню и удивительный город вдаль. — То есть ты собираешься... разрабатывать мираж?

— В самое яблочко! Разрабатывать мираж!

Роберт Гринхилл вылез из машины и обошел вокруг нее, разглядывая примятую шинами землю.

— Это можно?

— Можно? Извините, что я напылил!

Уилл Бенглин уже вколачивал в землю колья, тянул веревку.

— Вот отсюда и до сих пор, а отсюда до сих простирается золотой прииск, мы промываем золото, это королева, мы ее доим, это море денег, мы купаемся в нем!

Нырнув в машину, он выбросил несколько ящиков и извлек большой лист картона, который некогда возвещал о продаже дешевых галстуков. Перевернул его, вооружился кистью и принялся выводить буквы.

— Уилли, — сказал его товарищ, — кто же станет платить за то, чтобы посмотреть на какой-то паршивый старый...

— Мираж? Поставь забор, объяви людям, что просто так они ничего не увидят, и им сразу загорится. Вот!

Он поднял над головой объявление.

ТАЙНОЕ ДИВО МИРАЖ ЗАГАДОЧНЫЙ ГОРОД

25 центов с машины. С мотоциклов десять

— Как раз машина идет. Теперь гляди!

— Уильям!..

Но Уилл уже бежал к дороге, подняв плакат.

— Эй! Смотрите! Эй!

Машина проскочила мимо, точно бык, не заметивший матадора.

Боб зажмурился, чтобы не видеть, как пропадет улыбка на лице Уилла.

Внезапно — упоительный звук.

Визг тормозов.

Машина дала задний ход! Уилл бежал ей навстречу, размахивая, указывая.

— Извольте, сэр! Извольте, мэм! Тайное Диво Мираж! Загадочный Город! Заезжайте сюда!

Ничем не примечательный участок исчертило множество, нет, несчетное множество колесных следов.

Огромный одуванчик пыли повис в жарком мареве над выступом, и стоял сплошной гул прибывающих автомашин, которые занимали свое место в ряду, — тормоза выжаты, дверцы захлопнуты, моторы заглушены, разные машины из разных мест. И люди в машинах совсем разные, ведь они ехали кто откуда, и вдруг их что-то притянуло как магнит, и поначалу все говорили разом, но, приглядевшись к далекому виду, вскоре смолкли. Тихий ветер дул прямо в лицо, теребя волосы женщин и расстегнутые воротники мужчин. Люди долго сидели в машинах или стояли на краю выступа, ничего не говоря; наконец один за другим стали поворачивать.

Вот первая машина покатила обратно мимо Боба и Уилла; сидящая в ней женщина благодарно кивнула им:

— Спасибо! Действительно, самый настоящий Рим!

— Как она сказала: «Рим» или «дым»? — спросил Уилл.

Вторая машина повернула к выходу.

— Ничего не скажешь! — Водитель высунулся и пожал руку Бобу. — Так и чувствуешь себя французом!

— Французом?! — вскричал Боб.

Оба подались вперед, навстречу третьей машине. За рулем, качая головой, сидел старик.

— В жизни не видел ничего подобного. Подумать только: туман, все как положено, Вестминстерский мост, лучше, чем на открытке, и Биг-Бен поодаль. Как это у вас получается? Дай вам Бог счастья. Премного обязан.

Окончательно сбитые с толку, они пропустили машину со стариком, медленно повернулись и посмотрели туда, где за их участком вдали колыхалась полуденная мгла.

— Биг-Бен? — произнес Уилл Бентлин. — Вестминстерский мост? Туман?

Чу, что это? Кажется, там, за краем земли, совсем тихо, чуть слышно (полно, слышно ли? Они приставили к ушам ладони) трижды пробили огромные часы? И кажется, ревуны окликают суда на далекой реке и судовые сирены гудят в ответ?

— Чувствуешь себя французом? — шептал Роберт. — Вестминстерский мост? Дым? Рим? Разве это Рим, Уилл?

Ветер переменялся. Струя жаркого воздуха взмыла вверх, перебирая струны невидимой арфы. Что это, как будто туман затвердел, образуя серые каменные монументы? Что это, как будто солнце водрузило золотую статую на вздыбившуюся глыбу чистого, снежного мрамора?

— Как... — заговорил Уильям Бентлин, — почему все менялось? Откуда здесь четыре, пять городов? Разве мы говорили кому-нибудь, какой город они увидят? Нет. Ну держись, Боб, держись!

Они перевели взгляд на последнего посетителя, который стоял один на краю выступа. Сделав знак товарищу, чтобы тот молчал, Роберт безмолвно подошел к платному посетителю и остановился сбоку, чуть позади.

Это был мужчина лет под пятьдесят с энергичным загорелым лицом, ясными, добрыми, живыми глазами, узкими скулами, выразительным ртом. У него был такой вид, словно он в жизни немало путешествовал, не одну пустыню пе-

ресек в поисках заветного оазиса. Он напоминал одного из тех архитекторов, которые бродят среди строительного мусора подле своих творений, глядя, как железо, сталь, стекло взмывают кверху, заслоняя, заполняя свободный клочок неба. У него было лицо зодчего, глазам которого вдруг, мгновенно, простершись от горизонта до горизонта, представило совершенное воплощение давней мечты. Внезапно, словно и не замечая стоящих рядом Уильяма и Роберта, незнакомец заговорил тихим, спокойным, задумчивым голосом. Он назвал то, что видел, высказал то, что чувствовал:

В Ксанадупуре...

— Что? — спросил Уильям.

Незнакомец чуть улыбнулся и, не отрывая глаз от миража, стал негромко читать по памяти:

В Ксанадупуре чудо-парк
Велел устроить Кубла Хан.
Там Альф, священная река,
В пещерах долгих, как века,
Текла в крошечный океан¹.

Его голос укротил ветер, и ветер подул на стариков, так что они совсем присмирели.

Десяток плодородных миль
Властитель стенами обнес
И башнями огородил.
Ручьи змеистые журчали.
Деревья ладан источали,
И древний, словно горы, лес
В зеленый лиственный навес
Светила луч ловил.

Уильям и Роберт смотрели на мираж и в золотой пыли видели все то, о чем говорил незнакомец: гроздья легендарных восточных минаретов, купола, стройные башенки, вы-

¹ Из поэмы Сэмюэла Тейлора Кольриджа (1772—1834) «Кубла Хан, или Видение во сне».

росшие на волшебных посевах цветочной пыльцы из Гоби, россыпи залекшейся гальки на берегах благодатного Евфрата, Пальмира — еще не развалины, только-только построенная, свежей чеканки, не тронутая минувшими годами, вот окуталась дрожащим маревом, вот грозит совсем улететь...

Видение озарило счастьем преобразившееся лицо незнакомца, и отзвучали последние слова:

Поистине диковинное диво:
Пещерный лед — и солнца переливы.

Незнакомец смолк.

И тишина в душе Боба и Уилла стала еще глубже.

Незнакомец тербил дрожащими пальцами бумажник, глаза его увлажнились.

— Спасибо, спасибо...

— Вы уже заплатили, — напомнил Уильям.

— Будь у меня еще, вы бы все получили.

Он стиснул руку Уильяма, оставил в ней пятидолларовую бумажку, вошел в машину, в последний раз посмотрел на мираж, сел, включил мотор, не торопясь дал ему прогреться и укатил. Его лицо светилось, глаза излучали покой.

Роберт, ошеломленный, сделал несколько шагов вслед за машиной.

Вдруг Уильям взорвался, взмахнул руками, гикнул, шелкнул каблуками, закружился на месте.

— Аллилуйя! Роскошная жизнь! Полная чаша! Ботиночки со скрипом! Загребай горстями!

Но Роберт сказал:

— А мне кажется, не надо...

Уильям перестал плясать.

— Что?

Роберт пристально смотрел на пустыню.

— Да разве ж этим завладеешь? Вон как далеко до него. Ну хорошо, мы подадим заявку на участок, но... Мы даже не знаем, что это такое.

- Как не знаем: Нью-Йорк и...
- Ты когда-нибудь бывал в Нью-Йорке?
- Всегда мечтал. Никогда не бывал.
- Всегда мечтал, никогда не бывал. — Роберт медленно

кивнул. — Так и они. Слыхал: Париж. Рим. Лондон. Или этот, последний: Ксанадупур. Уилли, Уилли, да мы тут напали на такое... Удивительное, большое. Боюсь, мы только все испортим.

— Постой, но ведь мы же никому не запрещаем, верно?

— Почему ты знаешь? Может быть, четвертак кому-то и не по карману. Не годится это — тут сама природа, а мы со своими правилами. Погляди и скажи, что я не прав.

Уильям поглядел.

Теперь город был похож на тот самый первый город в его жизни, который он увидел, когда мать однажды утром повезла его с собой на поезде, и они ехали по зеленому степному ковру, и вот впереди, крыша за крышей, башня за башней, над краем земли стал подниматься город, испытующе глядя на него, следя, как он подъезжает все ближе. Город — такой невиданный, такой новый, такой старый, такой устрашающий, такой чудесный...

— По-моему, — сказал Роберт, — оставим себе на бензин, сколько на неделю надо, а остальные деньги положим в первую же церковную кружку. Этот мираж, он как чистый родник: пейте, кому хочется. Умный человек зачерпнет кружку, освежит холодком горло в жару и поедет дальше. А если мы останемся да начнем плотины ставить, чтобы вся вода только нам...

Уильям, глядя вдаль сквозь шуршащие вихри пыли, попытался смириться, согласиться:

- Раз ты так говоришь...
- Не я. Весь здешний край говорит.
- А вот я скажу другое!

Они подскочили и обернулись.

На косогоре над дорогой стоял мотоцикл. А на нем, в радужных пятнах бензина, в огромных очках, с коркой грязи на щетинистых щеках — ну конечно, старый знакомый, все та же заносчивость, то же неистощимое высокомерие.

— Нед Хоппер!

Нед Хоппер улыбнулся своей самой ядовито-благожелательной улыбкой, отпустил тормоза и съехал вниз, к своим старым друзьям.

— Ты... — произнес Роберт.

— Я! Я! Я! — Громко смеясь, запрокинув голову, Нед Хоппер трижды стукнул по кнопке сигнала. — Я!

— Тихо! — вскричал Роберт. — Разобьешь, это же как зеркало.

— Что как зеркало?

Уильям, зараженный тревогой Роберта, беспокойно посмотрел на горизонт над пустыней.

Мираж затрепетал, задрожал, затуманился — и снова голубеном повис в воздухе.

— Ничего не вижу! Признавайтесь, что вы тут затеяли, ребята? — Нед уставился на испещренную следами землю. — Я двадцать миль отмахал, нет как нет, только потом смекнул, что вы где-то позади притаились. Э, говорю себе, разве так поступают старые друзья, которые в сорок седьмом навели меня на золотую жилу, а в пятьдесят пятом осчастливили этим мотоциклом. Сколько лет выручаем друг друга, и вдруг какие-то секреты от старины Неда. И я повернул назад. Полдня вон с той горы за вами следил. — Нед приподнял бинокль, висевший на его промасленной куртке. — Я ведь умею читать по губам, вы не знали? Точно! Видел, как сюда заскакивали все эти машины, видел денежки. Да у вас тут настоящий театр!

— Не повышай голоса, — предостерег его Роберт. — До свиданья.

Нед приторно улыбнулся.

— Как, вы уезжаете? Жалко. А вообще-то вам и правда нечего делать на моем участке.

— На твоём! — закричали Роберт и Уильям, спохватились и дрожащим шепотом повторили: — Как это на твоём?

Нед усмехнулся.

— Я как увидел ваши дела, махнул прямиком в Феникс. Видите документик у меня в заднем кармане?

В самом деле: аккуратно сложенная бумажка.

Уильям протянул руку.

— Не доставляй ему удовольствия, — сказал Роберт.

Уильям отдернул руку.

— Ты хочешь, чтобы мы тебе поверили? Что ты уже подал заявку на участок?

Нед погасил улыбку в своих глазах.

— Хочу. Не хочу. Допустим, я соврал — все равно я на мотоцикле доберусь до Феникса быстрее, чем вы на своем драндулете. — Нед изучил окрестности в свой бинокль. — Так что лучше выкладывайте все денежки, какие получили с двух часов дня, когда я подал заявку. С того часа вы находитесь на чужой земле — на моей земле.

Роберт швырнул монеты в пыль. Нед Хоппер бросил небрежный взгляд на блестящий сор.

— Монета правительства Соединенных Штатов! Лопни мои глаза, ведь ничегошеньки нет, а эти барашки все равно денежки несут!

Роберт медленно повернулся лицом к пустыне.

— Ты ничего не видишь?

Нед фыркнул.

— Ничего, будто не знаешь!

— А мы видим! — закричал Уильям. — Мы...

— Уилл, — сказал Роберт.

— Но, Боб!..

— Там нет ничего. Он прав.

Под барабанную дробь моторов к ним приближались еще машины.

— Извините, джентльмены, мое место в кассе! — Нед метнулся к дороге, размахивая руками. — Извольте, сэр, мэм! Сюда, сюда! Деньги вперед!

— Почему? — Уильям проводил взглядом горланящего Неда Хоппера. — Почему мы ему потакаем?

— Погоди, — кротко сказал Роберт. — Посмотрим, что будет.

Они отошли в сторону, пропуская чей-то «Форд», чей-то «Бьюик», чей-то престарелый «Мун».

Сумерки. На горе, ярдах в двухстах над «Кругозором загадочного Города-Миража» Уильям Бенглин и Роберт Гринхилл поджарили и принялись ковырять вилками скудный ужин: свинины почитай что и нет, одни бобы. Время от времени Роберт наводил выдавший виды театральный бинокль на то, что происходило внизу.

— Тридцать посетителей с тех пор, как мы уехали, — отметил он. — Ничего, скоро закрывать придется. Десять минут, и солнце совсем уйдет.

Уильям смотрел на одинокий боб, пронзенный его вилкой.

— Нет, ты мне скажи: почему? Почему всякий раз, как нам повезет, Нед Хоппер тут как тут?

Роберт дохнул на стекла бинокля и протер их рукавом.

— Потому, дружище Уилли, что мы с тобой чистые души. Вокруг нас сияние. И злодеи мира сего, как завидят его вдали, радуются: «Ага, не иначе там ходят этакие милые, простодушные сосунки». И спешат во всю прыть к нам — погреть руки. Как тут быть? Не знаю. Разве что погасить сияние.

— Да ведь не хочется, — задумчиво произнес Уильям, держа ладони над костром. — Просто я надеялся, что наконец настала наша пора. Этот Нед Хоппер, он же только брюхом живет, и когда его гром разразит?

— Когда? — Роберт ввинтил линзы бинокля себе в глаза. — Уже, уже разразил! Позор маловедам!

Уильям вскочил на ноги рядом с ним. Они поделили бинокль, каждому по окуляру.

— Гляди!

И Уильям, приставив глаз к биноклю, крикнул:

— Семь верст до небес!

— И все лесом!

Еще бы, такое зрелище! Нед Хоппер переминался с ноги на ногу возле автомашины. Сидящие в ней люди размахивали руками. Он вручил им деньги. Машина ушла. Даже на горе были слышны горестные вопли Неда.

Уильям ахнул.

— Он возвращает деньги! Гляди, едва не ударил вон того... А тот грозит ему кулаком! Нед ему тоже возвращает деньги! Гляди, еще нежное расставание, еще!

— Так его! — ликовал Роберт, прильнув к своей половине бинокля.

И вот уже все машины катят прочь в облаке пыли. Старина Нед исполнил какую-то яростную чечетку, швырнул оземь свои очки, сорвал плакат, изрыгнул ужасающую брань.

— Вот дает! — задумчиво сказал Роберт. — Не хотел бы я услышать такие слова. Пошли, Уилли!

Не дожидаясь, пока Уильям Бентлин и Роберт Гринхилл спустятся на своей машине к повороту на Загадочный Город, разъяренный Нед Хоппер пулей вылетел с выступа. Злобные крики, рев мотоцикла; раскрашенный картон бумерангом взлетел вверх и, со свистом рассекая воздух, чуть не поразил Боба. Нед уже скрылся на своем грохочущем чудище, когда плакат вильнул вниз и лег на землю; Уильям поднял его и обтер.

Сумерки сгустились, солнце прощалось с далекими вершинами, весь край притих и примолк. Нед Хоппер исчез, и двое остались одни на опустевшем выступе, в сетке колесных следов, глядя на пески и заколдованный воздух.

— Нет, нет! — произнес Уильям.

— Боюсь, что да, — отозвался Роберт.

Чуть тронутая розовым золотом заходящего солнца даль была пуста. Мираж пропал. Два-три пыльных вихря прошли вдоль горизонта и рассыпались, и только.

Уильям вздохнул горько-горько.

— Это все он! Нед! Нед Хоппер, вернись, ты!.. Все испортил, окаянный! Чтоб тебе света не видать! — Он осекся. — Боб, как ты можешь — стоит, хоть бы что ему!

Роберт грустно улыбнулся.

— А мне его жалко.

— Жалко?!

— Он не видел того, что видели мы. Все видели, а он не видел. Даже на миг не поверил. А ведь неверие заразительно. Оно и к другим пристаёт.

Уильям внимательно оглядел безлюдный край.

— По-твоему, в этом все дело?

— Кто его знает... — Роберт покачал головой. — Одно можно точно сказать: когда люди сворачивали сюда, они видели город, города, мираж, назови как хочешь. Но поди разгляди что-то, когда тебе все заслоняют. Нед Хоппер даже руки не поднял, а все солнце закрыл своей загребушей лапищей. И сразу театр — двери на замок.

— А мы... — Уильям помялся. — Мы не можем снова открыть его?

— Как? Что надо сделать, как вернуть такое чудо?

Они медленно обвели взглядом пески, горы, редкие одинокие облачка, притихшее, бездыханное небо.

— Может, если глядеть уголком глаза, не прямо, а как бы невзначай, ненароком...

И они стали смотреть на башмаки, на руки, на камни в пыли у своих ног. Наконец Уильям буркнул:

— А точно ли это? Что мы такие чистосердечные?

Роберт усмехнулся.

— Конечно, детишки тут сегодня побывали, так те куда почище нас, недаром видели все, что хотели, и взрос-

лые — простые души, что выросли среди полей и милостью Божьей странствуют по свету, а сами детьми остались. Нет, Уилли, мы с тобой не дети — ни малые, ни взрослые, а есть у нас одно: умеем радоваться жизни. Знаем, что такое прозрачное утро на пустынной дороге, как звезды рождаются и гаснут в небесах. А этот злодей, он давным-давно разучился радоваться. Как его не пожалеть, вот мчится сейчас на своем мотоцикле, и всю ночь так, и весь год...

Он не успел договорить, когда заметил, что Уильям исподволь косит глазом в сторону пустыни. И он тихонько прошептал:

— Видишь что-нибудь?..

Уильям вздохнул.

— Нет. Может быть... завтра...

На шоссе показалась одинокая машина.

Они переглянулись. Глаза их вспыхнули иступленной надеждой. Но руки не поднимались, и рот не открывался, чтобы крикнуть. Они стояли молча, держа перед собой разрисованный плакат.

Машина пронеслась мимо.

Они проводили ее молящими глазами.

Машина затормозила. Дала задний ход. В ней сидели мужчина, женщина, мальчик, девочка. Мужчина крикнул:

— Уже закрыли на ночь?!

— Ни к чему... — заговорил Уильям.

— Он хочет сказать: деньги нам ни к чему! — перебил его Роберт. — Последние клиенты сегодня, к тому же целая семья. Бесплатно! За счет фирмы!

— Спасибо, приятель, спасибо!

Машина, рывкнув, въехала на площадку кругозора.

Уильям стиснул локоть Роберта.

— Боб, какая муха тебя укусила? Огорчить детишек, такую славную семью!

— Помалкивай, — тихо сказал Роберт. — Пошли.

Дети выскочили из машины. Мужчина и его жена выбрались на волю и остановились, освещенные вечерней зарей. Небо было золотое с голубым отливом, где-то в песчаной дали пела птица.

— Смотри, — сказал Роберт.

Приезжие стояли в ряд, глядя на пустыню, и старики подошли к ним сзади.

Уильям затаил дыхание.

Отец и мать, неловко шурясь, всматривались в сумрак.

Дети ничего не говорили. Распахнутые глаза их впитали в себя чистый отсвет заката.

Уильям прокашлялся.

— Уже поздно. Кхм... Плохо видно...

Мужчина хотел ответить, но его опередил мальчик:

— А мы видим... здорово!

— Да-да! — подхватила девочка, показывая. — Вон там!

Мать и отец проследили взглядом за ее рукой, точно это могло помочь. И помогло!

— Боже, — воскликнула женщина, — кажется, там... нет... ну да, вот оно!

Мужчина впился глазами в лицо женщины, что-то прочел на нем, сделал мысленный оттиск и наложил его на пустыню и воздух над пустыней.

— Да, — молвил он наконец, — да, конечно.

Уильям посмотрел на них, на пустыню, потом на Роберта: тот улыбнулся и кивнул.

Четыре лица, обращенных к пустыне, так и сияли.

— О, — прошептала девочка, — неужели это правда?

Отец кивнул, осененный видением, которое было на грани зримого и за гранью постижимого. И сказал так, словно стоял один в огромном заповедном храме:

— Да. И клянусь... это прекрасно.

Уильям уже начал поднимать голову, но Роберт шепнул:

— Не спеши. Сейчас. Потерпи немного, не спеши, Уилл.

И тут Уильям понял, что надо делать.

— Я... я встану с детьми, — сказал он.

И он медленно прошел вперед и остановился за спиной мальчика и девочки. Так он долго стоял, точно между двумя жаркими кострами в холодный вечер, и они согрели его, и он, не дыша, исподволь поднял глаза и через вечернюю пустыню осторожно стал всматриваться в сумрак — неужели не покажется?

И там из легкого облака пыли высоко над землей ветер вновь вылепил смутные башни, шпили, минареты — возник мираж.

Уильям ощутил на шее, совсем близко, дыхание Роберта — тот негромко шептал про себя:

Поистине диковинное диво:
Пещерный лед — и солнца переливы...

Они видели город.

Солнце зашло, появились первые звезды.

Они совсем отчетливо видели город, и Уильям услышал свой голос — то ли вслух, то ли в душе он повторял:

Поистине диковинное диво...

И они стояли в темноте, пока не перестали видеть.

ИМЕННО ТАК УМЕРЛА РЯВУШИНСКАЯ

На ледяном цементе подвала лежал холодный труп мужчины. Здесь было так сыро, будто моросил невидимый дождь, а люди толпились, как жители прибрежной деревни возле мертвого тела, поутру выброшенного волнами на морской берег. Казалось, в этой подземной комнате сила тяжести превышала обычную: головы присутствующих, уголки их ртов и щеки властно клонило вниз. Руки висели плетями, словно к ним были привешены гири, а ноги будто приросли к цементу и двигать ими было так же трудно, как под водой.

Время от времени откуда-то приходил звук, но всем было не до него.

Однако невнятный звук повторялся снова и снова, пока присутствующие не обратили на него внимание, и тогда люди разом вскинули головы вверх и уставились на потолок. Почудилось, что они действительно на морском берегу и в небе тоскливо вскрикивает чайка, пронизывая своим голосом ноябрьский серый рассвет. Звук был печален, как крик птицы, нехотя отправляющейся на юг переждать ужасы зимы. Или как далекий шорох океанской волны, набегающей на берег и шуршащей по песку. Или как всхлип ветра внутри морской раковины.

Затем люди в подвале словно по команде перевели взгляд на стол, где стояла золотистая шкатулка длиной чуть по-

больше полуметра с надписью: «РЯБУШИНСКАЯ». Теперь всем стало очевидно, что звук идет именно из-под крышки этого гробика. Присутствующие таращились на шкатулку. И только труп лежал равнодушно и не прислушивался к странному полувнятному тихому голосу.

— Выпустите меня, выпустите меня! Ах, пожалуйста, выпустите меня! — различили все.

Кончилось тем, что мистер Фабиан, чревовещатель, подошел к золотистой шкатулке, нагнулся над ней и сказал:

— Нет, Риа, тут у нас серьезное дело. Попозже. А теперь успокойся и помолчи. Будь славной девочкой.

Он прикрыл глаза и попробовал рассмеяться.

Однако голосок из-под полированной крышки спокойно возразил:

— Пожалуйста, не насмешничай. После того, что случилось, ты должен быть со мной поласковее.

Детектив лейтенант Крович легонько дернул Фабиана за рукав:

— Если не возражаете, ваши фокусы с чревовещанием мы послушаем в другой раз. А покуда нам надо что-то решить с этим.

Он посмотрел на женщину, которая взяла раскладной стул и присела.

— Итак, вы миссис Фабиан, — сказал детектив. Затем перевел глаза на молодого человека, присевшего неподалеку от женщины. — А вы — мистер Дуглас, пресс-агент и менеджер мистера Фабиана, не так ли?

Молодой человек подтвердил:

— Да, я мистер Дуглас.

Крович еще раз взглянул на лицо мужчины на полу.

— Мистер и миссис Фабиан, мистер Дуглас, как я вас понял, вы утверждаете, что никто из вас не знает этого человека, убитого здесь прошлым вечером. И его фамилию — Окхэм — вы слышите впервые в жизни. Однако этот Окхэм незадолго до своей смерти сказал режиссеру, что он

знаком с Фабианом и намерен встретиться с ним в связи с жизненно важным делом.

Голосок в шкатулке опять что-то тихо забормотал.

Крович взорвался:

— Бросьте ваши чертовы штучки, Фабиан!

Из-под крышки донесся слабый смешок. Будто зазвенел колокольчик, прикрытый одеялом.

— Не обращайтесь на нее внимания, лейтенант, — сказал Фабиан.

— На нее? Вы хотите сказать, на вас! Ну-ка, прекратите свои глупости — вместе или отдельно, мне наплевать.

— Нам никогда не быть больше вместе, — произнес все тот же тихий женский голосок. — После того, что произошло вчера.

Крович раздраженно протянул руку:

— Дайте-ка мне ключ, Фабиан.

В полной тишине ключ щелкнул в крохотной замочной скважине, миниатюрные петельки скрипнули, и крышка открылась.

— Большое спасибо, — сказала Рябушинская.

Крович замер как громом пораженный, глядя вниз, на Рябушинскую. Он глазам своим не верил.

Белое личико куклы было вырезано не то из мрамора, не то из белейшей древесины — дерева такой белизны ему еще не доводилось видеть. Казалось, это личико вылеплено из снега. А тонкая шея, тоже белая, по изяществу была сравнима разве что с чашкой из тончайшего фарфора: солнце просвечивало через нее. Ручки были словно из слоновой кости — такие грациозные вещицы с крохотными ноготками, с рисунком на подушечках длинных, красиво очерченных пальчиков, с морщинками на подвижных суставах.

Она была как из белого мрамора, сквозь который играет свет, но столь же живой свет источали ее темные глаза синевы спелой шелковицы. Крович мог бы сравнить куклу с парным молоком в прозрачном стакане или взбитыми

сливками в хрустальном кувшине. Тонкие черные брови красивым изломом подчеркивали прелесть глаз, а впадинки на щеках пульсировали жизнью, не говоря уже о том, что едва приметные фиолетовые жилки виднелись на каждом виске, а еще более неприметная голубоватая венка просвечивала над переносицей, между сияющими колодцами темных глаз.

Ее губы были раздвинуты и даже казались слегка влажными. И прелестные ноздри, и миниатюрные ушки ни одним изгибом не погрешили против природы. Темные волосы были разделены по центру пробором и зачесаны за уши, и эти волосы были настоящими — Крович мог разглядеть каждый отдельный волосок. Ее черное элегантно платье, того же цвета, что и волосы, оставляло открытыми мраморной белизны плечи.

Крович почувствовал комок в горле, его голосовые связки напряглись, но в итоге он ничего не сказал.

Фабиан вынул Рябушинскую из шкатулки.

— Вот моя прекрасная леди, — произнес он. — Вырезана из редчайших сортов дерева, привезенных из далеких стран. Она выступала в Париже, в Риме и Стамбуле. И повсюду люди влюблялись в нее и не уставали говорить, что она как живое существо, некое одушевленное чудесное произведение искусства. Никто не хотел признать, что она родилась из бревна, бывшего деревом и росшего где-то далеко от городов и кретинов, которые населяют эти города.

Жена Фабиана, Элис, позабыв обо всем и обо всех, пристально наблюдала за мужем, не сводя глаз с его губ. Пока он рассказывал о кукле, которую он держал в руках, миссис Элис ни разу не сморгнула. Он, в свою очередь, был полностью поглощен куклой — казалось, и подвал, и бывших в нем людей поглотил густой туман.

Однако через какое-то время фигурка в руках Фабиана вдруг шевельнулась и зажестикულიровала.

— Право же, не надо говорить обо мне! Пожалуйста! Ты же знаешь, Элис терпеть этого не может.

— Да, она всегда приходила в дурное расположение духа.

— Тсс! Не начинай! — воскликнула Рябушинская. — Не здесь и не сейчас. — Потом она проворно повернула головку в сторону Кровича, и ее губки быстро зашевелились. — Как все это случилось? Ну, я имею в виду то, что произошло с мистером Окхэмом.

Фабиан решительно возразил:

— Риа, ты бы лучше легла и поспала.

— Но я не хочу спать! У меня есть право все слышать и все рассказать. Я ведь часть этого убийства... точно так же, как Элис или... или даже мистер Дуглас!

Пресс-агент швырнул на пол свою сигарету.

— Послушайте, не втягивайте меня во все это...

Он бросил на куклу такой яростный взгляд, будто она внезапно выросла до роста в шесть футов и дышала ему прямо в лицо.

— Я всего лишь хочу, чтобы здесь прозвучала правда. — Рябушинская повела головой и скользнула взглядом по каждому из присутствующих. — А если я останусь заперта в своем гробу, правда никогда не всплывет, потому как Джон — завзятый враль и я попросту должна следить за ним. Ведь я права, Джон, а?

— Да, — ответил он с закрытыми глазами. — Полагаю, ты права.

— Джон любит меня больше любой женщины на свете, и я люблю его и всегда пытаюсь понять извращенный ход его мыслей.

Крович ударил кулаком по столу.

— Проклятье! О-о, проклятье! Фабиан, как вы можете... как вы смеете!

— Ничего с этим поделать не могу, — кротко отозвался Фабиан.

— Но она же...

— Знаю, знаю, что вы хотите сказать, — произнес Фабиан, спокойно глядя детективу прямо в глаза. — По-вашему, она сидит у меня в глотке? Ошибаетесь. Она не в моих голосовых связках. Она где-то еще. Сам не знаю где. Здесь или здесь. — Говоря это, он коснулся сперва своей груди, потом головы. — Она очень шустро прячется. Иногда я просто не поспеваю за ней. А порой она живет отдельно от меня, совершенно отдельно. Порой приказывает мне сделать то-то и то-то — и я покоряюсь. Она всегда начеку — против меня, попрекает и советует, говорит правду, когда я лгу, настроена на добро, когда я полон зла и грешу как сто чертей. У нее какая-то независимая жизнь. Она отгородила себе некое пространство в моем мозгу и живет себе за стенкой, начисто игнорируя меня, когда я принуждаю ее говорить дурные вещи, и покоряюсь, если я вкладываю в ее уста правильные речи и придаю ее лицу правильное выражение. — Фабиан тяжело вздохнул. — Таким образом, если вы намерены продолжать расследование, без присутствия Риана не обойтись. Поверьте мне, ничего хорошего не выйдет из того, что мы ее запрем. Ничего хорошего.

Лейтенант Крович опустил на стул и добрых полминуты молча размышлял.

— Ладно, — сказал он наконец. — Пусть остается. Возможно, к концу вечера я буду настолько измотан, что для меня не будет разницы, кому задавать вопросы: чревоушателю или его кукле.

Крович развернул очередную сигару, закурил ее и выпустил облачко дыма.

— Итак, мистер Дуглас, вы по-прежнему утверждаете, что личность убитого вам неизвестна?

— Нет, что-то знакомое в его чертах есть. Возможно, он актер.

Крович выругался.

— А как насчет того, чтобы прекратить врать и начать говорить правду? Вы только посмотрите на одежду Окхэма, на его туфли! Ясно, что человек без гроша. Вчера вечером он явился сюда за деньгами — выклянчить, одолжить или украсть. Давайте-ка спросим у вас вот что, мистер Дуглас. Вы влюблены в миссис Фабиан?

— Это что такое! — воскликнула Элис Фабиан. — Прекратите!

Крович жестом велел ей замолчать.

— Вы меня за слепого принимаете или как? Вот вы сидите голубками рядышком, а я тихо диву даюсь. Когда пресс-агент трогательно утешает вас, сидя там, где в этой ситуации обязан сидеть ваш муж, — тут уж вы меня извините!.. А до чего любопытно глядеть со стороны, какими глазами вы, миссис Фабиан, смотрите на ящик с марионеткой и как глотаете воздух, когда кукла появляется на свет из своей шкатулки! А как откровенно сжимаются у вас кулачки, когда она разговаривает! Черт меня побери, все яснее ясного!

— Неужели вы могли хотя бы на секунду вообразить, что я ревную к куску дерева?

— А вы не ревнуете?

— Еще чего! Конечно нет!

Фабиан шевельнулся и решил вмешаться:

— Элис, ты не обязана что-либо рассказывать.

— Позволь ей!

Все вздрогнули и резко повернули голову в сторону маленькой деревянной фигурки; ее ротик медленно закрывался после сказанных слов. Даже Фабиан бросил на куклу такой взгляд, будто она внезапно исподтишка нанесла ему коварный удар.

После долгой паузы Элис Фабиан заговорила:

— Я вышла замуж за Джона семь лет назад, потому что он твердил, будто бы любит меня, и потому что я любила его и любила его Рябушинскую. Но потом я заметила, что

он живет только для нее и все свое внимание уделяет исключительно ей, а я просто тень, которая каждый вечер ждет за кулисами.

Ежегодно он тратил по пятьдесят тысяч долларов на ее гардероб. Угрохал сто тысяч на кукольный домик — с мебелью из золота, серебра и платины. Каждый вечер укладывал ее спать на маленькую кровать с атласными простынями и беседовал с ней. Поначалу я думала, что это все изощренная комедия, и она меня искренне забавляла. Но мало-помалу до меня дошло, что никакая это не шутка и я действительно не более чем ассистентка, простая услуга при действительно важной персоне. Постепенно я стала ощущать смутную ненависть и недоверие — нет, не к кукле, она-то чем виновата, деревяшка бесчувственная! — я стала ощущать ненависть и отвращение к Джону, потому что это его вина. Ведь очевидно же, что он хозяин положения и что в подобного рода отношениях с деревянной куклой находит выход его врожденный утонченный садизм.

Ну а когда я стала ревновать всерьез... О, так глупо с моей стороны! Да он только этого и ждал! Я полностью удовлетворила его инстинкт мучить и косвенным образом дала высочайшую оценку его профессиональному мастерству чревовещателя. Все это было так глупо, так нелепо и так странно! И вместе с тем я догадывалась, что нечто владеет Джоном — вот так пьяницы носят где-то в себе непонятного и властного зверя, который понуждает их тянуться к бутылке и в конце концов сводит в могилу.

Короче, я металась от ярости к жалости, от ревности к сопереживанию и пониманию. Случались долгие периоды, когда я ни капельки не ненавидела его. А к той части его сознания, которую занимала Риа, у меня вообще никогда не было ненависти: ведь это его лучшая часть, честная и добрая. Она обладала всеми теми чертами, которые он не позволял себе проявлять.

Элис Фабиан умолкла. В подвале, некогда служившем примерной комнатой, на время воцарилось молчание.

— Расскажите им про Дугласа, — шепнул голосок куклы.

Миссис Фабиан не удостоила Рябушинскую взглядом. Просто сделала усилие над собой и завершила рассказ:

— Прошло несколько лет, а любви и понимания со стороны Джона я добиться так и не смогла. И мое внимание естественным образом переключилось на другого... на мистера Дугласа.

Крович важно кивнул:

— Теперь картина начинает проясняться. Мистер Окхэм, неудачник без гроша в кармане, заявился вчера вечером в театр, поговому как знал про вас и мистера Дугласа. Возможно, он пригрозил ввести мистера Фабиана в курс дела, если вы не оплатите его молчание. Стало быть, у вас был серьезный мотив для того, чтобы навсегда закрыть ему рот.

— Ну, эта ваша догадка не умнее прежних, — отмахнулась Элис Фабиан. — Я этого типа не убивала.

— Его мог прикончить мистер Дуглас и ничего вам об этом не сказать.

— Чего ради убивать? — вмешался Дуглас. — Джон все про нас знал.

— Разумеется, — кивнул Джон Фабиан и рассмеялся.

Его смех стих, а ладонь, упрятанная в белоснежном нутре крохотной куклы, судорожно заработала. Рот куклы беззвучно открывался-закрывался и снова беззвучно открывался-закрывался. Фабиан пытался сделать так, чтобы она засмеялась после того, как он отсмеялся. Однако он ничего не добился, кроме невнятного шепота-шелеста быстро шлепающих губ куклы. Фабиан бессильно таранился на маленькое личико, пока на его щеках не заблестели капельки пота.

Назавтра днем лейтенант Крович отыскал в полумраке закулисья чугунную лесенку и задумчиво карабкался вверх, тратя на каждую ступеньку столько времени, сколько бы-

ло нужно, дабы не сбить его мысли с ритма. Наконец он добрался до гримерных на втором этаже и постучал в одну из дверей.

— Входите, — словно из глубокого колодца, послышался голос Фабиана.

Крович зашел и плотно прикрыл дверь за собой.

Пристально глядя на хозяина гримерной, развалившегося в кресле перед зеркалом, он произнес:

— Хочу вам кое-что показать.

С деревянным лицом лейтенант достал из своей кожаной папки глянцевую фотографию и положил ее на гримерный столик.

Брови Джона Фабиана удивленно взметнулись. Он быстро покосился на Кровича и поспешно выпрямился в кресле. Затем поднес руку к переносице и стал осторожно массировать себе лицо, словно у него была сильная головная боль.

Крович перевернул фотографию обратной стороной и начал читать машинописный текст на обороте:

«Имя: мисс Илиана Риамонова. Вес: сто фунтов. Глаза голубые. Волосы черные. Овальное лицо. Родилась в 1914 году в городе Нью-Йорке. Исчезла в 1934 году. Предположительно: жертва амнезии. Родители славянского происхождения...»

Губы Фабиана заметно дрожали.

Крович снова положил фотографию на столик и задумчиво покачал головой:

— Было в высшей степени глупо с моей стороны искать в архиве полиции фотографию куклы. Вы бы только слышали, какой хохот это вызвало у моих коллег. Жуткий хохот. А в итоге — вот она, Рябушинская. Не из папье-маше, не из дерева и не кукла, а женщина из плоти и крови, которая однажды жила, двигалась — и вдруг исчезла. — Он вперился в Фабиана пристальный взгляд. — Быть может, эта женщина послужила прообразом?

Фабиан криво улыбнулся:

— Во всем этом нет ничего такого. Просто когда-то давно я видел фотографию этой женщины, лицо приглянулось, вот я и сделал марионетку по ее образу и подобию.

— Ничего такого во всем этом нет? — Крович глубоко вдохнул, выдохнул, а потом вытер лицо громадным носовым платком. — Фабиан, не далее как сегодня утром я пролистал кипу журналов «Биллборд» вот такой высоты. И в одном номере 1934 года обнаружил преинтересную заметку о некоем второразрядном цирке, где описывается выступление мистера Фабиана с Милашкой Уильямом. Милашка Уильям — кукла-папан. Была еще и ассистентка — Илиана Рианонова. Фотографии при заметке не имеется, но я, по крайней мере, получил хоть какую-то зацепку — имя, притом имя реального человека. Не составило труда порыться в архиве полиции и отыскать вот эту фотографию. Излишне говорить, что точность сходства между живой женщиной и куклой буквально ошеломляет. Мне кажется, Фабиан, вам бы следовало подумать еще разок и рассказать историю как следует.

— Ну, была она моей ассистенткой. Что с того? Использовал ее как модель.

— Слушайте, вы меня в пот вогнали, — сказал детектив. — Принимаете за дурака? Вы и впрямь верите, что я не могу распознать любовь прямо у себя под носом? Я же видел, как вы обращаетесь с этой марионеткой. Я наблюдал, как вы с ней разговариваете, какие реакции на себя вкладываете ей в уста. Это так естественно, что вы влюблены в куклу, потому что вы любили женщину, которая послужила моделью для создания куклы. Любили сильно-сильно. Я прожил достаточно долго и чувствую такие вещи без подсказки. Черт возьми, Фабиан, бросьте ходить вокруг да около!

Фабиан поднял к лицу свои бледные ладони, долго рассматривал их, потом уронил руки на колени.

— Так и быть. В 1934 году мой цирковой номер назывался «Фабриан и Милашка Уильям». Уильям — смешной пацан, нос картошкой, деревянная кукла, которую я вырезал в незапамятные времена. Я выступал в Лос-Анджелесе, когда в один прекрасный вечер у выхода из театра меня остановила девушка. Сказала, что не первый год следит за моей работой, что никак не может найти работу и очень надеется стать моей ассистенткой.

Он хорошо помнил, как она стояла в сумраке переулочка за театром, как его поразила ее свежесть и страстное желание работать с ним и для него и как холодный дождь деликатно сеялся по всему пространству переулочка и собирался бусинками на ее волосах, поднимался легким паром от кожи, бежал капельками по фарфорово-белым кистям, зажимавшим ворот пальто у шеи.

Его память легко возвращала то, как шевелились ее губы в слабом свете фонаря, только вот слова, как ему чудилось, странным образом не совпадали с движениями рта. Он не помнил, что тогда ответил ей: «да», или «нет», или «подумаю». Так или иначе девушка каким-то чудом уже на следующем представлении оказалась на сцене рядом с ним, облитая светом рамп, и в следующие два месяца он, обычно так гордившийся своим цинизмом и недоверием к окружающим, вдруг выступил из своего настороженного мира и с радостью полетел в бездонную пропасть, где нет границ и барьеров, но много тьмы и ужаса.

Как-то очень быстро начались ссоры, а за примирениями — новые ссоры. Сколько глупостей они совершили, сколько бессмыслиц, неправд и прочих ненужных слов наговорили друг другу... В конце концов она отдалилась от него, вызвав у него нескончаемые приступы ярости и умопомрачительные истерики. Однажды он взял и спалил весь ее гардероб в приступе дикой ревности. Это она приняла на диво спокойно. Но в один ужасный вечер он взял и швырнул ей уведомление об увольнении через неделю, обвинил

в чудовищных проступках, орал на нее, тряс ее, отхлестал по щекам, а затем повалил на пол и волоком вытащил вон из театра, захлопнув за ней дверь!

В ту же ночь она исчезла навсегда.

Когда на следующий день после драки он обнаружил, что она действительно ушла, и нигде не смог ее найти, он словно очутился в эпицентре землетрясения. Все кругом рушилось, и страшный подземный гул будил его то в полночь, то в четыре утра, то на рассвете. И он вскакивал с постели ни свет ни заря и, бреясь кое-как перед искажающим все на свете расколотым и мутным зеркалом, вздрагивал от оглушающего рева вскипающего кофейника или от выстрела зажигаемой спички в соседней комнате.

Он аккуратно вырезал все свои объявления в газетах и наклеивал в специальный блокнот. В этих объявлениях он описывал Илиану, умолял видевших девушку сообщить ему о ее местопребывании и обращался к ней с просьбой вернуться. Он даже нанял частного детектива, чтобы отыскать ее. Кругом пошли разные разговоры. Его допрашивала полиция. И новые слухи и домыслы зароились вокруг его имени.

Илиана исчезла бесследно и безвозвратно, как кусочек белой бумаги, унесенный ветром. Описание ее внешности было разослано во все крупные города — на том полиция и успокоилась. Но Фабиан не сдался. Мертва она или в бегах от него, однако она вернется к нему — так или иначе. В этом Фабиан был твердо уверен.

Однажды вечером он пришел домой, неся на плечах всю тяжесть своей тоски, и рухнул на стул... и вдруг обнаружил, что сидит в темноте и разговаривает с Милашкой Уильямом.

— Так-то вот, Уилли. Все кончено. Я не смог удержать ее!

И Уильям вдруг крикнул ему в ответ:

— Трус! Трус!

Крик шел откуда-то сверху, из пустоты.

— Кабы ты захотел, ты бы ее вернул!

Милашка Уильям скрипел суставами и верещал из тьмы.

— Ты можешь, можешь! Думай! — настаивал он. — Придумай способ. У тебя должно получиться. Отложи меня в сторону, запри меня в сундуке. А сам начни все сначала.

— Начать все сначала?

— Да, — шепеляво шепнул Милашка Уильям — сгусток темноты в темноте. — Да! Купи полено. Купи новое хорошее полено. Купи крепкое полено. Купи прекрасное новое крепкое полено. И возьми в руки резец. Начни работать медленно и аккуратно. Твори бережными ударами долота. Нежно округли маленькие ноздри. Неспешно прочерти на дереве тонкие черные брови над полушариями век и не забудь ямочки на щеках. За резец, вперед!..

— Нет! Это глупость. Мне ни за что не справиться!

— Ты можешь! У тебя получится, получится, получится, получится...

Голос слабел и слабел, как журчание ручья, уходящего под камень, в глубь земли. Голова Фабиана бессильно упала на грудь. Милашка Уильям тяжело вздохнул и окончательно затих. Оба стали как недвижимые камни, над которыми бурлит водопад.

На следующее утро Фабиан после долгих поисков нашел кусок дерева необходимого размера — из самой твердой и мелкослойной древесины — и принес его домой. Теперь полено лежало на верстаке. Но взяться за работу он не мог. И час, и другой, и третий он только смотрел на кусок дерева. Совершенно невероятно, что из этой холодной дровяшки его руки в союзе с памятью способны воссоздать нечто теплое, подвижно-гибкое и до боли родное. Смешно и помыслить, что удастся вернуть хотя бы приблизительно тот морозящий дождик, ту атмосферу лета и в сумерках нежный шорох хлопьев снега, которыми декабрьский ветер царапал по оконному стеклу. Нет ни малейшей надежды — ни малейшей — поймать снежинку так, чтобы она тут же не растаяла в твоих неловких пальцах.

Но тогда Милашка Уильям заговорил снова — после полуночи, свистящим шепотом, с надрывными вздохами:

— Ты способен. Разумеется, конечно же, вне всяких сомнений, ты способен!

И Фабиан решился.

Целый месяц ушел на то, чтобы высвободить из дерева ее ручки и сделать их такими красивыми и изящными, как морские раковины, лежащие на солнце. Еще месяц потребовался на тельце — казалось, он отыскивает внутри дерева окаменелый отпечаток ее фигуры. Когда появились первые контуры стана, ее деревянная плоть была так нежна, так гладка, что представить под ней грубую анатомию было бы так же кошунственно, как вообразить сеточку вен в белой мякоти яблока.

И все это время Милашка Уильям лежал, укутанный в саван пыли в своем ящике — тот мало-помалу становился его взаправдашним гробом. Милашка Уильям еще поскрипывал из своего склепа, еще ронял хриплым голосом очередные сарказмы, то критикуя работу, то давая дельные советы, но при этом медленно умирал, по частицам исчезая из жизни хозяина — в преддверии полной разлуки, когда он будет брошен, как по весне змея сбрасывает старую кожу, которой судьба иссохнуть и быть унесенной ветром.

Бежали недели. Фабиан прилежно долбил, выравнивал, полировал, а Милашка Уильям лежал в прострации, и периоды его молчания становились все длительней и длительней. А когда в один прекрасный день Фабиан воздел в руке уже совсем готовую новую куклу, Милашка Уильям поглядел на Джона мутнеющим удивленным взглядом, в горле его забулькала смерть и глаза закатились.

Так скончался Милашка Уильям.

Пока Фабиан трудился над созданием куклы, в его голосовых связках шла своя работа: там легко трепетали звуки и слоги, отдаваясь эхом и эхом эха, там ощущались слабое движение и шорох, словно от ветра, который гонит сохлые

листья. И когда он впервые взял куклу определенным образом, память скатилась по его рукам к пальцам и втекла в полую деревяшку — и ручки куклы вдруг шевельнулись, а тельце вдруг стало мягким, гибким, суставы подвижными, и глаза наконец открылись: она смотрела на него.

А потом открылся ротик: губки чуть разошлись, словно изготовившись к речи. И он знал все-все, что она собирается ему сказать, равно как и то, что он намерен сказать ей — и в какой последовательности. Началось с невнятного шепота, шепота, шепота...

Маленькая головка осторожненько повернулась налево, потом осторожненько направо. Губы все шевелились и шевелились, пока не появилась внятная речь. И когда она наконец заговорила, он нагнулся к ее личику и почувствовал тепло ее дыхания — разумеется, он его ощутил, могло ли быть иначе! Прикладывая ухо к ее груди, он услышал такое тихое, такое мерное, такое нежное биение — разумеется, оно билось, ее маленькое сердечко, и разве могло быть иначе?

Добрую минуту после окончания рассказа Крович продолжал молча и неподвижно сидеть на стуле. Наконец шевельнулся.

— Понятно, — сказал он. — А ваша жена?

— Элис? Она была, ясное дело, моей второй ассистенткой. Работала на совесть, выкладывалась и, благослови ее Господь, любила меня. Трудно теперь припомнить, чего ради я на ней женился. Это было бессовестно с моей стороны.

— А как насчет убитого — Окхэма?

— Я впервые увидел его только вчера, когда вы показали мне труп в театральном подвале.

— Фабиан, — с упреком сказал детектив.

— Чистая правда!

— Фабиан!

— Ей-же-ей, я не вру. Провалиться мне на месте, если это неправда!

— Правду.

Это был шепот — не громче далекого плеска волны, набегающей ранним утром на серый берег в безветренный день. Вода шуршит по мелкому песку. Небо холодное и пустынное. Берег такой же пустынный. Солнце кануло, словно навеки.

И снова шорох-шепот:

— Правду.

Фабиан резко выпрямился в кресле и вцепился тонкими пальцами в свои колени. Его лицо окаменело.

Крович поймал себя на том, что он повторяет свое вчерашнее движение — вскинув голову, смотрит на потолок, словно это ноябрьское небо, по которому высоко и далеко улетает прочь одинокая птица — серое пятно на холодно-сером.

— Правду! — И опять, уже почти неслышно: — Правду!

Крович вдруг подхватился и осторожно просеменил в дальний конец комнаты. Там, в раскрытой золотистой шкатулке лежало нечто, что могло шептать, говорить, а иногда и смеяться, и даже петь. Детектив перенес шкатулку на гримерный столик.

Фабиан помедлил, потом сунул руку внутрь куклы. Крович терпеливо ждал, переминаясь с ноги на ногу. Наконец губы куклы шевельнулись, глаза открылись и стали осмысленными.

Им не пришлось ждать долго.

— Первое письмо пришло месяц назад.

— Нет!

— Первое письмо пришло месяц назад.

— Нет! Нет!

— В письме было написано следующее: «Рябушинская, родилась в 1914 году, умерла в 1934-м. Снова родилась в 1935 году». Мистер Окхэм работал жонглером. Много лет назад он выступал в той же программе, что Фабиан и Милашка Уильям. И вот он вспомнил, что прежде куклы существовала женщина.

— Нет, это неправда!

— Да, — сказал голос.

Губы Фабиана дрожали. Детектив молчал. Фабиан загнуто озирался, словно искал в стенах потайную дверь, через которую можно ускользнуть от ответа. Он даже привстал в кресле и жалобно произнес: «Пожалуйста...»

— Окхэм угрожал рассказать про нас всему миру.

Крович видел, как кукла задрожала, как заходили ходуном ее губки, как глаза Фабиана выкатились из орбит, а взгляд остановился и мускулы шеи судорожно дергались, пытаясь удержать шепот.

— Я... я была в комнате, когда пришел мистер Окхэм. Я лежала в своей шкатулке и слушала, и все слышала. Я все знаю. — На несколько мгновений голос стал нечленоразделен. Затем былая внятность вернулась. — Мистер Окхэм угрожал разбить меня на куски, сжечь дотла, если Джон не заплатит ему тысячу долларов. Потом что-то очень тяжелое вдруг упало. И вскрик. Должно быть, мистер Окхэм при падении ударился затылком о пол. Я слышала, как Джон вскрикнул и потом разразился ругательствами. Слышала, как он всхлипывает. Такой прерывистый звук, будто кого-то душат.

— Ты ничего не слышала! Ты глухая и слепая! Ты всего-навсего деревяшка! — заорал Фабиан.

— Но я слышу!.. — возразила она. И тут же осеклась и замолчала, словно кто-то закрыл ее рот ладонью.

Фабиан вскочил и замер с куклой на руке. Ее губы двигались в бессильном беззвучии.

С четвертой попытки она заговорила снова:

— Затем всхлипы утихли. Я слышала, как Джон тащит тело мистера Окхэма вниз по лестнице в подвальную гридерную, которую не используют уже много лет. Вниз, вниз, вниз, прочь, прочь, прочь... Я слышала!

Крович резко шагнул назад, словно до этого с любопытством смотрел фильм, но теперь герои на экране вдруг вы-

росли в гигантов и спрыгнули в зал. Он был напуган их размерами и реальностью. Казалось, они раздавят его одной только своей безусловной осязаемостью.

Словно невидимый киномеханик прибавил звука, и кукла вдруг завопила. Крович видел, как Фабиан оскалил зубы, как задергалось его лицо, — он что-то шептал с перекошенным ртом, потом его глаза закатились, веки бессильно закрылись.

Прежде едва слышный и мягкий голос превратился в злое верещание.

— Я не для этого создана. Я так жить не могу. Теперь у нас нет будущего. Все будут знать о нас. Все-все. Сразу после того, как ты убил его, я лежала в своей шкатулке и спала. Но во сне я все поняла. Мы оба знаем, мы оба сразу же поняли, что пришли наши последние дни, последние часы. Ибо я могла сносить твою слабость, твою частую ложь, но жить с существом, способным на убийство, — нет, не могу. Я не способна жить с этим. Как мне жить с подобным знанием?

Фабиан держал куклу в снопе солнечного света, проникавшего через окошко гримерной. Она смотрела ему в глаза пустым взглядом. Его рука дрожала, а вместе с ней и марионетка. Ее рот то раскрывался, то открывался. И снова судорожно раскрывался-открывался. Опять и опять. Молча.

В растерянности Фабиан поднес пальцы свободной руки к своим губам. Ему не верилось. Его глаза потускнели. Он напоминал заблудившегося в городе человека, который пытается вспомнить номер определенного дома, отыскать нужное окно или желанный огонек в окне. Фабиан потерянно озирался, глядя то на стены, то на Кровича, то на куклу, то на свою свободную руку, пальцы которой снова и снова ложились на его горло, ощупывали его, потом испуганно взлетали чуть выше, к губам. Он прислушивался.

Далеко-далеко, в сотне миль отсюда, одна-единственная волна накатила на берег и, пенясь, прошелестела по

песку. А по-над ней тенью пронеслась чайка — беззвучно, с недвижно распростертыми крыльями.

— Она покинула меня. Ее больше нет. Она сбежала. Я не могу найти ее. Не могу найти, не могу. Послушайте, помогите мне! Вы поможете мне разыскать ее? Помогите мне найти ее! Пожалуйста, помогите мне найти ее!

Рябушинская обвисла, как тряпка, на его пальцах. Фабиан рассеянно опустил руку; кукла соскользнула вниз, бесшумно шлепнулась на холодный пол и осталась лежать там — глаза закрыты, губы сжаты.

Фабиан даже не оглянулся на нее, когда Крович выво-
дил его из комнаты.

НИЩИЙ С МОСТА О'КОННЕЛА

— Так, — сказал я. — Твой муж — дурак.

— Почему? — спросила жена. — Что ты такого сделал?

Я смотрел с третьего этажа гостиницы. В свете фонаря под окнами прошел человек.

— Это он. Два дня назад...

Два дня назад кто-то зашипел на меня из соседней подворотни:

— Сэр! Это важно! Сэр!

Я обернулся в темноту. Какой-то заморыш. Голос — жуткий-прежуткий.

— Если б у меня был фунт на билет, мне бы дали работу в Белфасте!

Я колебался.

— Отличную работу! — продолжал он торопливо. — Хороший заработок! Я... я вышлю деньги по почте. Только скажите, кто вы и где остановились.

Он видел, что я — турист. Промедление меня сгубило, обещание вернуть деньги — растрогало. Я хрустнул бумажкой, отделяя ее от пачки.

Человек встрепенулся, как ястреб.

— Будь у меня два фунта, сэр, я бы поел в дороге.

Я вытащил вторую.

— А на три мог бы забрать жену — не оставлять же ее здесь одну-одинешеньку.

Я отсчитал третью.

— А, была не была! — вскричал человек. — Какие-то жалкие пять фунтов, и мы будем жить в отеле, а не на улице, тогда уж я точно найду работу!

Что за воинственный танец он исполнял, притопывая, охлопываясь, кося глазами, скалясь в улыбке, причмокивая языком.

— Господь отблагодарит вас, сэр!

Он побежал, унося мои пять фунтов.

На полпути к гостинице я сообразил, что он не записал мое имя.

— Черт! — крикнул я тогда.

— Черт! — вскричал я сейчас, глядя в окно.

Потому что в прохожем под фонарем я узнал человека, которому третьего дня надлежало уехать в Белфаст.

— А, я его знаю, — сказала жена. — Он ко мне сегодня подошел. Просил денег на поезд до Голуэя.

— Ты дала?

— Нет, — просто отвечала жена.

Тут случилось самое худшее. Демонический нищий поднял голову, увидел меня и — провалиться на этом месте! — сделал нам ручкой.

Я чуть было не помахал в ответ. Губы скривила болезненная усмешка.

— До того дошло, что не хочется выходить из отеля, — пробормотал я.

— Действительно холодно.

Жена надевала пальто.

— Нет, — сказал я. — Дело не в холоде. Дело в них.

Мы снова взглянули в окно.

Ветер гулял над мошеной дублинской улицей, разнося копать от Тринити-колледжа до Сент-Стивенс-Грин. За кондитерской застыли двое. Еще один торчал на углу — бороденка заиндевила, руки в карманах ощупывают скрытые кости. Дальше в подворотне притаилась груда газет: если пройти мимо, она зашевелится, словно стая мышей,

и пожелает вам доброго вечера. У самого входа в отель горячечной розой высилась женщина, прижимая к груди загадочный сверток.

— А, попрошайки, — протянула жена.

— Не просто попрошайки, — ответил я, — а люди на улицах, которые становятся попрошайками.

— Как в кино. Темно, все ждут, когда появится герой.

— Герой. Черт возьми, это про меня.

Жена всмотрелась в мое лицо.

— Ты же их не боишься?

— Да нет. Дьявол. Хуже всех — та женщина со свертком. Это стихийная сила. Сбивает с ног своей бедностью. Что до остальных — ну, для меня это большая шахматная партия. Сколько мы уже в Дублине? Восемь недель? Восемь недель я сижу за машинкой, изучаю их распорядок дня. Когда они уходят на обед, я тоже устраиваю себе перерыв — выбегаю в кондитерскую, в книжный, в театр «Олимпия». Когда подгадаю точно, обходится без подаяния, не возникает порыва затолкать их к парикмахеру или в столовую. Я знаю все потайные выходы из гостиницы.

— Господи, — сказала жена. — Тебя довели.

— Да, и больше других — нищий с моста О'Коннела.

— Который?

— Который?! Это чудо природы, ужас. Я люблю его и боюсь. Увидеть его — не поверить своим глазам. Идем.

Дух лифта, сотню лет живущий в нечистой шахте, двинулся вверх, волоча постылые цепи. Дверь открылась со вздохом. Кабина застонала, словно мы наступили ей на желудок. Разобиженный призрак пополз к земле, унося нас в своей утробе.

Между этажами жена сказала:

— Если сделать нужное лицо, нищие к тебе не пристанут.

— Лицо, — терпеливо объяснил я, — у меня мое. Оно из Яблока-в-Тесте, штат Висконсин, Сарсапарели, Мэн.

«Добр к собакам», — написано у меня на лбу. Я выхожу на пустую улицу, и тут же из всех щелей лезут любители дармовщинки.

— Научись смотреть мимо них, — посоветовала жена, — или насквозь. — Она задумалась. — Хочешь, покажу?

— Показывай.

Я открыл дверь лифта. Мы прошли через вестибюль отеля «Ройял хайберниен» и сощурились в прокопченную ночь.

— Святые угодники, помогайте, — пробормотал я. — Вот они, подняли головы, сверкают глазами. Чуют запах печеного яблока.

— Догонишь меня у книжного через две минуты, — сказала жена. — Гляди!

— Постой! — крикнул я, но было уже поздно.

Жена сбежала по ступенькам.

Я смотрел, расплющив нос о стеклянную дверь.

Нищие на углу, напротив, возле отеля, подались телами к моей жене. Глаза их горели.

Жена спокойно взглянула на них.

Нищие медлили, переминаясь с ноги на ногу. Потом их кости застыли. Губы обмякли. Глаза погасли. Сердца упали.

Было ветрено.

Перестук жениных каблучков — цок-цок, словно маленький барабанчик, — затих в проулке.

Из подвала слышались музыка и смех. Я подумал: сбегать вниз, принять глогочек для храбрости?

К дьяволу! Я распахнул дверь.

Эффект был такой, словно кто-то ударил в монгольский бронзовый гонг.

Улица на миг затаила дыхание.

Потом зашуршали подметки, высекая искры из мостовой. Нищие бежали ко мне, из-под подбитых ботинок сыпались светлячки. Протянутые руки дрожали. Рты раскрылись в улыбке, словно старые пианино.

Дальше по улице, у книжного, ждала жена. Она стояла спиной ко мне, но третьим затылочным глазом, наверное, видела: аборигены приветствуют Колумба, братцы-белки встречают святого Франциска, который принес им орехов. На какое-то жуткое мгновение я ощутил себя Папой на балконе Святого Петра, над морем страждущих душ.

Я не прошел и половины ступеней, как женщина бросилась ко мне, тыча в лицо кулек.

— Взгляните на бедного крошку! — возопила она.

Я взглянул на младенца.

Младенец глядел на меня.

Боже милостивый, мерещится — или маленький пройдоха действительно мне подмигнул?

Нет, я схожу с ума; глаза у младенца закрыты. Она накачивает его пивом, прежде чем выйти на промысел.

Мои руки, мои деньги поплыли среди нищих.

— Благодарствуем!

— Бедный крошка не забудет вашу доброту, сэръ!

— Ах, нас осталось совсем мало!

Я протолкался сквозь них и побежал не останавливаясь. Разбитый наголову, я мог бы плестись теперь всю дорогу, но нет, я удирал. Любопытно, ребенок все-таки настоящий? Не бутафория? Нет, я частенько слышал, как он плачет. Черт бы ее подрал, она щиплет его всякий раз, как Большая Жратва, штат Айова, появится из дверей. Циник — ругал я себя, и отвечал себе: нет, трус.

Жена, не оборачиваясь, увидела мое отражение в витрине и кивнула.

Я стоял, силясь отдышаться, и разглядывал свою физиономию: сияющие глаза, восторженный, беспомощный рот.

— Ладно, — вздохнул я. — Так мне удастся сохранить лицо.

— Мне нравится, как ты его сохраняешь. — Она взяла меня под руку. — Хотела б я быть такой же.

Я оглянулся. Кто-то из нищих уходил в темноту с моим шиллингом.

— Нас осталось совсем мало, — повторил я вслух. — Что он имел в виду?

— «Нас осталось совсем мало»? — Жена уставилась в темноту. — Он так и сказал?

— Поневоле задумаешься. Кого «нас»? И где осталось? Улица опустела. Пошел дождь.

— Ладно. Идем, покажу тебе еще большую загадку, человека, который рождает во мне странный неукротимый гнев, потом — блаженный покой. Разгадай его, и ты разгадаешь всех нищих на свете.

— На мост О'Коннела? — спросила жена.

— Туда, — отвечал я.

И мы пошли в мягкую мглистую морось.

На полпути к мосту, когда мы разглядывали тонкий ирландский хрусталь в витрине, женщина в серой шали схватила меня за локоть.

— Умирает! — рыдала нищенка. — Моя бедная сестра умирает! Доктора говорят — рак, месяц осталось жить! А у меня детки плачут от голода! Господи, если б вы дали хоть пенни!

Рука жены на моем локте напряглась.

Я глядел на женщину и, как всегда, рвался на части. Одна половина говорила: «Она просит такую малость!», другая возражала: «Умная, знает, что надо просить меньше, получишь гораздо больше!» Я ненавидел себя за эту раздвоенность.

Я задохнулся:

— Ведь вы...

— Что я, сэр?

Я думал: ведь ты только что совала мне в нос младенца, в квартале отсюда, возле гостиницы!

— Я болею! — Она держалась в тени. — Я болею от слез!

Ты бросила ребенка в подворотне, думал я, сменила зеленую шаль на серую и кинулась нам наперерез.

— Рак... — На ее звоннице был лишь один колокол, но она умела в него ударить. — Рак...

Жена перебила:

— Простите, не вы подходили к нам возле гостиницы?

Мы с нищенкой разом задохнулись. Так нельзя! Это не принято!

Лицо ее собралось складками. Я взгляделся внимательно. Господи, это другое лицо! Я поневоле восхитился. Она знает, чувствует, что знают и чувствуют актеры: когда ты вопишь и нагло лезешь вперед, ты — один персонаж, когда съежишься и жалко отклячишь губы — другой. Женщина, конечно, одна, но вот роль? Явно нет.

Она нанесла мне последний удар ниже пояса.

— Рак...

Произошла короткая схватка, разрыв с одной женщиной и движение к другой. Жена отпустила мою руку, попросайка схватила монету. словно на роликовых коньках, она унеслась за угол, всхлипывая от счастья.

— Господи! — Я в священном восторге смотрел ей вслед. — Наверняка изучала Станиславского. Он где-то пишет, что довольно сощурить глаз и сдвинуть рот набок, чтобы стать другим человеком. Интересно, у нее хватит духу снова караулить нас у гостиницы?

— Интересно, — сказала жена, — перестанет мой муж восхищаться этой комедией? Пора отнестись критически.

— А что, если она говорила правду? Если она уже выплакала все слезы и ей остается только играть, чтоб заработать на жизнь? Что, если так?

— Не может это быть правдой, — возразила жена. — Не верю.

Но одинокий колокол по-прежнему гудел в закопченном небе.

— Ладно, — сказала жена. — К мосту О'Коннела сюда, верно?

— Верно.

Дождь моросил. Полагаю, угол за нами еще долго оставался пустым.

Вот и серый каменный мост, носящий славное имя О'Коннела¹, вот катит холодные серые волны река Лиффи, и даже за квартал различается слабое пение. Внезапно мне вспомнился декабрь.

— Рождество, — прошептал я, — лучшее время в Дублине.

Для нищих, имел я в виду, но не сказал вслух.

За неделю до Рождества дублинские улицы заполняют черные стайки детей, ведомых учителем или монахиней. Они жмутся в подворотнях, выглядывают из театральных подъездов, набиваются в проулки, их губы выводят «Порадуйтесь, люди добрые», глаза исполняют «Стояла ночь, когда звезда...», в руках у них бубны, снежинки укутывают жалкие шеи ласковыми воротниками. В такие ночи дети поют по всему Дублину, и не было вечера, чтобы мы с женой не слышали на Графтон-стрит «В яслях смиренных Он лежал», распеваемую перед очередью у входа в кинотеатр, или «Нарядно уберем дома» перед клубом Четырех провинций. За одну только ночь мы насчитали полсотни приютских или школьных оркестров, тянущих пестрые ниточки песен из конца в конец Дублина. Как в снегопад, невозможно пройти через такое и остаться нетронутым. Я звал их «сладкие нищие», потому что за твои деньги они воздают сполна.

Вдохновленные их примером, самые корявые дублинские нищие моют руки, латают прохудившиеся улыбки, одалживают банджо или покупают скрипку. Кто-то даже наскребает на четырехрядную гармошку. Разве могут они

¹ Даниел О'Коннел (1775—1847) — ирландский государственный деятель, возглавивший борьбу ирландских католиков за политические права, лорд-мэр Дублина в 1841—1846 гг.

молчать, когда полгорода поет, а полгорода охотно лезет в карман за мелочью?

Так что Рождество — лучшее время года. Нищие работают; пусть они фальшивят, но в кои-то веки они при деле.

Однако Рождество прошло, детишек цвета лакрицы загнали в их воронятники, а городские нищие, радуясь тишине, вернулись к обычной праздности. Все, кроме нищих с моста О'Коннела, которые круглый год стараются зарабатывать честно.

— У них есть самоуважение, — говорил я на ходу. — Видишь, вот тот первый бренчит на гитаре, у следующего — скрипка... А вот и он, господи, на середине моста!

— Человек, которого ты хотел мне показать?

— Ну. Тот, что с концертино¹. Можно подойти посмотреть. Думаю, можно.

— В каком смысле «думаешь»? Он ведь вроде слепой? Или нет?

Прямолинейность этих слов смутила меня, словно жена сказала что-то бестактное.

Дождь ласково сыпал на серый каменный Дублин, серые плиты набережной, серый лавовый поток под мостом.

— В том-то и беда, — сказал я. — Не знаю.

И мы стали на ходу разглядывать человека, стоящего точно посередине моста.

Он был невысок ростом — этакая колченогая садовая статуя; его платье, как платье большинства ирландцев, слишком часто полоскало дождем. Волосы стали сивыми от гари, вечно плывущей в воздухе, на щеках осела копоть щетины, из ушей торчала седая поросьль; лицо покраснело от долгого стояния на морозе и заходов в пивную, где приходится слишком много пить, иначе так долго не выдержишь. Невозможно было сказать, что таится за черными очками. Несколько недель назад мне стало казаться, что

¹ Вид аккордеона.

слепой провожает меня взглядом, цепляет мою виноватую пробежку, хотя, может быть, он просто слышал, как совесть заставляет меня ускорять шаг. Мне было страшно, что я могу, проходя, сорвать с его носа очки. Но еще сильнее пугала бездна, которая вдруг откроется и в которую я рухну с чудовищным ревом. Лучше не знать, что там, за дымным стеклом: зрачок виверры или глубины космоса.

Но была одна, главная причина, по которой я не мог с ним смириться.

Под дождем и под снегом, два месяца кряду, он стоял на мосту с непокрытой головой.

Он единственный в Дублине, насколько я знаю, выставив часами под ливнем: струи текли по ушам, по рыжей с проседью, прилипшей к голове шевелюре, дробились на бровях, скатывались по смоляно-черным очкам, по мокрому, в жемчужных капельках, носу. Дождь сбегал по обветренным щекам, по морщинам около рта, словно по морде каменной горгульи, брызгал с острого подбородка на твидовый шарф, на пиджак цвета товарняка.

— Почему он без шапки? — внезапно спросил я.

— Может, у него нет? — предположила жена.

— Должна быть, — возразил я.

— Говори тише.

— Должен быть у него головной убор, — сказал я, понизив голос.

— Вдруг ему не на что купить?

— Такой бедности даже в Дублине не встретишь. У каждого есть хотя бы шапка!

— Может, он весь в долгах, кто-то из близких болен.

— Но стоять неделями, месяцами под дождем и даже не поморщиться, не повернуть головы, будто так и надо, — нет, невероятно. — Я передернулся. — По-моему, это нарочно. Напоказ. Чтобы ты растрогалась. Чтобы тебе стало холодно смотреть и ты подала щедрее.

— Уверена, ты сам стыдишься своих слов, — сказала жена.

— Конечно, стыжусь. — Я был в кеппи, но дождь все равно стекал с козырька на нос. — Боже милостивый, должен же быть ответ!

— Почему ты не спросишь его самого?

— Нет.

Предложение показалось еще страшнее.

И тут случилось последнее, что прилагалось к стоянию под дождем.

Пока мы говорили в некотором отдалении, нищий молчал. Теперь, словно ожив, он что есть силы стиснул концертину. Из гибкой растягиваемой и сминаемой гармошки выдавился астматический хрип, прелюдия к тому, что нам предстояло услышать.

Нищий открыл рот и запел.

Красивый и чистый баритон поплыл над мостом О'Коннела, ровный, уверенный, без малейшего сбоя или изъяна. Певец просто открывал рот, звучали все потайные дверцы в его теле. Он не пел — выпускал душу.

— Ой, — сказала жена, — как замечательно.

— Замечательно, — кивнул я.

Мы слушали, как он пел про чудесный город Дублин, где дожди всю зиму подряд и в месяц выпадает двенадцать дюймов осадков, потом — прозрачную, как белое вино, «Красотку Катлин», затем принялся за прочих многострадальных парней, девчонок, озера, холмы, былую славу, загадки нынешних лет, но как-то выходило, что все это расцветивалось молодостью и красками, словно омытое свежим, совсем не зимним дождем. Не знаю, чем он дышал — ушами, наверное, так плавно, без задержки, плыли округлые слова.

— Ему надо петь на сцене, — сказала жена.

— Может быть, он раньше и пел.

— Он слишком хорош для такого места.

— Я тоже так часто думаю.

Жена возилась с замком сумочки. Я смотрел на нее, на певца — дождь стекал с его сивой макушки, с обвисших волос, дрожал на мочках ушей. Жена открыла сумочку.

И тут мы поменялись ролями. Не успела она шагнуть к нищему, как я крепко взял ее за локоть и повел прочь. Она сперва вырывалась, затем перестала.

Когда мы шли по берегу Лиффи, нищий начал новую песню, которую так часто слышишь в Ирландии. Я обернулся. Он стоял, гордо вскинув голову, подставив ливню очки, и чистым голосом выводил:

Околей, старый хрыч, ляг в могилу ты,
Поскорей, старый хрыч, ляг в могилу ты,
Поскорей околей,
Старый хрыч, дуралей,
И тогда я выйду за милого!

Только позже, оглядываясь назад, понимаешь: пока ты был занят своими делами, пока под стук дождя писал в номере статью об Ирландии, водил жену обедать, шлялся по музеям, ты все время видел тех, других, кому подают не кушанья, а милостыню.

Нищие Дублина — кто удосужился разглядеть их, узнать, понять?.. Однако сетчатка воспринимает, а мозг фиксирует, и только ты сам пропускаешь то, о чем кричат органы чувств.

Я не думал о нищих. Я то бежал от них, то шел им навстречу, слышал и не слышал, пытался и не пытался осмыслить...

Нас осталось совсем немного.

В какой-то день мне чудилось: каменный водосточный урод, что под пение ирландских опер принимает душ на мосту О'Коннела, видит все; назавтра за очками мерещились черные дыры.

Как-то я поймал себя на том, что стою у магазина возле моста О'Коннела и рассматриваю стопку теплых тви-

довых кепи. Я в новой шапке не нуждался, запаса в чемодане хватило бы на целую жизнь. Тем не менее я вошел, взял одну, красивую, коричневую, и принялся отрешенно вертеть в руках.

— Сэр, — сказал продавец. — Это седьмой размер. У вас скорее семь с половиной.

— Мне подойдет. Мне подойдет. — Я сунул кепи в карман.

— Позвольте, я дам вам пакетик, сэр.

— Нет! — Я густо покраснел и в смущении от того, что собираюсь сделать, вылетел на улицу.

Вот и мост за тихо накрапывающим дождем. Осталось только подойти...

На середине моста моего певца не оказалось.

На его месте стояла пожилая пара. Они играли на огромной шарманке, хрипевшей и кашлявшей, словно кофейная мельница, в которую насыпали битого стекла и камней. То была не музыка, а тоскливое урчание расстроенного механического желудка.

Я ждал, пока мелодия, если так это можно назвать, закончится, тиская в потном кулаке новую твидовую шапку. Шарманка сипела, дребезжала и бряцала.

«Чтоб тебе сохнуть», — казалось, говорили хозяева шарманки, белые от натуги, с красными от дождя глазами. «Плати нам! Слушай!.. Только не будет тебе мелодии! Свою выдумай», — кричали их сжатые губы.

Я стоял на том месте, где пел нищий без шапки, и думал: почему они не заплатят пятидесятую часть месячной выручки настройщику? Если б я вращал ручку, я хотел бы слышать мелодию, хотя бы ради себя!

Да, если бы ты вращал ручку. Но ты не вращаешь. Очевидно, они ненавидят свой промысел — кто их за это осудит? — и не желают платить за подавание знакомой мелодией.

Как они не похожи на моего простоволосого друга!

Друга?

Я сморгнул от удивления, потом шагнул вперед:

— Извините. Тут был человек с концертино...

Старуха перестала вращать ручку и уставилась на меня:

— А?

— Человек, который стоял без шапки.

— А, этот! — буркнула женщина.

— Его здесь сегодня нет?

— Вы его видите? — взвизгнула она.

Ручка адской машины снова завертелась.

Я бросил в кружку пенни.

Старуха взглянула так, будто я туда плюнул.

Я положил еще пенни. Она отпустила ручку.

— Вы знаете, где он? — спросил я.

— Заболел. Слег. Мы слышали, как он кашлял, когда уходил.

— Вы знаете, где он живет?

— Нет!

— А как его имя?

— Да кто ж знает!

Я тупо глядел на новую шапку и думал о певце: каково ему где-то в городе, одному?

Пожилая пара настороженно смотрела на меня.

Я положил в кружку последний шиллинг.

— Он поправится, — сказал я не им, а кому-то еще, кажется себе.

Женщина налегла на ручку. В недрах шарманки случился обвал битого стекла и железа.

— Мелодия, — спросил я. — Что это за мелодия?

— Глухой, что ли! — взорвалась старуха. — Это национальный гимн! Может, хоть шапку снимете?

Я показал ей новую шапку.

Она посмотрела на мою голову:

— Да не эту! Вашу!

— Ой! — Я, покраснев, сорвал с головы кепи.

Теперь у меня было по шапке в каждой руке.

Женщина крутила ручку. «Музыка» играла. Дождь заливал мне лоб, глаза, рот.

На дальнем конце моста я остановился, чтобы принять трудное решение: какую из шапок взгромоздить на мокрую голову?

В следующие несколько недель я часто проходил по мосту, но там либо стояла старая пара с шарманкой, либо вообще никого не было.

В предотъездный день жена стала упаковывать новую шапку вместе с моими.

— Спасибо, не надо, — сказал я. — Пусть полежит на каминной полке.

Вечером управляющий гостиницей зашел к нам в номер с бутылкой. Говорили долго и хорошо, засиделись допоздна. Пламя веселым оранжевым львом играло в камине, бренди — в бокалах. На мгновение все замолчали, вероятно почувствовав, как тишина мягкими белыми хлопьями падает за окном.

Управляющий, держа бокал, смотрел на бесконечное кружево, потом перевел взгляд вниз, на серые ночные плиты, и вполголоса произнес:

— «Нас осталось совсем немного».

Я взглянул на жену, она — на меня.

Управляющий заметил:

— Так вы знаете его? Он вам тоже говорил?

— Да. Но что это значит?

Управляющий глядел на темные фигуры и прихлебывал бренди.

— Раньше я думал, что он участвовал в заварушке и что членов ИРА¹ осталось совсем немного. Но нет. А может, он хочет сказать, что мир богатеет и нищих становится все меньше. Или пропадают люди, которые умели смотреть

¹ Ирландская республиканская армия, военная организация ирландского национально-освободительного движения. (Прим. перев.)

и откликаться на просьбу. Все заняты, мельтешат, всем некогда вникать. Но я думаю, все это чепуха и накипь, слюни и сантименты.

Он отвернулся от окна:

— Так вы знаете «Нас осталось совсем немного»?

Мы с женой кивнули.

— И женщину с ребенком?

— Да, — сказал я.

— И ту, у которой рак?

— Да, — сказала жена.

— И человека, которому нужен билет до Корка?

— Белфаста, — сказал я.

— Голуэя, — сказала жена.

Управляющий грустно улыбнулся и вновь поглядел в окно.

— А пару с шарманкой, которая не играет мелодию?

— Раньше-то хоть играла? — спросил я.

— В моем детстве — уже нет.

Лицо управляющего омрачилось.

— Знаете нищего с моста О'Коннела?

— Которого? — спросил я.

Однако я знал, которого, потому что смотрел на каминную полку, где лежала шапка.

— Видели сегодняшнюю газету? — спросил управляющий.

— Нет.

— «Айриш таймс», маленькая заметка в нижней половине пятой страницы. Похоже, он устал. Выбросил концертину в реку. И прыгнул следом.

Так он был вчера на мосту! А я оставался дома!

— Бедолага! — Управляющий невесело хохотнул. — Какая смешная, страшная смерть. Дурацкое концертину — терпеть их не могу, а вы? — падает вниз, как больная кошка, нищий летит следом. Я смеялся и сам стыдился этого смеха. Да. Тела так и не нашли. Пока ищут.

— Господи! — вскричал я, вскакивая. — О черт! Управляющий смотрел на меня, дивясь моему волнению.

— Вы ничем не могли бы ему помочь.

— Мог! Я ни разу не дал ему даже пенни! А вы?

— Если вспомнить, да, тоже ни разу.

— Но вы еще хуже меня! Я сам видел, как вы носитесь по городу, раздавая монетки направо и налево. Почему, почему не ему?

— Наверное, мне казалось, что это перебор.

— Да, черт возьми! — Я тоже стоял теперь у окна, смотрел на кружащий снег. — Я думал, непокрытая голова — прием, чтоб меня разжалобить! Дьявол, через какое-то время начинаешь думать, что все — только уловки! Я шел зимними вечерами под проливным дождем, а он пел, и мне становилось так зябко, что я ненавидел его до дрожи. Интересно, со сколькими людьми получалось так же? Вот почему ему никто не подавал. Я думал, он такой же профессионал, как и все. А может, он был настоящий бедняк и только в эту зиму начал просить подавания, продал одежду, чтобы купить еды, и очутился на улице без шапки.

Снег падал быстрее, скрадывая фонари и серые статуи под ними.

— Как их различить? — спросил я. — Как узнать, кто честный, а кто — нет?

— Беда в том, — сказал управляющий тихо, — что никак. Многие попрошайничают так давно, что очерствели, забыли, с чего все начиналось. В субботу была еда. В воскресенье кончилась. В понедельник они попросили в долг. Во вторник стрельнули первую спичку. В четверг — сигарету. А через несколько пятниц оказались перед дверями отеля «Ройял хайберниен». Они не смогут объяснить, что с ними произошло и почему. Одно точно: они висят над обрывом, цепляясь кончиками пальцев. Может, тому бедолаге с моста О'Коннела наступили на руки и он от-

пустил хватку? Что это доказывает? Нельзя замораживать их взглядом или смотреть мимо. Нельзя убегать и прятаться. Можно только давать всем без разбору. Если начнешь проводить градации, кто-нибудь обидится. Я жалею, что не подавал слепому певцу всякий раз, как проходил мимо. Ладно. Ладно. Будем утешаться, что дело не в наших шиллингах, а в его семье или прошлом. Теперь не узнаешь. В газете нет даже имени.

Снег бесшумно сыпал за окном. Внизу поджидали тени. Трудно сказать, снег делал овец из волков или овец из овец, мягко укутывая их плечи, спины, их платки и шапки.

Минуту спустя, спускаясь в нездешнем ночном лифте, я обнаружил, что держу в кулаке новую твидовую шапку.

В рубашке, без пиджака, я шагнул в ночь.

Я отдал шапку первому подошедшему. Не знаю, пришла ли она впору. Все деньги, что были в моих карманах, мгновенно разошлись по рукам.

Тогда, одинокий, дрожащий, я внезапно поднял глаза. Я стоял, и мерз, и пытался сморгнуть снежинки, бесшумный слепящий снег. Я видел высокие окна отеля, свет, тени.

Как там у них? Горят ли каминьы? Тепло ли? Кто эти люди? Пьют ли они вино? Счастливы ли они?

Знают ли они хотя бы, что я ЗДЕСЬ?

СМЕРТЬ И СТАРАЯ ДЕВА

В далекой-далекой стране за дремучими лесами на самом краю света жила-была Старушка, и было ей девяносто лет. Она жила за закрытыми дверями и никогда не открывала их, ветер ли, дождь стучали, воробьи ударяли своими клювиками по крыше или мальчишки с полными ведрами гремящих раков проходили мимо ее дома. А если бы вы поскреблись в ее ставни, то услышали бы:

— Проваливай, Смерть!

— Я не смерть, — скажете вы.

Но она крикнет в ответ: «Смерть, я знаю, это ты пришла сегодня под видом молодой девчонки! Но я-то вижу кости под твоими веснушками!»

Кто угодно мог постучать, но Старушка говорила всегда одно и то же:

«Я вижу тебя, Смерть! Ты пришла под видом точильщика! Но дверь закрыта на все замки! Я заклеила все трещины, залепила все замочные скважины, заделала воздуховод, затянула окна тряпьем и отключила электричество, так что ты не сможешь проскользнуть со сквозняком! И телефона у меня тоже нет, поэтому ты не позвонишь мне темной ночью. И еще мои уши забиты ватой, так что я не услышу твой ответ. Проваливай, Смерть!»

Вот так про нее говорили. А те мальчишки, которые не верили в эти сплетни, сами могли проверить — они кида-

ли на крышу камешки и тогда в ответ раздавалось: «Проваливай, ты, черная с белым лицом!»

Следуя такой тактике, Старушка могла бы жить вечно. Смерть бы ее не достала. Ведь все старые микробы в ее доме должны были заскучать и пойти спать. А новые микробы, которые появляются на планете каждую неделю или 10 дней, если верить газетам, не смогли бы пробраться сквозь седум душистый, руту пахучую, темный табак и клещевину, растущие возле каждой двери.

«Она нас всех переживет», — говорили в городе

«Я всех их переживу», — говорила Старушка, сидя одна в темной комнате и раскладывая пасьянс.

Шли годы, никто уже не стучал в ее дверь: ни мальчик, ни девочка, ни бродяга, ни путешественник. Дважды в год семидесятилетний продавец из бакалейной лавки приносил к ее дому пакеты с разной мелочевкой, от птичьего корма до молочного бисквита, упакованные в яркую бумагу с желтыми львами и красными чертятами, и отступал в гущу леса, который начинался у самого порога.

Продукты могли простоять там неделю, нагреваясь на солнце и охлаждаясь под светом луны; отличный способ борьбы с микробами. А потом в одно утро все исчезало.

Старушка продолжала ждать. И делала она это очень хорошо, закрыв глаза и скрестив на груди руки, она прислушивалась, она всегда была начеку.

Поэтому для нее не стало сюрпризом, когда 7 августа на 91 году ее жизни на пороге дома появился молодой загорелый мужчина.

Он был одет в белоснежный костюм такой белизны, какой бывает только снег, шурша соскальзывающий, словно простыни, с зимних крыш, чтобы укрыть спящую землю.

Он проделал большой путь пешком, но выглядел вполне свеженьким и чистеньким. У него не было палки, на которую можно опираться, и не было шляпы, укрывающей голову от солнечных лучей. И он ни капельки не вспотел.

Но самое главное, он принес с собой только одну вещь — маленькую бутылочку с ярко-зеленой жидкостью внутри. Засмотревшись на этот зеленый цвет, он почувствовал, что оказался у дома Старушки, и поднял на него глаза.

Он не прикоснулся к ее двери, а стал медленно обходить ее дом, чтобы она смогла почувствовать его присутствие. Затем он позволил Старушке поймать свой проникающий взгляд на себе.

— О, — вскрикнула она, очнувшись с полным ртом недожёванного хрустящего печенья. — Это ты! Я знаю, в чьем обличье ты пришла!

— В чьем же?

— Молодого мужчины с лицом будто сладкая солнечная дыня. Но у тебя нет тени! Почему это?

— Люди боятся теней, поэтому я оставил ее под деревом.

— Мне все видно, даже смотреть для этого не нужно!

— Ого, так у тебя есть Дар, — сказал он восторженно.

— Да уж, этот дар поможет мне оставаться внутри, а тебе — снаружи!

Молодой мужчина прошептал еле слышно: «Я легко могу справиться с тобой».

Но она услышала и сказала в ответ: «Ты проиграешь. Ты проиграешь».

— А я люблю выигрывать. Вот эту бутылочку я оставлю у тебя на пороге.

Даже через стены было слышно, как быстро бьется ее сердце.

— Стой! Что в ней? Я имею право знать, что за шутку ты оставляешь на моей собственности!

— Хм...

— Говори давай!

— В бутылочке — первая ночь и первый день твоего совершеннолетия.

— Что?! Что?! Что?!

- Ты все прекрасно слышала
- Ночь, когда мне исполнилось 18 лет... и день?
- Ага, именно.
- В бутылочке?

Он поднял бутылочку повыше, и можно было видеть, что по форме она напоминает молодое женское тело. Она заключала в себе свет всего мира и излучала тепло и зеленое свечение, будто уголек, горящий внутри тигрового глаза. Жидкость внутри то была спокойна, то вдруг приходила в движение и начинала бурлить.

- Я не верю тебе! — закричала Старушка.
- Я оставлю это здесь и пойду. Когда меня не будет, то просто попробуй чайную ложечку того, что в бутылочке. И ты все поймешь.

- Это яд!
- Нет.
- Ты обещаешь мне? Поклянись честью матери!
- У меня нет матери.
- Чем клянешься?
- Собой!
- Это убьет меня! Вот чего ты добиваешься!
- Наоборот, это воскресит тебя!
- Но я живая!

Молодой человек улыбнулся, глядя на ее дом: «Ты уверена?»

- погоди! Позволь, я сама спрошу себя: живая ли ты? Действительно? Или все-таки не жила все эти годы?

— День и ночь, когда ты стала совершеннолетней, — повторил молодой человек. — Подумай об этом.

- Это было так давно!

Что-то серое, точно мышь, пошевелилось за заколоченным, словно гроб, окном — Это вернет тебя в те времена.

Эликсир засиял на солнце будто сок, выжатый из летней травы. Казалось, он был горячим и спокойным, буд-

то зеленое солнце, и вдруг становился, как море, диким и бурлящим.

— Это был хороший день и хороший год в твоей жизни.

— Хороший год... — пробубнила Старушка.

— Потрясающий год! Год, когда у тебя был вкус к жизни. Только один глоток, и ты сможешь почувствовать его снова. Почему нет? А?

Он поднимал бутылочку все выше и выше, пока вдруг она не превратилась в телескоп, направленный в давно минувшие времена. В зелено-желтое прошлое, такое, как этот день, в котором молодой человек крутит прошлое в своих спокойных пальцах. Он стал наклонять склянку в разные стороны, и солнечные зайчики запрыгали по ставням, словно по серым клавишам беззвучного пианино. Будто заколдованные, они проникали сквозь створки и вот уже выхватывали из темноты губы, нос, глаз. Глаз спрятался, но, любопытный, все-таки вынырнул к свету. Наконец, поймав то, что хотел, молодой человек зафиксировал солнечного зайчика так, чтобы зеленый свет прошлого проходил сквозь ставни дряхлого дома в самое сердце Старухи. Он слышал, как она дышит, как пытается подавить и страх, и восторг.

— Нет, нет, нет, ты меня не обманешь! — она пробубнула, будто из-под воды утопающий, который не может выплыть из ленивой волны. «Проваливай, ты, скрывающаяся под этой плотью! Ты, которая нацепила эту маску! Ты, говорящая голосом из далекого прошлого! Плевать, чьим голосом! Моя доска Уиджи здесь и она подсказывает мне, кто ты на самом деле и что ты предлагаешь!»

— Я предлагаю только один день твоей юной жизни.

— Нет, ты хочешь впахнуть мне что-то другое.

— Нет, себя же я не могу продать.

— Если я выйду, ты схватишь меня и запрячешь на шесть футов под землю. Я дурачила тебя, оттягивала этот момент годами. А сейчас ты хнычешь, а сама строишь хитрые планы. Но ты меня не проведешь!

— Если ты выйдешь за дверь, я просто поцелую твою руку, юная леди.

— Не называй меня так, я давно не юная!

— Я называю тебя так, потому что ты можешь ей быть уже через час.

— Через час... — прошептала Старуха.

— Сколько лет прошло с тех пор, как ты последний раз гуляла по лесу?

— Что было, то прошло и быльем поросло. Я не помню.

— Юная леди, сегодня такой чудесный солнечный день. Взгляни, какой гобелен вышили золотые пчелы в зеленом храме леса. Вот в дупле мед, который течет словно огненная река. Сбрось свои туфли, ты можешь ходить по дикой мяте, утопая в ней. Дикие цветы словно облака желтых бабочек опустились на поля. Воздух под деревьями — словно глоток родниковой воды. Прекрасный летний день, такой же, как всегда.

— Но я-то старая, такая же, как всегда.

— Вовсе нет! Послушай! Вот мое лучшее предложение тебе — договор между тобой, мной и этим Августовским днем.

— Что за предложение? Какая мне с этого выгода?

— Двадцать четыре длинных сладких летних часов. После того как мы пройдем через этот лес, вдоволь наедемся ягод и меда, мы отправимся в город и купим тебе самое красивое белое платье и сядем на поезд.

— Поезд!

— Ага, поезд в центр города, всего один час езды. Там мы поужинаем и потом будем танцевать всю ночь. Я куплю тебе две пары туфель, они пригодятся тебе, одну ты сносишь за ночь.

— Но у меня болят кости...

— Ты будешь бегать лучше, чем ходить, танцевать, лучше, чем бегать! Мы будем смотреть на падающие звезды и встречать пылающий рассвет. В лучах восходящего солн-

ца мы будем бродить по берегу озера. А потом в ресторане съедем самый большой завтрак в мире и будем жариться на пляже словно два окорочка на гриле. После обеда с огромной коробкой конфет в руках мы поедем обратно, будем смеяться; обсыпанные, словно молодожены, голубыми, зелеными, оранжевыми конфетти из компостера. Мы пройдем через город ни на кого не глядя, и потащимся обратно через сладко пахнущий сумеречный лес.

— Ну вот. Все закончилось, хотя даже не началось, — пробормотала Старуха. — А тебе-то зачем все это надо?

— Зачем-зачем... Я хочу заняться с тобой любовью, — нежно улыбаясь, ответил мужчина.

Она фыркнула: «Я никогда не спала ни с одним мужчиной!»

— Так ты старая дева, что ли?

— И горжусь этим!

Мужчина вздохнул, качая головой: «Так, значит, это правда. Ты действительно старая дева».

В ответ ничего не последовало, и он прислушался. Тихо, словно бы повернули тугой вентиль на секретном кране и древний водопровод мало-помалу заработал спустя сотни лет, Старушка заплакала.

— Почему ты плачешь?

— Я не знаю.

Ее рыдания наконец утихли, и он услышал, как она раскачивается в своем кресле, будто в колыбельной, постепенно успокаиваясь.

— Старушка, — прошептал он.

— Не называй меня так!

— Ладно. Кларинда!

— Откуда ты знаешь мое имя? Никто уже не помнит его!

— Кларинда, почему ты прячешься в этом доме так много лет?

— Я не помню. А да. Я боялась.

— Чего?

— Странно все это. Первую половину жизни я боялась жизни, во второй — смерти. Постоянно боялась. Эй! Скажи мне правду! А что будет потом, после того как пройдут эти двадцать четыре часа, после озера и после того, как поезд привезет нас обратно и мы вернемся домой... ты будешь заниматься со мной любовью?

— Десять тысяч миллионов лет, — ответил он.

— Ого, это действительно долго, — сказала она тихим голосом. — Действительно долго. Что же это за сделка такая, а? Ты дашь мне двадцать четыре часа молодости, а я — десять тысяч миллионов лет своего драгоценного времени.

— Не забывай, это и мое время тоже. Я никогда тебя не покину.

— И ты будешь любить меня?

— Угу.

— Как же знакомо звучит твой голос.

— Ну так взгляни же на меня.

Он увидел, как сквозь распечатанную замочную скважину на него уставился глаз. Он улыбнулся подсолнухам в поле и подсолнуху в небе.

— Я наполовину слепа, но не может же это быть Уилли Винчестер?!

Он ничего не ответил.

— Но, Уилли, тебе не дашь и двадцати лет, хотя прошло больше семидесяти лет.

Он поставил бутылочку перед дверью и отошел к лесу.

— А ты можешь... Ты можешь сделать меня такой же молодой? — сказала она, заикаясь.

Он кивнул.

— Ах, Уилли, Уилли, неужели это ты?

Она ждала, глядя на него, такого спокойного, счастливого, молодого, на волосах и щеках которого горело солнце.

Прошла минута.

— Ну? — спросил он.

— Подожди! Дай мне подумать! — закричала она.

Он ощущал, как там внутри дома она сидит и перебирает свои воспоминания, словно просеивает сквозь сито, и от них не остается ничего, кроме пыли и пепла. Он чувствовал всю пустоту этих воспоминаний, которые сгорали, оставляя за собой только горстку пепла.

«Пустыня и ни одного оазиса», — подумал он.

Она вздрогнула.

Ну? — спросил он снова.

— Странно, — пробубнила она, — сейчас мне кажется, что двадцать четыре часа стоят десяти тысячи миллионов лет. Это справедливая и хорошая сделка.

— Да, это так, Кларинда.

Засовы задвигались, замки загремели, дверь с треском открылась. Ее рука быстро схватила бутылочку и утащила внутрь.

Прошла минута.

А потом, словно пистолетные выстрелы, послышались быстрые шаги. Задняя дверь распахнулась. Сначала с верхних окон посыпались ставни, потом с нижних. Из окон повалила пыль. И потом в открытую парадную дверь вылетела пустая бутылочка и разбилась о камень.

Птичкой выпорхнула она на крыльцо. Солнечные лучи пронизывали ее, и она вся светилась, словно освещенная прожекторами актриса. Затем она спустилась вниз и схватила его за руку.

Мальчишка на улице остановился, уставившись на нее, и когда побежал дальше, то продолжал оборачиваться.

— Чего он на меня уставился? Я красивая?

— Очень!

— Мне нужно взглянуть в зеркало!

— Нет, тебе не нужно.

— Все в городе увидят, какая я красивая? Или мне так кажется, а ты мне подыгрываешь?

— Ты есть сама красота.

— Да, я чувствую, что я красивая! Сегодня ночью каждый мужчина захочет танцевать со мной? А они будут соревноваться за это?

— Будут, конечно, будут!

И они пошли по дорожке под жужжание пчел и шепот листьев, вдруг она остановилась и посмотрела на его светящееся лицо.

— Уилли, Уилли, а когда мы вернемся обратно, ты же не обидишь меня?

Он посмотрел ей в глаза и провел ладонью по щеке.

— Да, я не обижу тебя, — нежно ответил он.

— Я верю тебе, Уилли, верю.

И они побежали по дорожке и быстро скрылись из виду. От них остались только пыль, распахнутая парадная дверь, открытые окна. Теперь солнечный свет мог проникать туда вместе с птицами, которые будут вить гнезда и выращивать своих птенцов. Лепестки летних цветов, словно свадебный дождь, будут засыпать комнаты и пустую кровать. И летний ветер принесет в дом особый аромат, аромат Начала или первого часа сразу после Начала, когда мир только появился и впереди только радость и никакой старости.

Где-то в лесу слышно прыгают кролики, словно бьются молодые сердца.

А вдаль загудел поезд и стал набирать ход, все быстрее и быстрее, в сторону города.

СТАЯ ВОРОНОВ

Он вышел из автобуса на Вашингтон-сквер и прошел полквартила в обратном направлении, довольный тем, что все-таки решился и приехал в Нью-Йорк. Нынче из всех знакомых в городе ему хотелось навестить лишь чету Пирсонов, Пола и Элен. Однако он оставил их «на десерт» — сознавая, что они понадобятся ему как успокоительное после нескольких дней, насыщенных деловыми встречами с уймой чудаков, невротиков и неудачников. Пирсоны чинно пожмут ему руку, окружат дружеской атмосферой и найдут верные слова, дабы разгладить морщины на его лбу. Их вечерняя встреча будет шумной, долгой и замечательно счастливой, после чего он направится к себе в Огайо и на протяжении первых дней будет вспоминать Нью-Йорк с добрым чувством — исключительно благодаря этой забавной семейной паре, которая предоставляет ему прохладный оазис посреди знойной пустыни паники и неуверенности.

Элен Пирсон поджидала гостя возле лифта на четвертом этаже многоквартирного дома.

— Здравствуйте, Уильямс, здравствуйте! — звонко приветствовала она его. — Как приятно видеть вас снова! Заходите! Пол должен быть с минуты на минуту — заработался у себя в офисе. Сегодня у нас на ужин цыпленок каччя-торе. Надеюсь, Уильямс, вы любите цыпленка, приготовленного на итальянский манер, «по-охотничьи»? Очень надеюсь, что любите. Как поживают супруга и детишки?

Присаживайтесь, снимайте пальто, снимайте очки, вы без очков еще симпатичнее. Душновато сегодня, да? Желаете выпить?

Пока журчала эта речь и Элен вела его в просторную гостиную с высоким потолком, подгоняя дружескими тычками в спину и обильно жестикулируя, он уловил слабый запах одеколона из ее рта. Боже правый, да она никак пьяна и полоскала рот одеколоном, чтобы скрыть это!

Уильямс пристально уставился на хозяйку дома.

— Вижу, тут мартини, — сказал он. — Не откажусь от стаканчика. Но не больше. Вы же знаете — пьяница я никудышный.

— Знаю-знаю, дорогой. Пол обещал быть дома к шести, а сейчас пять тридцать. Уильямс, мы так польщены тем, что вы зашли, так польщены, что вы решили провести время с нами — после того как мы не виделись целых три года.

— Как вам не стыдно так говорить!

— Нет, Уильямс, я серьезно! — сказала она.

Язык у нее чуточку заплетался, бросалась в глаза также излишняя выверенность жестов. У него было ощущение, что он ошибся дверью или зашел с визитом к малолюбимой тетушке или едва знакомому человеку. Надо думать, у Элен выдался на редкость тяжелый день — а у кого их не бывает?

— Пожалуй, и я чуть-чуть выпью, — добавила она. — По правде говоря, я недавно уже выпила один стаканчик.

В один стаканчик он поверил. Такой эффект от одной порции означает, что она пьет давно, много и регулярно — быть может, с тех самых пор, как они виделись в последний раз. Если пить день за днем...

Он уже видел, и не раз, что случалось с его друзьями, у которых появлялась такая привычка: только что были трезвыми, а минуту спустя, после одного-единственного глотка алкоголя, почти мертвецки пьяны — это все то мартини, выпитое за последние триста дней и поселившееся в крови, радостно бросается навстречу новой подруге.

Вполне вероятно, что еще десять минут назад Элен была абсолютно трезвой. Теперь же она с трудом держала веки открытыми, а язык путался под ногами каждого слова, которое пыталось выйти из ее рта.

— Нет, Уильямс, я серьезно! — повторила она.

Прежде, помнится, она никогда не называла его просто Уильямс — всегда добавляла «мистер».

— Уильямс, мы крайне польщены тем, что вы дали себе труд посетить Пола и меня. Господи, у вас такие успехи за последние три года, вы сделали такой рывок в своей карьере, у вас прекрасная репутация, и теперь вам больше не нужно писать тексты для утренних телевизионных шоу Пола — для вас покончено с этой чертовой дребеденью.

— Почему же «чертова дребедень»? Вполне добротный материал. Пол — отличный продюсер, и я писал для него неплохие вещи.

— А я говорю, дребедень! Вы же настоящий писатель, теперь вы шишка в литературе, больше не надо сочинять ерунду за чистые гроши! Ну и как оно вам — быть преуспевающим романистом, у всех на устах, и иметь кучу денег в банке? Вот погодите, сейчас придет Пол — он весь прямо изождался вас. — Волны ее медленной речи захлестывали его. — Нет, ну вы просто душка, что навели нас!

— Я обязан Полу буквально всем, — сказал Уильямс, отвлекаясь от собственных невеселых мыслей. — Я начал в его шоу в тысяча девятьсот пятьдесят первом, когда мне исполнился двадцать один год. Платили десять долларов за страницу...

— Стало быть, сейчас вам тридцать один. Господи, еще совсем молодой петушок! — сказала Элен. — Уильямс, а сколько мне, по-вашему? Давайте-давайте, попробуйте угадать. Ну, сколько мне?

— О-о, я, право, не знаю, — сказал он и покраснел.

— Нет, давайте угадайте-ка, сколько мне лет?

«Миллион, — подумал он, — вам внезапно исполнился миллион лет. Но Пол-то должен быть в порядке. Вот он скоро придет, и с ним-то уж непременно все в порядке. Любопытно, узнает ли он вас, Элен, когда войдет в квартиру».

— Увы, я не мастак угадывать возраст.

«Ваше тело, — думалось ему дальше, — состоит из нью-йоркских старых булыжников — в вас столько невидимой смолы, и асфальта, и трещин от непогод! В вашем выдохе — сто процентов окиси углерода. Ваши глаза — истерической неоновой синевы, а губы — как багровая неоновая реклама. Ваше лицо — цвета побелочной извести, какой красят каменные фасады, подпуская по ним здесь и там лишь немного зеленого и голубого. Вены горла вашего, вилки ваши и запястья похожи на нью-йоркские крохотные скверики: там больше всякого мрамора и гранита, дорожек и тропок, чем собственно травы и неба, — вот и в вас больше всякого...»

— Валяйте, Уильямс, угадывайте, сколько мне лет?

— Тридцать шесть?

Она почти неприлично взвизгнула, и он решил, что переборщил с дипломатией.

— Тридцать шесть?! — прокричала она, хлопая себя по коленям. — Тридцать шесть! Дорогой мой, вы не можете говорить это серьезно! Вы шутите! Господи! Конечно же нет. Мои тридцать шесть были ровнехонько десять лет назад.

— Мы прежде как-то не заводили разговоров о возрасте, — запротестовал он.

— Ах вы милый невинный младенец! — сказала Элен. — Прежде это не было важно. Но вы и не представляете, какую важность это может приобрести — поначалу совсем незаметно для вас. Господи, вы так молоды, Уильямс! Вы хотя бы понимаете, до чего вы молоды?!

— Более-менее понимаю, — сказал он, потупившись.

— Дитя, прелестное дитя, — не унималась Элен. — Обязательно скажу Полу, когда он придет. Тридцать шесть —

ну вы и дали! Но ведь я и впрямь не выгляжу на сорок — и уж тем более на сорок шесть. Ведь правда, дорогой?

Никогда раньше она не задавала подобных вопросов, подумалось ему. А человек сохраняет вечную молодость лишь до тех пор, пока не начинает задавать окружающим подобные вопросы.

— А Полу исполняется всего сорок. Завтра день рождения.

— Жаль, что я не знал об этом.

— Забудьте. Он терпеть не может подарки. Он скрывает от всех, когда у него день рождения, и обидится, если вы ему что-либо подарите. С прошлого года мы перестали устраивать для него шумные дни рождения. В последний раз он схватил пирог и вышвырнул в вентиляционную трубу — прямо с горящими свечами.

Элен осеклась, будто поймала себя на том, что сказала лишнее. Некоторое время они сидели в неловком молчании.

— Пол вот-вот придет с работы, — наконец произнесла она. — Еще выпьете? Вы так и не рассказали, каково быть знаменитостью. Вы всегда были такой совестливый. Мы с Полом частенько говорили друг другу: его девиз — качество. Вы не могли бы писать плохо, даже если бы очень постарались. Мы так гордимся вами. Мы с Полом всем говорим, что вы наш друг. Буквально всем и каждому.

— Как странно, — промолвил Уильямс. — Как странно устроено все в мире. Когда мне был двадцать один год, я норовил всем побыстрее сообщить, что я знаком с вами. Я был так горд этим знакомством. Я так волновался, когда впервые встретился с Полом после того, как он купил мой первый сценарий, и я...

Зазвонил звонок, Элен подхватила дверь, оставив Уильямса наедине с его стаканом. Он пережевывал в уме свои последние слова: не прозвучали ли они слишком снисходительно — как будто теперь он уже не горд повстречаться с Полом. Ничего такого он не имел в виду. Ладно,

все придет в норму, когда шумно ввалится дружище Пол. С Полом всегда все в норме.

В прихожей раздался шум голосов, и вскоре Элен ввела в гостиную женщину лет этак пятидесяти с хвостиком. По молодой упругости ее походки можно было угадать, что морщины и седина у этой женщины явно преждевременные.

— Надеюсь, вы не против, Уильямс, совсем забыла вас предупредить, надеюсь, вы не против, это миссис Мирс, она живет на нашем этаже. Я сказала ей, что вы будете ужинать у нас, что вы приехали на несколько дней обсудить новую книгу со своим издателем, и ей так захотелось увидеть вас, она прочитала все ваши рассказы, Уильямс, и ей так нравится все, что вы пишете. Миссис Мирс, позвольте вам представить мистера Уильямса.

Женщина кивнула.

— Я и сама когда-то мечтала стать писательницей, — сказала она. — И как раз сейчас работаю над книгой.

Обе женщины сели. Уильямс ощутил улыбку на своем лице, как что-то отдельное от себя — вроде тех восковых клыков, которые мальчишки надевают на зубы, чтобы выглядеть вампирами. И очень скоро он ощутил, что его улыбка постепенно тает — словно воск фальшивых зубов.

— Вам случалось продавать плоды своей литературной работы, миссис Мирс?

— Нет, однако я не отчаиваюсь, — с вежливой улыбкой ответила гостья. — Правда, в последнее время жизнь слегка осложнилась.

— Видите ли, — сказала Элен, нагнувшись поближе к Уильямсу, — две недели назад скончался ее сын.

— Мне искренне жаль, — смущенноотреагировал Уильямс.

— Да нет, ничего ужасного, ему так даже лучше, бедному мальчику. Он был примерно вашего возраста — около тридцати.

— И что случилось? — машинально спросил Уильямс.

— Бедняжка весил слишком много — двести восемьдесят фунтов, и его приятели не переставали потешаться над ним. Он мечтал стать художником. И даже продал по случаю несколько картин. Но люди насмеялись над ним из-за его веса, и вот шесть месяцев назад он сел на диету. И перед смертью, в начале этого месяца, весил только девяносто три фунта.

— Господи, — сказал Уильямс, — какой кошмар!

— Он сидел на диете — и никакими усилиями его нельзя было сдвинуть с нее. Что бы я ни говорила, он стоял на своем. Сидел безвылазно в своей комнате на этой проклятой диете и все худел и худел — до того, что в гробу его попросту никто не узнал. Мне кажется, в последние дни своей жизни он был счастлив как никогда. Ведь для бедного мальчика это был своего рода триумф — такая победа над собой!

Уильямс допил мартини. Чаша мрачных нью-йоркских впечатлений, копившихся на протяжении нескольких дней, теперь явно переполнилась. Казалось, темные воды смыкаются над ним. После своего приезда в Нью-Йорк он столько дел переделал, столько всего перевидал, столько пережил и с таким количеством людей успел пообщаться — и все за какую-то неделю... Он свято верил, что вечер в доме Пирсонов вернет его в божеский вид, а вместо этого...

— Ой-ой-ой! До чего же вы красивый молодой человек! — сказала миссис Мирс. — Элен, отчего ты не предупредила меня, что молодой человек такой хорошенький? — Она повернулась к своей приятельнице с выражением почти серьезного упрека.

— Ха! Я-то думала, что ты и сама знаешь.

— Ах, в жизни он еще обаятельнее, чем на фотографиях! Намного обаятельнее. Представьте, — продолжала щебетать миссис Мирс, — в одну из недель своего диетования мой Ричард был невероятно на вас похож. Две капли воды! Да, это длилось почти целую неделю!

В памяти Уильямса тем временем вдруг всплыло, как накануне он забежал в кинотеатр, где беспрерывно крутили журналы новостей. Забежал дать себе роздых между бесконечными посещениями редакций газет и журналов, а также всех и всяческих радиостанций. На экране он увидел мужчину, который собирался прыгнуть с моста Джорджа Вашингтона; полицейские пытались уговорить его отказаться от своей затеи. Потом показали другого самоубийцу, где-то в другом городе. Он стоял на карнизе гостиницы, а толпа внизу улюлюкала и подзуживала его прыгнуть. Уильямс опрометью кинулся вон из кинотеатра. Когда он выскочил на ярко освещенную улицу, под палящее солнце, окружающее показалось чересчур реальным, чересчур грубым — как это всегда случается, когда в одно мгновение выпадаешь из мира грез в мир существ из плоти и крови.

— Да-а, вы кр-р-ра-а-савец, молодой человек! — с упованием повторила миссис Мирс.

— Кстати, пока не забыла, — сказала Элен. — Здесь наш сын Том.

Ну да, Том! Уильямс видел Тома однажды, много-много лет назад, когда парнишка забежал домой с улицы на время, достаточное для неспешной беседы. Светлая голова, цепкий ум, воспитанный и хорошо начитанный. Словом, Том из тех сыновей, которыми можно гордиться.

— Теперь ему семнадцать, — сообщила Элен. — Он в своей комнате. Вы не против, если я приглашу его сюда? Знаете ли, мальчик угодил в немного неприятную историю. Вообще-то он хороший парень. Мы для него ничего не жалели. А он связался с какой-то бандой в районе Вашингтон-сквер, обычное хулиганье. Они ограбили магазин, и Тома схватила полиция. Это было месяца два назад. Господи, сколько волнений, сколько хлопот!.. Но теперь, слава богу, все уладилось. Ведь Том хороший парень. Да что я вам говорю — вы и сами знаете, Уильямс. Ведь правда?

Она налила себе еще мартини.

— Замечательный мальчик, — сказал Уильямс и стрельнул взглядом в сторону ее стакана.

— Нынешняя молодежь, понимаете ли. Город вроде нашего — не место для подростков.

— Я насмотрелся на то, что творится на улицах.

— Ужас, не правда ли? А что мы можем сделать? Кстати, Уильямс, у нас с Полом для вас сюрприз: мы покупаем дом в деревне. Вы только подумайте, после стольких лет, после всего пережитого Пол наконец-то бросает свое телевидение — да-да, на полном серьезе бросает, — и мы переезжаем. Разве не прекрасно? Он намеревается заняться сочинительством. Да, Уильямс, совсем как вы! Мы обоснуемся в Коннектикуте, в одном милом городке. Там Пол по-настоящему отдохнет. Там у него будет реальный шанс написать что-нибудь такое... Как вы думаете, Уильямс, у него есть способности? Вам не кажется, что из него получится вполне симпатичный писатель?

— Разумеется! — сказал Уильямс. — Разумеется, получится.

— Так вот, с idiotской работой на телевидении покончено, и мы перебираемся в деревню.

— И как скоро?

— Где-то в августе. Возможно, придется отложить до сентября. Но не позже первого января.

«О да, конечно! — подумал Уильямс, и настроение у него резко поднялось. — Это все изменит! Им нужно только уехать из этого города, обратиться поскорее отсюда. За столько лет работы Пол должен был скопить кругленькую сумму. Только бы они уехали! Только бы она позволила мужу сделать это!»

Он посмотрел на Элен. Какое сияющее лицо. Правда, это сияние сознательно включено, оставлено на лице и поддерживается напряжением определенных мышц — что-то вроде жиденького света электрической лампочки в комнате, после того как на небе погас настоящий источник света.

— Ваша задумка просто замечательная! — сказал Уильямс.

— Уильямс, вы и вправду верите в то, что у нас получится? Действительно получится? И вы на полном серьезе говорите, что Пол потрясающий писатель?

— На полном. Вам нужно только попробовать.

— В крайнем случае Пола всегда возьмут обратно на телевидение.

— Несомненно.

— Так что на этот раз мы обязательно поступим, как задумано. Уедем из города, заберем с собой Тома — сельская атмосфера будет полезна для мальчика, да и для всех нас. Больше никаких пъянок, никаких вечеринок до утра. Полный покой и работа за пишущей машинкой — десять толстых пачек чистой бумаги для Пола. Ведь вы согласны с тем, что он чертовски хороший писатель, не правда ли, Уильямс?

— Вы же знаете мое мнение!

— Мистер Уильямс, — сказала миссис Мирс, — расскажите, пожалуйста, как вы стали писателем.

— В детстве обожал читать. А в двенадцать начал ежедневно писать, чем и занимаюсь по сей день. — Говоря это, он нервничал. Ему бы хотелось сосредоточиться и вспомнить, как это действительно началось. — Я просто не отступал. Каждый день по тысяче слов.

— Пол точно такой же, — поспешно вставила Элен.

— Ах, вы, наверное, гребете деньги лопатой, — сказала миссис Мирс.

В этот момент все трое услышали щелчок замка входной двери.

Уильямс невольно вскочил со своего места и облегченно заулыбался. Улыбка не сходила с его лица, пока он шел навстречу Полу. Улыбка оставалась у него на губах, когда он увидел высокую фигуру и остался доволен его внешним видом. Да, на Пола было приятно посмотреть, и Уи-

льямс, весь просияв, устремился к другу с протянутой рукой: «Пол!»

Пол несколько располнел за время, пока они не виделись. Цвет лица кирпичный, слегка выпуклые и немного воспаленные глаза ненормально светятся, изо рта попахивает виски. Пол схватил руку Уильямса и принялся энергично трясти ее.

— Уильямс, черт возьми! Рад видеть тебя, дружище! Ты все-таки не побрезговал нами, заглянул. Как же здорово опять свидеться, разрази меня гром! Ну как ты? Знаменитость! Ах ты господи, надо выпить. Элен, сделай-ка на всю компанию. Добрый вечер, Мирс. Да что вы, сидите, сидите, ради бога.

— Нет-нет, я пошла. Не хочу мешать, — сказала миссис Мирс, направляясь в прихожую. — Спасибо, что позволили мне зайти. До свидания, мистер Уильямс.

— Уильямс, черт этакий! Как же здорово быть опять вместе. Элен успела сказать тебе о наших планах уехать прочь из города?

— Она сказала...

— Да-да, мы на самом деле убираемся из этого дерьмового города. Лето на носу. Прочь из проклятого офиса. За десять лет на телевидении я прочитал в эфир миллион слов всяческой ерунды. Не думаешь ли ты, Уильямс, что мне самое время свалить отсюда? Или, по-твоему, мне надо было сделать это много-много лет назад? Нас ждет Коннектикут! Тебе еще налить? Тома уже видел? Элен, Том у себя в комнате? Тащи его сюда, пусть поболтает с Уильямсом. Слушай, Уильямс, до чего же мы рады тебя видеть! Я уже всем раструбил, что ты придешь к нам в гости. С кем из наших ты виделся в Нью-Йорке?

— Вчера пересекся с Рейнольдсом.

— Рейнольдс... Редактор «Юнайтед фичерс»? Как он поживает? Много ходит на люди?

— Изредка.

— Элен, ты слышала про него? Просидел в своей квартире безвылазно двенадцать месяцев. Ну, ты должна помнить Рейнольдса! Отличный парень. Вот только армейская жизнь его слегка покорежила. С головой что-то. Весь последний год не смел высунуться на улицу — боится кого-нибудь пришить.

— Не знаю, — сказал Уильямс, — вчера он преспокойно вышел из своей квартиры и проводил меня до автобусной остановки.

— Грандиозно! Большой подвиг с его стороны. Искренне рад. А ты уже слышал про Банкаса? На прошлой неделе погиб в автомобильной катастрофе на Род-Айленде.

— Не может быть!

— Еще как может, сэр. Да, чертова жизнь. Лучше парня в мире не бывало. Первоклассный фотограф и работал в самых солидных журналах. Действительно талантливый и к тому же молодой — дьявольски молодой. Надрался и врезался в другую машину по дороге домой. Проклятые автомобили, прости господи!

Уильямсу вдруг почудилось, что в душной гостиной мечется большая стая черных воронов. Ведь это же больше не Пол. Это просто муж незнакомой женщины, которая в какой-то момент из трех прошедших лет переехала в эту квартиру после отъезда настоящих Пирсонов. Куда уехали настоящие Пирсоны, никто не ведает. И совершенно бессмысленно спрашивать сидящего перед ним человека, куда подевался Пирсон, потому что настоящий Пирсон наверняка никому не сообщил, куда он исчезает.

— Уильямс, ты, кажется, знаком с моим сыном, не правда ли? Элен, найди-ка Тома, и пусть он идет сюда!

Сын был приведен — семнадцатилетний молчаливый паренек. Алкоголь начал действовать на Уильямса, да и теперь он стоял с новым стаканом.

— Это наш Том, Уильямс, наш взрослый мальчик Том.

— Ты должен помнить Тома.

— Ведь ты помнишь Уильямса, Том? Ведь ты помнишь!

— Скажи «здравствуйте», Том.

— Том — замечательный парень. А вы как его находите, Уильямс?

Блестящая пьяной искрой в глазах, Пирсоны говорили дуэтом, не умолкая, суетливой скороговоркой, невзирая на некоторую алкогольную одеревенелость языков. Все время вперед, марш-марш, и слова бежали наперегонки.

Элен проворно высыпала очередную фразу:

— Том, поделись с мистером Уильямсом дюжиной жаргонных слов. Писателям это всегда интересно.

Упрямое молчание.

— Том набрался их, как собака блох, — щебетала дальше Элен. — Но в сущности он правильный мальчик, просто у него хорошая память. Ну-ка, Том, выдай мистеру Уильямсу что-нибудь на бандитском. Давай же, Том, не робей!

Опять глухая оборона молчанием. Долговязый Том переминался с ноги на ногу, впившись взглядом в ковер.

— Давай же, Том, все ждут.

— Ах, Элен, оставь его в покое.

— Но почему же, Пол? Я просто подумала, что Уильямсу будет весьма интересно услышать бандитскую речь. Ты же умеешь, Том! Ну и поделись!

— Не хочет так не хочет, — сказал Пол.

Молчание и на это.

— Пойдем-ка, Уильямс, на кухню, — предложил Пол. — Дай вот только возьму себе еще стакан. — Высокий и грузный, он увлек гостя за собой.

Стены в кухне слегка покачивались. Пол вцепился в локоть Уильямса, долго жал ему руку и во время разговора наклонялся совсем близко к нему — и тогда Уильямс видел, что у Пирсона лицо заплаканного поросенка.

— Уильямс, скажи по совести: у меня получится? Если я махну на все рукой и сяду писать. У меня классная идея для романа. — Говоря, он похлопывал Уильямса по локтю.

Сперва легонько, потом все сильнее и сильнее. — Как тебе мой план, Уильямс?

Уильямс попытался отшагнуть на безопасное расстояние, но не тут-то было: одной рукой Пол цепко держал гостя, а кулаком другой в такт своей речи дубасил его по локтю.

— Согласись, это будет здорово — снова начать писать! Творить, иметь свободное время и вдобавок сбросить лишний жирок.

— Только не угробь себя диетой, как сын миссис Мирс.

— Он был придурком!

Теперь кулак Пола остановился, зато вторая рука принялась с силой мять локоть гостя. За долгие годы дружбы они крайне редко касались друг друга — рукопожатие было едва ли не единственным телесным контактом. Однако теперь Пол то и дело трогал его: хлопал, щипал, пихал.

— Видит бог, далеко от города у меня будет уйма времени для работы, — говорил Пол, похлопывая Уильямса то по плечу, то по спине. — Там я сброшу весь накопившийся груз. Знал бы ты, как мы тут проводим чертовы уик-энды! Уговариваем вместе с Элен бутылку-две виски. Выбраться из города на выходные такая морока — пробки на дорогах, в пригородах толпы народа. Поэтому мы торчим в городе и надираемся, вот и весь наш отдых. Но когда мы окажемся на природе, с этим будет покончено. Уильямс, не взглянешь ли на мою рукопись?

— Ах, Пол, куда ты торопишься! — вмешалась появившаяся на пороге Элен.

— Не надо, Элен! Ведь Уильямс не против. Ты ведь не против, Уильямс?

«Я не против, — подумал Уильямс, — но меня воротит. Я боюсь, но перебыюсь... Будь я уверен, что где-нибудь в его романе я найду прежнего Пола — трезвого, искрометного собеседника, отличного режиссера, внутренне свободного человека, уверенного в себе, способного на быстрые реше-

ния, обладающего хорошим вкусом и умением критиковать с толком и прямодушно и вместе с тем тактично, — а самое главное: если я найду в его повествовании хорошего друга прежних времен, почти боготворимого, если я найду там этого Пола — о, тогда я готов проглотить любой самый пухлый том за одну секунду. Но что-то слабо верится в такое счастье. А встретиться на бумаге с новым, неизвестным Полом — нет уж, увольте. Никогда! Ах, Пол, Пол, — текли дальше мысли Уильямса, — разве ты не понимаешь, старина, разве до тебя не доходит, что никогда вы с Элен не выберетесь из города — никогда, никогда!»

— Дьявол! — воскликнул Пол. — Уильямс, как тебе наш Нью-Йорк? Не по вкусу, да? Как ты выразился однажды: город-неврастеник. А по сути ничем не хуже какого-нибудь богом забытого Сиу-Сити или Кеноши. Просто здесь встречаешься с большим числом людей за тот же отрезок времени — вот и вся разница. Ну а как тебе на заоблачных высотах славы? Ты нынче такая величина!..

Теперь наперебой безостановочно говорили оба — и муж, и жена. Они пьянели на глазах, их речь утрачивала членораздельность, слова возвращались, тыкались не в свои предложения, перебегали группами из фразы в фразу, кружились в гипнотическом хороводе — бла-бла, бла-бла, бла-бла...

— Уильямс, — говорила Элен.

— Уильямс, — вторил Пол.

— Мы точно уезжаем, — это она.

— Уильямс, чтоб тебя разорвалю, я так тебя люблю! Скажи мне, отчего я тебя так люблю, мерзавец ты этакий! — это он. И со смехом опять — хлобысь по правому плечу.

— А где Том?..

— ... горд тобой!

Окружающие вещи стали подергиваться туманом. Одурачивающая духота. Правая рука, исколоченная до синяков, висела плетью.

— ... с другой стороны, так трудно оставить прежнюю работу. Они ведь платят мне чертову уйму денег...

Пол повис на Уильямсе, вцепившись пальцами в сорочку у него на груди. Уильямс ощутил, как пуговицы выскальзывают из петель. Пол был в таком раже, что, казалось, вот-вот двинет гостя кулаком по лицу. Нижняя челюсть Пола угрожающе выдвинулась, а от его прерывистого дыхания, такого близкого, очки Уильямса запотели.

— Я горжусь тобой, Уильямс! Я души в тебе не чаю.

Пол горячечно тискал его руку, хлопал по плечу, рвал сорочку, трепал по щеке. В процессе братских объятий очки Уильямса слетели и упали на линолеум.

— Ах, черт, прости, Уильямс! Прости, дружище!

— Пустяки. Забудем.

Уильямс проворно поднял свои очки. Правое стекло разбилось — дурацкий рисунок трещин наподобие паучьей сети. Уильямс надел очки, и его правый глаз увидел как в тумане дюжину Полов, которые суетливо блеяли испуганные извинения.

Уильямс помалкивал.

— Ах, Пол, вечно ты такой неуклюжий! — проверещала Элен.

Вдруг разом зазвонили телефон и дверной звонок, и Пирсоны говорили разом, а Том куда-то давно пропал, и Уильямс думал с трезвой ясностью: «Нет, меня не вырвет, я могу сдержаться, но мне сейчас надо в ванную комнату, а вот там меня действительно вырвет».

Ничего не говоря и ни перед кем не извиняясь, среди звонков, говора и вскриков, всей этой перепуганной суеты утрированной дружбы, он двинулся вперед как сомнамбула, задыхаясь от зноя и продираясь, как ему показалось, через толпу людей. Закрыв за собой дверь ванной, он рухнул перед унитазом на колени, словно для молитвы, и поднял крышку.

Его вырвало — раз, другой, третий. С закрытыми глазами, из которых текли слезы, Уильямс продолжал скло-

няться над унитазом, не зная, что с ним: он задыхается или плачет? Если плачет, то почему? От боли или от горя? Или это попросту алкоголь выдавливает влагу из глаз? Все в той же позе молящегося он слушал, как вода шумит по белому фаянсу и по трубам устремляется в море.

Снаружи голоса:

— С вами все в порядке?..

— Ты в норме, старик? Уильямс, с тобой все о'кей?

Уильямс нащупал бумажник в кармане пиджака, вынул его, убедился, что обратный билет там, вернул бумажник на место и любовно прижал его правой рукой. Затем встал, тщательно ополоснул рот, вытерся и посмотрел на себя в зеркале. Странный мужчина в очках с одной линзой в сеточке трешин.

Когда он шагнул к двери и положил ладонь на бронзовую ручку, готовый выйти, глаза его невольно закрылись, его качнуло, и было полное ощущение, что весит он всего лишь девяносто три фунта.

ЛУЧШИЙ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ

Двое мужчин молча сидели на скамьях в поезде, катившем сквозь декабрьский сумрак от одного полустанка в сельской местности к другому. Когда состав тронулся после двенадцатой остановки, старший из попутчиков негромко буркнул:

— Придурок! Ох придурок!

— Простите? — сказал тот, что помоложе, и взглянул на своего визави поверх развернутого номера «Таймс».

Старший мрачно мотнул головой:

— Вы обратили внимание на того дурня? Вскочил как ужаленный и — шасть за той дамочкой, от которой так и разит «Шанелью»!

— А-а, за этой дамочкой... — Казалось, молодой человек пребывал в некоторой растерянности: рассмеяться ему или рассердиться. — Как-то раз я сам соскочил с поезда вслед за нею.

Мужчина в возрасте фыркнул и прищурился:

— Да и я тоже. Пять лет назад.

Молодой человек уставился на попутчика с таким выражением лица, будто только что обрел друга в самом невероятном месте.

— А признайтесь... с вами случилось то же самое, когда вы... когда вы дошли до края платформы?

— Возможно. Хотите еще что-то сказать?

— Ну... Я был футах в двадцати от нее и быстро догнал — и тут вдруг к станции подкатывает автомобиль с ее мужем и кучей детишек! Хлоп — и она уже в машине. Мне осталась от нее только улыбка в воздухе — как от Чеширского кота. Словом, она уехала, а до следующего поезда полчаса. Продрог до самых костей. Видит бог, это меня кое-чему научило.

— Ничему-то оно вас не научило! — сухо возразил мужчина в возрасте. — Кобели. Глупые кобели. Все мы и каждый из нас — вы, я и любой другой в штанах. Придурки с безусловными рефлексам, как у лабораторной лягушки: кольки тут — и дернется там.

— Мой дед говаривал: мужская доля в том, что широк в плечах, а в мозгах узок.

— Мудрый человек. С мужчинами все понятно. А вот что вы думаете об этой дамочке?

— Об этой женщине? Ну, она хочет оставаться в хорошей форме. Очевидно, у нее кровь веселее бежит по жилам, когда она снова и снова убеждается, что способна невинно пострелять глазами и любой самец покорно спрыгнет за ней с поезда — в ночь и холод. Неплохо устроилась, надо сказать, — создала себе лучший из всех возможных миров. Муж, детишки... Плюс сознание, что она та еще штучка и может пять раз в неделю проехаться на поезде с неизменным результатом, который, в сущности, никому не вредит — уж ей-то точно. А если приглядеться — ничего в ней особенного. Внешность так себе. Правда, этот аромат...

— Вздор, — отрезал мужчина в возрасте. — Это ничего не объясняет. Все сводится к одному: она особь женского пола. Все женщины — женского пола, а все мужчины — грязные козлы. Пока вы не согласитесь с этим базовым фактом, так и будете до старости гадать, какие из ваших рецепторов повели вас за женщиной — обонятельные, зрительные или еще какие. А если подойти с умом, то знание себя может хоть немного пособить в сомнительной ситу-

ации. Но даже среди тех, кто понимает все важные и неоспоримые грубые истины, весьма немногие сохраняют жизненное равновесие. Спросите человека, счастлив ли он. А он незамедлительно подумает, что его спрашивают: удовлетворен ли он. Полное удовлетворение — вот райское блаженство в сознании большинства людей. Я знал лишь одного человека, который действительно обрел лучший из всех возможных миров, говоря вашими словами.

— Вот так так! — оживленно воскликнул молодой человек, и его глаза загорелись. — Очень бы хотелось послушать о вашем знакомом!

— Надеюсь, у меня хватит времени на рассказ. Так вот, этот человек — самый счастливый кобель, самый беспечный жеребец с сотворения мира. Имеет подружек всех возрастов и мастей, так сказать, в широком ассортименте и в любом количестве. Но вместе с тем — никаких угрызений совести, никакого самоедства и ни малейшего чувства вины. А по ночам нет чтобы ворочаться без сна и кусать себе локти от раскаяния — спит себе как ангелочек.

— Невероятно! — вклинился молодой человек. — Вы знаете, так просто не бывает... чтоб и желудок набить, и запора не получить!

— Он умудрялся, умудряется и будет умудряться! Ни разу не дрогнул, ни разу не ощутил приступа моральной дурноты после ночи самых отчаянных интимных приключений! Преуспевающий бизнесмен, имеет квартиру в лучшем районе Нью-Йорка — на таком этаже, что уличное движение не беспокоит. А на выходные он выбирается в свой загородный домик в Бакс-Каунти — у чистой речушки и в окружении ферм, за обитательницами которых он исправно охотится. Но сам я встретил его впервые именно в Нью-Йорке. Он только что женился, и я попал к нему на ужин. Молодая жена оказалась роскошной женщиной. Снежно-белые руки, сочные губы, ниже талии все подобающе широко, а выше — подобающе пышно. Рог чувствен-

ного изобилия, бочонок моченых яблок, с которым сладко коротать самую лютую зиму, — вот какие сравнения лезли в голову, когда я смотрел на новобрачную.

Похоже, ее муж ощущал примерно то же, потому как, проходя мимо, он всякий раз легонько щипал свою суженую за зад. И вот, когда в полночь я прощался с ними в прихожей, я едва-едва удержался от того, чтобы не хлопнуть ее по аппетитному крупу, как знаток — чистокровную кобылку. Уже и руку занес. Истинно благовоспитанный человек просто не мог не отдать должное этой части ее тела. Когда я ввалился в лифт, меня качало — и я хохотал.

— Эко мастерски вы описали! — тяжело дыша, возбужденно произнес молодой человек.

— Пописываю рекламные проспекты, — сообщил его собеседник. — Но продолжим. С этим Смитом — назовем его так — я встретился опять недели через две. По чистой случайности я был приглашен приятелем на загородную вечеринку в Бакс-Каунти. Приезжаю туда — и как вы думаете, в чей дом? В дом того самого Смита! И в центре гостиной стоит черноволосая итальянская красавица, такая гибкая пантера, трепещущая ночь, облитая лунным светом, вся загар и румянец, охра и умбра и прочие краски благодатной плодоносной осени. В гомоне голосов я не расслышал ее имени. А чуть позже застаю ее в одной из комнат вместе со Смитом — и он жмет ее, как спелую и сочную октябрьскую виноградную гроздь, вобравшую в себя все летнее солнце. Ах ты кретин несчастный, подумал я. Ах ты счастливчик чертов. Жена в городе, любовница в пригороде. У этого типчика не один виноградник, и с каждого он снимает урожай — ну и все такое. Короче, снимаю шляпу. Однако смотреть дольше мне на этот праздник давки винограда совсем не хотелось, и я незаметненько ретировался с порога.

— От ваших рассказов дыхание спирает, — сказал молодой человек и попытался опустить окно.

— Да не перебивайте! — огрызнулся мужчина в возрасте. — На чем бишь я остановился?

— Как виноград по осени давят.

— Ах да! Так вот, когда гости на той вечеринке разошлись по группкам, я таки узнал имя итальянской красавицы. Миссис Смит!

— Стало быть, он снова женился?

— Едва ли. Двух недель маловато на развод и брак. Хоть я и был предельно ошарашен, но соображал быстро. У Смита не иначе как два круга друзей. Одни знают только его городскую жену. Другие — только эту любовницу, которую он называет своей супругой. Смит слишком умен, чтобы позволить себе двоеженство. Иного ответа у меня не было. Загадка, да и только.

— Продолжайте, продолжайте! — с лихорадочным интересом воскликнул молодой попутчик.

— Поздно вечером после вечеринки на станцию меня отвозил сам Смит. Веселый и на взводе. По дороге он вдруг спросил:

«Ну и как вам мои жены?»

«Ж-жены? — ахнул я. — Во множественном числе?!»

«Во множественном, черт побери! У меня их было штук двадцать за последние три года — и одна другой лучше! Да-да, двадцать. Можете сами пересчитать. Вот, глядите».

Тут мы как раз остановились возле станции, и он вынимает из кармана пухлый фотоальбомчик. Протягивает мне этот альбом, смотрит на мое вытянувшееся лицо и говорит со смехом:

«Это не то, что вы подумали. Я не Синяя Борода, и на моем чердаке не хранятся среди разного хлама скелеты моих бывших жен. Смотрите!»

Я пролистнул альбом. И женщины задвигались, как фигурки в мультфильме. Блондинки-брюнетки-рыжие-красотки-дурнушки-простушки-сложнушки, а некоторые — полная экзотика. У одних взгляд умудренных фу-

рий, у других вид домашних лапочек. Некоторые хмурятся, а некоторые улыбаются.

Пробежался я по лицам — эффект гипнотический. А потом меня вдруг как ударило: есть во всех этих лицах что-то общее. Ничего не понимаю.

«Слушайте, Смит, — пробормотал я, — для стольких жен нужно иметь уйму денег».

«Про уйму денег — это вы пальцем в небо. Вы лучше приглядитесь».

Я снова пролистал альбом. Теперь медленно. И тут до меня дошло.

«Стало быть, — сказал я, — та миссис Смит, красавица итальянка, которую я видел давеча, она-то и есть единственная миссис Смит. Но ее же я видел две недели назад в вашей нью-йоркской квартире. И нью-йоркская миссис Смит тоже является единственной миссис Смит. Логично предположить, что существуют не две женщины, а только одна».

«Совершенно верно!» — вскричал Смит, довольный моими дедуктивными способностями.

«Бред собачий!» — возмутился я.

«Ошибаетесь! — горячо возразил Смит. — Моя жена — настоящее чудо. Когда мы познакомились, она была одной из лучших актрис — хоть и не на Бродвее, но в достойном театре. Истинный эгоист, я потребовал под угрозой разрыва, чтобы она оставила сцену. Безумие страсти уже несло нас по кочкам, и вот львица подмостков, хлопнув дверью, покидает театр навсегда, ибо любовь превратила ее в домашнюю кошечку. Шесть месяцев после свадьбы прошли как в угаре — что-то вроде непрерывного землетрясения. Ну а потом — ведь я, как ни крути, по природе своей мерзавец — начал я поглядывать на других женщин: мелькает-то их кругом много!..»

Жена, конечно, заметила, что я закосил глазом. Тем временем и я заметил кое-что — с какой тоской она посма-

тривает на театральные афиши. По утрам застаю ее в слезах с «Нью-Йорк таймс», открытой на странице, где помещены рецензии на вчерашние премьеры. Черт побери! Каким же образом могут благополучно сосуществовать два столь одержимых карьериста: она — профессиональная актриса, я — профессиональный бабник! И оба стремимся в своем деле к совершенству!

— В один прекрасный вечер, — продолжал Смит, — я заприметил на улице весьма аппетитную цыпочку. И почти в то же мгновение ветер взметнул обрывок театральной афиши и облепил им шиколотку идущей рядом жены. Эти два события, проигранные случаем в течение одной секунды, были как удар молнии, который расщепляет скалу и открывает путь водам подземного источника. Жена судорожно вцепилась в мой локоть. Разве не была она актрисой? Она ведь актриса! Так стало быть, ей и карты в руки!

Словом, она приказала мне убраться из дому на сутки, а сама занялась какими-то спешными и грандиозными приготовлениями. Когда на следующий вечер я в сумерках вернулся в нашу квартиру, жены и след простыл. Однако в гостиной меня ожидала незнакомая темноволосая мексиканка. Она представилась подругой моей жены... и немешкая, со всей латинской страстью накинулась на меня, да так, что у меня ребра затрещали. Можно ли устоять, когда тебе с таким пылом кусают уши!

Но тут меня вдруг охватило подозрение. Освобождаюсь я из ее объятий и говорю:

«Погоди-ка, а ты, часом, не... да ведь это же моя жenuшка!»

И ну оба хохотать. Да так, что на пол повалились.

Все правильно — это была моя законная супруга. Только с другим макияжем, с другой прической и другим цветом волос. Она изменила осанку и поработала над голосом.

«Ах ты моя актриса!» — восхитился я.

«Твоя актриса — в театре одного зрителя! — со смехом подтвердила жена. — Только скажи, какую женщину ты хо-

чешь, — и я стану ею. Хочешь Кармен? Изволь, буду Кармен. Хочешь валькирию Брунгильду? Без проблем. Я скрупулезно изучу образ, войду в него и сыграю кого угодно. А когда тебе надоест, я создам новую героиню. Я записалась в танцевальную академию. Меня научат сидеть и стоять на разный манер. Я освою тысячу разных походок. Я возобновлю уроки театральной речи и овладею сотней разных голосов. Я изучу восточные единоборства, я буду брать уроки хороших манер для особ королевской крови...»

«Боже правый! — вскричал я. — А что я смогу дать тебе взамен?»

«Это!» — ответила она и со смехом повалила на постель.

— Одним словом, — продолжил Смит, — с тех пор я прожил десятки жизней и побывал в шкуре десятков мужчин! Бесчисленные фантазии явились мне в осязаемом облике женщин всех цветов, всех статей, всех темпераментов. Моя жена в нашей квартире обрела сцену, а во мне — благодарную публику. И тем самым исполнилось ее желание стать величайшей актрисой во всей стране.

Скажете, один человек не публика? Ошибаетесь! Один такой зритель, как я, стоит тысяч — такой взыскательный, такой капризный, с изменчивым вкусом и с бесконечным умением искренне восторгаться. К тому же моя ненасытная потребность в разнообразии великолепно совпадает с ее гениальной способностью быть разнообразной. Таким образом, я как бы на коротком поводке и одновременно совершенно свободен, я верен жене — и изменяю ей на каждом шагу. Любя ее, я люблю через нее всех остальных женщин. Дружище, разве это не самый прекрасный из существующих миров? Разве можно создать себе мир прекраснее моего?

На некоторое время в купе поезда воцарилось молчание.

Поезд погромыхивал, слеша через декабрьские сумерки.

История была рассказана, оба собеседника, молодой и постарше, разом задумались.

Наконец молодой человек возбужденно сглотнул и восторженно закивал.

— Ваш друг Смит разрешил-таки проблему! — воскликнул он. — Это уж точно.

— Да, разрешил.

В молодом человеке, похоже, происходила некая внутренняя борьба, которая закончилась тем, что он улыбнулся и сказал:

— У меня тоже есть интересный друг. В похожей ситуации... но с ним совсем иначе. Позвольте мне называть его Куиллан.

— Пожалуйста, — сказал мужчина постарше. — Только будьте кратки. Скоро моя остановка.

— Однажды вечером я увидел Куиллана в баре с одной рыжеволосой красоткой, — торопливо начал молодой человек. — До того хороша, что толпа расступалась перед ней, как воды перед Моисеем. «Какая женщина, — подумал я, — от одного взгляда на нее бурлит кровь и голова идет кругом!» Неделей позже я увидел Куиллана в Гринвиче. Рядом с ним была приземистая бесцветная толстушка, судя по всему, его ровесница, тоже года тридцать два или тридцать три, но из тех дамочек, что блекнут исключительно рано. Англичане про таких говорят «мордovorot». Носастая коротышка с короткими ногами, одежда мешком, никакого марафета, тиха как мышка — повисла у Куиллана на руке и семенит молчком.

«Ха-ха-ха! — подумал я. — Вот его женушка-простушка, готовая целовать землю, по которой ходит муж, зато по вечерам он прогуливается с невероятной рыжеволосой красоткой, похожей на андроида, сделанного на заказ». Да, подумалось мне, в жизни много и грустного, и досадного. И я пошел дальше своей дорогой.

Проходит месяц. Опять встречаю Куиллана. Он как раз собирался нырнуть в темный зев Мак-Дугал-стрит, но тут заметил меня.

«Ах ты господи! — тихонько вскрикнул он, и на лбу у него выступила испарина. — Только не выдавай меня, умоляю! Жена не должна узнать!»

Когда я собирался торжественно поклясться, что буду нем как могила, из окна сверху Куиллана окликнул женский голос.

Я поднял глаза, и челюсть у меня отвисла.

В окне я увидел ту невзрачную, рано поблекшую коротышку!

И тут я сложил два и два и понял, что к чему. Та ослепительно прекрасная рыжеволосая красавица была его женой! Мастерница танцевать, петь, живая и умная собеседница с уверенным громким голосом — тысячерукая богиня Шива, способная украсить спальню короля... И несмотря на все это, как ни странно, она утомляла.

Два дня в неделю мой друг Куиллан снимал эту комнату в сомнительном квартале. Там он мог посидеть в тишине и покое со своей серой бессловесной мышкой, прогуляться по плохо освещенным улочкам с домашней, уютной бабенкой без претензий.

Я в растерянности переводил взгляд с Куиллана на его любовницу и обратно. Потом меня окатила волна сочувствия и понимания. Я горячо пожал ему руку и сказал:

«Чтоб мне слохнуть, если я хоть слово!..»

В последний раз я видел Куиллана с его подругой в кафе. Они мирно сидели за столиком и жевали сэндвичи, молча ласково поглядывая друг на друга. Если хорошенько подумать, он тоже создал себе особый мир, и тоже наилучший из возможных.

Вагон слегка тряхнуло — после гудка поезд стал притормаживать. Оба мужчины разом встали, потом замерли и с удивлением уставились друг на друга. И одновременно спросили:

— Как, вы разве здесь выходите?

Оба утвердительно кивнули и улыбнулись.

Когда поезд остановился, они молча спустились на перрон, в зябкий декабрьский вечер. С чувством обменялись прощальным рукопожатием.

— Ну, передавайте привет мистеру Смигу.

— А вы — мистеру Куиллану.

Почти одновременно из противоположных концов платформы раздался два автомобильных гудка. С одной стороны стояла машина с ослепительно красивой женщиной. И с другой стояла машина с ослепительно красивой женщиной. Попутчики поглядели сперва налево, потом направо.

И оба направились в разные концы платформы — каждый к своей женщине. Шагов через десять бывшие попутчики замедлили шаг и оглянулись — тому и другому с озорным любопытством школьника хотелось еще раз взглянуть на даму, поджидавшую недавнего собеседника.

«Хотел бы я знать, — подумал мужчина в возрасте, — кто она ему...»

«Занятно бы узнать, — подумал молодой человек, — кем приходится ему та женщина...»

Но мешкать дольше было неудобно. Оба ускорили шаг. Вскоре два пистолетных выстрела хлопнувших дверей завершили сцену.

Машины уехали. Платформа опустела. И холодный декабрь проворно закрыл ее снежным занавесом.

ПОСЛЕДНЯЯ РАБОТА

ХУАНА ДИАСА

Захлопнув дощатую дверь с такой силой, что свеча потухла, Филомена с плачущими детьми оказалась в темноте. Теперь глаза видели лишь то, что было за окном: глинобитные дома по бокам мощеной улицы, по которой поднимался на холм могильщик. На плече он нес лопату, и медовый отблеск луны на мгновение вспыхнул на ее стали, когда могильщик повернул на кладбище и пропал из виду.

— Мамасита, что случилось? — Филипе, старшенький, дергал ее за юбку. Тот странный черный человек не промолвил и слова — просто стоял на крыльце с лопатой на плече, медленно тряс головой и ждал, пока мама не хлопнула дверь. — Мамасита!

— Это могильщик. — Дрожащими руками Филомена зажгла свечу. — У нас нет денег платить за место на кладбище. Твоего отца выкоют из могилы и поместят в катакомбы, где он будет стоять рядом с другими мумиями — прикрученный к стене проводом, как и все прочие.

— Ах нет, мамочка!

— Да. — Филомена прижала детей к себе. — Так случится, если мы не уплатим. Так случится.

— Я убью могильщика! — крикнул Филипе.

— Это его работа. Если умрет этот, на его место придет другой, с тем же требованием. А если Бог приберет и того, то явится третий.

Они разом задумались об этом человеке, который живет и копошится на кладбищенском холме, вознесенный над всеми, и сторожит катакомбы и загадочную землю, обладающую странным свойством: закопанные в нее люди со временем иссыхают, словно цветы в пустыне, их кожа становится твердой, как на туфлях, так что по упругой и полой мумии хоть палкой колоти — барабан. Эти мумии, коричневые, будто сигары, могут сохраняться вечно — столбами приставленные к стенам подземных пещер. Когда Филомена и ее дети подумали об этом привычном, к которому привыкнуть нельзя, им стало холодно среди лета, и каждая косточка их тела беззвучно взывала от ужаса.

Какое-то время мать и дети молчащей группой стояли посреди комнаты, неистово прижимаясь друг к другу. Потом мать сказала:

— Пойдем со мной, Филипе.

Она распахнула дверь и вышла вместе с Филипе на крыльцо. Облитые лунным светом, оба застыли, напряженно прислушиваясь к ночи, будто ожидали услышать далекий звяк лопаты, которая железным зубом кусает землю, выгрызает куски глины и срубает давно укоренившиеся цветы. Однако под звездным небом царила ненарушимая тишина.

— А прочие марш в постель! — велела Филомена, оглянувшись на дом.

Теперь она закрыла дверь так осторожно, что пламя свечи в комнате лишь слабо дрогнуло.

Булыжная мостовая, превращенная лунным светом в серебристую реку, взбегала мимо зеленых участков и маленьких магазинчиков туда, где и днем, и вечером тикали привычные для местных жителей часы смерти: это пилил, строгал и постукивал молотком гробовщик, как неутомимая пчела, собирающая нектар на могилах.

Запахавшийся Филипе едва поспевал за быстро шагавшей матерью. Ее поношенная юбка рядом с его ухом бы-

стро-быстро шепотом жаловалась на нищету. Наконец они подошли к зданию муниципалитета.

Мужчина, сидевший за небольшим, заваленным бумагами столом в плохо освещенной комнатухе, встретил ее удивленным взглядом.

— Филомена, кухня!

Коротко пожав протянутую руку, она сказала:

— Рикардо, ты должен помочь мне.

— Если Господь не помешает. Я весь внимание.

— Они... — Словно горький камень лежал у нее во рту.

Она попробовала от него избавиться: — Сегодня ночью они выкапывают Хуана.

Рикардо даже привскочил со стула, но потом бессильно опустил обратно. Глаза его, полыхнув гневным огнем, тут же потускнели.

— Если Господь позволит, так люди помешают. Неужели пролетел целый год со дня смерти Хуана? Неужели пора вносить плату за клочок кладбищенской земли? — После этих горячих восклицаний он вывернул ладони перед кухней и тихо сказал: — Увы, Филомена, денег у меня нет.

— Но ты же можешь переговорить с могильщиком. Ты как-никак полицейский.

— Филомена, Филомена, дальше края могилы закону хода нет.

— Лишь бы он дал мне десять недель отсрочки, только десять. Сейчас лето на исходе, и скоро День всех усопших. Я справлюсь, я все в доме распродам, я достану деньги для него. Рикардо, ради всего святого, замолви за меня словечко!

И лишь теперь, когда не стало возможности больше удерживать в себе лютый холод, от которого вот-вот заледенеет все в душе, она дала себе волю, закрыла лицо руками и зарыдала. И Рикардо понял, что теперь время открыто проявить свои чувства, и тоже разрыдался, между всхлипами горестно повторяя имя кухни.

Потом он взял себя в руки и встал, надевая на голову старую, заношенную и засаленную форменную фуражку.

— Ладно. Я говорю «да». Я пойду к катакомбам и плюну в черную дыру входа. Однако не жди ответа, Филомена. Мне ответит разве что эхо. Веди меня.

Кладбище располагалось на горе — выше церкви, выше всех городских зданий и выше всех окрестных холмов. Оттуда были видны как на ладони и городок, и окрестные поля.

Пройдя через широкие чугунные ворота, Рикардо, Филомена и ее сынишка шли какое-то время между могилами, пока не увидели широкую спину могильщика. Тот проворно махал лопатой и уже изрядно углубился в землю. Не потрудившись оглянуться, он все же точно угадал, кто пришел, потому что негромко спросил:

— Рикардо Альбанес, начальник полиции?

— Прекратите копать! — сказал Рикардо.

Лопата ходила вверх-вниз как ни в чем не бывало.

— Завтра похороны, начальник. Эта могила должна быть свободна к утру, чтобы принять нового покойника.

— В городе никто не умер.

— Кто-нибудь постоянно умирает. Всегда нужно иметь могилу наготове, чтобы не прогадать. Два месяца я жду денег от Филомены. Я, как видите, человек терпеливый.

— Оставайтесь им еще немного. — Рикардо просительно коснулся плеча согнутого над лопатой могильщика.

— Начальник полиции! — фыркнул могильщик, на время прервался и выпрямился. — Здесь моя страна, страна мертвых. Которые тут у меня живут, ни словечка мне не говорят. И от пришлых я указок не терплю. Я деспот здешней страны и правлю железной рукой, а помощники мои верные — кирка да лопата. Не люблю, когда живые приходят сюда чесать языком и тревожить покой моих подданных. Разве я таскаюсь в ваш начальничий дом, чтоб учить вас делать свое дело? Так-то вот. Спокойной, значит, ночи. — И, поплевав на руки, он опять взялся за лопату.

— Неужели ни Господь, взирающий с небес, ни эта женщина с малолетним отроком не помешают вам осквернить останки мужа и отца, нашедшего в этой могиле свой вечный покой?

— Покой не свой и не вечный. А только от меня в аренду полученный. — Лопата взлетела особенно высоко и блеснула в лунном свете. — Я не приглашал мать и сына глядеть на это прискорбное зрелище. И вот что я тебе скажу, Рикардо. Какой ты ни начальник, а рано или поздно и ты помрешь. И хоронить тебя буду я. Заруби себе это на носу: в землю тебя спрячу я. И окажешься ты в полной моей воле. А уж тогда, тогда...

— Что тогда? — заорал Рикардо. — Ты мне, пес поганный, угрожать смеешь? Да я тебя по стенке размажу, в землю закопаю!

— Копать — мое ремесло, — спокойно возразил могильщик, по-прежнему ритмично работая лопатой. — Спокойной ночи сеньору, сеньоре и маленькому сеньору.

Когда троица добралась до крыльца глинобитного домика Филомены, Рикардо остановился, пригладил волосы кузины на виске и запричитал:

— Ах, Филомена. Ах господи.

— Все, что мог, ты сделал. Спасибо и на том.

— Жуткий человек. Могильная крыса! Какой только мерзости он не сотворит с моим телом, когда я умру! Может закопать меня в могиле головой вниз или подвесить за волосы в дальнем углу катакомб, где никто меня не найдет и никто за меня не заступится. Он жиреет от сознания, что рано или поздно все перейдем под его власть... Спокойной ночи, Филомена. А впрочем, какое тут, к черту, спокойствие! Ночь хуже некуда.

Рикардо побрел обратно к муниципалитету.

А Филомена зашла в дом и, оказавшись снова среди своих многочисленных детишек и наедине со своим горем, рухнула на стул и поникла, уронив голову на колени.

Назавтра днем, когда Филипе под палящим солнцем возвращался домой, его настигла толпа вопящих однокашников. Он вдруг оказался внутри хохочущего круга.

— Филипе-дурипе, а мы видели сегодня твоего папашу!

— Но где же мы его видели? — дурашливо спрашивали одни.

— В катакомбах! — отвечали другие.

— Какой же он у тебя ленивый! Стоит себе и в ус не дует.

— Он у тебя лодырь!

— И молчун! Слова не вытянуть из этого Хуана Диаса!

Филипе так и затрясло от обиды, и горячие слезы заструились из круглых от горя глаз.

Услышав на улице его режущий ухо рев, Филомена в отчаянии прислонилась к прохладной стене. Волны горестных воспоминаний накатывали на ее истерзанную душу.

В последний месяц жизни, на глазах угасая, непрерывно кашляя и по ночам купаясь в собственном поту, Хуан лежал на соломенном матрасе, глядел в потолок и все шептал:

— Какой я после этого мужчина, если жена и дети у меня голодают! И что за жалкая смерть — в постели!

— Помолчи, — говорила она, кладя прохладную руку на его раскаленные губы.

Но и под ее пальцами губы продолжали свое:

— Что хорошего ты видела за годы жизни со мной? Только голод да болезни. А теперь вот и это. Видит бог, ты прекрасная женщина, а я покидаю тебя, не оставив денег даже на собственные похороны!

А однажды ночью он скрипнул зубами — раз, другой и вдруг впервые за недели болезни расплакался. Плакал он долго. А когда выплакался, на него снизошло что-то вроде благостного удовлетворения, будто он получил некий знак свыше. Хуан взял руки жены в свои и с горячечной быстротой заговорил, клянясь ей страшными клятвами с иступлением кающегося в церкви отпетого убийцы:

— Филомена, послушай! Я останусь с тобой. Пусть я не смог сделать тебя счастливой и защитить при жизни, я стану оберегать тебя после смерти. Пусть я не смог прокормить тебя, будучи живым, — мертвым я стану приносить тебе пищу. Пусть живым я был беднее церковной мыши — после смерти это изменится. Я верю, я знаю, что так будет. Эта вера пришла ко мне только что, я выплакал ее у Бога. Поверь мне. После смерти я буду трудиться и многое совершу. Не бойся. Поцелуй за меня маленьких. Ах, Филомена, Филомена.

Он сделал долгий глубокий вдох, словно пловец перед погружением в теплую речную воду. И вот так, набрав в легкие побольше воздуха, тихо нырнул в вечность.

Филомена и дети напрасно ждали его выдоха. То, что лежало на соломенном матрасе, было как фальшивое восковое яблоко. И было дико прикасаться к нему, такому неживому. Как странно восковое яблоко зубам, так странен был теперь Хуан Диас всем человеческим чувствам.

Его забрали прочь и положили в утробу сухой земли, словно в исполинскую пасть, которая быстро высосала из него все жизненные соки — оставила только сухую оболочку, похожую на пергамент, и превратила тело в мумию, столь же легкую, что и плевелы, осенью отделяемые ветром от пшеницы.

С тех самых пор Филомена снова и снова ломала голову над тем, как ей в одиночку прокормить ораву детей — теперь, когда Хуан медленно превращается в коричневый сверток пергамента, лежа в деревянном ящике на серебрястой парче. Как сделать так, чтоб дети не захирели, чтоб на их губы вернулась улыбка, а на щечки — румянец?

Хохот ребят, глумившихся над Филипе, вернул ее к действительности.

В квадрате окна Филомена видела, как по склону далекого холма взбирается вереница пестро раскрашенных автобусов с туристами из Соединенных Штатов. Любопытные янки платят по одному песо за то, чтобы черный человек

с лопатой, кладбищенский деспот, провел их по катакомбам и показал расставленные вдоль стен иссохшие мумии, в которые сухая песчаная почва и жаркий ветер превращают всех здешних покойников.

Пока Филомена провожала взглядом автобусы с янки, ей вдруг послышался горячий шепот Хуана: «Я заплакал себе эту веру. После смерти я буду трудиться. Я больше не буду нищим. Верь мне, Филомена!» Будто не память вернула эти слова, а вдруг явился невидимый призрак Хуана, чтобы напомнить их. Филомена покачнулась от ужаса. Ей чуть не стало дурно, однако в тот же момент в ее сознании мелькнула идея — такая неожиданная и дикая, что сердце так и запрыгало в груди.

— Филипе! — внезапно позвала она сына.

Филипе вырвался из круга дразнящих его детей, забежал в дом и захлопнул за собой дверь.

— Ты меня звала, мамасита?

— Да, ниньо, нам надо поговорить. Во имя всех святых, нам надо поговорить.

Филомена чувствовала, что ее лицо за минуту постарело лет на десять, потому что на тысячу лет только что постарела ее душа. С великим трудом она вытолкнула из горла то, что обязана была сказать:

— Ниньо, сегодня ночью мы тайно спустимся в катакомбы.

— А нож мы с собой возьмем? — ничуть не испугавшись, спросил Филипе. И с хищной улыбкой добавил: — Мы прикончим черного человека!

— Нет-нет, Филипе. Слушай меня внимательно, мой мальчик.

И она рассказала о том, что им предстоит.

Через несколько часов заблаговестили к вечерне. Со всех сторон послышался звон колоколов, а затем донеслось пение хоров. Через открытые двери церковей звуки вечерней службы

разносились по всей округе. Там и здесь можно было видеть вереницу детей со свечами в руках, совершающих крестный ход. За священниками несли большие медные колокола, на звуки которых сбегались полаять бездомные псы.

Пустынное кладбище белело в первых сумерках многочисленными надгробиями из белого мрамора. Гравий предательски скрипел под ногами. Торопясь за своими чернильно-черными тенями, Филомена и Филипе пугливо оглядывались по сторонам, кляня безоблачное небо и слишком яркую луну. Однако никто не крикнул им: «Стой, кто идет?» Могильщик, как они видели из своего укрытия, ушел вниз по холму на вечерню.

— Быстрее, Филипе, — шепнула Филомена, — замок!

Под дужку всякого замка они просунули, уперев в полотно деревянной двери, железный ломик и как следует вместе налегли на него. Полетели щепки, но замок не поддался. Мать и сын повторили попытку и налегли на ломик что было мочи — замок тенькнул и развалился надвое, так что они по инерции едва не упали на землю. Тяжелая дверь со скрипом распахнулась, отворив жуткую темень и неслышанную тишину. Там, внизу, был лабиринт пещер.

Филомена распрямила плечи, глотнула побольше воздуха и сказала:

— Ну, с богом.

И первой шагнула вперед.

По разным углам глинобитного домика Филомены Диас мерно сопели во сне ее дети. Ночь принесла отрадную прохладу.

Как вдруг все детские глаза разом испуганно открылись.

Сперва раздался звук шагов по булыжнику совсем рядом с крыльцом. Потом осторожно распахнулась дверь. В дверном проеме возникли силуэты трех человек — двух взрослых и ребенка. Старшая девочка поспешно чиркнула спичкой, чтобы зажечь свечу.

— Нет! — раздался голос Филомены.

Она проворно схватила детскую руку и задула огонек. Потом вернулась к двери и закрыла ее. Комната погрузилась в темноту. И в этой темноте дети услышали усталый голос матери:

— Не надо зажигать свечу. Ваш папа вернулся домой.

В полночь раздался оглушительный стук в дверь. Кто-то колотил, не боясь разбудить соседей.

Филомена встала открыть.

За дверью стоял могильщик, который тут же принялся орать:

— Ах ты стерва! Грабительница проклятая! Воровка чертова!

За его спиной переминался Рикардо — жалкий, сгорбленный, как столетний старик.

— Кузина, позволь нам зайти, — сказал он. — Этот наш друг...

— Я тебе не друг! И я никому не друг! — кричал могильщик. — Замок сломан, труп украли. По тому, кого украли, нетрудно узнать, кто вор. Дело полиции — забрать вора. Арестуйте ее! — И он нетерпеливо дернул начальника полиции за рукав.

— Не торопитесь вы так, — сказал Рикардо, сбрасывая руку могильщика со своего локтя. — Можно нам войти?

— Ну-ка, ну-ка! — приговаривал могильщик, порываясь прошмыгнуть в комнату мимо хозяйки. — Ага! Видите! — И он указал на дальнюю стену.

Но Рикардо смотрел не в глубину комнаты, а исключительно в глаза кузине.

— Что скажешь, Филомена? — тихо спросил он.

Лицо Филомены было лицом человека, который изнуряюще долго шел по темному туннелю и вот наконец приблизился к его концу, где начинает брезжить свет. Ее глаза были готовы выдержать встречу с любым взглядом. И ее губы знали, что говорить. Ужас был пережит и ушел.

И оставил ей то, что должно стать светом в конце туннеля. Теперь у нее есть то, что они с ее прекрасным мужественным мальчиком принесли с вершины горы. Отныне все дурное будет обходить ее жизнь стороной. И эта убежденность прочитывалась даже в позе Филомены, когда она объявила начальнику полиции:

— Мумии в нашем доме нет.

— Верю, кузина, — сказал Рикардо. — Однако... — Он смущенно откашлялся и наконец позволил себе заглянуть в едва освещенную лунным светом комнату. — А что это там у стены?

— Чтобы отметить Праздник всех усопших, — сказала Филомена, даже не оглянувшись в сторону, куда показывал Рикардо, — я взяла бумагу, клейстер и проволоку и сделала игрушку — мумию в натуральную величину.

— Да ты что? Неужели ты это сделала? Подумать только! В натуральную величину!

— Врет! Врет! — прокричал могильщик, пританцовывая от злости.

— С вашего позволения, — сказал Рикардо и прошел через комнату к загадочному предмету у стены. Посветив фонариком, полицейский поцокал языком. — Так-так, так-так.

Филомена стояла на пороге и мечтательно смотрела на звездное небо.

— Я придумала замечательное применение этой самоделке.

— А именно? — насторожился могильщик.

— В итоге у нас будут деньги. Вы разве против того, чтобы мои дети были сыты?

Но Рикардо ее не слушал. Он стоял, покачивая головой, и почесывал подбородок, таращась на исполненный молчания высокий кокон, прислоненный к стене.

— Игрушка, — сказал Рикардо. — Игрушечной смерти таких размеров я еще никогда не видал. Скелеты в окнах аптек, картонные гробы в натуральную величину с конфе-

тами в виде черепов — такое видал. Но подобное! Снимаю перед тобой шляпу, Филомена!

— Чего тут шляпу-то снимать! — взвыл могильщик. — Разуйте глаза! Это никакая не игрушка! Это же мое краденое добро!

— Готова ли ты присягнуть, Филомена, что ты говоришь правду? — торжественно спросил Рикардо, не обращая внимания на беснования могильщика. Полицейский протянул руку и осторожно постучал пальцем по ржаво-красной груди фигуры. «Бум-бум» — отозвалась та, словно натянутая кожа барабана. — Итак, ты клянешься, что это сделано из папье-маше?

— Именем Пресвятой Девы Богородицы клянусь.

— Что ж, — сказал Рикардо, довольно фыркнул и рассмеялся. — Если такая набожная женщина, как Филомена, клянется именем Пресвятой Девы Богородицы — вопросов больше нет. Расследование закончено. В суд обращаться нет нужды. Да и пустое это дело — недели и месяцы понадобятся на выяснение того, что это за штукавина такая и действительно ли она искусно сотворена из крашенного под ржавчину папье-маше.

— Недели и месяцы? Доказывать? — Могильщик медленно повернулся на триста шестьдесят градусов, словно приглядывался к этой темной комнатенке, в тесных границах которой мир сошел с ума. — Эта «игрушка» — моя собственность!

— Сделанное мной принадлежит только мне, — отозвалась Филомена с порога, переводя взгляд с неба на окрестные холмы. И вдруг добавила, по-прежнему во власти нового безмятежного покоя: — А если это и впрямь не игрушка, если это сам Хуан Диас вернулся домой — то кто возразит против того, что Хуан Диас принадлежит прежде всего Господу?

— Кто же против этого возразит! — горячо подхватил Рикардо.

Могильщик попытался. Но не успел он и дюжины слов сказать, как Филомена его перебила:

— А кому он принадлежит во вторую очередь? Перед лицом Господа, перед алтарем Господа и в церкви Господа разве не поклялся Хуан Диас в самый торжественный день своей жизни принадлежать мне до скончания своих дней?

— «До скончания своих дней»? Вот ты и попалась, женщина! — сказал могильщик. — Дни-то его все вышли. Нынче он мой!

— Итак, — продолжала спокойно Филомена, — если предположить, что эта кукла не кукла, а действительно Хуан Диас, то он, во-первых, собственность Господа; во-вторых, собственность Филомены Диас. А коли вы, правитель страны мертвых, предъявляете свои права на него, так и на это у меня есть ответ: вы же изгнали его со своей земли — вы прогнали арендатора! Но раз он вам так люб, что вы желаете получить его обратно, извольте внести за него арендную плату.

Правитель страны мертвых был настолько сражен ее логикой, что не сразу нашелся с ответом. Поэтому инициативу перехватил Рикардо:

— Господин могильщик, я сиживал в судах и слышал споры законников — как они копаются в тонкостях, приводят доводы «за» и доводы «против» и поворачивают дышло закона то туда, то сюда, и все это судоговорение длится месяцы и годы. И когда данное дело попадет в суд, тамошним крючкотворам будет о чем поговорить: они притянут сюда и законы о движимом и недвижимом имуществе, и право на кустарное производство; они будут молотить языками и про Господа, и про Филомену, и про ее голодных детишек, и про отсутствие совести у некоторых могилороев. Такую тень на плетень наведут, что в суд не находишься, а многосложное могильное дело будет хиреть из-за непрестанных отлучек. Учитывая вышесказанное, готовы ли вы годами тягаться в суде с этой женщиной?

— Готов! — решительно заявил могильщик. Хотя в его позе уже не было прежней решительности.

— Милейший, — сказал Рикардо, — я намотал на ус ваш вчерашний совет и теперь возвращаю его вам: я не лезу в ваши дела с мертвыми, но и вы не лезьте в мои дела с живыми. Ваша юрисдикция кончается за могильными воротами. А по эту сторону ворот — моя вотчина, мои граждане, будь они говорливы или немые, будто покойники. Итак...

Рикардо еще раз постучал пальцем по полой груди прислоненной к стене фигуры. В ответ раздалось что-то вроде биения сердца. Могильщик суеверно перекрестился.

— Вот мой официальный приговор: это не мумия, а кукла. И мы теряем тут понапрасну время. А стало быть, возвращайтесь, гражданин могильщик, в свои владения! Спокойной ночи, Филомена. Спокойной ночи, детишки!

— А с этим что? — упрямо спросил могильщик, показывая на прислоненную к стене фигуру.

— Вам-то какое дело? — сказал Рикардо. — Эта штука-вина остается здесь. Хотите судиться — подавайте жалобу. Только эта кукла останется до окончания процесса здесь. Хоть у нее и есть ноги, она никуда не убежит. Спокойной ночи всем.

Полицейский вытолкал могильщика наружу, вышел сам и закрыл дверь. Филомена не имела возможности его поблагодарить.

Она затеплила свечу и поставила ее у ног мумии, похожей на огромный початок кукурузы. «Теперь это наша святыня, — подумала Филомена, — и перед ней должна гореть неугасимая свеча».

— Не бойтесь, дети, — ласково сказала она, — спите. По кроваткам!

Филипе и остальные дети легли, а потом и сама Филомена устроилась на соломенном тюфяке под тонким одеялом. Свеча продолжала гореть. Прежде чем уснуть, Филомена радостно думала о новом будущем, о веренице более

счастливых дней. «Утром я пойду встречать автобусы янки на дороге и расскажу им о моем домике. И когда они придут сюда, у двери будет надпись: «Вход — 30 сентаво». И туристы валом повалят сюда, потому что мы находимся в долине — в начале пути к кладбищу на холме. Мой дом будет первым на маршруте туристов, и они будут полны нерастрченного любопытства». Мало-помалу с помощью туристов она наберет денег на ремонт крыши, а потом запасется большими мешками кукурузной муки, сможет покупать детям мандарины и прочие вкусные вещи. Если все сложится, как она задумала, то в один прекрасный день они сумеют выбраться в Мехико или даже переехать туда, потому что там хорошие большие школы.

И все это счастье благодаря тому, что Хуан Диас вернулся домой, думала Филомена. Он здесь и ждет тех, кто придет посмотреть на него. «У его ног я поставлю миску, куда добросердечные туристы смогут бросать монетки, и после смерти Хуан Диас станет зарабатывать куда больше, чем при жизни, когда он трудился до седьмого пота за сущие гроши».

Хуан. Она открыла глаза и посмотрела вверх. Дети успокаивающе-ровно дышали во сне. «Хуан, видишь ли ты наших милых малышей? Знаешь ли ты, что происходит? И понимаешь ли ты меня? И простишь ли ты меня?»

Пламя свечи задрожало.

Филомена закрыла глаза. Ей представилась улыбка Хуана Диаса. Была ли это та улыбка, которую смерть начертала на его лице, или это была новая улыбка, которую Филомена дала ему или придумала для него, — как знать? Достаточно того, что Филомена чувствовала всю эту ночь, как он стоит у стены, высокий и одинокий, гордясь за свою большую семью и охраняя ее покой.

Собака залаяла где-то далеко в безымянном городе.

Но ее лай услышал только могильщик, который ворочался без сна в домике за кладбищенской оградой.

ЧИКАГСКИЙ ПРОВАЛ

Приблизительно в двенадцать часов апрельского дня, когда небо обычно бывает таким бледным, а ветер — лишь воспоминание об ушедшей зиме, шаркающей походкой в почти безлюдный парк вошел старик. Его негнущиеся ноги были обвязаны какими-то обмотками в никотинового цвета пятнах, а длинные седые волосы взлохмачены, как, впрочем, и борода, прикрывавшая рот, который, казалось, всегда готов к какому-то откровению.

Старик беспокойно оглянулся, словно потерял несчетное множество вещей в беспорядочных развалинах беззубого силуэта этого города. Так ничего и не найдя, он заковылял дальше, пока не добрался до скамейки, на которой сидела одинокая женщина. Внимательно оглядев ее, присел на дальний край скамейки и больше уже не смотрел на свою соседку.

Минуты три он сидел с закрытыми глазами и шевелил губами, при этом кивая головой, словно носом печатал в воздухе одно-единственное слово. Когда оно было написано, старик раскрыл рот и прочитал слово громким красивым голосом:

— Кофе.

Женщина вздрогнула и вся напряглась.

Старик узловатыми пальцами вертел в воздухе свой невидимый напиток.

— Блестящая, с желтыми буквами банка! Поднимаешь кольцо! Пшшшш — сжатый воздух! Упаковано под вакуумом! Тссс! Как змея!

Женщина отшатнулась, будто ее ударили, и в ужасе уставилась на старика.

— Какой запах, какой аромат, какое благоухание! Темные, маслянистые, восхитительные бразильские бобы, только что собранные!

Женщина вскочила и, шатаясь, словно подстреленная, зашагала прочь.

— Нет! Я...

Но ее уже как ветром сдуло.

Старик пожал плечами и потащился по парку дальше, покуда не набрел на скамейку, где сидел молодой человек; тот был полностью поглощен тем, что пытался завернуть щепотку сушеной травы в маленький квадратный кусочек тонкой папиросной бумаги. Тонкими пальцами молодой человек нежно мял траву, будто исполняя некий священный ритуал, дрожащими руками свернул трубочку, поднес к губам и зажег ее. Потом откинулся назад и сощурился, наслаждаясь тяжелым горьким дымом, заполнившим его рот и легкие.

Старик, наблюдавший, как полуденный ветерок уносит дым, вдруг изрек:

— «Честерфилд».

Молодой человек крепко обхватил свои колени.

— «Рейли», — сказал старик. — «Лаки страйк».

Парень вытаращил на него глаза.

— «Кент». «Кул». «Марлборо», — продолжал старик, не глядя на курильщика. — Так они назывались. Белые, красные, янтарно-желтые пачки, ярко-зеленые, небесно-голубые, золотые, с красной тоненькой блестящей полоской — потянешь за нее и вскрыешь хрустящий целлофан, а наверху — голубая акцизная марка...

— Заткнись, — сказал молодой человек.

— Их можно было купить в аптеках, в автоматах, в под-земке...

— Заткнись!

— Успокойтесь, — сказал старик. — Просто запах дыма навел меня на воспоминания...

— А ты не вспоминай! — Молодой человек так резко дернулся, что его самодельная сигарета, развалившись, упала ему на колени. — Вот, полюбуйся, что я из-за тебя наделал!

— Простите великодушно! Какая дивная погода сегодня — так располагает к дружескому общению...

— Я тебе не друг!

— Мы все теперь друзья, иначе зачем жить?

— Друзья! — Парень фыркнул, машинально подбирая с колен бумажку и рассыпавшуюся траву. — Может, году в тысяча девятьсот семидесятом и водились «друзья», только теперь...

— Тысяча девятьсот семидесятый... Вы, поди, были тогда совсем дитя. В то время повсюду еще лежали «Баттерфингерз» в ярко-желтых обертках. «Бэби рут». Шоколадки «Кларк бар» в оранжевых бумажках. «Милки уэй» — «съешь вселенную звезд, метеоров, комет». Очаровательно.

— Не было ничего очаровательного. — Молодой человек неожиданно поднялся. — Что с тобой такое?

— Я помню мандарины, лимоны — только и всего. Вы помните апельсины?

— Правильно, будь я проклят, апельсины, черт побери! Хочешь, чтобы я несчастным себя почувствовал? Ты, видно, чокнутый? А закон знаешь? Знаешь, что я могу тебя заложить?

— Знаю, знаю, — ответил старик, пожав плечами. — Это из-за погоды на меня что-то нашло. Захотелось сравнить...

— Сравнить!.. Измышления, вот как это называется! Легавые, специальная полиция, они это так называют: из-

мышления! Заруби себе на носу, ты, ублюдочный подстрекатель!

Молодой человек схватил старика за лацканы, которые тут же порвались, так что пришлось еще раз вцепиться в пальто, и заорал ему прямо в лицо:

— Ты хочешь, чтобы я из тебя сейчас душу вытряс, к чертовой матери? Я пока еще никого не бил, я...

Парень потряс старика, что навело его на мысль ткнуть кулаком, а когда ткнул, то начал пихать. После этого уже легко было и стукнуть, и вот на старика обрушился град побоев.

Он стоял как человек, враспloch застигнутый бурей, и тщетно норовил прикрыться растопыренными пальцами от ударов, сыпавшихся ему на щеки, плечи, лоб, подбородок, а парень бормотал названия конфет и сладостей, выкрикивал марки сигарет и сигар. Старик упал на землю, перевернулся на бок и лишь слегка вздрагивал. Парень замер — и вдруг расплакался.

Услышав это, старик, который лежал, скрючившись от боли, убрал пальцы от разбитого рта, открыл глаза и с изумлением поглядел на молодого человека. Парень всхлипывал.

— Пожалуйста... — простонал старик.

Парень заплакал громче, слезы ручьем полились у него из глаз.

— Не плачьте, — сказал старик. — Не вечно же мы будем голодать. Мы заново отстроим города. Слушайте, я вообще не хотел, чтобы вы плакали. Я хотел, чтобы вы только подумали. Куда мы идем, что мы делаем, что мы натворили? Вы били не меня. Вы хотели ударить что-то другое, а я просто подвернулся под руку. Смотрите, вот я встаю, сажусь. Со мной все в порядке.

Молодой человек перестал плакать и, моргая, смотрел на старика, который пытался изобразить улыбку на разбитых в кровь губах.

— Ты... ты не имеешь права вот так разгуливать, — сказал парень, — и делать людей несчастными. Я найду кого-нибудь, кто тебя образумит!

— Подождите! — Старик упал на колени. — Не надо!

Но парень с диким криком уже бросился вон из парка.

Старик в одиночестве стоял на коленях, превозмогая боль в каждой кости, и тут увидел собственный зуб — красный на белом гравии дорожки. Он с грустью взял его в руку.

— Дурак, — произнес чей-то голос.

Старик через плечо посмотрел вверх.

Неподалеку, опершись о дерево, стоял долговязый мужчина лет сорока. Его удлиненное лицо выражало одновременно сочувствие и любопытство.

— Дурак, — повторил мужчина.

Старик открыл рот от изумления.

— Вы стояли здесь? Все время? И ничего не сделали?!

— А что, мне надо было драться с одним дураком, чтобы спасти другого? Ну уж нет. — Незнакомец помог ему подняться и отряхнул его. — Я дерусь только тогда, когда дело того стоит. Пошли. Мы идем ко мне домой.

Старик снова изумился:

— Зачем?

— Этот парнишка в любую секунду может вернуться сюда с полицией. Я не хочу, чтобы вас у меня похитили. Слишком уж ценное приобретение. Я наслышан про вас, разыскиваю вас вот уже несколько дней. Наконец повезло, и вот, когда я почти достиг цели, вы откальваете свои любимые штучки. Что вы сказали парню, почему он так рассвирепел?

— Я говорил об апельсинах и лимонах, конфетах и сигаретах. Я совсем уж было собрался во всех подробностях вспомнить заводные игрушки и вересковые трубки, как он принялся тузить меня.

— Его трудно винить. В глубине души мне самому хочется как следует вам врезать. Ну, пошли, анахронизм. А то вон слышите: сирена. Быстро!

И они поспешно покинули парк по другой дорожке.

Старик пил домашнее вино, потому что это было легче всего. С едой придется подождать — уж слишком болел разбитый рот. Он отхлебывал вино, одобрительно кивая:

— Хорошо, огромное спасибо, замечательно.

Незнакомец, который так быстро увел его из парка, сидел напротив за шатким обеденным столом, а жена незнакомца расставляла побитые и треснувшие тарелки на дырявой скатерти.

— Как получилось, что вас избили? — спросил наконец муж.

При этих словах жена чуть не выронила тарелку.

— Успокойся, — сказал муж, — за нами никто не гнался. Ну, давайте, дедушка, расскажите-ка нам, почему вы ведете себя как святой, который жаждет мученической смерти? Ведь вы, представьте, знамениты. Многие хотели бы встретиться с вами. И в первую очередь я. Мне интересно было бы знать, что это вам нейдет? Итак?

Однако старик был совершенно заморожен овощами, лежащими перед ним на шерботой тарелке. Двадцать шесть, нет, двадцать восемь горошин! Он все пересчитывал это невообразимое количество! Старик склонился над неправдоподобными овощами, как человек, погруженный в чтение своей самой сокровенной молитвы. Двадцать восемь роскошных зеленых горошин плюс еще несколько ниточек недоваренных спагетти красноречиво свидетельствовали, что сегодня дела идут великолепно. Однако под оптимистическим графиком, который вычерчивала тоненькая макаронина, линия трещины на тарелке говорила о том, что в течение многих лет жизнь была более чем ужасной.

Старик ушел в вычисления, нависнув над едой, словно нахохлившийся загадочный сарыч, непостижимым образом свалившийся в эту холодную квартиру. Хозяева-самаритяне довольно долго наблюдали за ним, и наконец он заговорил:

— Эти двадцать восемь горошин напомнили мне о фильме, который я видел в детстве. Там некий комик — вы знаете такое слово? — ну, смешной человечек среди ночи оказался в доме сумасшедшего и...

Муж и жена негромко засмеялись.

— Нет, шутка заключается не в этом, простите, пожалуйста, — извинился старик. — Сумасшедший усадил комика за пустой стол — ни ножей, ни вилок, ни еды. «Ужинать подано!» — крикнул он. Опасаясь, что безумец его убьет, комик решил разыграть представление. «Грандиозно! — воскликнул он, притворяясь, что жует отбивную, овощи, десерт. У него во рту не было ни крошки. — Превосходно! — и глотал воздух. — Чудесно!» Э-э-э... теперь уже можно смеяться.

Но муж с женой не шевельнулись, лишь глядели в свои почти пустые тарелки.

Старик кивнул и продолжил:

— Комик, чтобы задобрить умалишенного, говорит: «А эти ваши персики в коньяке — прямо-таки умопомрачительны!» — «Персики? — заорал безумец, хватаясь за пистолет. — Да ты, я вижу, настоящий сумасшедший!» И застрелил комика.

За столом возникла тягостная пауза. В наступившей тишине старик поддел первую горошину, умиленно взвешивая ее на кривой оловянной вилке. Он уже совсем было собрался отправить ее в рот, как...

В дверь громко забарабанили.

— Специальная полиция! — раздался крик.

Вся дрожая, жена тихо спрятала лишнюю тарелку.

Муж спокойно поднялся из-за стола и подвел старика к стене; скользнула в сторону одна из панелей. Потом, ког-

да старик сделал шаг вперед, панель так же бесшумно закрылась, а он остался стоять в темноте, вслушиваясь, как по ту сторону перегородки в квартире открывается входная дверь.

Раздались возбужденные голоса. Старик представил себе, как спецполицейский в темно-синей униформе с пистолетом в руке входит в комнату и видит лишь убогую мебель, голые стены, гулкий пол, покрытый линолеумом, окна, в которые вместо стекол вставлены картонки, — всю эту тонкую и грязноватую пленку цивилизации, покрывающую голый берег после того, как схлынула беспощадная штормовая волна войны.

— Я разыскиваю одного старика, — сказал за стенкой полицейский усталым голосом.

«Странно, — подумал старик, — нынче даже глас закона звучит утомленно».

— Одет в рванину...

«А мне-то казалось, что теперь все ходят в лохмотьях».

— Грязный. Примерно восьмидесяти лет...

«А кто сегодня не грязный, кто не старый?» — хотелось крикнуть старику.

— Если сообщите его местонахождение, вам гарантируется вознаграждение в размере недельного рациона, — донесся голос полицейского, — а кроме того, в качестве дополнительного поощрения десять банок консервированных овощей и пять банок консервированных супов.

«Настоящие жестяные банки с яркими печатными этикетками, — подумал старик. Консервные банки сверкающими болидами пронеслись в темноте перед его глазами. — Истинно королевская награда! Не десять тысяч долларов, не двадцать тысяч долларов, нет-нет, а пять фантастических банок — заметьте, настоящего, а не какого-то там эрзаца — супа! И еще десять — да вы только пересчитайте их! — драгоценных разноцветных баночек, может быть, да-

же с экзотическими овощами, ну, скажем, стручковой фасолью или солнечно-желтой кукурузой! Подумайте! Вообразите себе!»

Наступила долгая пауза, и старику даже показалось, будто он слышит отдаленное грозное урчание в желудках, пока что дремлющих, но грезящих об обедах; обедах более утонченных, чем запутанный клубок давних иллюзий — те давно уже исчезли вместе с прокисшей политикой, дурным сном растворились в долгих сумерках, которые наступили после Р и Х — Разрушения и Хаоса.

— Суп. Овощи, — сказал полицейский в последний раз. — Пятнадцать полновесных консервных банок!

Хлопнула входная дверь. Затапали сапоги, удаляясь по обшарпанному коридору, заглядывая в другие двери, похожие на крышки гробов, дабы смущать и соблазнять других лазарей, сохранивших душу живую, чтобы они рыдали в голос о блестящих консервных банках и настоящем супе. Грохот шагов смолк. Ухнула на прощанье дверь парадного.

Наконец потайная панель с шуршанием отворилась. Муж и жена не смотрели на старика, когда он вышел из своего убежища, и он знал почему. Ему захотелось взять их за локти.

— Даже у меня самого появилось искушение выйти, назвать себя и потребовать вознаграждение, чтобы поесть супа.

Они все еще не решались взглянуть ему в глаза.

— Почему, — спросил он, — почему вы не выдали меня? Почему?

Муж, как будто вдруг что-то вспомнив, кивнул жене. Та направилась к двери, замешкалась; он нетерпеливо кивнул еще раз, и женщина выскользнула бесшумно, словно комочек паутины. Они слышали, как она что-то делала в гостиной, как тихонько подходила к двери, и когда осторожно открывала ее, до них доносился чей-то шепот и приглушенные голоса.

— Что она там делает? А что, кстати, вы затеваете? — полюбопытствовал старик.

— В свое время узнаете. Садитесь. Доедайте обед, — посоветовал муж. — Скажите лучше, почему вы такой дурак, что вынуждаете нас самих вести себя по-дурацки, разыскивая вас и приводя сюда?

— Почему я такой дурак? — Старик сел. Он жевал медленно, отправляя в рот с тарелки, возвращенной ему, по одной горошине. — Да, я дурак. С чего началась вся эта дурость? Много лет назад я однажды поглядел на наш рухнувший мир, на диктатуры, скукожившиеся государства и нации и спросил себя: «А что я могу сделать? Я, немощный старик, — что? Заново построить разрушенное? Ха-ха!» Но как-то ночью в полудреме у меня в голове заиграла старая граммофонная пластинка. Когда я был маленьким, две сестры по фамилии Дункан исполняли песенку, которая называлась «Воспоминания». «Все, что я делаю, — лишь вспоминаю, милый, и ты вспоминай, заклиная!» Я напевал эту песню, но на самом деле это была не песня, а образ жизни. Что я мог предложить миру, который все позабыл? Свою память! Как это могло помочь? Путем введения, так сказать, стандарта сравнения. Рассказывая молодежи, как все это когда-то было, и тем самым демонстрируя наши потери. Я обнаружил, что чем больше я вспоминаю, тем больше я способен вспомнить! В зависимости от того, к кому я подсаживался, я вспоминал искусственные цветы, дисковые телефоны, холодильники, казу (вам когда-нибудь доводилось играть в казу?!), наперстки, велосипедные зажимы — не велосипеды, нет, а велосипедные зажимы! Один раз какой-то мужчина попросил меня вспомнить, как выглядела приборная доска у «Кадиллака». И я вспомнил! Я рассказал ему во всех подробностях. Он слушал и горько плакал. От счастья или от горя? Не могу сказать. Я всего лишь вспоминаю. Не литературу, нет. У меня никогда не было памяти

на пьесы или стихи. Они улетучивались из головы, умирали. Все, что я, в сущности, собой представляю, это куча посредственного мусора, третьесортного хромированного хлама и отбросов цивилизации, мчавшейся по скоростному треку и сорвавшейся в пропасть. Поэтому все, что я предлагаю, по сути дела — блестящий вздор, сверкающий утиль, нелепые механизмы нескончаемой череды роботов. Тем не менее так или иначе цивилизация должна снова выбраться на дорогу. Те, кто может предложить прекрасную, как бабочка, поэзию, пусть ее вспоминают и предлагают. Те, кто умеет ткать нити и плести сети для бабочек, — пускай ткут и плетут. По сравнению с этими двумя мой дар куда скромнее, и, возможно, на него посмотрят с презрением во время долгого карабкания и изматывающего подъема к старой дружелюбно-безобидной вершине. Но я должен тешить себя иллюзией собственной значимости. Потому что вещи, о которых люди вспоминают, как бы нелепы они ни были, это те вещи, которые они захотят снова вернуть. И тогда я своими воспоминаниями, как докучливый комар, как уксус, не дам затянуться язве их полуумерших желаний. И тогда, возможно, они снова запустят Большие Часы — а это город, государство и, наконец, весь мир. Пусть одному человеку захочется вина, другому — вытянуться в шезлонге, а еще кому-то — полетать на дельтаплане, чтобы почувствовать, как бьет в лицо мартовский ветер, и построить еще большие электроптеродактили, чтобы мчать навстречу еще более крепкому ветру. Кто-то захочет поставить дома кретинские рождественские елки, и какой-нибудь смышленный парень пойдет и срубит их. Сложите все это вместе, подходящее колесико сюда, необходимую шестеренку туда, — я тут как тут, чтобы смазать все это машинным маслом. Когда-нибудь на меня спустят всех собак и начнут кричать: «Только самое хорошее — хорошо, в расчет принимается только качество!» Однако розы растут на неаппетитном навозе.

Должна существовать и посредственность, чтобы на этой почве могло цвести нечто совершенное. Поэтому я буду наилучшей из посредственностей и стану сражаться со всяким, кто заявляет: «Не высовывайся, ляг на дно, забейся в пыльный угол, похорони себя заживо и пусть твоя могила порастет сорной травой». Я буду бороться с этими блуждающими племенами обезьянообразных, со стадом людей-баранов, пасущихся и жующих свою жвачку на лугах, где на них охотятся волки — феодальные бароны-землевладельцы, которые засели в нескольких небоскребах и там, в заоблачной вышине, ублажают себя, пожирая давно забытые всеми деликатесы. Этих негодяев я убью консервным ножом и штопором. Я сброшу их вниз с помощью таких призраков, как «Бьюнк», «Киссел-Кар» и «Мун». Я буду хлестать их бичом из лакрицы, покуда они не завопят, прося пощады. Могу ли я действительно все это сделать? Во всяком случае, нужно попробовать.

Заканчивая свою речь, старик подцепил с тарелки последнюю горошину и отправил ее в рот. Хозяин-самаритянин внимательно смотрел на него с выражением мягкого удивления, а в глубине дома были слышны чьи-то шаги, стук открывающихся и закрывающихся дверей, и создавалось впечатление, что за дверью этой квартиры идет какое-то многолюдное собрание. Наконец хозяин сказал:

— И вы еще спрашиваете, почему мы вас не выдали? Слышите, что происходит за дверью?

— Похоже, там собрались все обитатели дома.

— Все до единого. Послушайте, дедушка, старый вы дурак, вы помните кинотеатры... или, еще лучше, кино на открытом воздухе?

Старик улыбнулся:

— А вы сами-то помните?

— Довольно смутно. Смотрите... Послушайте, что я предлагаю. Сегодня, прямо сейчас — если вы намерены совершать глупости, если вы хотите рисковать, то делай-

те это не распыляясь, одним целенаправленным ударом. Стоит ли тратить силы ради одного человека, двух или даже трех, если...

Мужчина открыл дверь и кивнул. Молча, по одному и по двое в комнату стали заходить обитатели дома. Они входили в эту комнату, словно переступали порог синагоги, или храма, или храма, известного под названием «кинотеатр», или кинотеатра под открытым небом, куда въезжали на машинах. День клонился к вечеру, солнце садилось, в предзакатных сумерках комната погружалась в полумрак, и в последних лучах уходящего дня вот-вот должен был зазвучать голос старика, и пришедшие будут слушать его, держась за руки, и это будет похоже на старые времена, когда люди сидели рядами в темноте или сидели в темноте в автомобилях, и будут вспоминать, слушая слова о кукурузе, слова о жевательной резинке, о прохладительных напитках и конфетах. Впрочем, это будут лишь слова, только слова...

Люди все прибывали, и старик с интересом разглядывал их, не в силах поверить, что это он, сам того не желая, заставил тут всех собраться.

Хозяин сказал:

— Разве это не лучше, нежели искушать судьбу где-нибудь на улице?

— Да, разумеется. Впрочем, вот что странно. Я ненавижу боль. Ненавижу, когда меня преследуют. Но мой язык движется сам по себе. И я должен слышать, что он говорит. Но так, конечно же, лучше.

— Вот и хорошо, — проговорил хозяин и вложил в руку старика красный билет. — Когда здесь все кончится, примерно через час, вы уедете. Эти билеты достает мне один друг, который работает в министерстве транспорта. Раз в неделю через всю страну отправляется поезд. Раз в неделю я достаю билет для какого-нибудь идиота, которому хочется помочь. Сегодня это вы.

На сложенной пополам красной бумажке старик прочитал название станции назначения:

— Чикагский Провал, — и спросил: — А что, Провал все еще существует?

— Поговаривают, что приблизительно через год озеро Мичиган может прорвать последнюю дамбу и образовать новое озеро в той впадине, где когда-то находился город. Сейчас там вокруг кромки кратера существует какая-то жизнь, и по железнодорожной ветке туда раз в месяц ходит поезд. Когда вы отсюда уедете, нигде не останавливайтесь и забудьте, что вы встречались с нами и вообще что-то знаете о нас. Я дам вам небольшой список наших единомышленников. Переждите какое-то время, отсидитесь, а потом вы сможете разыскать их там, в пустыне. Но ради бога, хотя бы на год объявите мораторий: держите свой чудесный рот на замке. А вот, — мужчина дал ему желтую карточку, — направление к моему знакомому зубному врачу. Скажите ему, чтобы он вставил вам новые зубы, и пообещайте, что разжимать их вы будете лишь во время еды.

Несколько человек, слышавшие слова хозяина, засмеялись, и старик тоже тихонько захихикал. В комнате теперь было много народа, несколько десятков человек; наступал вечер, муж с женой заперли дверь и стояли около нее в ожидании уникального события — когда старик в последний раз сообразоволил открыть рот.

Старик встал со своего места.

В комнате воцарилась мертвая тишина.

С каким-то ржавым скрежетом, казавшимся особенно громким в ночи, к перрону, занесенному внезапно выпавшим снегом, подъехал поезд. Толпа плохо вымытых людей, подстегиваемая жестким ветром и осыпанная белой снежной пылью, брала приступом древние жесткие вагоны и растекалась по ним, проталкивая старика по коридору,

пока не загнала его в какой-то закуток, некогда служивший туалетом. Мгновенно весь пол превратился в матрас, на котором в темноте копошились и ворочались шестнадцать человек, тщетно пытаясь заснуть.

Поезд мчался в белую пустоту.

Старик лежал и думал:

«Спокойно, заткнись, нет, ничего не говори, ни единого слова, нет, лежи тихо, думай, осторожно, прекрати!»

Его, вдавленного в стену, качало, трясло и швыряло из стороны в сторону. Ему и еще одному человеку не удалось лечь, и они занимали вертикальное положение в этой чудовищной клетушке. В нескольких футах от него, точно так же прижатый к стене, сидел восьмилетний мальчуган с болезненным, бледным личиком. Он не спал и широко раскрытыми блестящими глазенками, казалось, следил за стариком. Он и вправду во все глаза смотрел на рот старика и не мог отвести глаз. Поезд стонал, скрипел, рычал, трясясь, взвизгивал и бежал вперед.

Прошло полчаса. Старик сидел, плотно сжав рот, словно он был забит гвоздями, в гроыхающем вагоне, мчавшемся в ночи сквозь пургу. Еще через час он так и не разомкнул окостеневших губ. Еще час спустя старик почувствовал, что мышцы вокруг щек начали расслабляться. Через час он разжал губы и облизнул их.

Мальчик не спал. Мальчик смотрел. Мальчик ждал.

За окном в ночном воздухе кружились и падали на землю огромные хлопья тишины, которую дырявил мчавшийся лавиной поезд. Пассажиры, оцепенев от кошмарных снов, спали как убитые, однако мальчик так и не сводил глаз со старика, и наконец тот, слегка наклонившись, сказал:

— Шшш. Малыш. Как тебя зовут?

— Джозеф.

Сонный поезд дергался и постанывал, словно какое-то чудовище, мучительно пробивающееся сквозь вневременную тьму навстречу невообразимо прекрасному рассвету.

— Джозеф, — повторил старик, как бы пробуя на вкус это имя, наклонился вперед и посмотрел на мальчика ясным и добрым взглядом. Лицо его было печальным и красивым, а глаза так широко открыты, что могло показаться, будто он слепой. Он всматривался во что-то далекое и сокровенное.

Старик чуть слышно кашлянул, прочищая горло.

Поезд мучительно заскрипел на повороте. Забывшиеся тяжелым сном люди заворочались.

— Так вот, Джозеф, — зашептал старик. Он тихонько пошевелил в воздухе пальцами. — Однажды...

ГИМНИЧЕСКИЕ СПРИНТЕРЫ

— Тут и сомневаться нечего: Дун — лучше всех.

— К чертям Дуна!

— У него сверхъестественная реакция, под уклон не-сется потрясающе, не успеешь дотянуться до шляпы, а он уже сорвался.

— Хулихан лучше, это бесспорно!

— Бесспорно, черт возьми!.. Ну давай поспорим, прямо сейчас!

Я стоял у стойки бара в начале Графтон-стрит, слушая, как поют теноры, надрываются концертино, а в клубах дыма шумят, возражая друг другу, спорщики. Пивная называлась «Четыре провинции»¹ и, по меркам Дублина, была открыта до поздней ночи. Поэтому существовала вполне реальная угроза того, что все закроется одновременно, включая пивные краны, кондитерские, кино-театры, пабы и крышки пианино, умолкнут аккордеоны, солисты, трио, квартеты. И огромная волна, словно в Судный день, выбросит половину населения Дублина на улицы, в промозглый свет фонарей, где не найдешь даже автомата с жевательной резинкой. Ошарашенные, лишенные духовной и физической пищи, эти неприкаянные души немного покружат, точно прихлопнутая моль, а затем поллетутся домой.

¹ Ирландия делится на четыре исторические провинции.

Но сейчас я прислушивался к спору, жар которого докатывался до меня за пятьдесят шагов.

— Дун!

— Хулихан!

Тут маленький человечек у дальнего конца стойки обернулся и, разглядев любопытство, написанное на моем слишком уж открытом лице, закричал:

— Вы, конечно же, американец! Удивляетесь, о чем мы тут толкуем? Я внушаю вам доверие? Не хотите ли побиться со мной об заклад относительно одного спортивного соревнования величайшего местного значения? Если ваш ответ «да», тогда идите сюда!

Я с моим «Гиннесом» пересек все четыре провинции и подошел к орущим мужчинам. Скрипач, не закончив, бросил играть и присоединился к нам, за ним последовал пианист со своим хором.

— Я — Тимулти! — Маленький человек схватил мою руку.

— Дуглас, — ответил я. — Пишу для кино.

— Киношник! — воскликнули присутствующие.

— Фильмы, — скромно подтвердил я.

— Какая удача! Просто невероятно! — Тимулти еще крепче вцепился в меня. — Вы будете самым замечательным судьей, голову даю на отсечение! Спорт любите? Бег по пересеченной местности, четыре по сорок, спортивная ходьба?

— Я присутствовал на двух Олимпийских играх.

— Так вы не только киношник, вы еще знаете толк в международных соревнованиях! — задохнулся от восторга Тимулти. — Такого человека не часто встретишь. Ну а что вы, к примеру, знаете о всеирландском чемпионате по десятиборью, который имеет некоторое отношение к кинотеатрам?

— Что это за соревнования?

— Вот те раз! Что за соревнования! Хулихан!

Вперед протиснулся, улыбаясь и пряча в карман губную гармонику, субъект, который был ростом еще ниже моего собеседника.

— Хулихан — это я. Лучший гимнический спринтер во всей Ирландии.

— Какой спринтер? — спросил я.

— Г-и-м-н-и-ч-е-с-к-и-й, — очень отчетливо, по буквам, произнес Хулихан. — Гимнический. Спринтер. Самый быстрый.

— Вы, как приехали в Дублин, — встрял Тимулти, — в кино ходили?

— Не далее как вчера вечером, — сказал я, — смотрел фильм с Кларком Гейблом. А позавчера — с Чарльзом Лафтоном.

— Довольно! Вы — сущий фанатик, как все настоящие ирландцы. Если бы не было кинотеатров и пивных, чтобы бедные и безработные не шатались по улицам и были заняты своей выпивкой, мы бы откупорили пробку, и этот остров давно уже пошел бы ко дну. Итак, — он прихлопнул в ладоши. — Когда каждый вечер картина заканчивается, вам не бросалась в глаза какая-нибудь характерная особенность?

— Конец картины? — Я задумался. — Погодите-ка! Ведь вы не национальный гимн имеете в виду?

— Скажите, ребята! — закричал Тимулти.

— Конечно его! — загалдели все кругом.

— Каждый божий вечер на протяжении десятилетий в конце каждой паршивой киношки, словно никто никогда раньше не слыхивал этой жуткой мелодии, — горевал Тимулти, — оркестр надывается во славу Ирландии. И что тогда происходит?

— Как это что? — проговорил я, начиная догадываться. — Если в тебе есть хоть что-то мужское, то ты норовишь выбраться из кинотеатра за те несколько драгоценных секунд между концом фильма и началом гимна.

— Попал в самую точку!

— Поставить янки выпивку!

— В конце концов, — бросил я небрежно, — я в Дублине уже четыре месяца. Так что гимн начал несколько надоедать. При всем моем уважении, — добавил я поспешно.

— Да ладно, какое там уважение-неуважение, хотя все мы здесь патриоты и ветераны ИРА, пережившие тяжелые времена, и любим свою страну. Знаете, если вдыхаешь один и тот же воздух десять тысяч раз, нюх притупляется. Так вот, как вы правильно подметили, во время этого благословенного промежутка в три-четыре секунды все зрители, коли они в здравом уме, как ошпаренные бросаются к выходу. И самый лучший из них...

— Дун, — подсказал я. — Или Хулихан. Ваши гимнические спринтеры!

На меня смотрели улыбающиеся лица, я улыбался им.

Мы были так горды моей догадливостью, что я заказал для всех по «Гиннессу».

Благожелательно поглядывая друг на друга, мы облизи-вали с губ пену.

— И сейчас, — хриплым от волнения голосом, прищурившись, проговорил Тимулти, — в этот самый момент, не далее как в сотне ярдов вниз по улице, в уютном полумраке кинотеатра «Графтон-стрит», в середине четвертого ряда сидит...

— Дун, — сказал я.

— Этот парень бесподобен, — проговорил Хулихан, в знак уважения приподняв кепку.

— Ну и ну, — не веря собственным ушам, удивился Тимулти. — Да, именно Дун. Он не видел этого кино раньше — специальный повторный показ фильма с Диной Дурбин¹. А времени сейчас...

¹ Дина Дурбин (род. в 1922 г.). Настоящее имя Эдна Мей. Киноактриса, играла в музыкальных фильмах, прославивших ее «золотой» голос.

Все взгляды устремились на стенные часы.

— Ровно десять, — хором проговорила толпа.

— И через какие-нибудь пятнадцать минут кинотеатр начнет выпускать зрителей на волю.

— Ну и?.. — поинтересовался я.

— Ну и, — повторил Тимулти. — Ну и!.. Если мы отправим туда присутствующего здесь Хулихана, чтобы проверить его быстроту и ловкость, Дун с готовностью примет вызов.

— Он что же, специально пошел на этот сеанс, чтобы принять участие в гимническом спринте?

— Боже правый, конечно нет. Он пошел посмотреть фильм и послушать песни Дины Дурбин. Дун играет здесь на пианино, подрабатывает. Но если он невзначай заметит появление там Хулихана — чей поздний приход и место прямо напротив Дуна обязательно обратят на себя внимание, — ну, тогда Дун сразу смекнет, что к чему. Они поприветствуют друг друга, и оба будут слушать прекрасную музыку, пока на экране не появится слово: «КОНЕЦ».

— Точно. — Хулихан слегка приплясывал на носках и поигрывал бровями. — Я ему покажу, ну я ему покажу!

Тимулти в упор посмотрел на меня:

— Мистер Дуглас, я вижу ваше недоверие. Вас ставит в тупик незнакомый вид спорта. Как, спрашиваете вы, взрослые люди могут тратить время на подобные вещи? Во-первых, время — это единственное, чего у ирландцев в избытке. Когда нет работы, то, что кажется пустяками в вашей стране, становится для нас главным. Мы никогда не видели слона, однако поняли, что букашка под микроскопом — величайший зверь на Земле. Поэтому, хотя гимнический спринт и не перешагнул границ, он является в высшей степени азартным видом спорта, стоит лишь заинтересоваться им. Позвольте ознакомить вас с правилами!

— Перво-наперво, — рассудительно заметил Хулихан, — при том, что ему уже известно, поинтересуйся, захочет ли человек делать ставки?

Все вперили в меня взгляды, дабы убедиться, что их доводы не пропали втуне.

— Да, — заявил я.

Присутствующие согласились, что я заслуживаю звания высшего существа.

— Представляю участников по старшинству, — сказал Тимулти. — Это Фогарти, верховный наблюдатель за выходом. Нолан и Кланнери, главные судьи в проходах. Кланси, хронометрист. И зрители: О'Нил, Баннион, братья Келли — вон сколько. Пошли!

Мне почудилось, будто меня захватила огромная снегоуборочная машина — немислимых размеров малиновое чудовище, сплошь состоящее из усов и вращающихся щеток. Дружелюбная толпа понесла меня вниз по улице к скопленню маленьких мигающих огоньков, заманивающих нас в кинотеатр. Тимулти, толкаясь направо и налево, на ходу выкрикивал основные сведения:

— Очень многое, конечно, зависит от кинотеатра!

— Разумеется! — проорал я в ответ.

— Есть либеральные, свободно мыслящие кинотеатры с широкими проходами, колоссальными выходами и величественными, просторными уборными. В некоторых — огромное количество фарфора, там даже эхо собственного голоса может повергнуть вас в ужас. А есть киношки — ну прямо скупердяйские мышеловки с такими узкими проходами, что и дышать-то невозможно, коленями упираешься в передний ряд, а в дверь протискиваешься бочком, когда выходишь в мужской туалет в кондитерскую через дорогу. Каждый кинотеатр тщательно обследуют до, во время и после спринта; при этом учитываются все факторы. Только тогда судьи выносят решение, и время, показанное бегуном, признается хорошим или позорным, в зависимости

от того, пришлось ли ему прокладывать путь сквозь смешанную толпу мужчин и женщин, или состоящую преимущественно из мужчин, или преимущественно из женщин, либо — что хуже всего — через сборище детей на утренних и дневных сеансах. Сложность тут в том, что всегда есть искушение косить детей, как траву, разбрасывая в стороны; поэтому мы прекратили подобную практику. Теперь соревнования проходят главным образом по вечерам здесь, в «Графтоне»!

Толпа остановилась. Мерцающие огни кинотеатра искрились в наших глазах и золотили лица.

— Идеальное помещение, — проговорил Фогарти.

— Почему? — спросил я.

— Проходы тут не очень широкие и не слишком узкие, выходы расположены удобно, дверные петли всегда смазаны, а зрители представляют собой достаточно однородную смесь из болельщиков и таких парней, которые не будут сторониться, если вдруг спринтер от переизбытка энергии чересчур быстро ринется по проходу.

Вдруг мне в голову пришла мысль:

— А вы... уравниваете силы своих бегунов?

— Еще бы! Иногда мы меняем выходы, если старые уже слишком хорошо изучены. Или надеваем на одного летнее пальто, а на другого — зимнее. Бывает, сажаем первого парня в шестом ряду, а второго — в третьем. А то кто-нибудь окажется ужасно, прямо-таки необузданно проворен, и тогда мы нагружаем его самым тяжелым бременем из всех...

— Выпивкой? — сказал я.

— Чем же еще? Вот сейчас Дуна, так как он совершенно трезвый, надо дважды уравновесить. Нолан! — Тимулти вытащил из кармана фляжку. — Сгоняй быстренько внутрь, пусть Дун сделает два глотка, больших.

Нолан исчез.

Тимулти продолжал:

— Поскольку Хулихан сегодня вечером уже побывал во всех четырех провинциях, то достаточно нагрузился. Теперь их шансы равны!

— Хулихан, можешь заходить, — объявил Фогарти. — Пусть наши поставленные деньги будут тебе пухом. А мы через пять минут ждем тебя вон у того выхода — с победой!

— Давайте сверим часы, — предложил Кланси.

— Сверь мою задницу! — огрызнулся Тимулти. — Кроме как на грязные кулаки, нам смотреть не на что. Только у тебя одного, Кланси, есть часы. Хулихан, входи!

Хулихан пожал всем нам руки, как будто отправлялся в кругосветное путешествие. Потом, помахав на прощание, скрылся во тьме кинотеатра.

В тот же момент на улице выскочил Нолан, держа в поднятой руке полупустую фляжку.

— Дун уравновешен!

— Отлично! Кланнери, пойдй проверь соперников, убедись, что они сидят строго напротив друг друга в четвертом ряду, как договаривались, что кепки на головах, пальто наполовину застегнуты, шарфы надеты правильно. Потом возвращайся и доложи.

Кланнери убежал в темноту.

— А как же контролеры? — поинтересовался я.

— Внутри, смотрят картину, — ответил Тимулти. — Тяжело ведь все время стоять. Они мешать не будут.

— Уже десять тринадцать, — возвестил Кланси. — Через две минуты...

— Старт, — сказал я.

— Ты отличный мужик, — похвалил Тимулти.

Наружу выскочил Кланнери:

— Все в порядке! Сидят правильно, остальное тоже как надо!

— Во, уже кончается! Это всегда слышно: в конце любой киношки музыка как с цепи срывается.

— Ага, громче, — согласился Кланнери. — Артистка уже поет вместе с хором и оркестром. Надо бы завтра сходить посмотреть фильм целиком. Очень хороший.

— А какая мелодия?

— К черту мелодию! — перебил Тимулти. — Осталась одна минута, а они тут про мелодию!.. Делайте ставки. Кто на Дуна? Кто на Хулихана?

Все затараторили, начали передавать туда и сюда деньги, главным образом шиллинги.

Я достал четыре шиллинга:

— На Дуна.

— Даже не взглянув на него?

— Темная лошадка, — прошептал я.

— Отлично сказано! — Тимулти крутился во все стороны, отдавая распоряжения. — Кланнери, Нолан — в зал, следите за проходами! Хорошенько смотрите, чтобы никто не вскочил, пока не вспыхнет «КОНЕЦ».

Кланнери с Ноланом убежали, радуясь, как мальчишки.

— А сейчас все отойдите от выходов. Мистер Дуглас, стойте здесь, рядом со мной.

Люди расступились, образовав живые коридоры у двух закрытых дверей.

— Фогарти, приложи ухо к двери!

Фогарти выполнил распоряжение. Глаза его расширились.

— Музыка ужасно громкая!

Один из парней Келли толкнул в бок брата:

— Сейчас кончится. Тот, кто должен умереть, в этот миг гибнет. Остающийся в живых склоняется над ним.

— А теперь еще громче! — сообщил Фогарти, прикинув головой к двери и шевеля пальцами, словно настраивая радиоприемник. — Во! Это уж точно заключительное та-та перед тем, как на экране появляется «КОНЕЦ ФИЛЬМА».

— Приготовились! — скомандовал Тимулти.

Мы все как один уставились на дверь.

— Гимн!

— Внимание!

Мы застыли по стойке «смирно». Некоторые подняли руки, отдавая честь.

— Кто-то бежит, — проговорил Фогарти.

— Кто бы это ни был, он взял хороший старт...

Дверь распахнулась.

Появился Хулихан, улыбающийся так, как улыбаются только задыхающиеся победители.

— Хулихан! — вскричали выигравшие.

— Дун! — возопили проигравшие. — Где Дун?

Действительно, Хулихан был первым, но его соперник вообще отсутствовал.

Из кинотеатра на улицу уже вытекала толпа.

— Может, этот идиот перепутал двери?

Мы ждали. Толпа на улице вскоре рассосалась.

Тимулти первым вошел в пустое фойе.

— Дун?

Но там никого не было.

А может быть, заглянул кое-куда? Кто-то широко открыл дверь мужского туалета:

— Дун?

Ни ответа, ни звука.

— Господи, а что, если он сломал ногу и валяется где-нибудь в зале в смертельной муке?

— Точно!

Кучка мужчин, направлявшаяся в одну сторону, шарахнулась к внутренней двери, вошла в зал и заполнила проход. Я последовал за ними.

— Дун!

Здесь нас встретили Кланнери и Нолан. Они молча показали вниз. Я дважды подпрыгнул, пробуя что-нибудь увидеть за головами. В просторном зале было темно. Я ничего не разглядел.

— Дун!

Наконец мы все столпились в проходе у четвертого ряда. До меня доносились возгласы присутствующих, увидевших то же, что и я.

Дун по-прежнему сидел в четвертом ряду у прохода; руки его были сложены на груди, глаза закрыты.

Мертв?

Ничего подобного. Большая, блестящая, красивая слеза ползла по его щеке. Еще одна слеза, более крупная и блестящая, наворачивалась в уголке другого глаза. Подбородок Дуна был мокрым. Он, без сомнения, плакал вот уже несколько минут.

Его окружили, наклоняясь, заглядывали в лицо.

— Дун, ты чего, заболел?

— Стряслось что-нибудь?

— Боже мой! — воскликнул Дун. Он потряс головой, дабы найти в себе силы говорить. — Боже мой, — наконец произнес он, — поистине у нее голос, как у ангела.

— Какой еще ангел?

— Который вон там, — Дун кивнул.

Головы повернулись, уставившись на пустой серебряный экран.

— Ты имеешь в виду Дину Дурбин?

Дун всхлипнул:

— Вернулся родной, исчезнувший голос моей бабушки...

— Задница твоей бабушки! — зло проговорил Тимулти. — У нее никогда не было такого голоса!

— А кто это может знать, кроме меня? — Дун высморкался и вытер глаза.

— Уж не хочешь ли ты заявить, будто из-за девчушки Дурбин ты отказался от спринта?

— Именно, — ответил Дун. — Именно. Знаешь, было бы святотатством высказывать из кинотеатра после такого пения. Это то же самое, что прыгнуть через алтарь во время венчания или танцевать вальс на похоронах.

— Ты, по крайней мере, мог бы предупредить нас, что соревнования не будет. — Тимулти свирепо поглядел на него.

— Как? Это обрушилось на меня, словно божественный недуг. Особенно та последняя песня, которую она пела, «Прекрасный остров Инишфри», правда ведь, Кланнери?

— А еще что она пела? — поинтересовался Фогарти.

— Что еще пела?! — заорал Тимулти. — Он пять минут назад лишил нас половины дневного заработка, а ты спрашиваешь, что она там еще пела! Убирайся отсюда!

— Деньги, конечно, вращают мир, — согласился Дун, — но именно музыка уменьшает трение.

— Что здесь происходит? — раздался голос откуда-то сверху. С балкона свесился человек, попыхивая сигаретой. — Что за шум?

— Это киномеханик, — прошептал Тимулти и громко сказал: — Привет, Фил, дорогой мой! Это мы, команда! У нас тут возникла небольшая проблема, Фил, этического характера, если не сказать эстетического. Вот мы и подумали, а не смог бы ты еще разок прокрутить гимн?

— Прокрутить еще разок?

Выигравшие зашумели, начали галдеть и толкаться локтями.

— Отличная идея, — поддержал Дун.

— Еще бы, — хитро проговорил Тимулти. — А то нашего Дуна божественная сила вывела из строя.

— Древняя киношка 1937 года совершенно подкосила его, — уточнил Фогарти.

— Так что справедливо было бы... — Тут Тимулти невозмутимо посмотрел ввысь. — Фил, дружок, а последний ролик фильма с Диной Дурбин все еще здесь?

— Где ж ему быть, в женском туалете, что ли? — ответил Фил, покуривая.

— Ну ты и остряк! Так вот, Фил, как думаешь, нельзя ли опять вставить его в проектор и снова показать нам «КОНЕЦ ФИЛЬМА»?

— Вам всем этого хочется? — спросил Фил.

Наступил трудный момент принятия решения. Однако мысль еще об одном забеге была слишком соблазнительна, чтобы от нее отказаться, хотя приходилось рисковать уже выигранными деньгами. Присутствующие медленно закивали.

— В таком случае я и сам сделаю ставку, — заявил кинемеханик. — Шиллинг на Хулихана!

Выигравшие стали смеяться и улюлюкать; они надеялись выиграть во второй раз. Хулихан величественно помахал рукой. Проигравшие повернулись к своему бегуну.

— Слышал, Дун? Это же оскорбление! Парень, протснись!

— Черт возьми, да заткни ты уши, когда девчонка будет петь!

— Все по местам! — Тимулти расталкивал толпу.

— Так ведь нету зрителей, — сказал Хулихан. — А без них нет препятствий, нет настоящего соревнования.

— Почему же? — Фогарти огляделся. — Вот все мы и будем зрителями.

— Превосходно! — Присутствующие с сияющим видом уселись в кресла.

— А лучше, — предложил Тимулти, — давайте разделимся на команды! Ставим, конечно, на Дуна и Хулихана, но каждый болельщик Дуна или болельщик Хулихана, который выберется из зала до того, как звуки гимна приклеят его к полу, добавляет лишнее очко. Договорились?

— Идет! — закричали все.

— Прошу прощения, — подал я голос. — Нет судьи на улице.

Все головы повернулись в мою сторону.

— Да, — сказал Тимулти. — Так, Нолан, — наружу!

Нолян, ругаясь, пошелся по проходу.

Фил высунул голову из проекционной:

— Ну, вы там, внизу, готовы?

— Если готовы девчонка и гимн!

Свет погас.

Мое место оказалось рядом с Дуном, который лихорадочно шептал:

— Друг, толкай меня, не дай прекрасному отвлечь меня от реальности, ладно?

— Заткнись, — сказал кто-то. — Начинается мистерия.

И он был прав. Это действительно была мистерия песни, искусства и жизни, если угодно. Девушка пела на потрепанном от времени экране.

— Мы надеемся на тебя, Дун, — прошептал я.

— А? — рассеянно проговорил он в ответ, глядя на экран и улыбаясь. — Ах, посмотри, разве она не прелесть? Ты слышишь?

— Дун, не забывай о пари. Приготовься.

— Ладно, — проворчал он. — Дай-ка разомну кости.

Господи, помоги!

— Что?

— Она совсем затекла. Правая нога. Пощупай. Нет, ничего не чувствую. Как отрезанная!

— Отсидел, что ли? — встревоженно спросил я.

— Ну да, как мертвая. Черт, я пропал! Слушай, друг, ты должен бежать вместо меня! Вот тебе моя кепка и шарф!

— Твоя кепка?..

— Когда выиграешь, покажешь им, и мы объясним, что ты бежал вместо моей дурацкой ноги!

Он натянул на меня кепку и повязал шарф.

— Но послушай... — запротестовал я.

— У тебя все получится! Только запомни: не раньше чем появится «КОНЕЦ»! Песня почти кончилась. Волнуешься?

— Господи, еще как!

— Побеждает безрассудство, мой мальчик. Смело бросайся вперед. Если на кого-нибудь наступишь, не оглядывайся. Приготовься! — Дун отвел ноги в сторону, чтобы я смог выскочить. — Песня кончилась. Он ее целует...

— Конец! — крикнул я и рванулся в проход.

Я мчался вверх по настилу. «Впереди всех! — мелькало у меня в голове. — Я обогнал! Не может быть! Вот дверь!»

Дверь распахнулась одновременно с первыми звуками гимна.

Я ворвался в фойе — все!

Победа! Я стоял в кепке и шарфе Дуна, словно увенчанный лаврами чемпиона, и не верил себе. Выиграл! Победил для всей команды!

А кто второй, третий, четвертый?

Я повернулся к двери, когда она захлопывалась.

Только тогда до меня донеслись из зала крики и вопли.

Боже милостивый! Шесть человек одновременно ринулись к неправильному выходу, кто-то споткнулся, упал, остальные повалились на него. Иначе как объяснить, что я — первый и единственный? Там сейчас идет молчаливое побоище, две команды сцепились в смертельной схватке стенка на стенку, дубасят друг друга между рядами и под креслами! Не иначе!

Мне захотелось остановить потасовку, заорать, что я победил!

Я распахнул дверь.

Уставился в темный провал зала. Там никто не шевелился.

Подошел Нолан и заглянул мне через плечо.

— Вот вам и ирландцы, — сказал он, кивнув. — Любят искусство даже больше, чем спорт.

Но что же это за голоса раздавались в темноте?

— Покажи еще разок! Давай! Ту последнюю песню! Фил!

Никто не двинулся. Дун, как ты был прав!

Нолан прошел мимо меня и сел в кресло.

Я довольно долго смотрел вниз на ряды, где сидели команды гимнастических спринтеров, сидели тихо, утирая глаза.

— Фил, дружок! — крикнул Тимулти откуда-то спереди.

— Готово! — ответил Фил.

— И на этот раз, — добавил Тимулти, — без гимна.

Зрители зааплодировали.

Экран начал мерцать, как огромный теплый камин.

Я оглянулся и посмотрел на яркий, рациональный мир Графтон-стрит, на пивную «Четыре провинции», гостиницы, магазины, ночных прохожих. Я заколебался.

А потом, под музыку «Прекрасного острова Инишффри», снял кепку и шарф, сунул эти трофеи победителя в карман и медленно, с наслаждением, никуда не торопясь, опустился в кресло...

СОДЕРЖАНИЕ

451° ПО ФАРЕНГЕЙТУ. Роман. Перевод В. Бабенко

Часть I. ДОМАШНИЙ ОЧАГ И САЛАМАНДРА.....	7
Часть II. СИТО И ПЕСОК.....	80
Часть III. СВЕТЛО ГОРЯЩИЙ.....	128
Послесловие.....	189
Кода.....	197

МЕХАНИЗМЫ РАДОСТИ. Сборник рассказов

Механизмы радости. Перевод С. Анисимова.....	205
Тот, кто ждет. Перевод Ю. Седовой.....	224
Tuganosaugus Rex. Перевод В. Задорожного.....	232
Каникулы. Перевод Л. Жданова.....	252
Барабанщик из Шайлоу. Перевод Л. Жданова.....	261
Ребятки! Выращивайте гигантские грибы у себя в подвалах! Перевод В. Задорожного.....	268
Почти конец света. Перевод С. Анисимова.....	292
Быть может, мы уже уходим... Перевод В. Серебрякова.....	304
Вот ты и дома, моряк. Перевод В. Задорожного.....	309
День смерти. Перевод С. Анисимова.....	321
Иллюстрированная женщина. Перевод В. Задорожного.....	334
Кое-кто живет как Лазарь. Перевод В. Задорожного.....	351
Диковинное диво. Перевод Л. Жданова.....	368
Именно так умерла Рябушинская. Перевод В. Задорожного.....	387
Нищий с моста О'Коннела. Перевод Е. Доброхотовой-Майковой.....	407
Смерть и старая дева. Перевод Е. Алексеевой.....	425
Стая воронов. Перевод В. Задорожного.....	435
Лучший из возможных миров. Перевод В. Задорожного.....	452
Последняя работа Хуана Диаса. Перевод В. Задорожного.....	463
Чикагский Провал. Перевод С. Анисимова.....	478
Гимнические спринтеры. Перевод С. Анисимова.....	494

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Литературно-художественное издание

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ

Рэй Брэдбери

451° ПО ФАРЕНГЕЙТУ

Ответственный редактор *Е. Березина*
Художественный редактор *А. Сауков*
Технический редактор *О. Куликова*
Компьютерная верстка *Л. Панина*
Корректоры *Т. Кузьменко, А. Мартынова*

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндірүші: «ЭКМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин: www.book24.ru

Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды

қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайты: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certification

Өндiрген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 22.01.2019. Формат 84×108 1/32.
Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,88.
Доп. тираж 2000 экз. Заказ № 798.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

16+

В электронном виде
www.litres.ru

ЛитРес:
ОДИН КЛИК ДО КНИГ



Отоваря торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо», г. Москва, ул. Зорге, д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными отоварями
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»
E-mail: International@eksmo-sale.ru

*International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.
International@eksmo-sale.ru*

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном
оформлении, обращаться по тел.: +7(495) 411-68-59, доб. 2261.
E-mail: korpora.ey@eksmo.ru

Отоваря торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:
Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменная ш., д. 1, в/к 5. Тел./факс: +7(495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД», Невский пр-т, д. 46.
Тел.: +7(812)601-0-801, www.bookvoed.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для отоварых покупателей:
Москва. ООО «Торговый Дом «Эксмо». Адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1.
Телефон: +7(495) 411-50-74. E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Нижегород. Филиал «Торгового Дома «Эксмо» в Нижнем Новгороде. Адрес: 603094,
г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29, Бизнес-парк «Грин Плаза».

Телефон: +7(831) 216-15-81 (92, 93, 94). E-mail: reception@eksmotg.ru

Санкт-Петербург. ООО «СЗКО». Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны,
д. 84, лит. «Е». Телефон: +7(812) 365-46-03 / 04. E-mail: server@szko.ru

Екатеринбург. Филиал ООО «Издательство Эксмо» в г. Екатеринбурге. Адрес: 620024,
г. Екатеринбург, ул. Новоинская, д. 2ш. Телефон: +7(343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08).
E-mail: petrova.ea@ekat.eksmo.ru

Самара. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Самара.

Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е».

Телефон: +7(846)207-55-50. E-mail: RDC-samara@mail.ru

Ростов-на-Дону. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Ростове-на-Дону. Адрес: 344023,

г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 А. Телефон: +7(863) 303-62-10. E-mail: info@rnd.eksmo.ru

Центр отоваро-розничных продаж Cash&Cardy в г. Ростове-на-Дону. Адрес: 344023,

г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 В. Телефон: (863) 303-62-10.

Режим работы: с 9-00 до 19-00. E-mail: rostov.mag@rnd.eksmo.ru

Новосибирск. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Новосибирске. Адрес: 630015,

г. Новосибирск, Комбинатский пер., д. 3. Телефон: +7(383) 269-91-42. E-mail: eksmo-nsk@yandex.ru

Хабаровск. Обособленное подразделение в г. Хабаровске. Адрес: 680000, г. Хабаровск,

пер. Дзержинского, д. 24, литера Б, офис 1. Телефон: +7(4212) 910-120. E-mail: eksmo-hbr@mail.ru

Томск. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Томске.

Центр отоваро-розничных продаж Cash&Cardy в г. Томске.

Адрес: 625022, г. Томск, ул. Алабашевская, д. 9А (ТЦ Перестройка+).

Телефон: +7(3452) 21-53-96/97/98. E-mail: eksmo-tumen@mail.ru

Краснодар. ООО «Издательство «Эксмо» Обособленное подразделение в г. Краснодаре

Центр отоваро-розничных продаж Cash&Cardy в г. Краснодаре

Адрес: 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7, лит. «Г». Телефон: (861) 234-43-01(02).

Республика Беларусь. ООО «ЭКSMO АСТ Си энд Си». Центр отоваро-розничных продаж

Cash&Cardy в г. Минске. Адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск,

пр-т Жукова, д. 44, пом. 1-17, ТЦ «Юллето». Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-81-92.

Режим работы: с 10-00 до 22-00. E-mail: eksmoast@yandex.by

Казахстан. РДЦ Алматы. Адрес: 050039, г. Алматы, ул. Домбровскийого, д. 3 «А».

Телефон: +7(727) 251-59-90 (91,92). E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Интернет-магазин: www.book24.kz

Украина. ООО «Форс Украина». Адрес: 04073 г. Киев, ул. Вербова, д. 17а.

Телефон: +38(044) 290-99-44. E-mail: sales@forsukraine.com

Полный ассортимент продукции Издательства «Эксмо» можно приобрести в книжных

магазинах «Читай-город» и заказать в интернет-магазине www.chitalai-gorod.ru.

Телефон единой справочной службы: 8 (800) 444 8 444. Звонок по России бесплатный.

Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»

www.book24.ru

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.

Тел.: +7 (495) 745-89-14. E-mail: Imarket@eksmo-sale.ru



ISBN 978-5-699-92380-9



9 785699 923809 >

EKSMO.RU

новинки издательства



В
Б

ОТЦЫ
ОСНОВАТЕЛИ

Весь
БРЭДБЕРИ

451°
ПО ФАРЕНГЕЙТУ



ISBN 978-5-699-92380-9



9 785699 923809 >

